А. АВЕРЧЕНКО

ВЕСЁЛЫЕ УСТРИЦЫ

СОЧИНЕНИЯ



АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО







Аркадій Аверченко

АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО



собрание сочинений

ВЕСЁЛЫЕ УСТРИЦЫ

издательство



МОСКВА 2012

УДК 882
ББК 84 (2Рос=Рус)1
А19

Вступительная статья,
составление, подготовка текста и комментарии
С.С. Никоненко

Аверченко А.Т.

А19 Собрание сочинений: В 13 т. Т. 1. Весёлые устрицы / Вступ. статья, сост., подг. текста и комментарии С.С. Никоненко. — М.: Изд-во «Дмитрий Сечин», 2012. — 480 с.

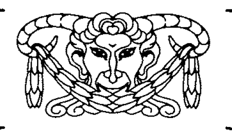
ISBN 978-5-904962-11-1 (общ.)
ISBN 978-5-904962-13-5 (т. 1)

В первый том собрания сочинений входят наряду с классической книгой «Весёлые устрицы» рассказы, не издававшиеся более 100 лет, из сборников «Стружки», «Дети», «Смерч» и др.

Аркадий Тимофеевич Аверченко (1880–1925) — замечательный русский писатель-юморист, классик литературы XX века, редактор самого известного журнала сатиры и юмора «Сатирикон» (1908–1918), мастер мягкого юмора, острой сатиры, тонких психологических произведений и жестких политических памфлетов.

ISBN 978-5-904962-11-1

УДК 882
ББК 84 (2Рос=Рус)1



АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

весёлые устрицы



Недавно прочитал в содержательной книге о писателе, вышедшей в серии ЖЗЛ, удивительную фразу: «Как Игорь Константинович жил с такой фамилией в советское время?» (В. Миленко. Аркадий Аверченко.М., 2010. С. 12). Речь шла о племяннике Аркадия Аверченко Игоре Константиновиче Гаврилове-Аверченко.

Вот так рождаются мифы о том, что Аверченко в советское время был запрещен, что даже фамилию его боялись произносить. Если придерживаться такой логики, то как могло случиться, что одним из известнейших советских писателей стал Валентин Григорьевич Распутин, а членом Политбюро ЦК КПСС был много лет Григорий Васильевич Романов?

Мне так, наоборот, фамилия Аверченко помогла выпустить книгу его избранных произведений почти тридцать лет назад.

— Аверченко, из «Правды»? — просияло лицо директора издательства. — Конечно, надо выпустить.

В ту пору корреспондентом «Правды» работал Б. Аверченко. Спасибо ему.

Прошли годы. Вышло очень много книг Аверченко. Его произведения переведены на два десятка языков. Но и по сей день многие читатели очень мало знают о писателе. А судьба его сложилась непросто. Он появился на свет на переломе веков, более того — эпох. Революционные выступления студенчества, а затем и рабочих, Мировая война, революции. Мир сотрясался и разваливался. А именно в это время задорно и весело ступил на литературную арену юный провинциал. Думается, хотя бы немного следует рассказать о жизни и творчестве этого выдающегося человека.

* * *

В смешной «Автобиографии», которой открывалась одна из первых книг писателя «Веселые устрицы», мы найдем несколько фрагментов его дописательской жизни.

Дополнительные моменты мы обнаруживаем в автобиографии, отправленной им известному историку литературы Семену Афанасьевичу Венгерову в начале 1910 года: «Имя мое — Аркадий Тимофеевич Аверченко. Родился в Севастополе 1881 года, 15 марта. Вероисповедания — православного. Отец был купцом, мать из мещан. Историю моего рода за недостаточностью данных проследить трудно. Известно только, что дед мой (по матери) был атаманом шайки разбойников, держал под Полтавой постоялый двор и безо всякого зазрения совести грабил проезжих по большой дороге. Мать моя — добрая, кроткая женщина — вспоминает об этом с ужасом... Мой отец был очень хорошим человеком, но крайне плохим купцом. Сочетание этих двух свойств привело к тому, что он совершенно разорился к тому времени, когда мне исполнилось 10 лет... Поэтому учиться пришлось дома, с помощью старших сестер — довольно скудно... Будучи пятнадцатилетним застенчивым мальчишкой, попал на Брянский каменноугольный рудник (около Луганска) писцом и служил в ужасной, кошмарной обстановке безвыходной ямы — три года. Потом переехал в Харьков на службу в той же акционерной компании»[1]. В рассказах Аверченко «О пароходных гудках», «Молния», «Отец», «Смерть африканского охотника», «Ресторан «Венецианский карнавал», «Три желудя» и многих других ярко отразились его детские и юношеские впечатления. Обстановка, в какую окунулся пошедший «в люди» застенчивый мальчишка, едва ли давала много поводов для смеха. «То конторщик Паланкинов запьет и в пьяном виде получит выговор от директора, то штейгерова корова взбесится, то свиньи съедят сынишку кухарки чертежника. А однажды рудничный врач в пьяном виде отрезал совсем не ту ногу, которую следовало...»[2]. Это беспробудное пьянство сопровождалось тем, что старшие по службе унижали, оскорбляли младших. «Нельзя сказать,

---

[1] Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1973 г. — Л., 1976. — С. 155.

[2] Аверченко А. Молния // Сатирикон. — 1910. — № 40.

что со мной обращались милосердно, всякий старался унизить и прижать меня как можно больнее — главный агент, просто агент, помощник, конторщик и старший писарь»[1].

В стремлении вырваться из этого засасывающего болота повседневности, из этой беспросветности, он обращается к литературному труду (несколькими годами ранее сходный путь по ту сторону океана проделал Джек Лондон).

Здесь следует на минуту остановиться и оглянуться.

Насколько достоверны сведения, сообщенные писателем Венгерову?

Мне довелось встретиться и подружиться полвека назад с последним живым сатириконцем Георгием Александровичем Ландау (1883–1974). Он хорошо помнил и с теплом вспоминал своего шефа. Наряду с другими вопросами я хотел уточнить и дату рождения Аркадия Аверченко. Георгий Александрович мне признался:

— Я только в последние годы из разных публикаций узнал, что он родился в 1881 году. Сам же Аркадий Тимофеевич перед сотрудниками журнала не раз заявлял, что он самый молодой!

Чуть позже, в 1964 году, я познакомился с писателем Николаем Никандровичем Никандровым (1878–1964). Оказалось, его молодость прошла в Севастополе. Я сразу же поинтересовался, а не знавал ли он в ту пору Аверченко?

— Аркашку-то? Да мы же учились в одном классе в реальном училище! — тут же отозвался Николай Никандрович. — Здоровый такой был, толстый парнишка. Мы с ним соревновались во всяких проделках и шутках. Нас и из класса частенько выгоняли из-за этого. Но мы все равно не унимались и старались вовсю и пересмешить друг друга, и развеселить класс. Но он года через два по каким-то семейным обстоятельствам покинул наше славное учебное заведение. С тех пор наши пути не пересекались. Я ударился в политику, сидел в тюрьме. Писал изредка и, наверное, не так смешно, как Аркадий. Тот быстро как-то сделал карьеру. Мне даже не верилось, что тот самый Аркашка, с которым мы не раз участвовали и в ребячьих драках, и сбегали с уроков, и задирали друг друга, вдруг прославился на всю Россию. Я порадовался за своего соученика.

---

[1] Аверченко А. О пароходных гудках // Сатирикон. — 1913. — № 17.

Честно признаюсь, я не особенно поверил в рассказ. Настораживала разница в возрасте — 3 года! Как они могли учиться в одном классе? Кроме того, к моменту нашей беседы — сентябрь 1964 года — прошло по крайней мере семьдесят лет со времен гипотетической совместной учебы двух писателей. Много ли могла удержать память?

Но вот в 2001 году появляется статья С. Шевченко «К родословной А.Т. Аверченко» (Отечественные архивы. 2001. № 5), в которой документально подтверждено, что Аркадий Аверченко на самом деле родился 15 марта 1880 года. И тогда разница в возрасте Николая и Аркадия оказывается не столь большой — Никандров родился 7 декабря: год с небольшим. И тогда придется признать, что все же Аркадий Аверченко какое-то время учился в реальном училище. Вопреки утверждению самого Аверченко и некоторых авторов, писавших о нем. Несомненно, он был талантлив и мог описать любые ситуации и положения в которых никогда не находился. И все же многие рассказы Аверченко, посвященные детям и детству, столь зримо и достоверно воспроизводят школу, характеры и поведение учителей и учеников, что не приходится сомневаться: школьная жизнь ему известна не понаслышке.

Спрашивается, для чего Аверченко потребовалось скрывать свой настоящий возраст? Мы этого никогда не узнаем. Будем, однако, полагать, что делал он это не из преступных или корыстных намерений. Отметим, кстати, что уменьшением своего возраста занимался не один Аверченко. Надежда Александровна Тэффи так запутала своих современников, что многие даже очень близкие ей люди так и не узнали до конца ее жизни, сколько ей лет.

Но вернемся к нашему герою. Первые трудовые годы, конечно же, были тяжелы для него, потому что детство в Севастополе, любовь родителей и сестер, жаркое летнее солнце и ласковое море, игры, забавы и мечты вдруг ушли в небытие, а вместо этого — серые будни конторщика...

Незаурядный природный ум, уменье видеть и слышать, подмечать едва уловимые черточки в характерах людей, особенности их речи, способность анализировать взаимосвязи людей и событий, — все это позволило молодому человеку выбрать свой путь в жизни. Он понял, что может обо всем, что он видит и знает, рассказать другим, при этом так, что им будет интересно. К тому же он сможет как-то повлиять

на мир, исправить несправедливости, царящие вокруг. В нем рождался рассказчик, а затем и писатель.

Разумеется, он много читал. Он стремился восполнить недостаток систематического образования повседневным самообразованием и достиг очень многого.

В 1902 году в первом и единственном номере харьковского журнала «Одуванчик» был напечатан его рассказ «Уменье жить», а в 1904 году уже в столичном «Журнале для всех» (Апрель, № 4) появился рассказ «Праведник», что сам писатель считал важным событием своей жизни. «Но писал я тогда мало и напечатал всего несколько жалких юмористических рассказов в «Харьковских губернских ведомостях»[1], — сообщал он Венгерову.

С наступлением общего подъема общественной жизни начинающий писатель находит свое место в журналистике и создает в 1906 году «журнал сатирической литературы и юмора с рисунками в красках» «Штык», который имел в Харькове и даже за его пределами крупный успех. «Я наполнял весь номер, пиша, редактируя и корректируя»[2], — вспоминал писатель. Аверченко выступал здесь в разных жанрах. Его перу принадлежали и злободневные политические фельетоны, и сатирические стихотворные миниатюры, и юмористические рецензии на театральные постановки, и карикатуры. Жизнь журнала оказалась недолговечной. На 9-м номере юного редактора оштрафовали на 500 рублей. Заплатить штраф он не смог, да и не хотел, и журнал закрыли.

Но, познав радость первых побед на фронте журналистики, Аверченко не складывает оружия и в 1907 году начинает новый журнал — «Меч». Впрочем, на 3-м номере его постигает участь предшественника.

В Российской Государственной Библиотеке хранится отдельный оттиск статьи из журнала «Торгово-промышленная Россия» под заглавием «Всеобщее начальное образование в России». В качестве автора статьи обозначен А. Аверченко. Есть множество оснований полагать, что это именно молодой журналист Аркадий Аверченко. Во-первых, этот журнал издавался в Харькове. Во-вторых, номер журнала со статьей вышел в 1906 году, когда Аверченко как раз начинал свою

---

[1] Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1973 г. — Л., 1976. — С. 155–156.
[2] Там же. С. 156.

журналистскую деятельность. В-третьих, многие сюжеты статьи и особенные авторские интересы совпадают с темами и акцентами рассказов и фельетонов писателя: необразованность, темнота широких масс, особенно крестьянства; примитивное ведение хозяйства, использование статистических данных; решение каких-либо задач путем создания общественных организаций и привлечения финансовых средств общества, и т.п. Да, стилистика статьи отличается от стилистики рассказов и фельетонов, но ее дух и направленность совпадает с духом всего творчества писателя.

Статья обнаруживает широкую эрудицию автора, строгую логику и желание внести посильный вклад в оздоровление российской жизни.

Статья эта помещена в настоящем томе в приложении, и читатели смогут убедиться в справедливости нашего предположения об ее авторстве.

Революционный подъем кончился, возникшие в период 1905–1907 годов многочисленные сатирические издания — «Пулемет», «Молот», «Сигнал», «Удаль», «Барабан» и др. — были закрыты.

И вот в эту пору Аверченко приезжает в Петербург, чтобы его покорить. 1 апреля 1908 года вышел первый номер «еженедельного журнала сатиры и юмора» «Сатирикон», и главная роль в его создании принадлежит Аверченко. Итак, пришел, увидел, победил. Всего три месяца или и того менее прошло с момента приезда в Петербург, и безвестный провинциальный журналист становится ведущим сотрудником, а вскоре и редактором (а спустя несколько лет и основным владельцем) журнала, который в течение последующего десятилетия станет самым популярным изданием дореволюционной России.

Как же все-таки начался «Сатирикон»? Вот как об этом писал сам Аверченко: «В первый месяц (по приезде в Петербург. — *Ст.Н.*) заработал всего 2 р. 40 коп., а во второй — 200. Начал работать в «Стрекозе» и «Свободных мыслях». Сошелся с издателем «Стрекозы», уговорил его прекратить этот не имевший успеха журнал и начать «Сатирикон». На 8-м № журнала «Сатирикон» я уже был его редактором, которым и пребываю до сих пор»[1].

---

[1] Ежегодник... — С. 156.

Начав сотрудничество в отживавшей свой век «Стрекозе», Аверченко сумел организовать и сплотить вокруг себя группу единомышленников, которые и приняли решение о создании нового журнала, а с 1 июня 1908 года о слиянии «Сатирикона» и «Стрекозы» в один журнал — «Сатирикон».

О начальной поре работы Аверченко в «Сатириконе» оставил воспоминания писатель О.Л. Д'Ор (О.Л. Оршер): «Ко мне пришел молодой человек лет двадцати восьми — тридцати. Был он высокий, толстый, рыхлый, бритый по-актерски, в пенсне. На нем был чистенький, новенький сюртук. Под сюртуком виднелся модный «штучный» жилет.

— Позвольте представиться! — сказал молодой человек шутливо. — Аркадий Аверченко.

Он улыбался добродушно, лукаво, ехидно, иронически, почтительно и фамильярно. Все это как-то совмещалось воедино. В его улыбке можно было прочесть:

Я — парень хороший и товарищ отменный, но пальца в рот, пожалуйста, очень прошу вас, не кладите. Против воли откушу. У меня широкая рука: когда что есть — поделюсь. Но своего не спущу. В ресторан же всегда готов...

Таков он и был в жизни.

— Разрешите сесть или продолжать стоя? — шутливо спросил Аверченко.

— Да уж как-нибудь сядьте.

Аверченко сел. Стул затрещал под ним.

— Был я редактором журнальчика «Штык», — начал он, — в Харькове это было. Так вот, понимаете, не читали его. Я и приехал сюда в Питер. Нашел тоже один журнал, которого тоже не читают, и решил заняться им. «Стрекоза» этот журнал...

Знаменитая в свое время «Стрекоза», действительно, в то время уже никем не читалась. Журнал этот, смешивший в течение четверти века всероссийское купечество, после 1905 г. зачах совершенно. Упал спрос до минимума.

— Хотим и название уничтожить, — сказал Аверченко, — будем называть журнал «Сатирикон». Это...

Аверченко сделал серьезно-пресерьезное лицо.

— ...Это название существовало в Риме при Нероне. Оно было выдумано знаменитым Петронием.

Он искоса глянул на меня. Ему, очевидно, хотелось подметить, поражен ли я его ученостью или нет. Аркадий Аверченко большой образованностью не отличался.

Я сказал, что название мне не нравится.

— Это ничего! — сказал серьезно Аверченко. — Верьте мне, что название пустяки. Важно содержание. Важно: таланты. У нас подобралась кучечка изумительных художников. Теперь очередь за писателями. Вы, Дымов, Тэффи, Саша Черный. Право же, название абсурд. Дайте материал хороший. Это главное. Не в вывеске дело, а в товаре. Вот увидите...

Впоследствии я действительно увидел, что Аверченко был прав. Громадным своим успехом «Сатирикон» был исключительно обязан материалу. Подобрать талантливых людей и спаять их между собой — самый большой талант. Аверченко в совершенстве обладал этим талантом»[1].

Аверченко прекрасно понимал значение созданного им журнала и того дела, которым занимался. Об этом, в частности, говорится на страницах «Нового Сатирикона» в 1913 г. в его статье «Мы за пять лет». Лаконично, в нескольких строчках, писатель рисует крах революционных надежд после 1905 г. и наступление реакции. Возникшие на волне революции сатирические журналы были ликвидированы: «... все, успевшие уже привыкнуть к смеху, иронии и язвительной дерзости «красных» по цвету и содержанию сатирических журналов — снова остались при четырех прежних стариках, которым всем в сложности было лет полтораста: при «Стрекозе», «Будильнике», «Шуте» и «Осколках».

Когда я приехал в Петербург (это было в начале 1908 года) — в окна редакций уже заглядывали зловещие лица «тещи», «купца, подвыпившего на маскараде», «дачника, угнетенного дачей» и тому подобных персонажей русских юмористических листков, десятки лет питавшихся этой полусгнившей дрянью».

Уже из этих строк ясно, что Аверченко привлекали отнюдь не гастрономические и обывательские темы, как это упорно ему вменяли в вину. Тематика журнала, несмотря на цензурные рогатки, была широкой и острой. В той же статье, объясняя читателю отсутствие материалов на определенные темы, Аверченко отмечает: «Перечислю только то, чего нам категорически запрещено касаться:

1) Военных (даже бытовые рисунки).

---

[1] Старый журналист. Литературный путь дореволюционного журналиста. — М.; Л., 1930. — С. 89–90.

2) Голодающих крестьян.

3) Монахов (даже самых скверных).

4) Министров (даже самых бездарных).

А в последнем номере не пропущена даже карикатура, осмеивающая «Новое Время»[1]

Из многих номеров цензурой изымались фельетоны и карикатуры, редактора (Аверченко) неоднократно штрафовали. Все это говорит об определенной общественной позиции писателя. Эта позиция – обличение существующих общественных порядков, неприятие реальностей буржуазной действительности – отражена и в его собственном литературном творчестве.

Высказывание американского писателя Генри Джеймса как нельзя кстати подходит к литературной судьбе Аверченко, да, впрочем, и многих его коллег по журналу: «Лучшие произведения создаются, как правило, теми талантливыми художниками, которые входят в то или иное творческое содружество: легче работается, когда ты окружен соратниками и живешь в атмосфере советов, поддержки, сравнения и соревнования»[2].

Действительно, время работы в «Сатириконе» (и «Новом Сатириконе») явилось самым плодотворным для таких писателей, поэтов, художников, как Тэффи, Петр Потемкин, Саша Черный, Осип Дымов, Георгий Ландау, Аркадий Бухов, Александр Радаков, Александр Рославлев, Ре-Ми, Василий Князев, ну и, конечно же, сам Аверченко.

На роль «Сатирикона» в общественной жизни дореволюционной России и в судьбе самих Аверченко, Тэффи и других сотрудников журнала обращали внимание многие писатели. Написанная вскоре после смерти Аркадия Аверченко статья А.И. Куприна так и называлась: «Аверченко и «Сатирикон». Отмечая, что в первую очередь успехом своим Аверченко обязан собственному таланту, Куприн вместе с тем отдает должное и широкому читателю, который быстро понял, какое новое явление в журналистике представлял «Сатирикон». «Аркадий Тимофеевич был избавлен от неприятной обязанности делать признательные улыбки и поклоны и выслушивать покровительственное: «Это я тебя, братец, в люди вывел».

[1] «Новый Сатирикон». 1913. № 28.

[2] Цит. по: Каули М. Дом со многими окнами. – М., 1973. – С. 212.

Аверченко сразу нашел себя: свое русло, свой тон, свою марку. Читатели же — чуткая середина — необыкновенно быстро открыли его и сразу из уст в уста сделали ему большое и хорошее имя. Тут был и мой, не писательский, а читательский голос.

Однако своя, добрая, верная публика дружно и быстро вытянула «Сатирикон» в гору, а там уже он сам весело покатился по углаженной дороге. Молодой яркий талант Аверченко, его популярность, его легкая рука и его беззаботная энергия сделали здесь очень много. Но, и то сказать, какая славная семья сотрудников его»[1].

Атмосфера доброжелательности, которую сумел создать Аверченко в журнале, общие интересы сплачивали коллектив. «Сотрудники «Сатирикона», молодого журнала, одно время были неразлучны друг с другом и всюду ходили гурьбой. Завидев одного, можно было заранее сказать, что сейчас увидишь остальных, — вспоминал Корней Чуковский в предисловии к книге Саши Черного. — Впереди выступал круглолицый Аркадий Аверченко, крупный, дородный мужчина, очень плодовитый писатель, неистощимый остряк, заполнявший своей юмористикой чуть не половину журнала. Рядом шагал Радаков, художник, хохотун и богема, живописно лохматый, с широкими пушистыми баками, похожими на петушиные перья. Тут же бросалась в глаза длинная фигура поэта Потемкина, и над всеми возвышался Ре-Ми (или попросту Ремизов), замечательный карикатурист, с милым, нелепым, курносым лицом...»[2]

Помимо постоянных авторов «Сатирикона» и «Нового Сатирикона» Аверченко сумел привлечь к сотрудничеству таких замечательных поэтов и прозаиков, как Л. Андреев, А. Грин, А. Куприн, Н. Гумилев, О. Мандельштам, С. Маршак, В. Маяковский, А.Н. Толстой, П. Орешин, С. Городецкий...

Нельзя сказать, что Аверченко был безразлично ровным со всеми, с кем ему приходилось общаться. В середине 1913 г. в результате расхождений во взглядах на направленность журнала (и в связи с денежными делами) редакция «Сатирикона» раскололась. Тогда и возник «Новый Сатирикон». И большинство пошло за Аверченко в «Новый Сатирикон».

---

[1] Куприн А.И. Аверченко и «Сатирикон» // «Сегодня». — Рига, 1925. — № 72. — 29 марта.

[2] Саша Черный. Стихотворения. — М.; Л., 1962. — С. 5.

Его личность, его внутренняя сила, самобытность выделяли его из писательской среды, вызывали уважение. Посредственности и графомании Аверченко не терпел, но стоило ему увидеть в начинающем писателе хоть крупицу таланта, он готов был всячески поощрять его и поддерживать. В «Сатириконе» и «Новом Сатириконе» начинали многие авторы, ставшие потом известными писателями.

Вот фрагмент из воспоминаний Льва Ивановича Гумилевского (1890–1976) о его первой встрече с редактором журнала, куда он сдал свой рассказ: «Я зашел в редакцию узнать, когда появится рассказ. За столом Зозули (секретаря редакции. — *Ст.Н.*), как гость, сидел прекрасно выбритый, прекрасно одетый господин, немножко полный, красивый и ленивый. Это и был Аверченко. Он поздоровался со мной и учтиво подал мне книгу, которую только что рассматривал.- Это первая книга, — сказал он. — Нравится вам?

На серой обложке с маркой «Сатирикона» в верхнем углу было напечатано: «А.С. Грин. Рассказы».

Я ответил, не скрывая зависти:

— Очень нравится!

— Ну, вот и вас потом так же издадим. Вы принесли нам еще что-нибудь?

Рассказ был уже в типографии»[1].

Сам Аверченко выступал в «Сатириконе» с юмористическими рассказами, фельетонами, театральными обозрениями, вел «Почтовый ящик». За публикацию некоторых сатирических материалов его привлекали к суду... В 1910 г. он опубликовал первые сборники своих произведений: «Веселые устрицы», «Рассказы (юмористические)».

В 1911 г. Аверченко и трое его сотрудников (писатель Георгий Ландау, художники Радаков и Ре-Ми) предприняли длительное путешествие в Западную Европу. Несколько месяцев они колесили по Европе, побывали в Германии, Австрии, Швейцарии, Италии, Франции, Испании, Португалии, заезжали на Капри к Горькому... И по приезде выпустили большую книгу с иллюстрациями — «Экспедиция в Западную Европу сатириконцев...». Однако даже вдали от родины Аверченко не мог отвлечься от русских тем и сюжетов, и рас-

---

[1] Гумилевский Л. Судьба и жизнь. Воспоминания // «Волга». — 1988. — № 7. – С. 152.

сказы, появлявшиеся в журнале с пометкой: Рим, Мюнхен или Тироль, повествовали вовсе не об альпийских красотах или ласковых водах Тирренского моря, а о событиях в каком-нибудь Старом Овраге или Нижней Гоголевке...

В 1912 г. в Петербурге были изданы книги Аверченко «Круги по воде», «Рассказы для выздоравливающих». Многие его рассказы инсценировались, шли на сценах петербургских театров.

Шовинистический угар, охвативший всю правую прессу с началом первой мировой войны, затронул и «Новый Сатирикон». Во многих номерах журнала стали печататься грубые антинемецкие фельетоны и юморески, карикатуры и стишки, появлялись произведения, написанные торопливо, лишенные вкуса, а порой и пошловатые. Последнее коснулось и некоторых написанных в предреволюционные годы произведений писателя. Так, в опубликованных в 1916 г. путевых очерках «Вниз по Волге», наряду с сочными, запоминающимися картинами волжских берегов, зарисовками быта, мы встречаемся с пустенькими, примитивными сценками любовных пароходных приключений. В 1917 г. появилась его повесть «Подходцев и двое других», подвергшаяся критике за «стороннюю позицию насмешливого созерцателя». Но таких срывов у него было немного. В журнале продолжают появляться произведения серьезные и впечатляющие, в том числе принадлежащие перу Аверченко, например один из лучших его рассказов — «Страшный мальчик» (декабрь 1914 г.). В 1916 г. вышла имевшая большой успех книга «О маленьких — для больших».

Февральскую революцию вся редакция «Нового Сатирикона» встретила с восторгом. Сатириконцы приветствовали падение прогнившего царского режима и ожидаемые демократические реформы. Однако вскоре после первых восторгов наступает разочарование, и на страницах «Нового Сатирикона» высмеивается Временное правительство, бездарность его министров, беспринципность и беспомощность, неумение овладеть обстановкой. Крах Временного правительства представляется Аверченко и его сотрудникам вполне закономерным. Однако победа большевиков вовсе его не радует. Обостряющиеся классовые схватки, углубление разрухи, вызванной мировой войной, экономические тяготы, трудности быта в условиях начавшейся гражданской войны

вызывают неприятие у писателя. «Новый Сатирикон» все еще выходит, но он доживает последние дни. Его позиция слишком разительно расходится с позицией большевистских изданий. Аверченко оценивает происходящее, пользуясь общечеловеческими, гуманистическими критериями, тогда как победившие классы требуют резкого определения классовых позиций. И, разумеется, он, боровшийся за справедливость и демократическую законность, выступает в своем журнале с резкой критикой тех эксцессов, свидетелем которых неоднократно был сам. Аверченко полагает, что происходящее не имеет ничего общего с марксизмом, и на обложке юбилейного номера журнала, посвященного столетию со дня рождения Маркса, рядом с портретом основоположника научного коммунизма идут надписи: «Карл Маркс. 1818. Родился в Германии. 1918. Похоронен в России».

Революция оказалась не такой, какой ее себе представлял писатель. Осознать и принять позицию новой власти он не мог. И не хотел. Рушился привычный, налаженный быт, под угрозой было дело жизни — «Новый Сатирикон». Новое правительство во второй половине 1918 г. вообще закрыло журнал, потому что антисоветская направленность его становилась все более очевидной.

Вместе с группой работников журнала Аверченко отправился в 1918 г. на занятый белыми юг. Сначала в Ростове-на-Дону сотрудничал в газетах «Приазовский край» и «Юг России», а в конце октября 1920 г. вместе с остатками врангелевских войск отплыл в Константинополь.

Ни в Севастополе, где он провел почти год до эмиграции, ни в Константинополе Аверченко не переставал писать. Писал о деградации культуры в условиях гражданской войны, о бесприютности, обнищании, писал о беспросветном, трагикомическом бытии выброшенных на константинопольский берег бывших российских граждан. Его «Записки Простодушного. Я в Европе» (1923) об их жизни вполне могут быть названы «смешным в страшном». Здесь нарисована поразительно живая панорама оскудения, обнищания личности, духовного и нравственного, в тех условиях на чужбине, когда утрачены социальные связи, идеалы, когда остается единственная цель — выжить...

Активности, работоспособности Аверченко не теряет. С основанным им эстрадным театром «Гнездо перелетных

птиц» Аверченко побывал на гастролях во многих странах Европы. «Кипящий котел», «Дети», «Смешное в страшном», «Отдых на крапиве», «Записки циника», «Рай на земле» — эти и другие новые книги писателя выходят в Берлине, Константинополе, Праге, Париже, Варшаве, Загребе. Ряд рассказов, составивших сборник «Дюжина ножей в спину революции» (1920), написаны в жанре сатирической социальной антиутопии. Автор утверждал, что развитие пролетарской революции может привести ко всеобщей нищете, деградации культуры и нравственности. В.И. Ленин был прав, когда говорил, что многие страницы книги «Дюжина ножей...» проникнуты злобой к революции, но вместе с тем отмечал, «как до кипения дошедшая ненависть вызвала и замечательно сильные и замечательно слабые места этой высокоталантливой книжки», в ней «с поразительным талантом изображены впечатления и настроения представителя старой, помещичьей и фабрикантской, богатой, объевшейся и объедавшейся России»[1]. Историческая ценность книги именно в том и состоит, что в ней отражены взгляды другой, побежденной в революции стороны, что она помогает понять позицию тех, кому было что терять.

В своей книге «Смешное в страшном» (1923) Аверченко подметил такие недостатки и извращения в политической, хозяйственной, культурной жизни Советской России, как раздувание административного аппарата («Мурка»), бесконечные совещания и митинги («Хомут, натягиваемый клещами»), регламентация в искусстве и литературе («Контроль над производством»). Его многое бесит в новой, другой России, особенно новые власти, и потому так злы его рассказы и фельетоны, в которых он стремится высмеять, в гротесковой форме показать малейшие просчеты, ошибки (а порой и преступления, — так ему виделось) большевиков. Особенно издевается он над коммунистическими идеями и их претворением в жизнь (книга «Рай на земле», Загреб, 1923)... В масштабах исторических, быть может, он не всегда прав и справедлив. Но ведь каждый человек живет в конкретное время и в конкретной обстановке. И что ему — исторические масштабы!

С июня 1922 г. он поселяется в Праге, где после рево-

---

[1] Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 44. С. 249.

люции собралась большая русская колония. В конце 1924 г. Аверченко тяжело заболевает. Он лечится в санатории, и, кажется, дело идет на поправку. И все же вскоре после возвращения с курорта, 28 января 1925 г., писатель попадает в Пражскую городскую больницу. И здесь, «на постели 2516, белой железной больничной постели, утром 12-го марта скончался Аркадий Тимофеевич Аверченко...»[1] В последние годы жизни Аверченко еще успел написать несколько хороших произведений, среди них пьеса «Игра со смертью», и веселые рассказы о театре (безусловно, в них нашел выражение и собственный опыт автора-актера), и такие тонкие мягкие вещи, как «Индейка с каштанами», и «Белая ворона», и единственный роман «Шутка Мецената», шаржированно воссоздающий литературную жизнь Петербурга 1910-х годов. Но силы его были на исходе, он еще полон замыслов, на больничной койке в Праге сочиняет новые рассказы, однако их никогда уже не прочтет читатель...

* * *

В насыщенную мировыми катаклизмами и революционными бурями эпоху, в которую разворачивалось творчество этого яркого и самобытного писателя, литературные критики не смогли глубоко разобраться и по достоинству оценить его обширное и разнообразное литературное наследие.

Л.А. Спиридонова (Евстигнеева) пишет, что он «добросовестно учился у Чюминой, Дорошевича и Амфитеатрова, перенимал сатирические приемы «Зрителя», «Жупела», «Адской почты» и других петербургских изданий»[2], что «сочный юмор его рассказов немного напоминал раннего Гоголя»[3] О. Михайлов полагает, что Аверченко «напоминает своей богатой выдумкой сотрудника «Стрекозы» и «Будильника» Антошу Чехонте»[4] Правда, считает Михайлов, на этом сходство заканчивается, ибо уже в молодом Антоше Чехонте угадывалось что-то более глубокое, «Аверченко же остал-

---

[1] Бельговский К. Как умирал Аверченко // «Сегодня». – 1925. – 17 марта.
[2] Спиридонова (Евстигнеева) Л.А. Русская сатирическая литература XX века. – М., 1977. – С. 134.
[3] Там же. С. 135.
[4] Михайлов О. Аркадий Аверченко // Аверченко А. Избранные рассказы. – М., 1985. – С. 11–12.

ся юмористом по преимуществу, видящим лишь смешное в жизни своих героев...»[1]

Впрочем, попытки прикладывать к нему мерки его великих предшественников предпринимались и в дореволюционное время. Об этом писала Тэффи: «Многие считали Аверченко русским Твеном. Некоторые в свое время предсказывали ему путь Чехова». И далее Тэффи высказывала свою точку зрения: «Но он не Твен и не Чехов. Он русский чистокровный юморист, без надрывов и смеха сквозь слезы. Место его в русской литературе свое собственное...»[2].

Соглашаясь с последней фразой писательницы, позволим себе не согласиться с предшествующей. Аркадий Аверченко, несомненно больше, чем только юморист: он выдающийся русский писатель, который в равной мере владел всеми жанрами от юморески до трагедии, просто юмор и сатира превалировали в его творчестве.

В наши дни, когда в результате массированного оболванивания широких масс люди стали говорить штампами, нередко слепленными из зарубежного сленга, весьма часто можно услышать такое бессодержательное выражение: «Талантливый человек талантлив во всем». Аркадий Аверченко был очень талантлив, но отнюдь не во всем: стихи он писал средненькие, в гольф не играл, музыку не сочинял, не высекал скульптуры из мрамора и даже не вырезал из дерева. Он вовремя осознал главную сферу своего таланта — литература. И смог развить этот свой талант благодаря еще одному своему таланту: любви к человеку.

Талант человеку дается от природы, «от Бога». Как будет развиваться этот талант, какие формы примет, во многом зависит от тех жизненных обстоятельств, в какие он попадает. «Счастьем для таланта Аверченко было то, что его носитель провел начало своей жизни не в Петербурге, в созерцании сквозь грязный туман соседнего брандмауэра, а побродил и потолкался по свету. В его памяти запечатлелось ставшее своим множество лиц, говоров, метких слов и оборотов, включая сюда и неуклюже-восхитительные капризы детской речи. И всем этим богатством он пользовался без труда, со свободой дыхания»[3].

[1] Михайлов О. С. 12.

[2] «Сегодня». — 1925. — № 66. – 22 марта.

[3] Куприн А.И. Аверченко и «Сатирикон» // «Сегодня». — 1925. — 25 марта.

Куприн отмечал, что первый смех Аверченко был чист и беззлобен. Разумеется, он усваивал некоторые приемы своих предшественников, но это никогда не было подражанием или копированием. Юмору вообще невозможно научиться. Видеть смешное в действительности и умение выразить, передать это смешное в искусстве слова — вообще разные вещи. И лишь соединение таланта видения с искусством писателя дает нужный эффект. У Аверченко эти два качества находились в органическом единстве. И притом его редко можно было упрекнуть в простом смехачестве, в смехе ради смеха. У смеха множество функций: его рассматривают как оружие, как щит, как лекарство, как отдых и т.д. и т.п. Произведения Аверченко выполняли все эти функции.

Богатство его выдумки неисчерпаемо, он высекает смех из каких-то немыслимо тривиальных ситуаций, в которые даже трудно поверить, настолько они кажутся придуманными, нереальными, — и все-таки смеешься, все-таки веришь. Ибо персонажи, попавшие в эти ситуации, поступают, действуют, говорят в полном соответствии с собственным характером и с теми обстоятельствами, в которых они оказались. Так, внешне простенькая зарисовка, анекдот «В ресторане» точно передает психологию и шутника, и потерпевшего — человека тупого, упрямого, представляющегося себе умным и хитрым!

Обилие тем, характеров, ситуаций переполняет воображение Аверченко. Написанные примерно в одно и то же время, а может быть, и в один день рассказы и фельетоны различаются интонацией, тематикой, глубиной постижения реальных событий и отношений. Уж сколько было написано до Аверченко о силе клеветы, сплетни, а он находит новые краски для этой кочующей темы и в небольшом рассказе «Сплетня» дает анатомию этого общественного явления, характерного для всех времен и народов, легко, играючи, убедительно. И от того, что сплетней окутана фигура маленького незаметного человечка, уничижительная сила обличения растет, и нам не столько смешон мелкий чиновник Аквинский, сколько омерзительны окружающие его еще более мелкие людишки, наделенные столь низменным свойством. Так беззлобный смех писателя как бы назависимо от его воли становится сатирой, осуждающей нравы общества.

Пародия? Пожалуйста: «Пропавшая калоша Доббльса», «Неизлечимые», «По влечению сердца», «Рассказ для «Лягушонка».

Несоответствие между нагромождением средств и малозначительной целью? Великолепный пример: «Ложь».

Противоречие между тем, что человек о себе думает, и его истинным характером — «Мой сосед по кровати», «Бельмесов», «Роковой Воздуходуев», «Страшный человек».

Противоречие между внешней респектабельностью и подлостью натуры — «Случай с Патлецовыми».

Преувеличение, гиперболизация какой-либо черты характера, человеческого свойства? Пожалуйста: гипертрофия жадности, стяжательства — «Лакмусовая бумажка»; доведенная до абсурда глупость (в сочетании со стяжательством) — «Пылесос»; усердие, доведенное до абсурда, — «Провокатор»... Рассказы эти смешны. Но разве можно сказать, что здесь автор преследует одну цель — смех ради смеха?

Аверченко прекрасно понимал разницу между поверхностным зубоскальством, примитивным юмором положений, «юмором для дураков» (так он и назвал один из своих рассказов, где дал блестящий сатирический срез подобного юмора) и юмором, связанным с проникновением в сущность явлений, с познанием человеческого характера, с анализом нравственной позиции героя.

Случайное дорожное происшествие сталкивает литератора Ошмянского и актрису Бронзову («Бритва в киселе»). Тривиальная ситуация, избитый сюжет. Но и из этой ситуации Аверченко извлекает максимум возможного комического эффекта, ибо он показывает резко контрастирующие характеры, абсолютно несовместимые; тонко и психологически точно рисует крах иллюзий Бронзовой.

Масса окрашенных теплым юмором эпизодов и характеров в рассказе «Страшный мальчик». И как неожиданна концовка. Порой в нашей критике об Аверченко говорилось, что в лучших своих произведениях он поднимался до уровня общественной сатиры, и при этом подразумевалось, что таких произведений у писателя не столь уж много. В действительности же понятием «общественная сатира» можно охарактеризовать большую часть созданного писателем. В одной из самых известных и популярных его книг — «Веселые устрицы», выдержавшей за семь лет 24 издания, есть

раздел «В свободной России». Уже само название раздела проникнуто злой иронией. Чем же славна «свободная» Россия (имеются в виду дарованные царем конституционные свободы)? Ее облик — это жуткая, беспросветная темнота, безграмотность основной массы населения — крестьянства («Русская история»), бесправие и подконтрольность каждого жителя, которые могли привести к полевению даже аполитичного обывателя («История болезни Иванова»), разгул черносотенства («Кто ее продал...»), обыски как узаконенная повседневность («Люди», «Мученик науки»), слежка и доносительство («Робинзоны»), бесплодность буржуазных партий («Спермин», «Октябрист Чикалкин»), провокаторство («Путаница»)... Привлечь внимание читателей хотя бы к этим нескольким темам в годы столыпинской реакции было проявлением определенной гражданской общественной позиции.

Надо отдать должное твердой позиции Аверченко как писателя и как редактора журнала: он никогда не шел на поводу черносотенной пропаганды, всегда отстаивал равноправие всех народов России, не затрагивая и не оскорбляя национальных чувств. Эта твердость и последовательность прослеживаются в отношении к делу Бейлиса, а также в таких рассказах, как «Функельман и сын», «Золотые часы», «Родители первого сорта» и др. Разумеется, это не могло не вызвать соответствующей реакции в лагере черносотенцев, которые не упускали случая заклеймить Аверченко как «еврействующего» писателя.

Каждое его острое общественное выступление, обличающее политику русского правительства или же высмеивающее не лучшие проявления русского характера, вызывало злобную реакцию правой прессы. Но дело здесь было вовсе не в том, что Аверченко подтрунивал над некоторыми человеческими слабостями. Произведения Аверченко вызывали неприязнь в правом лагере, поскольку делали очевидным, что именно существующий режим, условия существования повинны в темноте, безграмотности народа, в культивировании не лучших его черт («Русская история», «Хлопотливая нация», «Отцы и дети», «Корибу», «Полевые работы», «Виктор Поликарпович», «Провокатор», «Робинзоны»).

Но, хотя многие злободневные в ту пору рассказы и фельетоны, освещающие определенные политические события, и сохранили значимость и интерес и по сей день, все же наибольшей привлекательностью для нас и свежестью об-

ладают те произведения писателя, в которых он обращается к особенностям человеческих характеров, не связанных ни с определенной общественной системой, ни с эпохой. Да, разумеется, они по-разному проявляются в тех или иных конкретно-исторических условиях, но не исчезают, сохраняя свое богатство и разнообразие.

При чтении рассказов Аверченко нас поражает необыкновенное знание жизни и человеческой природы. Среди его персонажей люди самых разных профессий, социальной и национальной принадлежности. И каждый герой живет своей жизнью, проявляет свой собственный характер, обрисованный автором лаконично и правдиво. Писатель Василий Покойников («История одного рассказа»), помощник счетовода Матвей Петрович Химиков («Страшный человек»), инспектор уездного училища Бельмесов в одноименном рассказе, гимназист Furthermore Поползухин («Кривые Углы»), Зоя («Обыкновенная женщина»), бедный родственник Степа («Индейка с каштанами») — несколькими фразами Аверченко создает индивидуальные, запоминающиеся портреты людей.

Форма рассказов Аверченко проста и естественна, действие развивается, как правило, быстро и без лишних подробностей, если же они появляются, то лишь для того, чтобы создать дополнительный юмористический эффект (а значит — уже не лишние), и при этом детали, которые приводит Аверченко, всегда подмечены безошибочно.

Яркость, бьющая через край веселость Аверченко запечатлены в одном из стихотворений В.В. Маяковского:

А там, где кончается звездочки точка,
месяц улыбается и заверчен, как
будто на небе строчка
из Аверченко...[1]

Было бы неверным ограничить творчество, как и саму личность Аверченко, лишь сферой юмора. Уже современники писателя отмечали это. «... Реальное лицо самого Аверченко никогда не было таким беззаботным, каким оно представлялось читателю», — отмечал Скиталец[2] «В нем сочеталась внешняя беспечность с внутренней серьезностью»[3], — вспоминал Петр Пильский.

[1] Маяковский В.В. Полн. собр. соч.: В 13 т. Т. 1. — М., 1955. — С. 91.
[2] Скиталец. Река забвения. ЦГАЛИ, ф. 484, оп. 3, ед. хр. 20, л. 25.
[3] Пильский П. // Сегодня. 1925. 27 марта.

Эта внутренняя серьезность явственно проглядывала сквозь насмешливую ткань таких рассказов, как «Отец», «Обыкновенная женщина», «Семь часов вечера». «Веселый вечер», «Трава, примятая сапогами», да и многих других.

О богатстве внутреннего мира писателя, многогранности его души и таланта свидетельствуют его рассказы о детях и для детей. Аверченко не был женат, детей не имел, но он любил их, и они отвечали ему взаимностью. Три книги рассказов — «О маленьких — для больших», «Шалуны и ротозеи», «Дети» — далеко не исчерпывают всего того, что написано Аверченко о детях.

Он до мельчайших деталей смог постичь психологию детей, научился (или же просто не разучился, сохранив это знание до конца своих дней) говорить их языком о понятных и волнующих их вещах, выразил забавные, трогательные стороны детской души, ее наивность, доверчивость, жажду человеческого тепла.

* * *

В полной мере творчество Аверченко еще не изучено, не оценено. Одно несомненно — это крупное, самобытное явление в русской литературе. Он создал свой жанр. Его лаконичный и чеканный по форме рассказ отличается, как правило, психологически и социально глубоким содержанием. С исключительным мастерством пользовался Аверченко богатством, гибкостью, изяществом и силой русского языка.

Влияние, которое он оказал на отечественную сатиру и юмористику, огромно. Влияние это, сознаваемое или неосознанное, признаваемое или отвергаемое, воплотилось в слове, в образах, в сюжетах у таких разных писателей, как Мих. Зощенко, Пант. Романов, Ильф и Петров, Гр. Горин... Разумеется, речь идет не о прямых заимствованиях, но достаточно сравнить «Роковой выигрыш» Аверченко и «Козу» Зощенко, «Бедствие» Аверченко и «Стихийное бедствие» П. Романова, образ Подходцева, «скептика, атеиста, мистификатора», проявляющего в трудную минуту «ту спокойную наглость, которая так часто вывозит в жизни», с образом великого комбинатора Остапа Бендера, «Юмор для дураков» Аверченко и «Повязку на ноге» Гр. Горина, чтобы стало очевидным, что дух Аверченко, образ его мысли, направленность нашли свою материализацию в произведениях советских писателей.

Сегодня со всей очевидностью мы убеждаемся, что высший суд — суд времени — творчество Аверченко выдержало. Потому что в лучших своих произведениях писатель с изяществом и внешней простотой вскрывал глубинные пласты человеческой души и отношений человека в обществе, потому что он привлекал внимание к тем общественным порокам и нравственным изъянам, которые сохранились в человечестве на протяжении тысячелетий и конечно же еще долго будут напоминать о себе — зависть, угодничество, клевета, подлость, ложь, беспринципность, стяжательство, властолюбие.

Значимость Аркадия Аверченко еще и в том, что он дал в своем многогранном, многообразном творческом наследии юмористическо-сатирическую энциклопедию русской жизни первых десятилетий XX столетия, той поры, представляющейся сегодня такой туманно-далекой, но знание которой, даже в веселой и легкой форме, помогает осознать настоящее и задуматься о грядущем. Мы убеждаемся, что перед нами не смехач, пересмешник, зубоскал и даже не просто Король смеха, каковым признавали его современники, а художник, глубоко постигший душу человека (пусть даже маленького, а иногда и мелкого), чутко улавливавший тончайшие нюансы взрослой и детской психологии, виртуозно владевший словом, что позволяло ему как бы играючи, легко, незаметно для глаз, подобно фокуснику, создавать атмосферу живой жизни.

Ныне вполне справедливо признать Аркадия Аверченко классиком русской литературы XX века. Его читают более чем на 20 языках — от арабского до идиш, и число публикаций его книг перевалило далеко за полтысячи. О нем написаны книги, защищаются диссертации, по его произведениям снимаются фильмы, ставятся спектакли. И в каждую новую эпоху его творчество по-прежнему актуально, как и век назад. И, думается, сохранит интерес и привлекательность для будущих поколений читателей. Он ставил вопросы относительно многих областей общественной и частной жизни и пусть не всегда правильно отвечал на них — ведь писатель не ученый, но зато указывал болевые точки и предоставлял человеку самому находить достойное решение.

Ст. Никоненко

ВЕСЁЛЫЕ УСТРИЦЫ
(1910)





Автобиография

Еще за пятнадцать минут до рождения я не знал, что появлюсь на белый свет. Это само по себе пустячное указание я делаю лишь потому, что желаю опередить на четверть часа всех других замечательных людей, жизнь которых с утомительным однообразием описывалась непременно с момента рождения. Ну вот.

Когда акушерка преподнесла меня отцу, он с видом знатока осмотрел то, что я из себя представлял, и воскликнул:

— Держу пари на золотой, что это мальчишка!

«Старая лисица! — подумал я, внутренне усмехнувшись, — ты играешь наверняка».

С этого разговора и началось наше знакомство, а потом и дружба.

Из скромности я остерегусь указать на тот факт, что в день моего рождения звонили в колокола и было всеобщее народное ликование. Злые языки связывали это ликование с каким-то большим праздником, совпавшим с днем моего появления на свет, но я до сих пор не понимаю, при чем здесь еще какой-то праздник?

Приглядевшись к окружающему, я решил, что мне нужно первым долгом вырасти. Я исполнял это с таким тщанием, что к восьми годам увидел однажды отца берущим меня за руку. Конечно, и до этого отец неоднократно брал меня за указанную конечность, но предыдущие попытки являлись не более как реальными симптомами отеческой ласки. В настоящем же случае он, кроме того, нахлобучил на головы себе и мне по шляпе — и мы вышли на улицу.

— Куда это нас черти несут? — спросил я с прямизной, всегда меня отличавшей.

— Тебе надо учиться.

— Очень нужно! Не хочу учиться.

— Почему?

Чтобы отвязаться, я сказал первое, что пришло в голову:

— Я болен.

— Что у тебя болит?

Я перебрал на память все свои органы и выбрал самый нежный:

— Глаза.

— Гм... Пойдем к доктору.

Когда мы явились к доктору, я наткнулся на него, на его пациента и свалил маленький столик.

— Ты, мальчик, ничего решительно не видишь?

— Ничего, — ответил я, утаив хвост фразы, который докончил в уме: «... хорошего в ученье».

Так я и не занимался науками.

* * *

Легенда о том, что я мальчик больной, хилый, который не может учиться, росла и укреплялась, и больше всего заботился об этом я сам.

Отец мой, будучи по профессии купцом, не обращал на меня никакого внимания, так как по горло был занят хлопотами и планами: каким бы образом поскорее разориться? Это было мечтой его жизни, и нужно отдать ему полную справедливость — добрый старик достиг своих стремлений самым безукоризненным образом. Он это сделал при соучастии целой плеяды воров, которые обворовывали его магазин, покупателей, которые брали исключительно и планомерно в долг, и — пожаров, испепелявших те из отцовских товаров, которые не были растащены ворами и покупателями.

Воры, пожары и покупатели долгое время стояли стеной между мной и отцом, и я так и остался бы неграмотным, если бы старшим сестрам не пришла в голову забавная, сулившая им массу новых ощущений мысль: заняться моим образованием. Очевидно, я представлял из себя лакомый кусочек, так как из-за весьма сомнительного удовольствия осветить мой ленивый мозг светом знания сестры не только спорили, но однажды даже вступили врукопашную, и резуль-

тат схватки — вывихнутый палец — нисколько не охладил преподавательского пыла старшей сестры Любы.

Так — на фоне родственной заботливости, любви, пожаров, воров и покупателей — совершался мой рост и развивалось сознательное отношение к окружающему.

* * *

Когда мне исполнилось 15 лет, отец, с сожалением распростившийся с ворами, покупателями и пожарами, однажды сказал мне:

— Надо тебе служить.

— Да я не умею, — возразил я, по своему обыкновению выбирая такую позицию, которая могла гарантировать мне полный и безмятежный покой.

— Вздор! — возразил отец. — Сережа Зельцер не старше тебя, а он уже служит!

Этот Сережа был самым большим кошмаром моей юности. Чистенький, аккуратный немчик, наш сосед по дому, Сережа с самого раннего возраста ставился мне в пример как образец выдержанности, трудолюбия и аккуратности.

— Посмотри на Сережу, — говорила печально мать. — Мальчик служит, заслуживает любовь начальства, умеет поговорить, в обществе держится свободно, на гитаре играет, поет... А ты?

Обескураженный этими упреками, я немедленно подходил к гитаре, висевшей на стене, дергал струну, начинал визжать пронзительным голосом какую-то неведомую песню, старался «держаться свободнее», шаркая ногами по стенам, но все это было слабо, все было второго сорта. Сережа оставался недосягаем!

— Сережа служит, а ты еще не служишь... — упрекнул меня отец.

— Сережа, может быть, дома лягушек ест, — возразил я, подумав. — Так и мне прикажете?

— Прикажу, если понадобится! — гаркнул отец, стуча кулаком по столу. — Черрт возьми! Я сделаю из тебя шелкового!

Как человек со вкусом, отец из всех материй предпочитал шелк, и другой материал для меня казался ему неподходящим.

* * *

Помню первый день моей службы, которую я должен был начать в какой-то сонной транспортной конторе по перевозке кладей.

Я забрался туда чуть ли не в восемь часов утра и застал только одного человека в жилете без пиджака, очень приветливого и скромного.

«Это, наверное, и есть главный агент», — подумал я.

— Здравствуйте! — сказал я, крепко пожимая ему руку. — Как делишки?

— Ничего себе. Садитесь, поболтаем!

Мы дружески закурили папиросы, и я завел дипломатичный разговор о своей будущей карьере, рассказав о себе всю подноготную.

Неожиданно сзади нас раздался резкий голос:

— Ты что же, болван, до сих пор даже пыли не стер?!

Тот, в ком я подозревал главного агента, с криком

испуга вскочил и схватился за пыльную тряпку. Начальнический голос вновь пришедшего молодого человека убедил меня, что я имею дело с самим главным агентом.

— Здравствуйте, — сказал я. — Как живете-можете? (Общительность и светскость по Сереже Зельцеру.)

— Ничего, — сказал молодой господин. — Вы наш новый служащий? Ого! Очень рад!

Мы дружески разговорились и даже не заметили, как в контору вошел человек средних лет, схвативший молодого господина за плечо и резко крикнувший во все горло:

— Так-то вы, дьявольский дармоед, заготовляете реестра? Выгоню я вас, если будете лодырничать!

Господин, принятый мною за главного агента, побледнел, опустил печально голову и побрел за свой стол. А главный агент опустился в кресло, откинулся на спинку и стал преважно расспрашивать меня о моих талантах и способностях.

«Дурак я, — думал я про себя. — Как я мог не разобрать раньше, что за птицы мои предыдущие собеседники. Вот этот начальник — так начальник! Сразу уж видно!»

В это время в передней послышалась возня.

— Посмотрите, кто там? — попросил меня главный агент.

Я выглянул в переднюю и успокоительно сообщил:

— Какой-то плюгавый старичишка стягивает пальто.

Плюгавый старичишка вошел и закричал:

— Десятый час, а никто из вас ни черта не делает!! Будет ли когда-нибудь этому конец?!

Предыдущий важный начальник подскочил в кресле как мяч, а молодой господин, названный им до того «лодырем», предупредительно сообщил мне на ухо:

— Главный агент притащился.

Так я начал свою службу.

Прослужил я год, все время самым постыдным образом плетясь в хвосте Сережи Зельцера. Этот юноша получал 25 рублей в месяц, когда я получал 15, а когда и я дослужился до 25 рублей, ему дали 40. Ненавидел я его, как какого-то отвратительного, вымытого душистым мылом паука...

Шестнадцати лет я расстался со своей сонной транспортной конторой и уехал из Севастополя (забыл сказать — это моя родина) на какие-то каменноугольные рудники. Это место было наименее для меня подходящим, и потому, вероятно, я и очутился там по совету своего опытного в житейских передрягах отца...

Это был самый грязный и глухой рудник в свете. Между осенью и другими временами года разница заключалась лишь в том, что осенью грязь была там выше колен, а в другое время — ниже.

И все обитатели этого места пили как сапожники, и я пил не хуже других. Население было такое небольшое, что одно лицо имело целую уйму должностей и занятий. Повар Кузьма был в то же время и подрядчиком, и попечителем рудничной школы, фельдшер был акушеркой, а когда я впервые пришел к известнейшему в тех краях парикмахеру, жена его просила меня немного обождать, так как супруг ее пошел вставлять кому-то стекла, выбитые шахтерами в прошлую ночь.

Эти шахтеры (углекопы) казались мне тоже престранным народом: будучи большей частью беглыми с каторги, паспортов они не имели и отсутствие этой непременной принадлежности российского гражданина заливали с горестным видом и отчаянием в душе — целым морем водки.

Вся их жизнь имела такой вид, что рождались они для водки, работали и губили свое здоровье непосильной работой — ради водки и отправлялись на тот свет при ближайшем участии и помощи той же водки.

Однажды ехал я перед Рождеством с рудника в ближайшее село и видел ряд черных тел, лежавших без движения на всем протяжении моего пути; попадались по двое, по трое через каждые 20 шагов.

— Что это такое? — изумился я...

— А шахтеры, — улыбнулся сочувственно возница. — Горилку куповалы у селе. Для Божьего праздничку.

— Ну?

— Тай не донесли. На мисти высмоктали. Ось как!

Так мы и ехали мимо целых залежей мертвецки пьяных людей, которые обладали, очевидно, настолько слабой волей, что не успевали даже добежать до дому, сдаваясь охватившей их глотки палящей жажде там, где эта жажда их застигала. И лежали они в снегу, с черными бессмысленными лицами, и если бы я не знал дороги до села, то нашел бы ее по этим гигантским черным камням, разбросанным гигантским мальчиком-с-пальчиком на всем пути.

Народ это был, однако, по большей части крепкий, закаленный, и самые чудовищные эксперименты над своим телом обходились ему сравнительно дешево. Проламывали друг другу головы, уничтожали начисто носы и уши, а один смельчак даже взялся однажды на заманчивое пари (без сомнения — бутылка водки) съесть динамитный патрон. Проделав это, он в течение двух-трех дней, несмотря на сильную рвоту, пользовался самым бережливым и заботливым вниманием со стороны товарищей, которые все боялись, что он взорвется.

По миновании же этого странного карантина — был он жестоко избит.

Служащие конторы отличались от рабочих тем, что меньше дрались и больше пили. Все это были люди, по большей части отвергнутые всем остальным светом за бездарность и неспособность к жизни, и, таким образом, на нашем маленьком, окруженном неизмеримыми степями островке собралась самая чудовищная компания глупых, грязных и бездарных алкоголиков, отбросов и обгрызков брезгливого белого света.

Занесенные сюда гигантской метлой Божьего произволения, все они махнули рукой на внешний мир и стали жить как Бог на душу положит. Пили, играли в карты, ругались прежестокими отчаянными словами и во хмелю пели что-то

настойчивое тягучее и танцевали угрюмо-сосредоточенно, ломая каблуками полы и извергая из ослабевших уст целые потоки хулы на человечество.

В этом и состояла веселая сторона рудничной жизни. Темные ее стороны заключались в каторжной работе, шагании по глубочайшей грязи из конторы в колонию и обратно, а также в отсиживании в кордегардии по целому ряду диковинных протоколов, составленных пьяным урядником.

* * *

Когда правление рудников было переведено в Харьков, туда же забрали и меня, и я ожил душой и окреп телом...

По целым дням бродил я по городу, сдвинув шляпу набекрень и независимо насвистывая самые залихватские мотивы, подслушанные мною в летних шантанах — месте, которое восхищало меня сначала до глубины души.

Работал я в конторе преотвратительно и до сих пор недоумеваю: за что держали меня там шесть лет, ленивого, смотревшего на работу с отвращением и по каждому поводу вступавшего не только с бухгалтером, но и с директором в длинные, ожесточенные споры и полемику.

Вероятно, потому, что был я превеселым, радостно глядящим на широкий Божий мир человеком, с готовностью откладывавшим работу для смеха, шуток и ряда замысловатых анекдотов, что освежало окружающих, погрязших в работе, скучных счетах и дрязгах.

* * *

Литературная моя деятельность была начата в 1904[1] году и была она, как мне казалось, сплошным триумфом. Во-первых, я написал рассказ... Во-вторых, я отнес его в «Южный край».

[1] В «Автобиографии», предпосланной сборнику «Веселые устрицы» (1910), первое выступление Аверченко в печати ошибочно датируется 1905 годом. В 24-м издании сборника, по которому воспроизводится текст, сам автор исправляет дату на 1904 год. В действительности же, как это явствует из дальнейшего текста и подтверждается разысканиями В. Сурмило, наиболее вероятен 1902 год. (*Примеч. сост.*).

И в-третьих (до сих пор я того мнения, что в рассказе это самое главное), в-третьих, он был напечатан!

Гонорар я за него почему-то не получил, и это тем более несправедливо, что едва он вышел в свет, как подписка и розница газеты сейчас же удвоилась...

Те же самые завистливые, злые языки, которые пытались связать день моего рождения с каким-то еще другим праздником, связали и факт поднятия розницы с началом русско-японской войны.

Ну, да мы-то, читатель, знаем с вами, где истина...

Написав за два года четыре рассказа, я решил, что поработал достаточно на пользу родной литературы, и решил основательно отдохнуть, но подкатился 1905 год и, подхватив меня, закрутил меня, как щепку.

Я стал редактировать журнал «Штык», имевший в Харькове большой успех, и совершенно забросил службу... Лихорадочно писал я, рисовал карикатуры, редактировал и корректировал и на девятом номере дорисовался до того, что генерал-губернатор Пешков оштрафовал меня на 500 рублей, мечтая, что немедленно заплачу их из карманных денег.

Я отказался по многим причинам, главные из которых были: отсутствие денег и нежелание потворствовать капризам легкомысленного администратора.

Увидев мою непоколебимость (штраф был без замены тюремным заключением), Пешков спустил цену до 100 рублей.

Я отказался.

Мы торговались, как маклаки, и я являлся к нему чуть не десять раз. Денег ему так и не удалось выжать из меня!

Тогда он, обидевшись, сказал:

— Один из нас должен уехать из Харькова!

— Ваше превосходительство! — возразил я. — Давайте предложим харьковцам: кого они выберут?

Так как в городе меня любили и даже до меня доходили смутные слухи о желании граждан увековечить мой образ постановкой памятника, то г. Пешков не захотел рисковать своей популярностью.

И я уехал, успев все-таки до отъезда выпустить 3 номера журнала «Меч», который был так популярен, что экземпляры его можно найти даже в Публичной библиотеке.

* * *

В Петроград я приехал как раз на Новый год.

Опять была иллюминация, улицы были украшены флагами, транспарантами и фонариками. Но я уж ничего не скажу! Помолчу.

И так меня иногда упрекают, что я думаю о своих заслугах больше, чем это требуется обычной скромностью. А я, — могу дать честное слово, — увидев всю эту иллюминацию и радость, сделал вид, что совершенно не замечаю невинной хитрости и сентиментальных, простодушных попыток муниципалитета скрасить мой первый приезд в большой незнакомый город... Скромно, инког-нито, сел на извозчика и инкогнито поехал на место своей новой жизни.

И вот — начал я ее.

Первые мои шаги были связаны с основанным нами журналом «Сатирикон», и до сих пор я люблю, как собственное дитя, этот прекрасный, веселый журнал (в год 8 руб., на полгода 4 руб.).

Успех его был наполовину моим успехом, и я с гордостью могу сказать теперь, что редкий культурный человек не знает нашего «Сатирикона» (на год 8 руб., на полгода 4 руб.).

В этом месте я подхожу уже к последней, ближайшей эре моей жизни, и я не скажу, но всякий поймет, почему я в этом месте умолкаю.

Из чуткой, нежной, до болезненности нежной скромности, я умолкаю.

Не буду перечислять имена тех лиц, которые в последнее время мною заинтересовались и желали со мной познакомиться. Но если читатель вдумается в истинные причины приезда славянской депутации, испанского инфанта и президента Фальера, то, может быть, моя скромная личность, упорно державшаяся в тени, получит совершенно другое освещение...

I

В свободной России

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ ИВАНОВА

Однажды беспартийный житель Петербурга Иванов вбежал, бледный, растерянный, в комнату жены и, выронив газету, схватился руками за голову.

— Что с тобой? — спросила жена.

— Плохо! — сказал Иванов. — Я левею.

— Не может быть! — ахнула жена. — Это было бы ужасно... тебе нужно лечь в постель, укрыться теплым и натереться скипидаром.

— Нет... что уж скипидар! — покачал головой Иванов и посмотрел на жену блуждающими, испуганными глазами. — Я левею!

— С чего же это у тебя, горе ты мое?! — простонала жена.

— С газеты. Встал я утром — ничего себе, чувствовал все время беспартийность, а взял случайно газету...

— Ну?

— Смотрю, а в ней написано, что в Ченстохове губернатор запретил читать лекцию о добывании азота из воздуха... И вдруг — чувствую я, что мне его не хватает...

— Кого это?

— Да воздуху же!.. Подкатило под сердце, оборвалось, дернуло из стороны в сторону... Ой, думаю, что бы это? Да тут же и понял: левею!

— Ты б молочка выпил... — сказала жена, заливаясь слезами.

— Какое уж там молочко... Может, скоро баланду хлебать буду!

Жена со страхом посмотрела на Иванова.

— Левеешь?

— Левею...

— Может, доктора позвать?
— При чем тут доктор?!
— Тогда, может, пристава пригласить?
Как все почти больные, которые не любят, когда посторонние подчеркивают опасность их положения, Иванов тоже нахмурился, засопел и недовольно сказал:
— Я уж не так плох, чтобы пристава звать. Может быть, отойду.
— Дай-то Бог,— всхлипнула жена.
Иванов лег в кровать, повернулся лицом к стене и замолчал.
Жена изредка подходила к дверям спальни и прислушивалась. Было слышно, как Иванов, лежа на кровати, левел.

* * *

Утро застало Иванова осунувшимся, похудевшим... Он тихонько пробрался в гостиную, схватил газету и, убежав в спальню, развернул свежий газетный лист.
Через пять минут он вбежал в комнату жены и дрожащими губами прошептал:
— Еще полевел! Что оно будет — не знаю!
— Опять небось газету читал,— вскочила жена.— Говори! Читал?
— Читал... В Риге губернатор оштрафовал газету за указание очагов холеры...
Жена заплакала и побежала к тестю.
— Мой-то...— сказала она, ломая руки.— Левеет.
— Быть не может?! — воскликнул тесть.
— Верное слово. Вчерась с утра был здоров, беспартийность чувствовал, а потом оборвалась печенка и полевел!
— Надо принять меры,— сказал тесть, надевая шапку.— Ты у него отними и спрячь газеты, а я забегу в полицию, заявку господину приставу сделаю.

* * *

Иванов сидел в кресле, мрачный, небритый, и на глазах у всех левел. Тесть с женой Иванова стояли в углу, молча смотрели на Иванова, и в глазах их сквозили ужас и отчаяние.
Вошел пристав.

Он потер руки, вежливо раскланялся с женой Иванова и спросил мягким баритоном:

— Ну, как наш дорогой больной?

— Левеет!

— А-а! — сказал Иванов, поднимая на пристава мутные, больные глаза.— Представитель отживающего полицейско-бюрократического режима! Нам нужна закономерность...

Пристав взял его руку, пощупал пульс и спросил:

— Как вы себя сейчас чувствуете?

— Мирнообновленцем!

Пристав потыкал пальцем в голову Иванова:

— Не готово еще... Не созрел! А вчера как вы себя чувствовали?

— Октябристом,— вздохнул Иванов.— До обеда — правым крылом, а после обеда левым...

— Гм... плохо! Болезнь прогрессирует сильными скачками...

Жена упала тестю на грудь и заплакала.

— Я, собственно,— сказал Иванов,— стою за принудительное отчуждение частновладельч...

— Позвольте! — удивился пристав.— Да это кадетская программа...

Иванов с протяжным стоном схватился за голову.

— Значит... я уже кадет!

— Все левеете?

— Левею. Уходите! Уйдите лучше... А то я на вас все смотрю и левею.

Пристав развел руками... Потом на цыпочках вышел из комнаты.

Жена позвала горничную, швейцара и строго запретила им приносить газеты. Взяла у сына томик «Робинзона Крузо» с раскрашенными картинками и понесла мужу.

— Вот... почитай. Может, отойдет.

* * *

Когда она через час заглянула в комнату мужа, то всплеснула руками и, громко закричав, бросилась к нему.

Иванов, держась за ручки зимней оконной рамы, жадно прильнул глазами к этой раме и что-то шептал...

— Господи! — воскликнула несчастная женщина.

— Я и забыла, что у нас рамы газетами оклеены... Ну, успокойся, голубчик, успокойся! Не смотри на меня такими глазами... Ну, скажи, что ты там прочел? Что там такое?

— Об исключении Колюбакина... Ха-ха-ха! — проревел Иванов, шатаясь, как пьяный. — Отречемся от старого ми-и-и...

В комнату вошел тесть.

— Кончено! — прошептал он, благоговейно снимая шапку. — Беги за приставом...

* * *

Через полчаса Иванов, бледный, странно вытянувшийся, лежал в кровати со сложенными на груди руками. Около него сидел тесть и тихо читал под нос эрфуртскую программу. В углу плакала жена, окруженная перепуганными, недоумевающими детьми.

В комнату вошел пристав.

Стараясь не стучать сапогами, он подошел к постели Иванова, пощупал ему голову, вынул из его кармана пачку прокламаций, какой-то металлический предмет и, сокрушенно качнув головой, сказал:

— Готово! Доспел.

Посмотрел с сожалением на детей, развел руками и сел писать проходное свидетельство до Вологодской губернии.

КТО ЕЕ ПРОДАЛ...

I

Не так давно «Русское знамя» разоблачило кадетскую газету «Речь»... «Русское знамя» доказало, что вышеозначенная беспринципная газета открыто и нагло продает Россию Финляндии, получая за это от финляндцев большие деньги.

Совсем недавно беспощадный ослепительный прожектор «Русского знамени» перешел с газет на частных лиц, попал на меня, осветил все мои дела и поступки и обнаружил, что я, в качестве еврействующего журналиста, тоже подкуплен и — продаю свою отчизну оптом и в розницу, систематически ведя ее к распаду и гибели.

Узнав, что маска с меня сорвана, я сначала хотел было увернуться, скрыть свое участие в этом деле, замаскировать

как-нибудь те факты, которые вопиюще громко кричат против меня, но ведь все равно: рано или поздно все выплывет наружу, и для меня это будет еще тяжелее, еще позорнее.

Лучше же я расскажу все сам.

Добровольное признание — это все, что может если не спасти меня, то, хотя частью, облегчить мою вину...

Дело было так:

II

Однажды служанка сообщила мне, что меня хотят видеть два господина по очень важному делу.

— Кто же они такие? — полюбопытствовал я.

— Будто иностранцы. Один как будто из чухонцев, такой белесый, а другой маленький, косой, черный. Не иначе — японец.

Два господина вошли и, подозрительно оглядев комнату, поздоровались со мной.

— Чем могу служить?

— Я — прикомандированный к японскому посольству маркиз Оцупа.

— А я,— сказал блондин, небрежно играя финским ножом,— уполномоченный от финляндской революционной партии «Война». Моя фамилия Муляйнен.

— Я вас слушаю,— кивнул я головой.

Маркиз толкнул своего соседа локтем, нагнулся ко мне и, пронзительно глядя мне в глаза, прошептал:

— Скажите... Вы не согласились бы продать нам Россию?

Мой отец был купцом, и у меня на всю жизнь осталась от него наследственная коммерческая жилка.

— Это смотря как...— прищурился я.— Продать можно. Отчего не продать?.. Только какая ваша цена будет?

— Цену мы дадим вам хорошую,— отвечал маркиз Оцупа.— Не обидим. Только уж и вы не запрашивайте.

— Запрашивать я не буду,— хладнокровно пожал я плечами.— Но ведь нужно же понимать и то, что я вам продаю. Согласитесь сами, что это не мешок картофеля, а целая громадная страна. И притом — нужно добавить — горячо мною любимая.

— Ну, уж и страна!..— иронически усмехнулся Муляйнен.

— Да-с! Страна! — горячо вскричал я.— Побольше вашей, во всяком случае... Свыше пятидесяти губерний, две столицы, реки какие! Железные дороги! Громадное народонаселение, занимающееся хлебопашеством! Пойдите-ка, поищите в другом месте.

— Так-то так,— обменявшись взглядом с Муляйненом, возразил японец,— да ведь страна-то разорена... сплошное нищенство...

— Как хотите,— холодно проворчал я.— Не нравится — не берите!

— Нет, мы бы взяли, все-таки... Нам она нужна. Вы назовите вашу цену.

Я взял карандаш, придвинул бумагу и стал долго и тщательно высчитывать. Потом поднял от бумаги голову и решительно сказал:

— Десять миллионов.

Оба вскочили и в один голос воскликнули:

— Десять миллионов?!

— Да.

— За Россию?!

— Да.

— Десять миллионов рублей?!

— Да. Именно рублей. Не пфеннигов, не франков, а рублей.

— Это сумасшедшая цена.

— Сами вы сумасшедшие! — сердито закричал я. — Этакая страна за десять миллионов — это почти даром. За эти деньги вы имеете чуть не десяток морей, уйму рек, пути сообщения... Не забывайте, что за эту же цену вы получаете и Сибирь — эту громадную богатейшую страну!

Маркиз Оцупа слушал меня, призадумавшись.

— Хотите пять миллионов?

— Пять миллионов? — рассмеялся я.— Вы бы мне еще пять рублей предложили! Впрочем, если хотите, я вам за пять рублей отдам другую Россию, только поплоше. В кавычках.

— Нет,— покачал головой Муляйнен.— Эту и за пять копеек не надо. Вот что... хотите семь миллионов — ни копейки больше!

— Очень даже странно, что вы торгуетесь,— обидчиво поежился я.— Покупают то, что самое дорогое для истинного патриота, да еще торгуются!

— Как угодно,— сказал Муляйнен, вставая.— Пойдем, Оцупа.

— Куда же вы? — закричал я.— Постойте. Я вам, так и быть, миллион сброшу. Да и то не следовало бы — уж очень страна-то хорошая. Я бы всегда на эту цену покупателя нашел... Но для первого знакомства — извольте — миллион сброшу.

— Три сбросьте!

— Держите руку,— сказал я, хлопая по протянутой руке.— Последнее слово, два сбрасываю! За восемь. Идет?

Японец придержал мою руку и сосредоточенно спросил:

— С Польшей и Кавказом?

— С Польшей и Кавказом!

— Покупаем.

Сердце мое отчего-то пребольно сжалось.

— Продано! — вскричал я, искусственным оживлением стараясь замаскировать тяжелое чувство.— Забирайте.

— Как... забирайте? — недоумевающе покосился на меня Оцупа.— Что значит «забирайте»? Мы платим вам деньги главным образом за то, чтобы вы своими фельетонами погубили Россию.

— Да для чего вам это нужно? — удивился я.

— Это уж не ваше дело. Нужно — и нужно. Так — погубите?

— Хорошо, погублю.

III

На другой день, поздно вечером к моему дому подъехало несколько подвод, и ломовики, кряхтя, стали таскать в квартиру тяжелые, битком набитые мешки.

Служанка моя присматривала за ними, записывая количество привезенных мешков с золотом и изредка уличая ломовика в том, что он потихоньку пытался засунуть в карман сто или двести тысяч; а я сидел за письменным столом и, быстро строча фельетон, добросовестно губил проданную мною родину...

* * *

Теперь — когда я окончил свою искреннюю тяжелую исповедь — у меня легче на сердце. Пусть я бессердечный

торгаш, пусть я Иуда-предатель, продавший свою родину... Но ведь — ха-ха! — восемь-то миллиончиков — ха-ха! — которые у меня в кармане — не шутка.

И теперь, в ночной тиши, когда я просыпаюсь, терзаемый странными видениями, передо мной встает и меня пугает только один страшный, кошмарный вопрос:

— Не продешевил ли я?!

РУССКАЯ ИСТОРИЯ

Посвящается
мин-ву нар. просвещения

I

Один русский студент погиб от того, что любил ботанику.

Пошел он в поле собирать растения. Шел, песенку напевал, цветочки рвал.

А с другой стороны поля показалась толпа мужиков и баб из Нижней Гоголевки.

— Здравствуйте, милые поселяне,— сказал вежливый студент, снимая фуражку и раскланиваясь.

— Здравствуй, щучий сын, чтоб тебе пусто было, — отвечали поселяне.— Ты чего?

— Благодарю вас, ничего,— говорил им студент, наклоняясь и срывая какую-то травинку.

— Ты — чего?!!

— Как видите: гербаризацией балуюсь.

— Ты — чего?!!?!

Ухо студента уловило наконец странные нотки в настойчивом вопросе мужиков.

Он посмотрел на них и увидел горящие испугом и злобой глаза, бледные лица, грязные жилистые кулаки.

— Ты — чего?!!?!

— Да что вы, братцы... Если вам цветочков жалко, я, пожалуй, отдам вам ваши цветочки...

И выдвинулся из среды мужиков мудрейший среди них старик Петр Савельев Неуважай-Корыто.

Был он старик белый, как лунь, и глупый, как колода.

— Цветочки собираешь, паршивец,— прохрипел мудрейший.— Брешет он, ребята! Холеру пущает.

Авторитет стариков, белых, как лунь, и глупых, как колода, всегда высоко стоял среди поселян...

— Правильно, Савельич!.. Хватай его, братцы... Заходи оттелева!

Студент завопил.

— Визгани, визгани еще, чертов сын! Может, дьявол — твой батя — и придет тебе на выручку. Обыскивай его, дядя Миняй! Нет ли порошку какого?

Порошок нашелся.

Хотя он был зубной, но так как чистка зубов у поселян села Гоголевки происходила всего раз в неделю у казенной винной лавки, и то — самым примитивным способом, то культурное завоевание, найденное у студента в кармане завернутым в бумажку, с наглядностью удостоверило в глазах поселян злокозненность студента.

— Вот он, порошок-то! Холерный... Как, ребята, располагаете: потопить парня или так, помять?

Обе перспективы показались настолько не заманчивыми для студента, что он сказал:

— Что вы, господа! Это простой зубной порошок. Он не вредный... Ну, хотите — я съем его?

— Брешешь! Не съешь!..

— Уверяю вас! Съем — и мне ничего не будет.

— Все равно погибать ему, братцы. Пусть слопает!

Студент сел посредине замкнутого круга и принялся уписывать за обе щеки зубной порошок.

Более сердобольные бабы, глядя на это, плакали навзрыд и шептали про себя:

— Смерть-то какую, болезный, принимает! Молоденький такой... а без покаяния.

— Весь! — сказал студент, показывая пустой пакетик.

— Ешь и бумагу,— решил Петр Савельев, белый, как лунь, и глупый, как колода.

По газетным известиям, насыщение студента остановилось на зубном порошке, после чего его якобы отпустили.

А на самом деле было не так: студент, морщась, проглотил пустой пакетик, после чего его стали снова обыскивать: нашли записную книжку, зубочистку и флакон с гуммиарабиком.

— Ешь! — приказал распорядитель неприхотливого студенческого обеда, Неуважай-Корыто.

Студент хотел поблагодарить, указавши на то, что он сыт, но когда увидел наклонившиеся к нему решительные бородатые лица, то безмолвно принялся за записную книжку. Покончив с ней, раздробил крепкими молодыми зубами зубочистку, запил гуммиарабиком и торжествующе сказал:

— Видите, господа? Не прав ли я был, утверждая, что это совершенно безопасные вещи?..

— Видимое дело,— сказал добродушный мужик по прозванию Коровий-Кирпич.— Занапрасну скубента изобидели.

— Темный вы народ,— сказал студент, вздыхая.

Ему бы нужно было, ругнувши мужиков, раскланяться с ними и удалиться, но студента погубило то, что он был интеллигент до мозга костей.

— Темный вы народ! — повторил он.— Знаете ли вы, например, что эпидемия холеры распространяется не от порошков, а от маленьких таких штучек, которые бывают в воде, на плодах и овощах,— так называемых вибрионов, столь маленьких, что на капле воды их гораздо больше, чем несколько тысяч.

— Толкуй! — недоверчиво возразил Петр Савельев, но кое-кто сделал вид, что поверил.

В общем, настроение было настолько благожелательное, что студенту простили даже его утверждение, будто бы молния происходит от электричества и что тучи есть следствие водяных испарений, переносимых ветром с одного места на другое.

Глухой ропот поднялся лишь после совершенно неслыханного факта, что луна сама не светит, а только отражает солнечный свет.

Когда же студент осмелился нахально заявить, что Земля круглая и что она ходит вокруг Солнца, то толпа мужиков навалилась на студента и стала бить...

Били долго, а потом утопили в реке.

Почему газеты об этом умолчали — неизвестно.

II

Выгнанный за пьянство телеграфист Васька Свищ долго слонялся по полустанку, ища какого-нибудь выхода из своего тяжелого положения.

И совершенно неожиданно выход был найден в виде измятой кокарды, оброненной между рельсами каким-то загулявшим офицером.

— Дело! — сказал Васька Свищ.

Приладил к своей телеграфистской фуражке офицерову кокарду, надел тужурку, нанял ямщика и, развалившись в кибитке, скомандовал:

— Пшел в деревню Нижняя Гоголевка! Жив-ва!!! Там заплатят.

Лихо звеня бубенцами, подлетела тройка к старостиной избе.

Васька Свищ молодцевато выскочил из кибитки и, ударив в ухо изумленного его парадным видом прохожего мужика, крикнул:

— Меррзавцы!! Запорю!! Начальство не уважаете?? Беспутничаете! Старосту сюда!!

Испуганный, перетревоженный выскочил староста.

— Чего изволишь, батюшка?

— «Батюшка»? Я тебе, рррракалия, покажу,— батюшка! Генерала не видишь? Это кто там в телеге едет?.. Ты кто? Шапку нужно снять или не надо? Как тебя?

— Ко... коровий-Кирпич.

Телеграфист нахмурился и ткнул кулаком в зубы растерявшегося Коровьего-Кирпича...

— Староста! Взять его! Впредь до разбора дела. Я покажу вам!!! Распустились тут? Староста, сбей мне мужиков сейчас: бумагу прочитать.

Через десять минут все мужики Нижней Гоголевки собрались серой испуганной, встревоженной тучей.

— Тихо! — крикнул Васька Свищ, выступая вперед.— Шапки долой! Бумага: вследствие отношения государственной интендантской комиссии санитарных образцов с приложением сургучной печати, по соглашению с эмеритурным отделом публичной библиотеки — собрать со всех крестьян по два рубля десять копеек тротуарного сбора со внесением оного в Санкт-Петербургский мировой съезд!.. Поняли, ребята! Виновные в уклонении подвергаются заключению в крепость сроком до двух лет с заменой штрафом до пятисот руб. Поняли?!

— Поняли, ваше благородие! — зашелестели мужицкие губы.

— Благо-о-родие?! — завопил телеграфист.— Мерзавцы!!! Кокарды не знаете? Установлений казенной палаты на предмет геральдики не читали?! Староста! Взять этого! И этого! Пусть посидят! Тебя как? Неуважай-Корыто? Взять!

Через час староста с поклоном вошел в избу, положил перед телеграфистом деньги и сказал робко:

— Может, оно... насчет бумаги... поглядеть бы... Касательно печати...

— Осел!!! — рявкнул телеграфист, сунул в карман деньги, брезгливо отшвырнул растерянного старосту с дороги и, выйдя на улицу, вскочил в кибитку.

— Я покажу вам, негодяи,— погрозил старосте телеграфист и скрылся в облаке пыли.

Мудрейший из мужиков Петр Савельев Неуважай-Корыто, белый, как лунь, и глупый, как колода, подошел к старосте и, почесавшись, сказал:

— С самого Петербурху. Чичас видно! Дешево отделались, робята!

ЛЮДИ

Иван Васильевич Сицилистов приподнялся на одном локте и прислушался...

— Это к нам,— сказал он задремавшей уже жене.— Наконец-то!

— Пойди, открой им. Намокши на дожде, тоже не очень приятно стоять на лестнице.

Сицилистов вскочил и, полуодетый, быстро зашагал в переднюю.

Открыв дверь, он выглянул на лестницу. Лицо его расплылось в широкую, радостную улыбку.

— Ба, ба!! А я-то — позавчера ждал, вчера... Рад. Очень рад! Милости прошу к нашему шалашу.

Вошедший впереди всех жандармский офицер зажмурился от света. Лицо его выражало самое искреннее недоумение.

— Пардон!.. Но вы, вероятно... не поняли. Мы к вам с обыском!

Хозяин залился смехом так, что закашлялся.

— Оригинал... открыл Америку! Ведь не буду же я думать, что вы пришли со мной в преферанс перекинуться.

Он весело захлопотал около пришедших.

— Позвольте пальтецо... Вам трудно снять. Ишь, как оно намокло! Теперь я вам посвечу... Осторожнее: тут порог.

Жандармский офицер и пристав недоумевающе переглянулись, и первый, потоптавшись, сказал нерешительно:

— Разрешите приступить. Вот предписание.

— Ни-ни-ни! И думать не могите! Из-под дождя, с измокшими ногами прямо за дело — этак не трудно и насморк схватить... А вот мы сейчас застрахуемся! А предписание ваше можете бабушке подарить: неужели порядочный человек не может верить порядочному человеку без предписания? Присядьте, господа! Виноват, ваше имя, отчество?

Офицер пожал плечами, отнеся этот жест к улыбавшемуся уже в усы приставу, и сказал, стараясь придать своим словам леденящий тон:

— Будучи официально уполномочен для производства обыска...

Хозяин замахал на него руками...

— Знаю, знаю!! Ах ты, Господи... Ну неужели обыск от вас уйдет? Разве же я не понимаю! Сам помогу! Но почему нам чуждаться хороших человеческих отношений?.. не правда ли, Никодим Иванович, кажется?! да? хе-хе! Узнал-с, узнал-с!! И никогда не догадаетесь — откуда?! На донышке фуражки вашей в передней прочел!! Ха-ха-ха!! Так вот... Лизочка! (Это моя жена... Превосходнейшая женщина!.. Я вас познакомлю.) Лизочка, дай нам чего-нибудь, — господам офицерам с дождя погреться!.. Ни-ни! Откажетесь — безумно меня обидите!!

Из соседней комнаты вышла прехорошенькая молодая женщина. Приводя мимоходом в порядок пышные волосы, она улыбнулась и сказала, щуря заспанные еще глазки:

— Отказать мужчине вы еще могли, но даме — фи! Это будет не по-джентльменски!

Муж представил:

— Моя жена Елизавета Григорьевна — Никодим Иваныч! Господин пристав... виноват, не имею чести...

Пристав так растерялся при виде вошедшей красавицы, что вскочил и, щелкнув каблуками, преувеличенно громко отрекомендовался:

— Крутилов, Валериан Петрович!

— Да что вы?! Очень рада. У меня сына одного Валей зовут. Лукерья!

Явившейся кухарке она приказала:

— Проведи понятых и городовых пока на кухню! Разогрей пирог, достань колбасы, огурцов... Водки там, кажется, есть с полчетверти... Одним словом, займись ими... А я похлопочу насчет их благородий!

Улыбнувшись смотревшему на нее во все глаза приставу, она выпорхнула.

Жандармский офицер, ошеломленный, открыл рот и начал:

— Извините, но...

За дверью послышался шум, возня, детские голоса, и в комнату ворвались два ликующих сорванца лет пяти-шести.

— Обыск, обыск! У нас обыск! — подпевали они в такт прыжкам таким тоном, будто радовались принесенному пирожному.

Один, топая босыми ножонками, подбежал к офицеру и ухватил его за палец.

— Здравствуй! Покатай меня на ноге так: гоп, гоп!

Отец сокрушенно покачал головой.

— Ах вы, экспроприаторы этакие! Вы уж извините их... Это их в Одессе у меня разбаловали. Обыски у меня бывали чуть не два раза в неделю... ну, для них и не было лучшего удовольствия. Подружились со всеми... Верите — шоколад стали им носить, игрушки...

Видя, что мальчик тянется губками к его рыжим длинным усам, жандармский офицер нагнулся и поцеловал его.

Другой сидел верхом на колене пристава и, рассматривая погоны, деловым тоном спрашивал:

— Сколько у тебя звездочек? А сабля — вынимается? Я в Одессе сам вынимал — ей-Богу!

Вошедшая с подносом, на котором стояли разноцветные бутылки и закуски, мать искусственно-строго заметила:

— Сколько раз я тебе говорила, что божиться — дурная привычка! Он надоедает вам — спустите его на пол.

— Ничего-с... Помилуйте! Тебя как зовут, крыса, а?

— Митей. А тебя?

Пристав рассмеялся.

— Валей. Будем знакомы.

Мать, улыбаясь гостям, наливала в рюмки коньяк и, подвигая офицеру икру, говорила:

— Милости прошу. Согрейтесь! Нам так совестно, что из-за нас вы обеспокоили себя в эту дурную погоду.

— Валя! Дай мне икры, — потребовал Митя, царапая пальцем пуговицу на сюртуке пристава.

Через час жандармский офицер, подперев кулаком щеку, курил предложенную ему хозяином сигару и слушал.

— Разногласие с меньшевиками, — объяснял хозяин, — происходит у нас главным образом из-за тактических вопросов... Затем, наше отношение к террору...

Покачивая на руках уснувшего ребенка и стараясь не шуметь, пристав пытался сесть так, чтоб спящего не раздражал свет лампы.

Городовой Харлампов муслил толстый палец и потом, хлопая картой по столу, говорил:

— А вот мы вашего короля прихлопнем! Теперича дворник — принц, а вы, Лукерья Абрамовна, — королевой будете. Вроде как бы английская Виктория. Хе-хе!

Лукерья застенчиво улыбалась, наливая пиво в пустые стаканы.

— Тоже ведь придумает эдакое... Уж сказано про вас — бюрократический режим.

ПОЧЕСТИ

В № 11981 «Нового времени» Меньшиков написал *тысячный фельетон.*

Меньшиков проснулся рано утром.

Спустил с кровати сухие, с синими жилами ноги, сунул их в туфли, вышитые и поднесенные ему в свое время Марией Горячковской, и сейчас же подошел к окну.

— Погодка, кажется, благоприятствует, — пробормотал он, с довольным видом кивнув головой, — я рад, что погода

не помешает народным массам веселиться в радостный для них день юбилея.

Одевшись, он зачерпнул из лампадки горстью масло и обильно смазал редкие, топорщившиеся волосы.

— Для ради юбилея,— прошептал он, ежась от струйки теплого масла, поползшей по сухой согнутой спине.

Через полчаса швейцар суворинского дома открыл на звонок дверь и увидел сидящего в ожидании на ступеньках лестницы Меньшикова.

— Ты чего, старичок, по парадным звонишься? — приветствовал его швейцар.— Шел бы со двора.

— День-то какой ноне, Никитушка!

— Какой день? Обыкновенный.

— Никитушка! Да ведь можешь ты понять, тысячный фельетон сегодня идет!

— Так.

— Ну, Никитушка?

— Да ты что, ровно глухарь на току топчешься? Хочешь чего, что ли?

— Поздравь меня, Никитушка.

— Экий ты несообразный старичок... С чем же мне тебя поздравлять?

— Никитушка!.. Тысячный фельетон. Сколько я за них брани и поношения принял...

— Ну, так что же?

— Поздравь меня, Никитушка.

— Эк ведь тебя растревожило. Ну, что уж с тобой делать: поздравляю.

— Спасибо, Никитушка! Я всегда прислушивался к непосредственному голосу народа. Вот обожди, я тебе на водку дам... Куда же это я капиталы засунул? Вот! Десять копеечек... Ты уж мне, Никитушка, три копеечки сдачи сдай. Семь копеечек тебе, а три копеечки мне... Хе-хе, Никитушка...

— На! Эх ты, жила.

— Не благодари, Никитушка... Ты заслужил. Это ведь говорится так — на водку, а ты бы лучше на книжку их в сберегательную кассу снес... Ей-Богу, право. Сам-то — встал?

— Встал. Иди уж. Ноги только вытри.

— К вам я, Алексей Сергеич...

— Что еще? Говорил я, кажется, что не люблю, когда ты на дом приходишь. Нехорошо,— увидать могут. Если нужно что, можешь в редакции поманить пальцем в темный уголок — попросишь, что нужно.

— День-то какой нынче, Алексей Сергеич!

— А что — дождь?

— Изволили читать сегодня? Тысячный фельетон у меня идет.

— Ну?

— Можно сказать — праздник духа.

— Да ты говори яснее: гривенником больше хочешь за строчку по этому случаю?

— За это я вашим вечным молитвенником буду... А только — день-то какой!

— Да тебе-то что нужно?

— Поздравьте, Алексей Сергеич!

— Удивляюсь... Ну скажи — зачем тебе это понадобилось?

Меньшиков переступил с ноги на ногу.

— Хочу, чтобы как у других... Тоже, если юбилей, то поздравляют.

— Глупости все выдумываешь! Иди себе с Богом!

Придя в редакцию, Меньшиков подошел к столу Розанова и протянул ему руку.

— Здравствуйте, Василь Васильич!

Близорукий Розанов приветливо улыбнулся, осмотрел протянутую руку и повел по ней взглядом до плеча Меньшикова. С плеча перешел на шею, но когда дошел до лица, то снова опустил взгляд на бумагу и стал прилежно писать.

— Я говорю: здравствуйте, Василь Васильич!

— ...Брак не есть наслаждение...— бормотал Розанов, скрипя пером.— Брак есть долг перед вечным...

От напряженного положения протянутая рука Меньшикова стала затекать. Опустить ее сразу было неловко, и он сделал вид, что ощупывает карандаш, лежавший на подставке.

— Странный карандашик... Таким карандашиком неудобно, я думаю, писать...

Меньшиков опустился на стул, рядом со столом Розанова, и беззаботно заговорил:

— А я сегодня тысячный фельетон написал. Ей-Богу. Можете поздравить, Василь Васильич... Много написал. Были большие фельетоны и маленькие были. Да-с... Сегодня меня, впрочем, уже многие поздравляли: швейцар Никита — этакий славный народный чернозем! Алексей Сергеич поздравляли...

— ...Всякое половое чувство должно быть радостным и извечным...— бормотал, начиная новую страницу, Розанов.

— Я уж так и решил, Василь Васильич: напишу тысячный фельетон о печати! Хе-хе! Изволили читать? Вы где на даче в этом году живете? Впрочем, я думаю, что разговор со мной отвлекает вас? Ухожу, ухожу. Люблю, знаете, с приятелем в беседе старое вспомнить... До свиданья, Василь Васильич...

Меньшиков протянул опять руку, подержал ее минуты три, потом потрогал пресс-папье и сказал одобрительно:

— Славное пресс-папье!

Старческими шагами побрел к кабинету А. Столыпина.

— Здравствуйте, Александр Аркадьич!

Меньшикову очень хотелось, чтобы Столыпин, хотя бы по случаю юбилея, пожал ему руку. Но старый, усталый мозг не знал — как это сделать?

Постояв минут десять у стола Столыпина, Меньшиков пустился на хитрость:

— А вы знаете — через три минуты будет дождь...

— Вечно ты, брат, чепуху выдумываешь,— проворчал Столыпин.

— Ей-Богу. Хотите пари держать?

Простодушный Столыпин попался на эту удочку.

— Да ведь проиграешь, старая крыса!

Однако руку протянул. Меньшиков с наслаждением долго мял столыпинскую руку. Когда Столыпин вырвал ее, Меньшиков хихикнул и, довольный, сказал:

— Спасибо за то, что поздравили!

Потом Меньшиков ушел из редакции и долго бродил по улицам, подслушивая, что говорит народ о его юбилее.

Никто ничего не говорил. Только в трамвае Меньшиков увидел одного человека, читавшего «Новое время». Подсел к нему и, хлопнув по своей статье, радостно засмеялся.

— Что вы думаете об этой штуке?

Читавший сказал, что он думает.

Меньшиков вышел из трамвая и долго шел без цели, бормоча про себя:

— Сам ты старый болван! Туда же — в критику пускается.

Вечером сидел у кухарки на кухне и рассказывал:

— Устал я за день от всего этого шума, поздравлений, почестей... Начиная от швейцаров — до Столыпина — все как один человек. А Столыпин... чудак, право. Схватил руку, трясет ее, трясет, пожимает,— смех, да и только! Старик тоже — увидел меня, говорит: что нужно — проси! Отведи в уголок и проси. Ей-Богу, не вру! Хочешь, говорит, набавить — набавлю. Публика тоже... В трамваях тоже... обсуждают статью.

Ночью он долго плакал.

РОБИНЗОНЫ

Когда корабль тонул, спаслись только двое:

Павел Нарымский — интеллигент.

Пров Иванович Акациев — бывший шпик...

Раздевшись догола, оба спрыгнули с тонувшего корабля и быстро заработали руками по направлению к далекому берегу.

Пров доплыл первым. Он вылез на скалистый берег, подождал Нарымского и, когда тот, задыхаясь, стал вскарабкиваться по мокрым камням, строго спросил его:

— Ваш паспорт!

Голый Нарымский развел мокрыми руками:

— Нету паспорта. Потонул.

Акациев нахмурился.

— В таком случае я буду принужден... — Нарымский ехидно улыбнулся.

— Ага... Некуда!

Пров зачесал затылок, застонал от тоски и бессилия и потом молча, голый и грустный, побрел в глубь острова.

Понемногу Нарымский стал устраиваться. Собрал на берегу выброшенные бурей обломки и некоторые вещи с корабля и стал устраивать из обломков — дом.

Пров сумрачно следил за ним, прячась за соседним утесом и потирая голые худые руки. Увидев, что Нарымский уже возводит деревянные стены, Акациев, крадучись, приблизился к нему и громко закричал:

— Ага! Попался! Вы это что делаете?

Нарымский улыбнулся.

— Предварилку строю.

— Нет, нет... Это вы дом строите! Хорошо-с!.. А вы строительный устав знаете?

— Ничего я не знаю.

— А разрешение строительной комиссии в рассуждении пожара у вас имеется?

— Отстанете вы от меня?..

— Нет-с, не отстану. Я вам запрещаю возводить эту постройку без разрешения.

Нарымский, уже не обращая на Прова внимания, усмехнулся и стал прилаживать дверь.

Акациев тяжко вздохнул, постоял и потом тихо поплелся в глубь острова.

Выстроив дом, Нарымский стал устраиваться в нем как можно удобнее. На берегу он нашел ящик с книгами, ружье и бочонок солонины.

Однажды, когда Нарымскому надоела вечная солонина, он взял ружье и углубился в девственный лес, с целью настрелять дичи.

Все время сзади себя он чувствовал молчаливую, бесшумно перебегавшую от дерева к дереву фигуру, прячущуюся за толстыми стволами, но не обращал на это никакого внимания. Увидев пробегавшую козу, приложился и выстрелил.

Из-за дерева выскочил Пров, схватил Нарымского за руку и закричал:

— Ага! Попался... Вы имеете разрешение на право ношения оружия?

Обдирая убитую козу, Нарымский досадливо пожал плечами.

— Чего вы пристаете? Занимались бы лучше своими делами.

— Да я и занимаюсь своими делами, — обиженно возразил Акациев. — Потрудитесь сдать мне оружие под расписку на хранение, впредь до разбора дела.

— Так я вам и отдал! Ружье-то я нашел, а не вы!

— За находку вы имеете право лишь на одну треть... — начал было Пров, но почувствовал всю нелепость этих слов, оборвал и сердито закончил:

— Вы еще не имеете права охотиться!

— Почему это?

— Еще Петрова дня не было! Закону не знаете, что ли?

— А у вас календарь есть? — ехидно спросил Нарымский.

Пров подумал, переступил с ноги на ногу и сурово сказал:

— В таком случае я арестую вас за нарушение выстрелами тишины и спокойствия.

— Арестуйте! Вам придется дать мне помещение, кормить, ухаживать за мной и водить на прогулки!

Акациев заморгал глазами, передернул плечами и скрылся между деревьями.

Возвращался Нарымский другой дорогой.

Переходя по сваленному бурей стволу дерева маленькую речку, он увидел на другом берегу столбик с какой-то надписью.

Приблизившись, прочел:

— Езда по мосту шагом.

Пожав плечами, наклонился, чтоб утолить чистой, прозрачной водой жажду, и на прибрежном камне прочел надпись:

— Не пейте сырой воды! За нарушение сего постановления виновные подвергаются...

Заснув после сытного ужина на своей теплой постели из сухих листьев, Нарымский среди ночи услышал вдруг

какой-то стук и, отворив дверь, увидел перед собою мрачного и решительного Прова Акациева.

— Что вам угодно?

— Потрудитесь впустить меня для производства обыска. На основании агентурных сведений...

— А предписание вы имеете? — лукаво спросил Нарымский.

Акациев тяжело застонал, схватился за голову и с криком тоски и печали бросился вон из комнаты.

Часа через два, перед рассветом, стучался в окно и кричал:

— Имейте в виду, что я видел у вас книги. Если они предосудительного содержания, и вы не заявили о хранении их начальству — виновные подвергаются...

Нарымский сладко спал.

Однажды, купаясь в теплом, дремавшем от зноя море, Нарымский отплыл так далеко, что ослабел и стал тонуть.

Чувствуя в ногах предательские судороги, он собрал последние силы и инстинктивно закричал. В ту же минуту он увидел, как вечно торчавшая за утесом и следившая за Нарымским фигура поспешно выскочила и, бросившись в море, быстро поплыла к утопающему.

Нарымский очнулся на песчаном берегу. Голова его лежала на коленях Прова Акациева, который заботливой рукой растирал грудь и руки утопленника.

— Вы... живы? — с тревогой спросил Пров, наклоняясь к нему.

— Жив. — Теплое чувство благодарности и жалости шевельнулось в душе Нарымского. — Скажите... Вот вы рисковали из-за меня жизнью... Спасли меня... Вероятно, я все-таки дорог вам, а?

Пров Акациев вздохнул, обвел ввалившимися глазами беспредельный морской горизонт, охваченный пламенем красного заката, и просто, без рисовки, ответил:

— Конечно, дороги. По возвращении в Россию вам придется заплатить около ста десяти тысяч штрафов или сидеть около полутораста лет.

И, помолчав, добавил искренним тоном:— Дай вам Бог здоровья, долголетия и богатства.

ВИЗИТ

Октябрист приблизился к швейцару и, кланяясь, вежливо сказал:

— Здравствуйте, ваше благородие! Христос Воскресе!

Польщенный швейцар улыбнулся.

— Ну, какое там благородие: далеко мне.

— Не скажите. Жена, детки — здоровы?

— Сынишка кашляет.

— Что вы говорите! Это ужасно.

— Да... А жена уехала в Вытегру.

— Что вы говорите?! Прекрасный город Вытегра. Я слышал, что ваша супруга предостойнейшая женщина... Сами ли вы в добром здоровьи?

— Что это ты, брат, чудной какой? Уж не октябрист ли?

Октябрист стыдливо потупился и прошептал:

— Октябрист.

— Ага! Так, так... Ты начальство почитай. А уж мы тебя не забудем... Хе-хе!

Швейцар дружески потрепал улыбающегося Октябриста по животу и спросил:

— Доложить?

— Да-с, господин управляющий.

Через минуту Октябрист входил в приемную его превосходительства...

Маленькая злая собачонка, лежавшая на диване, заворчала, бросилась на вошедшего и укусила его за ногу...

Октябрист улыбнулся и, прищелкивая пальцами, стал звать собачонку:

— Цып-цып-цып!..

— Ах, извините, пожалуйста! Она вам порвала брюки...

— Христос Воскресе, ваше пр-во-с. Ниче-го-с... Они только пошутили, собачки ваши. Насчет же брюк, то в рассуждении вентиляции это даже полезно...

— Но у вас из ноги каплет кровь!

— По совести говоря, ваше пр-во, я бы их, собачоночку эту, еще благодарить должен-с. Сложения я, знаете, апоплексического, а они мне бесплатное кровопускание сделали. Хе-с, хе-с!..

Сели. Октябрист посмотрел в окно и сказал:

— Какая прекрасная погода!

— Что вы! Погода скверная...

— Вы знаете, ваше пр-во, я еще с утра, когда встал, то говорю жене: «Знаешь, Липочка, погода будет неважная». И действительно, погода оказалась скверная!

Октябрист подумал немного и решил сказать хозяину что-нибудь самое приятное.

— Прекрасная у вас собачка! Рублей сто стоит?

— Что вы! Жена ее за пять рублей щенком купила. Ах, да! Не хотите ли вы закусить? Пожалуйте к столу.

Проходя к столу, Октябрист задержался около висевшей на стене картины и похвалил ее.

— Прекрасный морской вид. Вообще Рембрандт в этом отношении не имеет соперников.

— Какой же это Рембрандт? Это Судковский.

— Но, ваше пр-во, Рембрандт тоже был хорошим художником. Хотя Судковский, конечно...

Октябрист потрогал рукой раму, погладил полотно и значительно сказал:

— Тысяч пятнадцать!

— Триста рублей! Пожалуйте... Вам прикажете налить чего-нибудь?

— Ах, что вы! В рот не беру!.. Я так рассуждаю: разве может человек, любящий родину, отравлять себя алкоголем?!

Но сейчас же, вспомнив о казенной продаже водки, гость сконфузился и покраснел...

— Конечно, те, кто занимается физическим трудом, должны ее пить, потому что, как это говорится: mens sana in Квисисана... Но напряженный умственный труд, ваше пр-во, требует трезвости.

— А вот я, грешный человек, люблю выпить рюмку-другую.

— Совершенно правильно, ваше пр-во. Я еще читал где-то, что алкоголь в небольших дозах возбуждает энергию и деятельность. А я, в сущности, не пью из-за, извините, печени.

Вошел слуга и доложил, что хозяина вызывают к телефону.

— Извините. Одну минуту.

Оставшись один, Октябрист поправил галстук и строго посмотрел на лежавшую у его ног собачку.

— У-у, дрянь этакая! Чтоб ты лопнула!

Собачонка посмотрела на него равнодушным взглядом.

— Только жаль, что визжать будешь... А то бы я тебе такого пинка дал, что ты к стене отлетишь. Пошла вон!! Черти тебя задери...

Он наклонился и сильно дернул собачонку за ухо.

— Гррр...— громко зарычала она.

— Ну, ну... Собаценочка! Цто ты, цто ты? Ну, кто нас обидел, кто... Мы нервненькие, правда?

Октябрист прислушался, дрожащей рукой налил себе рюмку рябиновой и, боязливо поглядев на собаку, выпил. Потом взял рукой кусок семги и поспешно засунул ее в рот, торопясь прожевать.

— А вот и я. Позвольте предложить вам чего-нибудь скушать.

Гость сделал вид, что закашлялся, вынул носовой платок и выплюнул в него семгу.

— В сущности, я, ваше пр-во, сыт. Уже завтракал-с.

— В таком случае, кофе? Ликеру? Ну, ликеру-то вы со мной выпьете... Легонького. Абрикотину.

— Не смею отказаться.

Гость потянулся за налитой рюмкой. Собачонка от его движения вздрогнула и звонко залаяла. Вздрогнул и гость.

— Ах, Боже ты мой, что я наделал!!

Тоненькая струйка абрикотина поползла по белоснежной скатерти.

— Ваше пр-во! Честное слово, это ваша собачка... Они залаяли...

— Ну, пустяки. Сейчас вытрут.

— Ваше пр-во! Я сам присыплю солью. Тогда пятна не будет.

Гость дрожащей рукой схватил баночку с горчицей и стал трясти ее на пятно.

— Виноват, но ведь это горчица.

— Ваше пр-во!.. Ей-Богу, нечаянно. Позвольте, я ножичком соскоблю горчицу.

— Да не беспокойтесь. Вон вы ножом и разрезали скатерть. Видите, какой вы!..

— Ваше!.. Видит Бог, не хотел я этого... Вы и в Думе знаете меня, я никогда — чтобы кто-нибудь... Можете даже Остен-Сакена спросить...

В смущении и растерянности Октябрист замолол такую дрянь, что даже его пр-во сконфузился.

— Вы, может быть, нездоровы? Тогда не смею удерживать...

— Прощ... щайте, ваше пре... пре... Воистину Воскресе... Прощайте, собачка... Вввв...

Октябрист не помнил, как добрался домой. Его трясла лихорадка, и жена уложила его спать.

Он метался в кровати, бредил, и в бреду ему чудилась страшная картина: ехидная собачонка, после его ухода, поманила лапой хозяина и, когда тот нагнулся к ней, потихоньку сообщила:

— А этот-то... что был у тебя... Когда ты вышел к телефону — он выпил рюмку водки и спрятал в карман кусок семги. Своими глазами видела.

— Хорошо... — сурово сказал хозяин. — Если так, то завтра же разгоним Думу...

БЕДСТВИЕ

> Неожиданный урожай тек. года поставил в большое затруднение — как м-во путей сообщения, так и сельских хозяев, принужденных продавать хлеб почти даром.
>
> *«Торгово-Промышл. Газета»*

I

Перед директором департамента стоял чиновник и смущенно докладывал:

— Мы получили самые верные сведения... Сомнений больше нет никаких! Так и лезут из земли.

— Что ж это они так... Недоглядели, что ли?

— Да что ж тут доглядывать, ваше пр-во. Дело Божье!

— Конечно, Божье... Но ведь и пословица говорит: на Бога надейся, а сам не плошай. А вы говорите — лезут?! Что же лезет больше?

— Многое лезет, ваше пр-во... Рожь, пшеница...

— Но не понимаю... Теперь, когда агрономическая культура сделала такие шаги, неужели нельзя принять какие-нибудь меры?

— Какие меры, ваше пр-во?

— Чтоб они не лезли, эти самые пшеницы, ржи и прочее.

— Тут уж ничего не поделаешь. Раз полезло из земли — с ним не справишься. Зерно маленькое-маленькое, а силища в нем громадная! Нет, уж, видно, судьба такая, чтобы быть урожаю!

— Ну, а мужики что?

— Да что ж мужики — плачут. Сколько лет уже, говорят, не было этих самых урожаев, а тут — разгневался Господь — послал.

Директор осмотрел уныло свои ногти и вздохнул.

— Мужиков жаль!

— Да-с. Сюрпризец! Вот уж правду говорят: многострадальный русский народ.

— Э?

— Многострадальный, говорю. И они многострадальные, и мы... Нам-то еще хуже, ваше пр-во! Как начнут это вагоны требовать, пробки разные устраивать, в газетах нас ругать — чистейшей воды драма.

— А, может... еще и недород будет?

— Нет ни малейшей надежды. Я наводил справки. В один голос все — урожай!

— Опять эта кутерьма пойдет: бесплатные столовые, общеземские организации на местах, пострадавших от урожая, крестьянское разорение. Эх ты, русский народ!

В голосе директора послышались лирические нотки.

— Эх ты, русский народ! Кто тебя выдумал, как говорит незабвенный Гоголь... До того ты темен и дик, что от простого урожая отвертеться не можешь.

— Трудно отвертеться, ваше пр-во. Лезет.

— Кто лезет?

— Все, что в земле есть. Поверите — в некоторых местах опасаются, что и фрукты могут дать урожай!!

— Что вы говорите! Эх, хорошо говорил покойный Гоголь: урожай, кто тебя выдумал?

II

Мужик Савельев стоял у межи своего поля и ругался:

— Ишь ты! Ишь ты, подлая! Так и прет! У людей как у людей — или градом побьет, и скот вытопчет, а у нас — хучь ты ее сам лаптем приколачивай!

— Что ты, кум, ворчишь? — спросил, подойдя к Савельеву, мужик Парфен Парфенов.

— Да что, брат дядя, рожь у меня из земли лезет. И недоглядишь, как урожай будет.

— Ну? — сказал Парфен Парфенов. — Влопаешься ты, кум!

— И то! Сколько лет по-хорошему было: и о прошлом годе — недород, и о позапрошлом — недород, а тут — накося! Урожай. Пойтить в кусочки потом и больше никаких апельцынов!

— А во, брат, тучка оттеда идет. Помочить может, — на корню она, подлая, подгниет. Все лучше, чем потом по двугривенному за пуд расторговываться.

Глаза Савелия Савельева загорелись надеждой.

— Где? Где туча?..

— Во. Гляди, может, градом осыплется.

— Вашими бы устами, Парфен Лукич, — сказал повеселевший Савельев, — да мед пить!

Задрав рыжие бороды кверху, долго стояли кумовья и следили за ползущей тучей.

III

Газета «Голос мудрости» писала в передовой статье:

— Мы давно призывали общество к более тесному единению и борьбе со страшным бичом русского крестьянина — урожаем! Что мы видим: в нормальное, спокойное время, когда ряд недородов усыпляет общественное внимание, все забывают, что коварный враг не спит и в это же самое время, может быть, продирает ростками землю, чтобы выбиться наружу зловещими длинными колосьями, словно рядом бичей, угрожающих нашему сельскому хозяйству. А потом ахают и охают, беспомощно мечась перед призраком бедствия:

— Ах, урожай! Ох, урожай!..

И нищает сельское хозяйство, и забиваются железные дороги пробками, тормозя нормальное развитие отечественной промышленности. Сельские хозяева! Помните:

— Враг не дремлет!

IV

По улице большого города шел прохожий.

Истомленные оборванные люди, держа на руках двух ребят, подошли к нему и зашептали голодными голосами:

— Господин! Помогите пострадавшим от урожая!

— Неужели вы пострадавшие? Может, вы только симулируете пострадавших от урожая? — спросил сердобольный прохожий.

— Де там! Хворменный был урожай!

— И много у вас уродилось?

— Сам-двадцать!

— Несчастные! — ахнул прохожий. — Нате вам три рубля. Может, поправитесь.

. . . .

. . . .

МУЧЕНИК НАУКИ

> Провинциальные губернаторы предписали местной полиции следить за внешкольным поведением учащихся.

Когда околоточный входил в комнату, шашка его зацепилась за ручку двери.

Отцепить старались: он сам, Мишка, Мишкин отец и горничная. Все были смущены, и околоточный больше всех.

Он конфузливо потер красные большие руки, для чего-то надул щеки и, с деланной развязностью, сказал:

— Ну, как сынок ваш?

— Ничего, здоров, благодарю вас. Мишка! Оставь нос — по рукам получишь.

Постояли все, помолчали.

— Погодка-то нынче, а?

— Да.

Околоточный подошел к стене и с нескрываемым интересом стал рассматривать картину, изображавшую «Бабушкины сказки».

— Вы бы присели!

— Благодарю вас. Прекрасная картина!

— Да.

Околоточный сел и потер руки.

— Ну, как дела, молодой человек?

Царапая ногтем спинку кресла, Мишка застенчиво ответил:

— Благодарю вас. Ничего.

Околоточный подергал головой, вскочил с кресла и опять подошел к картине.

— Масляными красками?

— Нет, премия к «Ниве».

— Ага! Так, так. Хороший журнальчик.

— Да.

— Престранная вещь у нас вчера в участке случилась: привезли какого-то пьяного, а он по-русски ни слова.

— Поди ж ты! Иностранец, значит, — догадалась мать. — Мишка! По рукам получишь!

— Вы, молодой человек, тово... маменьку слушайтесь. Они вас кормят.

Мишка в паническом ужасе посмотрел на околоточного и прошелестел:

— Я... Слушаюсь.

— Эти картины вообще вещь превосходная. Заплатил семь рублей в год — и Салтыкова тебе какого-нибудь дадут двенадцать книжек, и украшение для гостиной.

— Да.

— В этом году какое приложение дают?

— Не знаю. Мы теперь перестали выписывать.

Околоточный встал и потрогал рукой картину.

— Совершеннейшие масляные краски. Даже удивительно.

Он вытер холодный пот со лба и застегнул верхнюю пуговицу мундира.

Сел и снова ее отстегнул.

— Вы, может быть, посмотрели бы, как мальчик занимается?

Околоточный даже икнул от радости.

— Да, да! Это очень интересно.

— Пойдемте в его комнату!

Все встали и пошли через темный коридор.

Идя впереди, околоточный попал в самый конец коридора и когда открыл преграждавшую ему дальнейший путь дверь, то сейчас же отшатнулся и быстро ее захлопнул.

— Не сюда! Здесь не хорошо, — предупредил отец, а Мишка сзади тихонько хихикнул.

Вошли в небольшую комнату Мишки и сели. Мать села на кровать с таким расчетом, чтобы можно было ногой незаметно пододвинуть вглубь какую-то вещь, которая, поместившись на виду, могла своим видом шокировать благовоспитанный глаз.

Околоточный обвел глазами комнату и с тайным ужасом заметил, что стены были без картин, совершенно голые.

Он обратил свое внимание на стол, закапанный чернилами. Взял истерзанный атлас и стал его внимательно перелистывать.

— Америка... А ну, молодой человек, покажите, где здесь город... Трансвааль, что ли?

Мишка придвинулся к столу и уверенно сказал:

— Трансвааль на три страницы дальше: в Африке.

Околоточный насильственно улыбнулся и неумело подмигнул.

— Ишь ты! Вас не поймаешь... Я-то знал, а вот хотел вас подвести.

И соврал. Решил, на всякий случай, запомнить.

— А историю вы знаете?

— Древнюю или новую?

— Ну да, поновее что-нибудь... Как звали, например, того царя, у которого из живота дерево выросло?

— Это не у него, а у его мамы. Снилось ей. Его звали Кир.

— Вот, вот. А то, представьте,— обратился он к отцу,— был еще такой чудак: взял и высек плетьми море. Как вам это понравится?

— Да, вообще... Комичные эти греки были.

Околоточный передвинул чернильницу и спросил Мишку с неожиданною строгостью:

— А Берлин где?

— В Германии.

— Молодец! Ловко угадал. Ну, ты учись тут, слушайся родителей, а я пойду.

Все сразу повеселели.

Отец пожал уходившему руку, а мать приветливо спросила:

— Чаю не хотите?

— Нет-с, не пью, то есть уже пил. Всего лучшего.

Стоя на улице, околоточный долго вытирал платком лоб и щеки и злобно озирался.

Потом, увидя проходившего мороженщика, набросился на него.

— Моррроженое продаешь, рракалия?! Кричишь, мерзавец?! За нарушение тишины, знаешь...

И, закусив белыми зубами губу, он ударил мороженщика в ухо.

СПЕРМИН

Это была самая скучная, самая тоскливая сессия Думы.

Вначале еще попадались некоторые неугомонные читатели газет, которые после долгого сладкого зевка оборачивались к соседу по месту в трамвае и спрашивали:

— Ну, как Дума?

А потом и эти закоренелые политики как-то вывелись...

Голодным, оборванным газетчикам приходилось долго и упорно бежать за прохожим, заскакивая вперед, растопыривая руки и с мольбой в голосе крича:

— Интересная газета!! Бурное заседание Государственной Думы!!

— Врешь ты все, брат, — брезгливо говорил прохожий. — Ну, какое там еще бурное?..

— Купите, ваше сиятельство!

— Знаем мы эти штуки!..

Отодвинув рукой ослабевшего от голода, истомленного нуждой газетчика, прохожий шагал дальше, а газетчик в слепой, предсмертной тоске метался по улице, подкатывался под извозчиков и, хрипло стеная, кричал:

— Интересная газета! На Малой Охте чухонка любовника топором зарубила!! Купите, сделай милость!

И жалко их было, и досадно.

* * *

Неожиданно среди общего сна и скуки, как удар грома, грянул небывалый скандал в Думе.

Скандал был дикий, нелепый, ни на чем не основанный, но все ожило, зашевелилось, заговорило, как будто вспрыгнуло живительным летним дождиком.

Негодованию газет не было предела.

— После долгой спячки и пережевывания никому не нужной вермишели Дума наконец проснулась довольно своеобразно и самобытно: правый депутат Карнаухий закатил такой скандал, подобного которому еще не бывало... Встреченный во время произнесения своей возмутительной речи с трибуны общим шиканьем и протестами, Карнаухий выругался непечатными словами, снял с ноги сапог и запустил им в председательствующего... Когда к нему бросились депутаты, он выругал всех хамами и дохлыми верблюдами

и потом, схватов стул, разбил голову депутату Рыбешкину. Когда же наконец прекратятся эти возмутительные бесчинства черносотенной своры?! Исключение наглого хулигана всего на пять заседаний должно подлить лишь масла в огонь, так как ободрит других и подвинет на подобные же бесчинства! Самая лучшая мера воздействия на подобных господ — суд и лишение депутатского звания!

Газетчики уже не бегали, стеная, за прохожими. Голодное выражение сверкавших глаз сменилось сытым, благодушным...

* * *

Издателю большой ежедневной газеты Хваткину доложили, что к нему явился депутат Карнаухий и требует личного с ним свидания.

— Какой Карнаухий? Что ему надо? — поморщился издатель. — Ну, черт с ним, проси.

Рассыльный ушел. Дверь скрипнула, и в кабинет, озираясь, тихо вошел депутат Карнаухий.

Он подошел к столу, придвинув к себе стул, сел лицом к лицу с издателем и, прищурившись, молча стал смотреть в издателево лицо.

Издатель подпер голову руками, облокотился на стол и тоже долго, будто любуясь, смотрел в красное широкое лицо своего гостя.

— Ха-ха-ха! — раскатился издатель неожиданным хохотом.

— Хо-хо-хо! — затрясся всем своим грузным телом Карнаухий.

— Хи-хи-хи!

— Го-го-го!

— Хе!

— Гы!

— Да и ловкач же ты, Карнаухий!

Сквозь душивший его хохот Карнаухий скромно заявил:

— Чего ж ловкач... Как условлено, так и сделано. Доне муа того кельк-шозу, который в той железной щикатулке лежит!

Издатель улыбнулся.

— Как условлено?

— А то ж!

Издатель встал, открыл шкапчик, вынул несколько кредиток и, осмотревшись, сунул их в руку Карнаухому.

— Эге! Да тут четвертной не хватает!

— А ты министрам кулак показывал, как я просил? Нет? То-то и оно, брат. Ежели бы показал, так я, тово... Я честный — получай полностью! А раз не показал — согласись сам, брат Карнаухий...

— Да их никого и не было в ложе.

— Ну, что ж делать — значит, мое такое счастье!

Карнаухий крякнул, покачал укоризненно головой, сунул деньги в карман и взялся за шапку.

— Постой, брат,— остановил его издатель, потирая лоб.— Ты ведь, тово... Исключен на пять заседаний? Это хорошо, брат... Так и нужно. Пока ты забудешься. А там я б тебе еще работку дал. Скажи... не мог бы ты какого-нибудь октябриста на дуэль вызвать?

— Так я его лучше просто отдую,— добродушно сказал Карнаухий.

— Ну, вот... Придумал тоже! Дуэль — это дело благородное, а то — черт знает что — драка.

Карнаухий пощелкал пальцами, почесал темя и согласился:

— Что ж, можно и дуэль. На дуэль своя цена будет. Сами знаете...

— Не обижу. Только ты какой-нибудь благовидный предлог придумай... Подойди, например, к нему и привяжись: «Ты чего мне вчера на пиджак плюнул? Дрянь ты октябристская!» Можешь толкнуть его даже.

— А ежели он не обидится?

— Ну, как не обидится. Обидится. А потом, значит, ты сделай так...

* * *

Долго в кабинете слышался шепот издателя и гудящий бас Карнаухого.

Провожая его, издатель сделал страшное лицо и сказал:

— Только ради Создателя — чтобы ни редактор, ни сотрудники ничего не знали... Они меня съедят.

— Эге!

Когда Карнаухий вышел на улицу, к нему подскочил веселый, сытый газетчик и крикнул:

— Грандиозный скандал! Исключение депутата Карнаухого на пять заседаний!!

Карнаухий улыбнулся и добродушно проворчал:

— Тоже кормитесь, черти?!

ОКТЯБРИСТ ЧИКАЛКИН

К октябристу Чикалкину явился околоточный надзиратель и объявил, что предполагавшееся им, Чикалкиным, собрание в городе Битюги с целью сообщения избирателям результатов деятельности его, Чикалкина, в Думе — не может быть разрешено.

— Почему? — спросил изумленный Чикалкин.

— Потому. Неразрешенные собрания воспрещаются!

— Так вы бы и разрешили!

Околоточный снисходительно усмехнулся.

— Как же это можно: разрешить неразрешенное собрание. Это противозаконно.

— Но ведь, если вы разрешите, оно уже перестанет быть неразрешенным, — сказал, подумавши немного, Чикалкин.

— Так-то оно так, — ответил околоточный, еще раз усмехнувшись бестолковости Чикалкина. — Да как же его разрешить, если оно пока что — неразрешенное? Посудите сами.

— Хорошо, — сказал зловеще спокойным тоном Чикалкин. — Мы внесем об этом в Думе запрос.

— Распишитесь, что приняли к сведению, — хладнокровно кивнул головой околоточный.

* * *

Когда октябрист Чикалкин остался один, он долго, взволнованный и возмущенный до глубины души, шагал по комнате...

— Вы у меня узнаете, как не разрешать! Ладно!! Запрос надо формулировать так: известно ли... И тому подобное, что администрация города Битюга своими не закономер...

Чикалкин вздохнул и потер бритую щеку.

— Гм. Резковато. За версту кадетом несет... Может, так: известно ли и тому подобное, что ошибочные действия администр... А что такое ошибочные? Ошибка — не вина. Тот не ошибается, кто ничего не делает. Да что ж я в самом деле, дурак... Запрос! Запрос! Не буду же я его один вносить. А фракция — вдруг скажет: несвоевременно! Ну, конечно, скажет... Такие штуки всегда несвоевременны. Запрос! Эх, Чикалка! Тебе, брат, нужно просто министру пожаловаться, а ты... Право! Напишу министру этакое официальное письмецо...

* * *

Октябрист Чикалкин сел за стол.

— Ваше высокопревосходительство! Сим довожу до вашего сведения, что произвол властей...

Перо Чикалкина застыло в воздухе. В столовой гулко пробило два часа.

— ...что произвол властей...

В столовой гулко пробило половину третьего.

— ...что произвол властей, которые...

Рука онемела. В столовой гулко пробило пять.

— ...что произвол властей, которые...

Стало смеркаться.

— Которые... произвол, котор...

И вдруг Чикалкину ударило в голову:

— А что, если...

Он схватил начатое письмо и изорвал его в клочья.

— Положим... Не может быть!.. А вдруг! Октябрист Чикалкин долго ходил по комнате и наконец, всплеснув руками, сказал:

— Ну, конечно! Просто нужно поехать к исправнику и спросить о причине неразрешения. В крайнем случае — припугнуть.

* * *

Чикалкин оделся и вышел на улицу.

— Извозчик! К исправнику! Знаешь?

— Господи! — с суеверным ужасом сказал извозчик, — да как же не знать-то! Еще позавчерась оны меня обстраховали за езду. Такого, можно сказать, человека, да не знать! Скажут такое.

— Что же он — строгий? — спросил Чикалкин, усаживаясь в пролетку.

— Он-то? Страсть. Он, ваше высокоблагородие, будем прямо говорить — строгий человек. И — и! Порох! Чиновник мне один анадысь сказывал... Ему — слово, а он сейчас ножками туп-туп, да голосом: в Сибирь, говорит, вас всех!! Начальство не уважаете!!

— Что ж он — всех так? — дрогнувшим голосом спросил Чикалкин.

— Да уж такие господа... Строгие. Если что — не помилуют.

Октябрист Чикалкин помолчал.

— Ты меня куда везешь-то? — неожиданно спросил он извозчика.

— Дык сказывали — к господину исправнику...

— Дык сказывали! — передразнил его Чикалкин. — А ты слушай ухом, а не брюхом. Кто тебе сказывал? Я тебе, дураку, говорю — вези меня в полицейское управление, а ты к самому исправнику!.. Мало штрафуют вас, чертей. Заворачивай!

* * *

— Да, брат, — заговорил Чикалкин, немного успокоившись. — В полицейское управление мне надо. Хе-хе! Чудаки эти извозчики... ему говоришь туда, а он тебя везет сюда. Так-то, брат. А мне в полицейское управление и надо-то было. Собрание, вишь ты, мне не разрешили. Да как же! Я им такое неразрешение покажу! Сейчас же проберу их хорошенько, выясню, как и что. Попляшут они у меня! Это уж такая у нас полиция — ей бы только придраться. Уже... приехали?.. Что так скоро?

— Старался, как лучше.

— Могу я видеть пристава? — спросил Чикалкин, входя. — То есть... господина пристава? ... можно видеть?

— Пожалуйте.

— Что нужно?— поднялся навстречу Чикалкину грузный мужчина с сердитым лицом и длинными рыжими усами.

— Я хотел бы этого... спросить вас... Могу ли я здесь получить значок для моей собачки на предмет уплаты городского налога?

— Э, черт! — отрывисто вскричал пристав. — Шляются тут по пустякам! В городской управе нужно получать, а не здесь. Герасимов, дубина стоеросовая! Проводи.

НЕВОЗМОЖНОЕ

Учитель истории Максим Иванович Тачкин сидел, склонив голову к журналу, и зловеще тихо перелистывал его.

— Вызовем мы... ну, хотя бы... Синюхина Николая!

Синюхин Николай побледнел, потупил голову, приблизился к кафедре и открыл судорожно искривленный рот.

— Ну-с? — поощрил его Тачкин.

— Я урока не знаю...— смотря в окно, испуганно заявил Синюхин.

— Да? — наружно удивился Тачкин.— Почему? Не можешь ли ты мне объяснить?..

Синюхину Николаю нужно было бы объяснить, что система «от сих до сих» и «повторить то, что было задано в прошлую среду» — настолько сухая система, что она никак не могла заинтересовать Синюхина. Мог бы Синюхин сказать и то, что он пытался несколько раз вчитаться в книгу, несколько раз начинал «от сих», но сухие, не будившие пылкого воображения факты путались в голове, рассыпались и своей ненужной громоздкостью мешали Синюхину добраться «до сих», до этих милых, манящих каждого прилежного, зубрящего ученика своим уютом и грядущей свободой — «сих».

Синюхин не хотел откровенничать с учителем.

— У меня голова болела... мама захворала... в аптеку бегала...

— Ой-ой-ой,— засмеялся Тачкин.— Как много! А поставлю-ка я тебе, Синюхин Николай, единицу. А?

Он посмотрел внимательно в лицо ученику Синюхину и, заметив на нем довольно определенное, лишенное двусмысленности выражение, отвернулся и задумался...

— Воображаю, как он сейчас ненавидит меня. Воображаю, что бы он сделал со мной, если бы я был на его месте, а он — на моем ....

....

Держа под мышкой журнал, в класс вошел ученик Николай Синюхин и, вспрыгнув на кафедру, обвел внимательным взором учителей, сидевших с бледными, испуганными лицами, на ученических партах.

Ученик Николай Синюхин опустился на стул, развернул журнал и, помедлив одну зловещую минуту, оглядел ряд сидящих лиц в вицмундирах с блестящими пуговицами...

— Ну-с,— сказал он.— Кого же мы вызовем?.. Разве Ихментьева Василия?..

Учитель географии Василий Павлович Ихментьев съежился, обдернул вицмундир и робко приблизился к кафедре.

— Ихментьев Василий? — спросил ученик Синюхин, оглядывая учителя. — Гм... Должен сказать вам, Ихментьев Василий, что ваше поведение и успехи меня не радуют!

— Почему же? — оторопев, спросил учитель. — Почему же, Николай Степанович? Кажется, я стараюсь...

— Да? — иронически улыбнулся Синюхин. — Стараетесь? Я бы этого не сказал... Видите ли, г. Ихментьев... Я человек не мелочный и не придерусь к вам из-за того, что у вас вон, сейчас, оторвана одна пуговица вицмундира и рукав измазан мелом... Это пустяк, к науке не имеющий отношения, и мне до сих пор стыдно за то время, когда за подобные пустяки виновные наказывались уменьшением отметки в поведении. Нет! Не то я хочу сказать, Ихментьев Василий... А позвольте спросить вас... Как вы преподаете?! Как вам не стыдно? Ведь вы получаете деньги не за то, чтобы дуться по ночам в винт, пить водку и потом являться на уроки в таком настроении, при котором никакая география вам и в голову нейдет...

— Я не буду... — тихо пролепетал учитель. — Это... не я... Я не виноват... Это Тачкин Максим приглашал меня к себе на винт... Я не хотел... а это он все.

Синюхин сердито хлопнул своей крохотной ладонью по кафедре.

— Имейте в виду, господин Ихментьев, что и шпионства, предательства и доносов на ваших товарищей не допущу! Я не буду этого поощрять, как поощряли это в свое время вы. Стыдно-с! Ступайте на свое место и поразмыслите-ка хорошенько о вашем поступке. Тачкин Максим!

— Здесь! — робко сказал Максим Иваныч.

— Я знаю, что здесь. Пойдите-ка ближе... Вот так. Сейчас один из ваших недостойных товарищей насплетничал на вас, будто бы вы подбивали его играть в карты. Может быть, это и было так, но оно, в сущности, меня не касается. Я не хочу мешаться в вашу частную жизнь и вводить для этого какой-то нелепый внешкольный надзор за учителями — я стою выше этого! Но должен вам заявить, что ваше отношение к делу — ниже всякой критики!

— Почему же, Николай Степаныч, — опустил голову учитель Тачкин. — Кажется, уроки я посещаю аккуратно.

— Да черт с этой вашей аккуратностью! — нервно вскричал Синюхин Николай. — Я говорю об общем отношении к делу. Ваша сухость, ваш формализм убивают у учеников

всякий интерес к науке. Стыдитесь! У вас такой интересный, увлекательный предмет — что вы из него сделали? История народов преподается вами, как какое-то расписание поездов. А почему? Потому, что вы не учитель, а сапожник! Ни дела вашего вы не любите, ни учеников. И, будьте уверены — они народ чуткий и платят вам тем же... ну, скажите... что вы задали классу на завтра?

— От сих до сих, — прошептал Тачкин.

— Да, я знаю, что от сих до сих! А что именно?

— Я не... помню.

Лицо Синюхина Николая сделалось суровым, нахмуренным. Он сердито вскочил, стал на цыпочки, дотянулся до уха учителя и, нагнув его голову, потащил за ухо в угол.

— Безобразие! — кричал он. — Люди в футлярах! Формалисты! Сухари! Себя засушили и других сушите! Вот, станьте-ка здесь в углу на колени — может быть, это отрезвит немного вашу пустую голову... А завтра пришлите ваших родителей — я поговорю с ними!

Стоя на коленях и уткнув голову в угол, учитель истории Максим Иванович Тачкин горько плакал...

«Если единица, — думал он про себя, — застрелюсь!»

....

....

Тачкин улыбнулся себе в усы, поднял от журнала голову и сказал, обращаясь к угнетенному единицей растерянному Синюхину Николаю:

— Так-то, брат Синюхин. Поставил я тебе единицу. А если мое поведение тебе почему-либо не нравится — можешь и ты мне поставить где-нибудь единицу.

Класс засмеялся удачной шутке.

Учитель поднял голову и устало сказал:

— Молчать! На следующий урок — повторите то, что было задано в прошлую среду.

Где-то ликующе прозвонил звонок...

ЗВЕРИНЕЦ

— К вам можно? — повторил я через запертую дверь.

— Кто такой? — послышался изнутри сердитый старческий голос.

— Это я, Михаил Осипович,— пустите. Я вам ничего дурного не сделаю.

Дверь, защелкнутая на цепь, приотворилась, и на меня глянуло испуганное, злое лицо Меньшикова.

— Да ведь вы небось драться пришли? — недоверчиво прохрипел он.

— Чего же мне драться... У меня и палки нет.

— А вы, может, руками... а?

— Нет, руками я вас не буду... Право, пустите. Я так, поболтать пришел.

После долгого колебания Меньшиков снял цепь и впустил меня.

— Здравствуйте, коли пришли. Не забываете старика — хе-хе...

— Где вас забыть!

Он привел меня в большую холодную гостиную, с застоявшимся запахом деревянного масла, старой пыли и какой-то мяты...

Мы сели и долго молчали.

— Альбомик не желаете ли посмотреть? — придвинул он мне книгу в кожаном переплете, с оторванными застежками.

Я развернул альбом и наткнулся на портрет какого-то унылого человека.

— Кто это?

— Большой негодяй! Устраивал сходки разныя... Да — шалишь,— сообщил я кому следует... засадили его.

— Гм... А этот?

— Морской чиновник? Вор и растратчик. Я в одной статье такое про него написал, что вверх тормашками со службы полетел.

— Это вот, кажется, очень симпатичное лицо...

— Какое! Бомбист, совершеннейший бомбист! Школьным учителем был. Он, правда, бомб еще не метал, но мог бы метать. Ужасно казался мне подозрительным! В Якутской области теперь.

— А этот?

— Этот? Просто мерзавец. Вот тут еще есть — жид, зарезавший отца, поджигатель, два растлителя малолетних... а эти — так себе, просто негодяи.

Он закрыл альбом и, прищурившись, ласково сказал:

— Может, вы свою карточку дадите, а? Я бы вставил ее в альбомчик.

— Гм... после разве, когда-нибудь.

Он сидел со сложенными на животе руками, молча, с любопытством поглядывая на меня.

Потом встал, оправил лампадку и, вытирая замаслившиеся руки о волосы, спросил скрипучим голосом:

— Небось бомбы все бросаете?

— Нет, не бросаю. Чего же мне их бросать...

— Нынче все бросают.

Узнавши, что я бомб не бросаю, он повеселел и, скорчив лицо в улыбке, хлопнул меня по колену:

— Так уж и быть!.. Показать разве вам мой зверинец?!

Я удивился.

— Зверинец? Разве вы так любите животных?

— Хе-хе... У меня особый зверинец... Совершенно особенный!

Взявши связку ключей, он подмигнул мне и повел через ряд пустынных холодных комнат, с тем же запахом.

— Вот мой зверинец,— сказал он, скаля беззубый рот в подобие приветливой улыбки и открывая ключом последнюю дверь.

В небольшой комнате сидели за столом и играли в «шестьдесят шесть» трое мужчин и одна женщина.

— Ну, как вы тут, ребята? — сказал Меньшиков, подозрительно осматривая всех и похлопывая по ноге откуда-то взявшимся арапником.

— «Раскаявшийся рабочий»! «Раскаявшийся рабочий»!! Ты опять пьян, мерзавец?! — закричал он вдруг, вглядываясь в лицо человека с красным носом и слезящимися глазами.

— Ты чего смотрела, «Дама из общества»? А ты, «Осведомленное лицо с Кавказа»,— шампур тебе в глотку?! Дармоеды! Всех выгоню!!

Кавказец, в истасканном бешмете, встал и, почесав грязной рукой за ухом, хладнокровно сказал:

— Зачем кырчать? Ему водкам давал «Мужичок из деревни».

«Дама из общества» строила мне уже глазки и, подойдя бочком, спросила:

— Парле ву франсе?

— Пошла, пошла, старая грешница,— закричал на нее Меньшиков, грозя арапником.

Потом, видя, что я с удивлением смотрю на всю эту сцену, он мне объяснил:

— Это, видите ли, зверинец. Для статей держу этих дармоедов... Вдохновляют меня. Тут они не все... Некоторых гулять я отпустил. Здесь вы видите «Мужичка из деревни», «Раскаявшегося рабочего», «Осведомленное лицо с Кавказа» и «Даму из общества».

— Она в самом деле из общества? — спросил я, поглядывая на ее толстое накрашенное лицо.

— Да, я ее взял из общества спасения от разврата падших женщин. Дом она какой-то на Лиговке содержала. А это вот — «Мужичок из деревни». Пьяница, каналья и, как напьется, колотит «Даму из общества».

— А «Осведомленное лицо с Кавказа»?

— У Макаева шашлык жарил. Я его к себе сманил. Правильный парень. Тараска! Что нужно жидам делать?

— Резать! — завизжало «Осведомленное лицо».

— Видите!.. Ты куда, мерзавец! Отдай им бумажник!

Он хватил арапником по руке «Раскаявшегося рабочего» и, отняв у него появившийся откуда-то мой бумажник, возвратил его мне.

— Вы с ним поосторожнее. Что ни увидит, негодяй, все сопрет. Часы целы ли?

«Дама из общества» тайком ущипнула меня за руку, а «Осведомленное лицо с Кавказа», заметив это, скрипнуло зубами и положило руку на рукоять кинжала.

— Пойдемте! — сказал я.

Меньшиков подмигнул мне и сказал:

— Роман тут у них... Но «Дама», кажется, флиртирует, кроме того, с «Мужичком из деревни». Впрочем, пойдемте. Воздух у них тут... действительно!

Мы вышли.

Я стал прощаться.

Провожая меня, Меньшиков лукаво подмигнул и сказал:

— А ведь давеча соврали-то, а? Хе-хе... Бомбочки-то ведь бросаете? Ну, сознайтесь!

Боясь сознаться, я поспешно вышел.

ПУТАНИЦА

Радостный трезвон праздничных колоколов — самая предательская вещь... Я не знал ни одного самого закоренелого злодея, который устоял бы против радостного перезвона праздничных колоколов... Были случаи, когда такого закоренелого злодея пытали, мучили, желая вырвать у него хотя бы словечко правды о его преступлении — он молчал, будто воды в рот набравши... Но стоило только радостно и празднично зазвонить над его ухом, как он вспоминал свою молодость, каялся, плакал и, рассказавши всю подноготную, обещался вести новую жизнь.

Иногда его даже и за язык никто не тянул — признаваться. Но стоило только потянуть за язык колокола — преступник, без промедления, вспоминал свою молодость и каялся во всем, разливаясь в три ручья.

Таково уж странное свойство праздничного перезвона.

* * *

Старый провокатор, носивший партийное прозвище — Волк, сидел в своей большой неуютной комнате и тревожно прислушивался к радостному перезвону праздничных колоколов.

Он вспомнил свою молодость, мать, ведущую его, маленького, чистенького, в церковь, и этот перезвон — мучительно радостный и ожидательно-праздничный.

И когда он подумал о своем теперешнем поведении, о своем падении в пропасть предательства — сердце его сжалось и на глазах выступили слезы...

А колокола радостно гудели:

— Бом-бом! Бом-бом!

— Нет! — простонал провокатор.— Больше я не могу!.. Сердце мое разрывается от раскаяния!.. Довольно грешить! Пойду и признаюсь во всем — пусть делают со мной, что хотят. Никогда не поздно раскаяться в своих грехах.

Он оделся и вышел из дому.

* * *

Идя но улице, Волк бормотал себе под нос:

— Пойду прямо в полицию и расскажу все начистоту: как выдавал революционерам ее тайны и как я однажды

стянул со стола полковника предписание об обыске у своего знакомого эсера. Все выложу! Пусть сажает в тюрьму, пусть делает со мной, что хочет!..

— Бом-бом! Бом-бом! — радовались колокола.

По мере приближения к дому полковника шаги Волка все замедлялись и движения делались нерешительнее и нерешительнее.

Новое чувство зажигалось в груди старого Волка.

— Куда я иду? — думал он. — Разве мне сюда нужно идти каяться? Кому я делал тяжкий вред? Кого продавал? Товарищей? А они мне доверяли... Ха-ха! Туда и иди, старый Волк! Перед ними и кайся!

Взор его просветлел.

Он решительно повернулся и зашагал в обратную сторону, по направлению конспиративной квартиры товарища Кирилла.

— Приду и прямо скажу: так и так, братцы! Грешник я великий, за деньги продавал вас — простите меня или сделайте со мной, что хотите.

Он всхлипнул и вытер глаза носовым платком. Ему самому было жаль себя. Вдали показались окна квартиры товарища Кирилла.

— Приду и скажу, — бормотал Волк. — Обманывал я вас!.. И полицию обманывал, и вас обманывал. Полицию даже больше.

Он замедлил шаг, остановился и задумался.

— Гм... Ведь если я полицию больше обманывал, я перед нею и должен каяться. Ей я и должен признаться, что вел двойную игру. Она не виновата в том, что она полиция, — она исполняет свои обязанности. Бедненький полковник... Сидит теперь дома и думает: «Вот придет Волк, парочку сведений принесет». А я-то!

— Бом-бом! Бом-бом! — разливались колокола.

Волчьи глаза увлажнились слезами.

Он решительно повернул и пошел назад.

— ...Сидит он и думает: «Придет Волк, принесет парочку сведений». Хорошо у него, уютно. Лампа горит, на стенах картинки... Тепло. Это не то, что те, которые недавно влопались. Сидят по камерам и скрипят зубами. Поддедюлил вас Волк!

Он вздохнул.

— А ведь им теперь, поди, холодно, голодно, в камерах каменные полы. Они мне доверяли, думали — свой, а я... Эх, Волк! Глубока твоя вина перед ними, и нет ей черты предела.

«Бом-бом! — ревели колокола.— Покайся, Волк! — Бом-бом!»

Схватившись за голову, застонал несчастный и побежал к товарищу Кириллу.

— Все скажу! Руки их буду целовать, слезой изойду. Где моя молодость? Где моя честность?

* * *

К Кириллу Волк не зашел.

Долго стоял он на улице, раздираемый сомнениями и обуреваемый самыми противоположными чувствами. Ему смертельно хотелось покаяться, никогда так, как теперь, не жаждал он очищения, умиротворения мятущейся души своей, и долго стоял так Волк на распутье:

— Куда идти?

И не знал.

Мимо него быстро прошел человек, лицо которого показалось Волку знакомым. Отложив на минуту раскаяние, Волк подумал:

— Где я видел этого человека? Да, вспомнил! Это Мотя. Я его частенько встречал в полиции!

В Волке проснулись профессиональные привычки.

— Куда это он идет? Ба! Да ведь это подъезд товарища Кирилла!..

Неужели...

Волк догнал Мотю и положил ему руку на плечо. Мотя обернулся, сконфузился и растерянно сказал:

— А, Волк! С праздником вас.

Но сейчас же он оправился, и его пронзительные глаза устремились на Волка.

— Вы... тоже сюда?

— Да,— сказал Волк, а про себя подумал: — Не думает ли он на меня донести, червяк поганый! Хорош бы я был перед Кириллом.

Он переступил с ноги на ногу и сказал:

— Видите ли, Мотя. Мне почему-то хочется быть с вами откровенным: я, в сущности, партийный работник, а в полицию хожу так себе... для пользы дела!

— Вот и прекрасно! — обрадовался Мотя. — Тогда и я буду откровенен: ведь я, признаться, проделываю то же самое!

Но в глазах Моти Волк заметил странно блеснувший огонек, который слишком поспешно был потушен опустившимися веками.

— Эге! — подумал Волк и, рассмеявшись, дружески хлопнул Мотю по плечу.

— К черту уловки и хитрости! Я вижу — вы парень ой-ой какой! Ведь я насчет партийности-то подшутил над вами. Ну, какой я, к черту, партийный работник, когда на днях типографию провалил.

— Ха-ха! — закатился хохотом Мотя. — То-то! Сообразили.

Но смех его показался Волку фальшивым, а глаза опять блеснули, погасли.

— Господи! — подумал, растерявшись, Волк. — Ничего я не разберу. Зачем бы ему являться к Кириллу, если он гласно работает на отделение? С другой стороны... Гм...

Мотя раздумывал тоже.

Так они долго стояли, в недоумении рассматривая друг друга.

— Пойди-ка, влезь в его душу, — думал растревоженный Волк. — Ну, времечко!

— Черт его знает, чем он, в сущности, дышит, — досадливо размышлял Мотя. — Ну, времена!

Постояв так с минуту, оба дружески улыбнулись друг другу, пожали руки и разошлись. — Мотя наверх, по лестнице, а Волк на улицу.

Выйдя на воздух, Волк вздохнул и прислушался: колокола перестали звонить.

— Ага! — облегченно подумал Волк. — То-то и оно. А то — каяться!

Не размышляя больше, зашагал он к полковнику и, вызвав его, сообщил, что Мотя очень подозрителен, что он шатается по конспиративным квартирам и что за ним надо наблюсти.

А Мотя в это время сидел в квартире Кирилла и говорил, опасливо озираясь:

— Подозрителен ваш Волк... Шатается к полковнику и, вообще, не мешало бы за ним наблюсти!..

II

Около искусства

ТРУХА

Это было самое веселое, оживленное место предпраздничного рынка... Лавчонка, маленькая, полутемная была битком набита покупателями, а на улице у входных дверей стоял бойкий, крикливый мальчишка и зазывал еще новую публику:

— Пожалуйте! — кричал он, раскрывая рот так, что углы губ касались концов его громадных ушей.— Эй! К нам пожалуйте! Очень даже прекрасные привидения, покойники, девочки на всякий рост, бесприютные собачки-с! Громадный выбор занесенных снегом странников, волки-с. Только у нас настоящие волки! Эй!

А в лавчонке крику было еще больше.

Приказчик, держа в правой руке за шиворот что-то длинное, одетое в белый саван, с деланным изумлением кричал:

— Это-с, по-вашему, не привидение?! А что же это тогда, по-вашему, такое, если не привидение? Который год торгуем — никогда не было, чтоб сумлевались! Вы, вероятно, ваша милость, не видели никогда настоящего привидения, потому такое и говорите!

— Да оно... не страшное! — робко возражал покупатель и косился на фигуру, беспомощно болтавшуюся в мужественной руке приказчика.

— Это не страшное? — изумлялся приказчик.— Да какие ж тогда страшные бывают?! Обратите внимание на их личико: мертвецкая бледность и глаза, как свечки. Вот эту кнопку только нажать... А голос! Извольте прислушаться!

Приказчик нажал рукой спину привидения. Оно заскрипело и, захлопав ртом, проревело:

— Ищи документы, раскрывающие тайну твоего рождения — на чердаке, в двойной крышке старого сундука!

Рот захлопнулся, глаза потухли, и фигура безжизненно повисла в приказчичьих руках.

Покупатель призадумался.

— Ничего... Слова хорошие. Из них можно что-нибудь сделать... Гм... Тайна рождения... Заверните!

— Браку не надо ли? — спросил приказчик, заворачивая покупку.

— А что у вас за брак?

— Чиновник один. Раскаивался в ночь под Рождество, что выгнал больную жену с ребенком. А они как раз и пришли в эту ночь, под видом нищих.

— Ну?

— Ну, вот. А мальчишка наш лавочный, что орет сейчас у дверей, чтоб ему пусто было — вынул чиновника из коробки, да и отвертел ему голову. Согласитесь — не может же жена возвращаться к безголовому чиновнику. Целый набор испортил, негодяй. Возьмите! Дешево бы отдал...

— Да куда ж он мне?..

— Ну, можно что-нибудь такое... Жена могла бы держать корчму, пользующуюся дурной репутацией, а муж тоскует по ней и приезжает в рождественскую ночь, желая сделать сюрприз. Его не узнают и убивают. И только после, по отрезанной голове, с которой ей дали поиграть, дочка узнает черты своего любимого папы. Прекрасный сюжет!

— Пожалуй! — сказал покупатель, раздумывая.

— Я в провинцию пошлю, куда-нибудь. Там это любят. Только вы и голову не забудьте положить.

— Помилуйте-с — все здесь, в коробке. Прикажете сверху вьюги положить? Копеек на тридцать.

— Разве у вас теперь вьюга отдельно продается? — удивился покупатель.

— Да-с. Лучше комбинируется. Можно чиновника — и вьюгу, заблудившегося мальчика и — вьюгу. Почти что она везде идет.

— Тогда посыпьте чиновнику на двугривенный. Да мне отдельно дайте немножко. Можно просто стихотворение в прозе о вьюге сделать. Благодарю вас.

* * *

В лавку вошла дама в очках.

— Здравствуйте! Позвольте мне одного замерзающего мальчика. Поменьше только и похуже одетого.

— Не держим-с, — вздохнул приказчик. — Погоды нынче, как назло, теплыя, а товар скоропортящийся.

Дама растерянно посмотрела на приказчика.

— Тогда, может быть, найдется девочка на улице, прильнувшая к оконному стеклу, за которым елка?

— Продали-с. Была одна прильнувшая девочка, и ту для детского журнала взяли. Много не держим — потому из моды выходит. Из новенького чего не пожелаете ли: палач, вешающий родного племянника, экспроприаторы, нападающие в рождественскую ночь на усадьбу, раскаявшийся губернатор. Много теперь идет.

— Что-нибудь с волками нет ли? — спросила дама.

— Пожалуйте-с: охотник в лесу и волки, испугавшиеся праздничного колокола; прохожий и волки; заброшенная усадьба и волки; тройка лошадей и волки. Прикажете завернуть?

— Дайте с заброшенной усадьбой. А старые преданные слуги у вас не продаются отдельно? Я бы взяла одного.

— Сделайте одолжение. Только я бы, мадам, посоветовал вам лучше слугу с тройкой взять. А волков отберете отдельно. Усадьба тоже у меня случайная осталась, — от экспроприаторов. Один покупатель экспроприаторов забрал, а усадьбу, на которую нападают, оставил. Совсем бы задаром.

* * *

Высокий, представительный беллетрист, обладатель известного имени и целой кучи забранных всюду авансов, стоял у прилавка и безнадежно оглядывал наваленных в беспорядке привидений, волков и экспроприаторов, которых сразу можно было узнать по зверским, размалеванным красным лицам и громадным пистолетам, заткнутым за пояс.

— Все у вас, почтеннейший, — грустно говорил беллетрист, — одно и то же... Те же волки, раскаявшиеся старики, обсыпанные вьюгой, и разные бездомные женщины.

Приказчик развел руками и сказал извиняющимся тоном:

— Трудновато для вас подобрать. Так, мелюзга какая — все берет. С руками рвут. Из провинции какой приедет, так он и привидение возьмет и прохожего старика. Усадьбу с экспроприаторами увидит, и ту возьмет. Волков ему предложишь — и волками не побрезгует. И волков-то дашь ему старых, облезлых, с одышкой. А уж до вьюги как доберет-

ся,— дорвется до дешевки,— так всю покупку запорошит, то и не разберешь — где усадьба, где волк! Простой народ. Вам, конечно, этого не предложишь.

— Из новенького нет ли чего?

— Особенно — нет. Рождество под тропиками, унесенные льдиной в святую ночь, палач, вешающий племянника. Предложить вам разве Рождество на дирижабле?

— Фу, какая пошлятина! — поморщился беллетрист. — Нельзя ли что-нибудь из очень старого? Такого старого — что уже основательно надоело и забыто. Можно стилизацию сделать.

— Спущусь в погреб, пороюсь,— вздохнул усталый приказчик.— Там такое есть, что сорок лет не ворошили.

Через десять минут приказчик вылез с запыленной, облезлой коробкой и бросил ее на прилавок.

— Не подойдет ли? Самая старинная вещь. Антик-с.

— Что это такое? — брезгливо поморщился беллетрист, оглядывая коробку.

— Девица в заброшенной бане, гадающая на суженого, который в безвестной отлучке. Вот-с — свечи, два зеркала, девица... Это гроб, который отражается. Делается это просто, вот так: сюда — зеркала, тут свечи... девицу садим на эту скамеечку. Теперь стоит только выдвинуть из зеркала этот гроб — трах! Девица падает. Ее находят в обмороке утром, на следующий день. Потом горячка, почтальон, письмо, извещающее о смерти жениха. Старина-матушка! Возьмите!

В глазах писателя читалось колебание...

В лавку вошел высокий, худой гимназист с красными, как гусиные лапы, руками и густо рассыпанными по лицу веснушками. Глаза его смущенно бегали по непривычной обстановке, а сам он робко жался к дверям и говорил страшным сиплым, искусственным басом.

— Нет ли у вас чего для рождественского рассказа? Чтоб недорогое.

— Митька! — крикнул приказчик мальчику.— Покажи им бездомную собачку.

— Нет ли... странника замерзающего? — робко спросил гимназист, умоляюще смотря на приказчика.

— Нет,— сухо отвечал приказчик.— Берите или бездомную собачку, которая ходит под Рождество по улицам,

или — елочку, которую срубили для детей и которая тоскует по родному лесу.

Митька повел гимназиста в угол и стал открывать перед его носом маленькие коробочки.

— Вот бездомная собачка. Видите — подавишь ее — она визжит! А это тоскующая елочка.

— А прильнувшей девочки нет? — шепотом спросил гимназист.

— Вышли. Да берите собачку — чего там! Можно агромадный рассказище написать. Вьюги дам на три копейки.

Мальчишка завернул гимназисту бездомную собачку, отщипнул от куска клочок вьюги, грязный, уже начавший подтаивать, и сказал:

— Этой штукой перед употреблением посыплете собачку. Сохранять в холодном месте. До свиданья-с.

Беллетрист, следивший с улыбкой за этой сценой, вдруг засмеялся и сказал приказчику:

— Знаете? Я куплю у вас эту собачку и этот кусочек вьюги, но только — вместе с гимназистом.

— Для чего вам? — изумился приказчик.

— Да я из этого прекрасную вещь сделаю: «Первый рождественский рассказ». Гимназист, сочиняющий свою первую вещь, — это прелестно!

— Да как же я собачку... с гимназистом продам? — спросил приказчик.

— Да что ж такое! Заверните их вместе и вынесете на извозчика. Подумаешь — церемониться с гимназистом!.. Никто и не узнает.

— Слушаю-с!..

* * *

В лавку ввалилась хохочущая компания.

Один из компании наступил беллетристу на ногу, поставил лежащее на прилавке привидение вверх ногами, к великому веселью товарищей, и крикнул:

— Эй! старичок! Покажи нам свою дребедень!

— Это не дребедень, — обиженно возразил приказчик, — а прекрасные сюжеты для рождественских рассказов. Прошу не держать привидения вниз головой.

— Кто это такие? — спросил беллетрист шепотом.

— Юмористы. Пустейшая и беспардоннейшая публика. Придут, перевернут все, осмеют и почти ничего не купят. Прежде юморист хороший был... Солидный. Придет — дай ты ему пьяного визитера, перепутавшего знакомые дома, или чиновника, который не получает ожидаемого ордена, или загулявшего купца. Основательный был юморист. А теперь рассобачились. Эй, господин, господин! Нельзя так делать... Что же вы в одну коробку суете и пожар усадьбы, и замерзшего странника, и детскую елку...

Компания забавлялась тем, что посадила призрака верхом на замерзающего странника и заставила их плясать перед елкой, взявшись за руки со страшными экспроприаторами и худыми рождественскими волками.

Потом свалили все это в кучу и, найдя коробку вьюги, стали с хохотом бросать ее горстями друг другу в лицо.

....

Я вошел в лавку, обвел всех присутствующих взглядом и сказал приказчику:

— Пришел к вам за сюжетом...

— Сделайте милость! — вежливо изогнулся он.— Что прикажете: палача, вешающего племянника, вьюгу с волками, пожар усадьбы, призрака...

— Старый дуралей! — обиженно закричал я.— Неужели ты не понимаешь, что мне этого мало?! Я беру все сразу: усадьбу, экспроприаторов, вьюгу, беллетриста, племянника, палача, гимназиста, твоих мальчишек, самого тебя, всю твою бестолковую рухлядь, и я прошу завернуть мне это в бумагу, чтобы я мог унести домой — с одним-единственным желанием и целью — сжечь весь этот вздор, эту глупую труху раз и навсегда!.. К черту рождественские рассказы!!.

«АПОЛЛОН»

Однажды в витрине книжного магазина я увидел книгу... По наружному виду она походила на солидный, серьезный каталог технической конторы, что меня и соблазнило, так как я очень интересуюсь новинками в области техники.

А когда мне ее показали ближе, я увидел, что это не каталог, а литературный ежемесячный журнал.

— Как же он... называется? — растерянно спросил я.

— Да ведь заглавие-то на обложке!

Я внимательно всмотрелся в заглавие, перевернул книгу боком, потом вниз головой и, заинтересованный, сказал:

— Не знаю! Может быть, вы будете так любезны посвятить меня в заглавие, если, конечно, оно вам известно?.. Со своей стороны, могу дать вам слово, что если то, что вы мне сообщите, секрет,— я буду свято хранить его.

— Здесь нет секрета,— сказал приказчик.— Журнал называется «Аполлон», а если буквы греческие, то это ничего... Следующий номер вам дастся гораздо легче, третий еще легче, а дальше все пойдет как по маслу.

— Почему же журнал называется «Аполлон», а на рисунке изображена пронзенная стрелами ящерица?..

Приказчик призадумался.

— Аполлон — бог красоты и света, а ящерица — символ чего-то скользкого, противного... Вот она, очевидно, и пронзена богом света.

Мне понравилась эта замысловатость.

Когда я издам книгу своих рассказов под названием «Скрежет», то на обложке попрошу нарисовать барышню, входящую в здание зубоврачебных курсов...

Заинтересованный диковинным «Аполлоном», я купил журнал и ушел.

* * *

Первая статья, которуя я начал читать,— Иннокентия Анненского,— называлась «О современном лиризме».

Первая фраза была такая:

«Жасминовые тирсы наших первых мэнад примахались быстро...»

Мне отчасти до боли сделалось жаль наш бестолковый русский народ, а отчасти было досадно: ничего нельзя поручить русскому человеку... Дали ему в руки жасминовый тирс, а он обрадовался и ну — махать им, пока примахал этот инструмент окончательно.

Фраза, случайно выхваченная мною из середины «лиризма», тоже не развеселила меня:

«В русской поэзии носятся частицы теософического кокса, этого буржуазнейшего из Антисмертинов...»

Это было до боли обидно.

Я так расстроился, что дальше даже не мог читать статьи «О современном лиризме»...

* * *

Неприятное чувство сгладила другая статья: «В ожидании гимна Аполлону».

Я человек очень жизнерадостный, и веселье бьет во мне ключом, так что мне совершенно по вкусу пришлось предложение автора:

«Так как танец есть прекраснейшее явление в жизни, то нужно сплетаться всем людям в хороводы и танцевать. Люди должны сделаться прекрасными, непрестанно во всех своих действиях, и танец будет законом жизни».

Последующие слова автора относительно зажжения алтарей, учреждения обетных шествий и плясов привели меня в решительный восторг.

«Действительно! — думал я. — Как мы живем... Ни тебе удовольствия, ни тебе веселья. Все ползают на земле, как умирающие черви, уныние сковывает костенеющие члены... Нет, решительно, обетные шествия и плясы — вот то, что выведет нас на новую дорогу».

Дальше автор говорил:

«Не случайно происходит за последние годы повышение интереса к танцу...»

«Вот оно! — подумал я. — Начинается!»

У меня захватило дыхание от предвкушения близкого веселья, и я должен был сделать усилие, чтобы заставить себя перейти к следующей статье:

«О театре».

* * *

Автор статьи о театре видел единственное спасение и возрождение театра в том, чтобы публика участвовала в действии наравне с актерами.

Идея мне понравилась, но многое показалось неясным: будет ли публика на жалованье у дирекции театра, или актеры будут уравнены с публикой в правах тем, что им придется приобретать в кассе билеты «на право игры»... И как отнесутся актеры к той ленивой, инертной части публики, которая предпочтет участию в игре — простое глазение на все происходящее?..

Впрочем, я вполне согласен с автором, что важна идея, а детали можно разработать после.

* * *

Вечером я поехал к одним знакомым и застал у них гостей.

Все сидели в гостиной небольшими группами и вели разговор о бюрократическом засилье, указывая на примеры Англии и Америки.

— Господа! — предложил я. — Не лучше ли нам сплестись в радостный хоровод и понестись в обетном плясе к Дионису?!

Мое предложение вызвало недоумение.

— То есть?..

— В нашей повседневности есть плясовой ритм. Сплетенный хоровод должен нестись даже в будничной жизни, перейдя с подмостков в жизнь... Позвольте вашу руку, мадам!.. Вот так... Господа! Ну, зачем быть такими унылыми?.. Возьмите вашу соседку за руку. Что вы смотрите на меня так недоумевающе? Готово? Ну, теперь можете нестись в радостном хороводе. Господа... Нельзя же так!..

Гости растерянно опустили сплетенные по моему указанию руки и робко уселись на свои места.

— Почему вам взбрела в голову такая идея — танцевать? — сухо спросил хозяин дома. — Когда будет танцевальный вечер, там молодежь и потанцует. А людям солидным ни с того ни с сего выкидывать козла — согласитесь сами...

Желая смягчить неловкую паузу, хозяйка сказала:

— А поэта Бунина в академики выбрали... Слышали?

Я пожал плечами.

— Ах, уж эта русская поэзия! В ней носятся частицы теософического кокса, этого буржуазнейшего из Антисмертинов...

Хозяйка побледнела.

А хозяин взял меня под руку, отвел в сторону и сурово шепнул:

— Надеюсь, после всего вами сказанного вы сами поймете, что бывать вам у нас неудобно...

Я укоризненно покачал головой и похлопал его по плечу:

— То-то и оно! Быстро примахались жасминовые тирсы наших первых мэнад. Вам только поручи какое-нибудь дело... Благодарю вас, не беспокойтесь... Я сам спущусь! Тут всего несколько ступенек...

* * *

По улице я шагал с тяжелым чувством.

— Вот и устраивай с таким народом обетные плясы, вот и води хороводы! Дай ему жасминовый тирс, так он его не только примахает, да еще в извозчичий кнут обратив, тебя же им и оттузит! Дионисы!

Огорченный, я зашел в театр.

На сцене стоял, сжав кулаки, городничий, а перед ним на коленях купцы.

— Так — жаловаться?! — гремел городничий.

Я решил попытаться провести в жизнь так понравившуюся мне идею слияния публики со сценой.

— ...Жаловаться? Архиплуты, протобестии...

Я встал с места и, изобразив на лице возмущение, со своей стороны, продолжал:

— ...Надувалы морские! Да знаете ли вы, семь чертей и одна ведьма вам в зубы, что...

Оказалось, что идея участия публики в актерской игре еще не вошла в жизнь...

Когда околоточный надзиратель, сидя в конторе театра, писал протокол, он поднял на меня глаза и спросил:

— Что побудило вас вмешаться в действие пьесы?..

Я попытался оправдаться:

Тирсы уж очень примахались, господин околоточный...

— Знаем мы вас,— скептически сказал околоточный. — Напьются, а потом — тирсы!

. . . .

АМЕРИКАНЦЫ

Издатель журнала «Северное сияние» Роздеришин и секретарь Бильбокеев составляли объявление о подписке на будущий год.

— С чего начинать-то? — спросил, беря в руку перо, Бильбокеев.

— Ну... как, обыкновенно начинается...

— Обыкновенно начинают так,— сказал опытный Бильбокеев.— «Не прибегая к широковещательным рекламам»...

— Это хорошо. Солидно. Только... постойте, дорогой... Что это мы хотим сейчас составить?

— Широковещательную рекламу.

— Ну, вот. А пишем — «не прибегая»... Неудобно.

Бильбокеев подумал.

— Существует еще одно хорошее вступление для такого рода объявлений: «не щадя затрат, наш журнал»...

— Прекрасно! — восхищенно воскликнул Роздеришин.— Именно — «не щадя затрат»... Так и начните.

Бильбокеев написал «не щадя затрат» и выжидательно посмотрел на издателя.

— Ну-с?

— Что? — спросил издатель.

— Вот я написал — «не щадя затрат»,— а что же дальше?

— Да это и хорошо. Чего же еще?

— Видите ли... я написал придаточное предложение. Как вам, вероятно, известно — придаточное предложение само по себе, без главного — существовать не может... Где же главное предложение?

— Чивой-то я не понимаю,— сказал Роздеришин, растерянно смотря на секретаря.

— Ах ты, Господи! Вот мы написали: «не щадя затрат»... Ну, а что же дальше?! Нужно так писать: «не щадя затрат,— мы сделаем то-то и то-то». Ну, вот вы и скажите, на что мы обещаем не щадить затрат? Что это такое — то-то и то-то?

Издатель вздохнул.

— Вот оно что! Дальше можно бы написать, что, мол, «идя навстречу интересам многоуважаемых господ подписчиков»...

Секретарь приписал несколько слов и прочел вслух:

— «Не щадя затрат и идя навстречу интересам многоуважаемых господ подписчиков»...

Он остановился.

— Ну-с? А где же главное предложение?

— Неужели главного еще нет? — удивился Роздеришин.

— Конечно! Вот мы не щадим затрат, идем навстречу. А на что не щадим, куда идем?

— Гм...— задумался издатель и даже вытянул губы трубочкой.— Действительно. «Идя навстречу интересам многоуважаемых господ подписчиков»... А ведь они, черти полосатые, разве понимают — каково издателю? Гм... Что бы им такое дальше ввернуть? Разве, насчет окраин?..

— Каких окраин?

— Что, мол, журнал будет уделять большое внимание насущным интересам окраин... Некоторые объявляют так.

— Никанор Палыч! Да ведь это газета может уделять! Какие у нас могут быть интересы окраин? На первой странице какая-нибудь «девочка с яблоком», потом роман «Разными дорогами», опять — «девочка с кошкой», она же, поздравляющая с днем рождения бабушку, «флорентинская цветочница», смесь, и в конце та же проклятая девчонка с собакой, под названием «Два друга». И так — каждый номер. Где ж тут окраины? Нужно одно из двух — или насчет самого журнала размазать побольше — или насчет премий!

— Что ж насчет журнала... Даем мы, как обыкновенно: 52 номера роскошно иллюстрированного журнала, с произведениями лучших мастеров слова на веленевой бумаге...

— Это мы и в прошлом году писали и в позапрошлом... Нужно что-нибудь насчет реформ. Вроде, что: 1910 год будет годом наших реформ!

— Да какие же реформы?.. Рассыльного Мотыку я давно собираюсь турнуть, взять на его место — потолковее...

— Ну, что вы такое говорите, Никанор Палыч! В других журналах, как у людей... Вон «Зарницы» как написали: мы, говорят, не щадя затрат, будем печатать некоторые рисунки по способу «дрей фарбен друк!».

Роздеришин с суеверным ужасом посмотрел на секретаря.

— Господи! Что же это?..

— Трехцветная печать! А у нас все одним цветом жарим... Эйн фарбен друк!

— Голубчик! — сказал издатель. — А вы так и напишите... Что, мол, мы с будущего года будем рисунки печатать эйн фарбен друком.

Бильбокеев рассмеялся.

— Не щадя затрат?

— Не щадя. Можно тут же написать: «идя навстречу». А?

— Нет, Никанор Палыч — не отвертитесь!.. Придется вам на премии налечь. Что вы предполагали дать?

— У меня тут отмечено: «Альбом красавиц на меловой бумаге — приятное развлечение домашнего очага, полное собрание сочинений знаменитого писателя сороковых годов и книжка портретов членов Государственной Думы»...

Бильбокеев задумчиво качнул головой.

— Недурно. Красавиц штук десять можно дать. Надо в клише порыться. Члены Думы только дорого обойдутся... Фотографии покупать, клише делать...

— Поехали! Может, еще и в три краски печатать? Пороемся в старых клише и довольно.

— Да у нас никаких клише членов Думы и нет!..

— И не надо. Мало ли у нас есть клише вообще. «Свен Гедин, путешественник по Тибету», «Знаменитый ученый Пастер», «Английский министр колоний», «Убийца президента Карно» — всех можно пустить в дело. Только по бородам подобрать.

— Как... по бородам?

— Да так. У кого из членов Думы борода — ставить клише с бородой, у кого усы — с усами. А что не похожи будут — пустяки. Подумают — нечаянно перепутали. Съедят.

— Разве что так! — сказал Бильбокеев. — А что это за знаменитый писатель сороковых годов, с полным собранием сочинений? У вас там фамилия не указана.

— Да и сам не знаю. Купил на складе по случаю — тысяч двадцать томов какой-то чепуховины, а чьи — так и не посмотрел. Вы уж его там распишете сами.

— Постойте! Мы так и продолжим... Значит: «не щадя затрат и идя навстречу интересам публики, редакция решила дать ряд премий, стоящих в отдельной продаже 27 рублей 55 копеек. 1) «Альбом красавиц». Это изящное издание явится лучшим украшением домашнего очага и своими грациозными формами будет веселить глаз всех любителей женской красоты — лучшего, чем украсила вселенную мать-природа. Перед подписчиком пройдет ряд лучших красавиц, стоящих в отдельной продаже 8 рублей. 2) Полное собрание сочинений знаменитого мастера слова сороковых годов (не забудьте потом фамилию вставить), произведения которого до сих пор перечитываются и заучиваются наизусть. Имя это стоит в плеяде наравне с такими мастерами слова, как Пушкин, Белинский и незабвенный русский сатирик Н.В. Гоголь, сквозь слезы смеявшийся над дореформенной Русью и заклеймивший своим талантливым пером взяточничество и отечественную косность. 3) Все подписчики, внесшие деньги до первого января, получат роскошное издание «Наши депутаты». Перед читателем

пройдет здесь ряд «лучших людей страны», призванных залечить раны и уврачевать нашу матушку Россию. Всякий может запечатлеть в сердце дорогие черты, внеся деньги до первого января (на год 6 руб., полгода 3 руб. 50 коп.).

Бильбокеев перевел дух.

— Хорошо?

— Здорово. О Гоголе метко сказано. Именно что — не щадя затрат! Спасибо.

Роздеришин пожал Бильбокееву руку, а тот ухмыльнулся и сказал:

— Все-таки я думаю сверху написать: «не прибегая к широковещательным рекламам»... А?

ПОДМОСТКИ

Я сидел в четвертом ряду кресел и вслушивался в слова, которые произносил на сцене человек с небольшой русой бородой и мягким взглядом добрых, ласковых глаз.

— Зачем такая ненависть? Зачем возмущение? Они тоже, может быть, хорошие люди, но слепые, сами не понимающие, что они делают... Понять их надо, а не ненавидеть!

Другой артист, загримированный суровым, обличающим человеком, нахмурил брови и непреклонно сказал:

— Да, но как тяжело видеть всюду раболепство, тупость и косность! У благородного человека сердце разрывается от этого.

Героиня, полулежа на кушетке, грустно возражала:

— Господа, воздух так чист, и птички так звонко поют... В небе сияет солнце, и тихий ветерок порхает с цветочка на цветочек... Зачем спорить?

Обличающий человек закрыл лицо руками и, сквозь рыдания, простонал:

— Божжже мой! Божжжже мой!.. Как тяжело жить!

Человек, загримированный всепрощающим, тихо положил руки на плечо тому, который говорил «Божже мой!».

— Ирина,— прошептал он, обращаясь к героине,— у этого человека большая душа!

На моих глазах выступили слезы.

Я вообще очень чувствителен и не могу видеть равнодушно, даже если на моих глазах режут человека.

Я смахнул слезу и почувствовал, что эти люди своей талантливой игрой делают меня хорошим, чистым человеком. Мне страстно захотелось пойти в антракте в уборную к тому актеру, который всех прощал, и к тому, который страдал, и к грустной героине — и поблагодарить их за те чувства, которые они разбудили в моей душе.

И я пошел к ним в первом же антракте.

Вот каким образом познакомился я с интересным миром деятелей подмостков...

* * *

— Можно пройти в уборную Эрастова?

— А вы не сапожник?

— Лично я не могу об этом судить,— нерешительно ответил я.— Хотя некоторые критики находили недостатки в моих рассказах, но не до такой степени, чтобы...

— Пожалуйте!

Я шагнул в дверь и очутился перед человеком, загримированным всепрощающим.

— Ваш поклонник! — отрекомендовался я.— Пришел познакомиться лично.

Он был растроган.

— Очень рад... садитесь!

— Спасибо,— сказал я, оглядывая уборную.— Как интересна жизнь артиста, не правда ли?.. Все вы такие душевные, ласковые, талантливые...

Эрастов снисходительно усмехнулся.

— Ну, уж и талантливые... Далеко не все талантливы!

— Не скромничайте,— возразил я, садясь.

— Конечно... Разве этот старый башмак имеет хоть какую-нибудь искру? Ни малейшей!

— Какой старый башмак? — вздрогнул я.

— Фиалкин-Грохотов! Тот, который так подло играл роль героя.

— Вы находите, что он не справился с ролью? Зачем же тогда режиссер поручил ему эту роль?

Эрастов всплеснул руками.

— Дитя! Вы ничего не знаете? Да ведь режиссер живет с его женой! А сам он пользуется щедротами купчихи По-

ливаловой, которая — родственница буфетчика Илькина, имеющего на антрепренера векселей на сорок тысяч.

Я был ошеломлен.

— Какой негодяй! И с таким человеком должны играть вы и эта милая, симпатичная Лучезарская!..

— Героиня? Да ей-то что... Она сама живет с суфлером только потому, что тот приходится двоюродным братом рецензенту Кулдыбину. У нее, впрочем, есть муж и дочь лет двенадцати. Но она своими побоями скоро вгонит девчонку в гроб — я в этом уверен. Впрочем, она не прочь продать девчонку комику Зубчаткину только потому, что у того есть некоторые связи в Н-ом театре, куда она мечтает пробраться...

— Неужели она такая?

— Да, знаете... Готова с каждым первым попавшимся. Покажите ей десять рублей — побежит. Ей комическая старуха Мяткина-Строева давно уже руки не подает!

— Смотрите-ка! Комическая старуха, а какая благородная брезгливость, — изумился я.

— Она не потому. Просто у Мяткиной-Строевой был любовник на выходах — Клеопатров, которого она содержала, а Лучезарская насплетничала, что он в бутафорской шлем украл — его и уволили среди сезона. Вы меня извините, сейчас мой выход минут на пять, если хотите — подождите... Я вернусь, еще поболтаем. Ужасно, знаете, мне с моими взглядами жить среди этой грязи и сплетен. Я сейчас!

Он ушел. Я остался один.

Дверь скрипнула, и в уборную вошел Фиалкин-Грохотов, весело что-то насвистывая.

— Васьки нет? — спросил он благодушно.

— Нет, — ответил я, вежливо раскланиваясь. — Очень рад с вами познакомиться — вы прекрасно играли!

Лицо его сделалось грустным.

— Я мог бы прекрасно играть, но не здесь. Я мог бы играть, но с этим... Эрастовым! Знаете ли вы, что этот человек в диалоге невозможен? Он перехватывает реплики, не дает досказывать, комкает ваши слова и своими дурацкими гримасами отвлекает внимание публики от говорящего.

— Неужели он такой? — удивился я.

— Он? Это бы еще ничего, если бы он в частной жизни был порядочным человеком. Но ведь его вечные истории

с несовершеннолетними гимназистками, эта подозрительно-счастливая игра в карты и бесцеремонность в займах — вот что тяжело и ужасно. Кстати, он у вас еще взаймы не просил?

— Нет. А что?

— Попросит. Больше десяти рублей не одолжайте — все равно не отдаст. Я вам скажу — он да Лучезарская...

В двери послышался стук.

— Можно? — спросила Лучезарская, входя в уборную. — Ах, извините! Очень рада познакомиться!

— Ну что, голуба? — приветливо сказал Фиалкин-Грохотов, смотря на нее. — Что он там?..

— Ужас, что такое! — страдальчески ответила Лучезарская, поднимая руки кверху. Это такой кошмар... Все время путает слова, переигрывает, то шепчет, как простуженный, то орет. Я с ним совершенно измоталась!

— Бедная вы моя, — ласково и грустно посмотрел на нее Фиалкин-Грохотов. — Каково вам-то.

— Мне-то ничего... У меня сегодня с ним почти нет игры, а вот вы... Я думаю, — вам с вашей школой, с игрой сердцем и нервами, после большой столичной сцены... тяжело? О, как мне все это понятно! Вам сейчас выходить, милый... Идите!

Он вышел, а Лучезарская нахмурила брови и, наклонившись ко мне, озабоченно прошептала:

— Что вам говорил сейчас этот кретин?

— Он? Так кое-что... Светский разговор.

— Это страшный сплетник и лгун... Мы его все боимся, как огня. Он способен, например, выйти сейчас и рассказать, что застал вас обшаривающим карманы висящего пиджака Эрастова.

— Неужели? — испугался я.

— Алкоголик и морфинист. Мы очень будем рады, если его засадят в тюрьму.

— Неужели? За что?

— Шантажировал какую-то богатую барыню. Теперь все раскрылось. Я очень буду рада, потому что играть с ним — чистое мучение! Когда он да эта горилла — Эрастов на сцене, то ни в чем не можешь быть уверенным. Все провалят!

— Почему же режиссер дает им такие ответственные роли?

— Очень просто! Эрастов живет с женой режиссера, а тому только этого и надо, потому что ему не мешают тогда наслаж-

даться счастием с этой распутницей Каширской-Мелиной, которая жила в прошлом году с Зубчаткиным.

Она грустно улыбнулась и вздохнула:

— Вас, вероятно, ужасает наше театральное болото? Меня оно ужасает еще больше, но... что делать! Я слишком люблю сцену!..

В уборную влетел Эрастов и, скрежеща зубами, сказал:

— Душечка, Марья Павловна, посмотрите, что сделала эта скотина с началом второго действия! Что он там натворил...

— Я это и раньше говорила,— пожала плечами Лучезарская.— Эта роль — главная в пьесе и поэтому по справедливости должна была принадлежать вам! Впрочем... Вы ведь знаете режиссера!

* * *

Следующий акт я опять смотрел.

Лучезарская стояла около окна, вся залитая лунным светом, и говорила, положив голову на плечо Фиалкина-Грохотова:

— Я не могу понять того чувства, которое овладевает мною в вашем присутствии: сердце ширится, растет... Что это такое, Кайсаров?

— Милая... чудная! Я хотел бы, чтобы судорога счастья быть любимым вами сразу захватила мое сердце, и я упал бы к вашим ногам бездыханным с последним словом на устах: люблю!

Около меня кто-то вынул платок, задев меня локтем, и, растроганный, вытер глаза.

— Чего вы толкаетесь,— грубо проворчал я.— Болтают тут руками — сами не знают чего!..

ПРОКЛЯТИЕ

Однажды Леонид Андреев затосковал.

Сначала его забавляли неизвестные молодые люди, приезжавшие к нему по два и по три раза в день,— а потом надоели.

Каждый из них, явившись к Андрееву, уводил писателя в угол и, судорожно вцепившись в пуговицу его бархатной тужурки, подавленным шепотом спрашивал:

— Что вы скажете о мессинском землетрясении?

И он смотрел на Андреева такими испытующими глазами, что тому делалось ясно: неизвестный молодой человек подозревает его в организации и устройстве этого бедствия.

— А что? — тоже подавленным шепотом спрашивал испуганный Андреев.— Я в то время был у себя на даче... и, клянусь вам...

— Нет, я хочу знать, как вы находите это землетрясение?

— Оно... ужасно... неприятно,— неуверенно отвечал Андреев.

— Да? Очень вам признателен. Я так и напишу: Леонид Андреев в дружеской беседе высказал свой ужас и возмущение перед загадочными силами природы, которыя... Очень вам благодарен! Бегу.

И он убегал, уступая место другому молодому человеку, такому же симпатичному и юркому.

Второй молодой человек тоже цеплялся за Андреева, как утопающий за соломинку, и с истерическим любопытством спрашивал:

— Какое ваше мнение о Толстом?

— О Толстом? Великий старик, сделавший...

— Благодарю вас. Очень рад был с вами побеседовать! Я так и напишу: Недавно Андреев в тесном семейном кругу высказал не лишенное оригинальности мнение о Толстом. Толстой,— сказал писатель,— хотя и велик, но его старость и сопутствующие этой поре жизни немощи лишают его возможности дать вещи, подобные незабвенным прежним: «Анне Карамазовой» и «Братьям Карениным». Мерси. Лечу.

Третий молодой человек, стоявший в затылок за вторым, ловким движением ноги отбрасывал второго, уже насытившегося, в сторону и спрашивал Андреева в упор:

— О Метерлинке! Что скажете?

— Метерл...

— Благодарю вас! Я так и сообщу нашим читателям! Я очень рад, что ваше мнение совпадает с моим. Лечу. Привет супруге.

Постепенно все это приелось Андрееву.

— Ах, как бы я хотел развеселиться! — говорил он.

— Господи! — удивлялась жена.— Что же может быть легче! В передней есть еще три молодых человека. Позвать? Может, они тебя развеселят...

* * *

Однажды Андрееву пришла в голову лукавая мысль: потихоньку, инкогнито, уехать в Москву и там повеселиться вовсю.

Он остриг волосы, надел черные очки и, взявши чемоданчик, поехал в Москву.

Умылся в номере гостиницы, радостно ухмыльнулся и, довольный собой, зашагал на Тверскую.

Навстречу ему шли две московские барышни.

— Вот Андреев,— сказала одна.

— Леонид,— добавила вторая.

Они остановились и повернули за писателем, смотря на него с изумлением и страхом.

— Идет по улице...— прошептала одна с остолбенелым лицом.

Другая всплеснула руками:

— Смотри, смотри! В калошах... Андреев в калошах!

— Что вам угодно, барышни? — со вздохом спросил Андреев.

— Ай-ай-ай! — взвизгнули обе.— Разговаривает!

И, обезумевши от ужаса, бросились врассыпную.

На Тверскую Андреев не пошел. Накупил газет и, печальный, побрел в свой номер.

В первой газете, которую он развернул, было написано:

— «Передают из достоверных источников, что Леонид Андреев находится в настоящее время в Антверпене. Писателю город очень понравился. Целыми днями его видят гуляющим по набережной и в гавани».

— А надо будет, в самом деле, когда-нибудь,— подумал Андреев,— проехаться в Антверпен. Вероятно, любопытный город.

Отложил первую газету и взял другую.

— «На днях в дружеской беседе Леонид Андреев,— сообщалось во второй газете,— восхищался немецким поэтом Бирбаумом. Он считает его одним из лучших представителей немецкой поэзии».

— Бирбаум...— прошептал Андреев,— странная фамилия. Надо будет почитать что-нибудь Бирбаума...

Встал и, потянувшись, взглянул на часы.

— Ужасно однообразные газеты нынче... Восемь часов... Пойду-ка я куда-нибудь в театр повеселиться.

Вышел, сел на извозчика и сказал:

— Вези меня, братец, в какой-нибудь театр. Смерть, хочется повеселиться. Хе-хе...

— В Художественный? — спросил извозчик.

— Можно и в Художественный. Впрочем, нет, брат. Там идет моя «Анатема». Вези куда-нибудь в другое место. К Коршу, что ли.

Приехав в Коршевский театр, Андреев купил билет и на цыпочках вошел в зрительный зал.

На сцене стоял актер в студенческом мундире, страстно взывая к актрисе:

— Оль-Оль! Я люблю тебя! Посмотри на эти Воробьевы горы...

— «Дни нашей жизни»,— разочарованно прошептал Андреев.— Экая незадача!

Неприятная горечь накоплялась в груди и комком подкатывала к горлу.

Он встал, вышел на улицу и сел на другого извозчика.

— Вези меня, голубчик, в какой-нибудь театр, кроме Художественного и Солодовниковского.

— Пожалуйте!

Подойдя к кассе третьего театра, Андреев взял билет и спросил кассиршу:

— А что сегодня идет?

— «Анфиса», Леонида Андреева. Очень хорошая вещь.

Андреев скомкал билет и со стоном выбежал на улицу.

— Есть еще один театр,— сказал он сам себе,— но у меня и пьеса еще одна есть: «Жизнь человека». Я уверен, что наткнусь именно на нее. И еще один есть театр. Но туда не стоит и показываться: там, я знаю,— «Черные маски».

Во взоре его светилось отчаянье.

Громадный равнодушный город катил перед ним тысячные людские волны, громадный город заключал в себе массу развлечений, но — все они были не для него.

— Для всех, кроме него! Ха-ха!

Чем дальше, тем все больше и больше ему хотелось повеселиться... Взгляд его упал на гигантскую огненную вывеску:

— «Синематограф “Moderne”».

— Пойду я хоть в синематограф,— подумал несчастный и уныло побрел в иллюминованный подъезд.

Через минуту публика в ужасе шарахнулась от какого-то невысокого черного человека, который со страдальческим воем, расталкивая всех, бросился к выходу.

В синематографе демонстрировали сенсационную картину: «Леонид Андреев у себя на даче. Только самое короткое время! Леонид Андреев на моторной лодке. Редкое зрелище! Леонид Андреев и Оскар Норвежский за чаем! Леонид Андреев говорит в граммофон. Невозможное стало возможным! Спешите смотреть!»

На лице Андреева застыла мертвенная скука; в глазах виднелось страдание. Он махнул рукой и пошел на вокзал написать жене письмо,— что завтра выезжает обратно.

— Открыточку? — спросила его продавщица в вокзальном киоске.— Вот, пожалуйста... Не желаете ли: Леонид Андреев, последний выпуск.

Андреев, шатаясь, отошел от киоска, опустился на колени и, воздев руки кверху, заплакал:

— Господи! За что ты меня проклял?!

ПЕРНАТОЕ

I

До сих пор мне почти совсем не приходилось думать о жизни африканских дикарей... Занятый своими делами, я совершенно забыл об их существовании и имею основание утверждать, что их отношение ко мне носило такой же характер — полнейшего равнодушия.

В своей жизни я написал целый ряд фельетонов и статей: юмористических, сатирических, ядовитых, полных сарказма и негодования, но едва ли хотя одно мое произведение вызвало на устах африканского дикаря улыбку или заставило его искренно негодовать вместе со мною по поводу все ухудшающейся жизни на нашей бестолковой планете.

Так мы жили: я — сам по себе, а дикари, под палящими лучами африканского солнца,— сами по себе.

Но однажды, когда я сидел в редакции, освещенной электрическим светом, имея перед собой телефон, сзади — шкап, битком набитый гениальными творениями, а сбоку

последние телеграммы, сообщавшие мне о различных событиях в самых последних закоулках земного шара,— мне до боли сделалось жаль несчастных, невежественных дикарей, лишенных не только телефона и шкапа, набитого книгами, но даже простой, дешевой, копеечной вечерней газеты!

— Вот,— сказал я сам себе,— ты сидишь здесь, залитый электрическим светом, сильный, всезнающий культурный человек, а в это же самое время где-нибудь у истоков Нила жалкий, тупой дикарь, раздираемый когтями свирепого льва, молча страдает и от когтей, и от отсутствия вечерней газеты, и от своей собственной тупости и невежества...

Сердце мое болезненно сжалось, и к горлу подкатил тяжелый ком.

Для журналиста — у меня на редкость добрая, отзывчивая душа и широкое, способное на героизм и самопожертвование сердце.

Целую неделю у меня не выходила из головы судьба африканских дикарей, а еще через неделю — я решил поехать к ним, неся с собой знание, просвещение и истинные культурные начинания, могущие поднять дикаря до меня, всезнающего, разностороннего газетного работника.

Издатель сначала удивился моему решению, потом огорчился, потом выразил опасение — не страдаю ли я тихим помешательством, а потом выдал мне аванс, написал в своей газете, что «редакция, не щадя затрат, решила послать собственного специального корреспондента в Центральную Африку»... и я уехал...

II

Утомившись после длинного дневного перехода под свирепыми лучами центрального африканского солнца, я, вместе со своими проводниками, остановился на ночлег в тропическом лесу, сплошь состоявшем из лиан, змей и голодных назойливых львов.

Не прошло и часу беспокойного, тяжелого сна, как я услышал крики, беготню, возню и, очнувшись, увидел себя схваченным дюжими черными руками нескольких неизвестных мне людей, очевидно, тех самых, которые так страдали от отсутствия вечерних газет.

Не теряя присутствия духа, я с помощью знаков обратился к ним со следующей речью:

— Милостивые дикари! Я, конечно, понимаю, что весь ваш жизненный уклад и дедовские традиции, теряющиеся во тьме прошлых веков, повелевают вам сейчас же без остатка съесть меня, запив чистой ключевой водой. Но я имею мужество сказать, что это будет самым идиотским поступком вашей безграмотной жизни! Вы убьете курицу, могущую нести золотые яйца, уничтожите жемчужину, которая будет самым лучшим украшением короны вашего короля. Из истории мы знаем один пример такой бессмысленной расточительности — когда царица Клеопатра распустила в уксусе жемчужину и проглотила эту отвратительную смесь, но ведь это было сделано глупой, истеричной женщиной, а вы — рассудительные, неглупые дикари, с честными, открытыми лицами!..

Известно, что человека можно поймать на самую грубую лесть. Дикари, польщенные моими последними словами и обескураженные указанием на печальной памяти пример Клеопатры, заговорили что-то на своем чернокожем языке, а потом один спросил меня знаками:

— Если бы мы пренебрегли своими священными традициями и оставили тебя несъеденным, что бы ты мог предложить нам взамен этого акта исключительного милосердия?

— Мне гораздо легче указать вам, — гордо отвечал я, — чего я не могу предложить! Я научу вас всему: ваши вигвамы зальются светом электричества! Книгопечатание поднимет ваш умственный уровень, принципы культурной дипломатии расширят ваши границы, а огнестрельное оружие защитит вас от нападений хищных зверей.

Восторженный крик исторгся из нескольких десятков грудей, и обезумевшие от радости дикари потащили меня к королю, куда-то в глубь девственного африканского леса...

III

Гордо, полный сознания собственного достоинства, стоял я перед чернокожим королем.

— Неужели, ты, один человек, можешь все знать? — изумленно допрашивал меня простодушный дикарь.

— Я журналист! — отвечал я знаками.— Журналисты должны все знать. Наша деятельность требует исключительной разносторонности.

— Что ты считаешь самым главным в жизни человеческой? — спросил меня король.

— Печатное слово.

— Можешь ты научить нас этому?

— Господи! — удивился я.— Ничего нет легче.

— Как же это делается?

— Как?

Все окружающие притаили дыхание. Сам король подался вперед, олицетворяя собой воплощенное внимание.

— Делается это просто: приходит мне в голову какая-нибудь мысль... Я сажусь за стол и излагаю ее на бумаге. Затем зову мальчишку...

— Мальчишки у нас есть. Сколько угодно,— вставил король.

— ...Зову мальчишку и отсылаю в типографию. Там набирают, печатают и потом это рассылается по всему свету!

Глаза короля заблистали восторгом.

— Что нужно для того, чтобы устроить типографию? Из чего она делается?

Я подумал.

— Из... железа.

— Железо у нас есть! Эй! кто там... Дать этому бледнолицему железа, сколько ему понадобится. Пусть десять самых расторопных моих подданных помогают ему.

— Видите ли...— нерешительно сказал я.— Типографские машины бывают нескольких родов: самая сложная — ротационная, для газет, потом бывают плоские, иллюстрационные... Самая простая, так называемая американка...

IV

У моих ног лежала груда разного железа. Меня окружили десять откомандированных мне на помощь дикарей, и все они с рабской готовностью смотрели в мои глаза, ожидая первого жеста, чтобы начать работу.

Я поднял кусок железа и повертел его в руках. Мне часто приходилось видеть типографские машины, но в них было нацеплено столько разных колес, рычагов и винтиков, что я сейчас был в полнейшем недоумении — с чего мне начать.

— Прежде всего,— промямлил я,— мы должны бросить ретроспективный взгляд и проследить дело книгопечатания со времени его возникновения. Один бедный человек, по имени Гуттенберг, родившийся в тысяча... (я пожалел, что со мной не было энциклопедического словаря) да... родившийся несколько веков тому назад, придумал вместо рукописных букв вырезанные из дерева. Сначала они вырезались на целой доске, а потом Гуттенберг стал делать их подвижными...

Я запнулся и, безнадежно опустив голову, умолк.

Толпа дикарей с жадным доверчивым любопытством окружала меня, ловила каждое мое слово, каждый жест, как величайшее откровение...

— Да... вот таким образом и было изобретено Гуттенбергом книгопечатание... Впрочем, господа, прежде чем начинать устраивать типографию, мы должны заняться бумагой. Знаете ли вы, как делается бумага?

— Мы о ней и не слыхивали,— заявил король.

— Неужели?! — вскричал я, с сожалением оглядев дикарей.— Ведь это такой пустяк! Должен вам сказать, что бумага изготовляется из тряпок, тряпки из отслужившей свой срок одежды, одежда из материи, а материя из льна, который — суть растение!

Я победоносно взглянул на ошеломленных дикарей.

Король робко спросил:

— Не можешь ли ты, о, чужестранец, указать мне, какое из растений — суть лен?

Я обвел глазами поросшую травой поляну, но так как, не выезжая всю жизнь из города, никогда не видел живого льна,— то благоразумно ответил:

— Бумагу можно делать также из древесных волокон! Американцы приготовляют так называемую древесную бумагу. Должен вам сказать, что Америка со времени открытия ее Колумбом сделала большие завоевания в технике... Громадные мосты титанической работы, тресты, захватившие в свою власть всю промышленность...

— Нет, нет,— перебил меня король.— Ты расскажи, как делается бумага из дерева?

— Как? — да очень просто: электричеством!

На лицах дикарей было написано истерическое любопытство.

— Что же это такое — электричество? — спросил король. — Можешь ты его сделать?

— Каждый мальчишка в европейской школе проходит физику,— презрительно возразил я.— В жизни культурного человека электричество играет первенствующую роль: по освещенным электричеством улицам то и дело мчатся битком набитые трамваи, на верхние этажи высочайших домов человек попадает в одну минуту с помощью электрического лифта, гигантские синематографы запечатлевают все события, и человечество двадцатого века триумфально катит к далекому будущему среди электрических молний, освещенное голубым свет...

— Нет, ты не говори нам так,— нетерпеливо перебил меня король.— Ты расскажи лучше, ну... как устроить синематограф?!

— Простите,— с достоинством возразил я.— Но я журналист, и всякую свою мысль привык облекать в законченную, округленную форму. А синематограф устраивается с помощью электричества.

— Да как же он устраивается?!!

— Он? Прежде всего, я должен... гм... объяснить вам, что такое электричество... Это таинственная, не исследованная еще как следует сила природы, той природы, которая в своем вечном многообразии...

— Как мы можем получить электричество? — нервно вскричал король.— С чего начать? Ты нам это расскажи!

— Электричество? Существует, видите ли, два рода электричества... Положительное и отрицательное... Так называемые катушки Румкорфа, состоящие из...

За несколько лет моей писательской работы мне ни разу не приходилось касаться электричества, и все мое отношение к данному предмету ограничивалось тем, что я однажды заплатил монтеру за починку звонков 4 рубля.

— Так называемый магнитный полюс,— пролепетал я,— который является следствием... Гм... В простейшем своем роде электричество в природе можно вызвать с помощью элементарнейших опытов... Например: вы берете гребенку и проводите ею по волосам... Характеристический треск, который вы слышите, и есть электричество, разряжающееся...

— Он все врет,— послышался сбоку голос.— Он решительно ничего не знает. Давайте его съедим!

— Я ничего не знаю?! — с негодованием воскликнул я. — Сами вы врете! я все знаю! я могу посвятить вас в создавшуюся политическую конъюнктуру Европы, могу осветить с самой оригинальной точки зрения творчество Ибсена, расскажу вам о возвращении к культу Греции, о танцах будущего, о крушении индивидуализма, о кознях Австрии...

Меня связали и потащили куда-то...

А я говорил:

— Аэропланы — суть аппараты тяжелее воздуха. Различаются — монопланы, бипланы и так называемые геликоптеры.

— А как они делаются? — с любопытством спросил тащивший меня дикарь.

Подробно я этого не знал и потому, помолчав, сказал:

— Скоро человек завоюет воздух, и эти большие белые птицы будут реять в безоблачном небе, которое притихнет, будто изумленное дерзостью во все проникающего человеческого гения...

— Он будет очень вкусен, — похвалил меня один дикарь, ощупывая голову.

— Он понравился мне с первого взгляда, — сказал другой.

Я слишком культурный человек, чтобы меня могла тронуть эта грубая лесть...

Я промолчал и, брошенный на траву, стал терпеливо ожидать, когда меня зарежут.

— Заявить им разве, — подумал я, — что я знаю, как делаются ружья? Я несколько раз возмущался в печати бесчеловечием пули дум-дум, негодовал по поводу отсталости России в деле вооружения артиллерии дальнобойными орудиями, но как все это делается — пусть меня повесят — не знаю...

ЕЩЕ ВОСПОМИНАНИЯ О ЧЕХОВЕ

Сей труд автор благоговейно посвящает Н. Ежову... как автору остроумного труда о Чехове, напечатанного в «Историческом Вестнике».

I

Однажды мы с Антоном Павловичем сидели в его саду и тихо беседовали.

— Вас спрашивают... Можно вас видеть? — доложил старый слуга.

Непосредственно за этими словами из-за спины слуги раздался веселый голос:

— Чего там спрашивают?! Хо-хо! Смерть не люблю этих китайских церемоний! Доложи, да прими, да еще, пожалуй, визитные карточки потребуешь — терпеть не могу цирлих-манирлих. Здравствуй, Антоша!

Антон Павлович привстал и недоумевающе посмотрел на веселого господина в лихо надетом набекрень котелке, с жизнерадостными, но немного мутными глазами, и с манерами, красиво развязными и размашистыми.

— Простите...— недоумевая сказал Антон Павлович.

— Не узнаешь, шельмец?! Славой... как это говорится... обуян? Загордился? Хо-хо! Смерть не люблю, когда эдакое вот... двуногое — нос задирает!!!

— Не будете ли добры,— мягко сказал Чехов, юмористически взглянув на меня,— назвать себя, чтобы я мог вспомнить. С годами, знаете... память слабеет.

— Хо-хо! Как это говорится: Изабелла — ослабела! А ты, брат, изменился, похудел. Ну, что твоя чахотка? Небось, кровью харкаешь уже?

— Будьте добры,— вмешался я, выступая вперед,— сказать, кто вы такой, потому что Антон Павлович вас не может узнать.

— А! И вы здесь... господин хороший! Как поживаете? Небось, тоже пишете? Много развелось теперь пишущей братии... и всякий о себе мнит, что гений. Правильно, Антоша? Помнишь, как я тебя в былое время называл: Антошка-картошка? Да, брат, было времячко...

Веселый господин сел на мое место и, задумчиво сбивая суковатой палкой головки цветов на куртинах, продолжал:

— Вот видишь, Антоша... ты меня забыл, а я тебя помню. Забыл Колю, шельмец?! А ведь в одной газете работали. Я о кораблекрушениях разных, о бешеных собаках писал, а ты рассказы мастачил. Хо-хо! Ловкач ты, брат! Нос у тебя есть. Потому и выдвинулся, что нос есть. Умеешь по ветру... А я тоже, брат... стал уже разные фельетонные фигли-мигли разводить. Читал, небось, как я на днях отцов города за городские скверы продернул? Ванька Арепьев часто говорил: бойкое у тебя, Коля, перо... Ох, бойкое! Помнишь Ваньку Арепьева?

Чехов наморщил лоб.

— Что-то не помню... Фельетончика вашего о скверах, к сожалению, тоже не читал.

Веселый господин протяжно свистнул.

— Да ты что, Антоша... в самом деле в знаменитости продираешься? За литературой не следишь, бывших друзей не признаешь... Оттого и вид у тебя такой... туберкулезный! А я, брат, тебе одну штукенцию притащил. Замечательная повесть. Сам и писал, милый Антуан, собственными руками. Прочти и скажи свое вещее слово. Может, в «Русское Богатство» пристроишь.

Антон Павлович со вздохом взял пожелтевшую, растрепанную, видавшую виды рукопись и развернул ее.

— Она у вас... гм... не обработана.

— Как не обработана? Врешь, брат, до последней запятой обработана!

— Да вот тут... первая же фраза: «к высокому гроту подъехал мужчина, который зиял темным загадочным отверстием...» Кто зиял?

— Конечно, грот. Всякий по смыслу догадается. А я уже вижу, брат, что ты подкапываешься. Нехорошо, Антоша... Неискренно! Конечно, с таким отношением к товарищу — никакое «Русское Богатство» не напечатает. Ну, Бог с тобой! У меня есть к тебе другая дружеская просьба... дай мне пятьсот рублей!

— Как — пятьсот рублей?

— Взаймы. После сосчитаемся.

— Да у меня такой суммы, право, нет...

— Полно врать-то! Небось, в год зарабатываешь в пять раз больше. Ну, нет пятисот, дай триста. Я тебе оставлю мою рукопись... За нее всякий издатель даст в десять раз больше!

— Уверяю вас... У меня при себе рублей тридцать–сорок есть. И на те я должен жить всю неделю. Впрочем, половину — могу.

— Эх, Антоша! Засушила тебя слава! Мелок ты стал: товарищам завидуешь, в денежных отношениях потерял широту русской души... Жмешься, брат! А ведь все равно — кашляешь, кашляешь, да и помрешь скоро... Кому свои миллионы оставишь?

Веселый господин похлопал меня по плечу, как бы призывая в свидетели своего утверждения, покачал головой и, обиженный, исчез так же неожиданно, как явился.

Больше мы с ним не встречались...

II

Когда в печати появились воспоминания Куприна, Бунина и Горького — о Чехове, веселый господин решил, что настала его очередь.

— Что ж... — подумал он. — Недаром Ванька Арепьев частенько говорил, что у меня бойкое перо. Попробуем!

Веселый господин отодвинул начатый фельетон о непозволительном отношении отцов города к водопроводному вопросу и начал:

ВОСПОМИНАНИЯ О ЧЕХОВЕ

Должен сказать, что Чехова я знал очень близко... Начинали мы с ним в одной газете, и я, по-приятельски, даже называл его Антошей.

— Эх, ты, — говорю, — Антошка-картошка!

Зная его близко, должен сказать, что дружественная критика окружила его совершенно незаслуженным ореолом и каким-то идолопоклонническим отношением...

Мало кому известно, что слухи о доброте и деликатности Антона Петровича были сильно преувеличены. Наоборот, покойный писатель к своим бывшим товарищам по работе

относился с невыносимым пренебрежением, еле узнавал их при встрече.

Кроме того, угасший писатель был скупенек и часто, позванивая в кармане сторублевками, отказывал в займе даже своим близким нуждающимся друзьям.

Отличительной чертой незабвенного покойника была грубость, доходящая порой до наглости... Так, например, пишущий эти строки был свидетелем того, как Антон Павлович раскритиковал прекрасную повесть маститого писателя, который находился тут же. Нужно ли говорить, что эта грубая критика была совершенно несправедлива, являясь результатом болезненной зависти к более талантливым коллегам чахоточного писателя...

Покойный, конечно, понимал, что его нудные, тягучие измышления, лишенные элементарного знания жизни, сразу тускнели и терялись рядом с прекрасными, полными жизненной правды произведениями маститого автора. «Чего же спят наши отцы города, не обращая внимания на позорное состояние городской канализации».

К числу отрицательных свойств дорогого всем покойника нужно отнести также его известную близким — приверженность к алкоголю и полнейшее неуменье отличать свое от чужого. (Пишущий эти строки хорошо помнит, как незабвенный писатель обменял свои старые калоши на его новые и спрятал однажды, якобы по рассеянности, вместо носового платка — совсем новенькую салфетку.)

В будущем автор настоящих воспоминаний о Чехове постарается глубже и полнее очертить физическую и моральную физиономию писателя, так безвременно угасшего (настолько безвременно, что он забыл возвратить автору этих воспоминаний серебряный портсигар и три рубля денег, похищенных тайком знаменитым певцом русских сумерок)...

КРАЙНИЕ ТЕЧЕНИЯ

Сотрудник московского журнала «Весы», декадент Эллис, уличен в похищении листов и порче книг в публичной библиотеке.

(Газетная хроника)

I

— И вам не стыдно? — укоризненно спрашивал судья, смотря на стоявшего перед ним Декадента,— ну, скажите: пара ли она вам?

— Она из хорошей семьи,— ответил, моргая глазами, Декадент.— Отец ее был предводителем стада, и потом жил несколько лет на городской конюшне, а мать получила на выставке медаль.

— Да, но ведь она же — коза!

— Коза, господин судья.

— Так как же вы так?! А?..

— Я не из расчета, господин судья. Я по любви.

— Что же вы нашли в ней хорошего? Коза — козой и останется. Вот вы говорите, что хотите узаконить вашу любовь браком. Намерение в своем первоисточнике — почтенное. Не спорю. Но подумали ли вы о тех тяжелых осложнениях и инцидентах, которые должны возникнуть потом? Вы из хорошей семьи, у вас есть престарелые родные... Того ли ожидали ваши папа и мама, когда растили вас и качали на коленах, маленького, с кудрявой головкой, о такой ли партии для своего первенца думала ваша уважаемая матушка? Уж не говоря о том, что ваш брак, как противный каноническим правилам, будет только гражданским, подумали ли вы о том, что будет, если ваши родственники, ваши друзья захотят познакомиться с вашей... супругой? Сможете ли вы ввести ее в порядочное общество равноправным членом и не заставит ли она своим бестактным поведением краснеть вас, с первых же шагов ее светской жизни? Я понимаю, конечно, вы скажете: я молод, я ее перевоспитаю, с милым рай в шалаше, ну... и прочее там... Хорошо-с! А о старости... О старости своей подумали ли вы, молодой человек?! Кто вам — хворенькому, седенькому, слабенькому подаст напиться?! Кто поправит вам

подушку и даст в чайной ложечке лекарство? Коза? Коза пригреет вас, приголубит, утешит и облегчит в жизненных неудачах и передрягах?

На глазах престарелого судьи стояли слезы.

Декадент плакал навзрыд.

— Что же мне делать, господин судья? Теперь я и сам вижу, что она мне не пара.

— Гоните ее от себя!

— Она будет очень страдать,— прошептал Декадент, сморкаясь в носовой платок.— Мы так любили друг друга...

— Вы должны ее возненавидеть!

— Спасибо, господин судья. Возненавижу. А тут еще у моего приятеля была собака... Очень красивая. Ее звали — Леди. Если бы...

— Нельзя,— твердо сказал судья.— Тоже нельзя. Гнать и ненавидеть!

— Тут еще кошку на днях я одну видел,— признался Декадент.— Препикантное создание!..

— Ни-ни! Гоните от себя всякие соблазны... Поселите в своем сердце вместо любви — ненависть.

— Поселю, господин судья,— обещал растроганный Декадент.

II

— И вам не стыдно? — укоризненно спрашивал судья, смотря на стоявшего перед ним Декадента.— Ну, скажите, разве для воспитанного молодого человека подходящее занятие — давить кошек веревками и травить собаками?

— А мы потом этих собак кипятком обливали,— попытался оправдаться Декадент.

— Тоже нехорошо. Нет в вас меры. То вы хотите козу осчастливить предложением руки и сердца, то собаку кипятком шпарите. Ведь собака вам ничего дурного не сделала?

Декадент подумал.

— Ничего.

— Так зачем же вы ее кипятком обливаете?

— Да, теперь я и сам вижу, господин судья, что это было лишнее.

— Вот видите. А зачем кошек давить? Существо она чистенькое, никому вреда не приносит, а, наоборот, в хозяйстве полезное — мышей ловит — за что же ее убивать?

— На днях у тети моей,— оживился Декадент,— во какую мышь поймала!

— То-то и оно. И тетенька ваша, наверное, ее любит, молочком за это, печенкой кормит. А вы взяли ее, да веревкой удавили! Покличет ваша тетушка свою Машку: Машенька, Машенька, где ты? Ан, нет Машеньки... На веревке удавлена... Померла! Не нужно ей уже ни молочка, ни печеночки...

Старый судья прослезился.

Декадент тоже плакал.

— Не буду больше, господин судья.

— То-то и оно. Вы бы лучше книжки читали, чем животных мучить...

— Буду книжки читать, господин судья,— пообещал Декадент.

III

— И вам не стыдно? — укоризненно спрашивал старый судья, смотря на стоявшего перед ним Декадента.— Что дурного сделали вам книжки в Публичной библиотеке, что вы из них выдирали страницы?

— Я полюбил чтение, господин судья.

— Так зачем же страницы выдирать?!

— Я не все. Несколько страничек... И то в толстых книжках. Если тоненькая — я понимаю, что нельзя. Она оттого еще тоньше будет. А толстая — что ей сделается?

— Ну, поставьте вы себя на место другого читателя... Приходите вы, берете книгу, разворачиваете, ан от 16-й до 86 страницы — и нет!

— Как нет? Есть! — возразил Декадент, полез в карман и вынул несколько измятых листков.— Вот они!

— Так это у вас! Поймите, у в а с, потому что вы их тайком вырвали... А возьмите вы другого читателя... Ну, ученого какого-нибудь, профессора, скажем, медицины. Нужно ему пополнить какой-нибудь пробел в теории, которая приведет его к открытию лекарства, скажем, от чахотки, поедет он в Публичную библиотеку, возьмет нужную книгу и — что же! Необходимые страницы вырваны. Что тогда получится: средство от чахотки не открыто, больные будут умирать по-прежнему,— и все это сделали вы!

Декадент заплакал.

— Когда вы так хорошо все объяснили, то я, действительно, вижу, что был не прав. Я больше не буду, господин судья! Но что же мне делать, посоветуйте?!

— Боюсь вам и советовать,— сказал судья.— Советовал вам гнать от себя козу, вы стали давить кошек, посоветовал читать — вы стали драть страницы... Разве вот что... начните писать что-нибудь!

— Это невозможно! — рыдая, воскликнул Декадент.

— Почему?

— Я уже пишу! В «Весах»!!

НЕИЗЛЕЧИМЫЕ

«Спрос на порнографическую литературу упал. Публика начинает интересоваться сочинениями по истории и естествознанию».

(Книжн. известия)

Писатель Кукушкин вошел, веселый, радостный, к издателю Залежалову и, усмехнувшись, ткнул его игриво кулаком в бок.

— В чем дело?

— Вещь!

— Которая?

— Ага! Разгорелись глазки? Вот тут у меня лежит в кармане. Если будете паинькой в рассуждении аванса — так и быть, отдам!

Издатель нахмурил брови.

— Повесть?

— Она. Ха-ха! То есть такую машину закрутил, такую, что небо содрогнется! Вот вам наудачу, две-три выдержки.

Писатель развернул рукопись.

«...Темная мрачная шахта поглотила их. При свете лампочки была видна полная, волнующаяся грудь Лидии и ее упругие бедра, на которые Гремин смотрел жадным взглядом. Не помня себя, он судорожно прижал ее к груди, и все заверте...»

— Еще что? — сухо спросил издатель.

— Еще я такую штучку вывернул: «Дирижабль плавно взмахнул крыльями и взлетел... На руле сидел Маевич

и жадным взором смотрел на Лидию, полная грудь которой волновалась и упругие выпуклые бедра дразнили своей близостью. Не помня себя, Маевич бросил руль, остановил пружину, прижал ее к груди, и все заверте...»

— Еще что? — спросил издатель так сухо, что писатель Кукушкин в ужасе и смятении посмотрел на него и опустил глаза.

— А... еще... вот... Зззаб... бавно! «Линевич и Лидия, стесненные тяжестью водолазных костюмов, жадно смотрели друг на друга сквозь круглые стеклянные окошечки в головных шлемах... Над их головами шмыгали пароходы и броненосцы, но они не чувствовали этого. Сквозь неуклюжую, мешковатую одежду водолаза Линевич угадывал полную волнующуюся грудь Лидии и ее упругие выпуклые бедра. Не помня себя, Линевич взмахнул в воде руками, бросился к Лидии, и все заверте...»

— Не надо,— сказал издатель.

— Что не надо? — вздрогнул писатель Кукушкин.

— Не надо. Идите, идите с Богом.

— В-вам... не нравится? У... у меня другие места есть... Внучек увидел бабушку в купальне... А она еще была молодая...

— Ладно, ладно. Знаем! Не помня себя он бросился к ней, схватил ее в объятия, и все заверте...

— Откуда вы узнали? — ахнул, удивившись, писатель Кукушкин.— Действительно, так и есть у меня.

— Штука нехитрая. Младенец догадается! Теперь это, брат Кукушкин, уже не читается. Ау! Ищи, брат Кукушкин, новых путей.

Писатель Кукушкин с отчаянием в глазах почесал затылок и огляделся:

— А где тут у вас корзина?

— Вот она,— указал издатель.

Писатель Кукушкин бросил свою рукопись в корзину, вытер носовым платком мокрое лицо и лаконично спросил:

— О чем нужно?

— Первее всего теперь читается естествознание и исторические книги. Пиши, брат Кукушкин, что-нибудь там о боярах, о жизни мух разных...

— А аванс дадите?

— Под боярина дам. Под муху дам. А под упругие бедра не дам! И под «все завертелось» не дам!!!

— Давайте под муху,— вздохнул писатель Кукушкин.

* * *

Через неделю издатель Залежалов получил две рукописи. Были они такие:

I. Боярская проруха

Боярышня Лидия, сидя в своем тереме старинной архитектуры, решила ложиться спать. Сняв с высокой волнующейся груди кокошник, она стала стягивать с красивой полной ноги сарафан, но в это время распахнулась старинная дверь и вошел молодой князь Курбский.

Затуманенным взором, молча, смотрел он на высокую волнующуюся грудь девушки и ее упругие выпуклые бедра.

— Ой, ты, гой, еси,— воскликнул он на старинном языке того времени.

— Ой, ты, гой, еси, исполать тебе, добрый молодец! — воскликнула боярышня, падая князю на грудь, и — все заверте...

II. Мухи и их привычки
(очерки из жизни насекомых)

Небольшая стройная муха с высокой грудью и упругими бедрами ползла по откосу запыленного окна.

Звали ее по-мушиному — Лидия.

Из-за угла вылетела большая черная муха, села против первой и с еле сдерживаемым порывом страсти стала потирать над головой стройными мускулистыми лапками. Высокая волнующаяся грудь Лидии ударила в голову черной мухи чем-то пьянящим... Простерши лапки, она крепко прижала Лидию к своей груди, и все заверте...

ЗОЛОТОЙ ВЕК

I

По приезде в Петербург я явился к старому другу, репортеру Стремглавову, и сказал ему так:

— Стремглавов! Я хочу быть знаменитым.

Стремглавов кивнул одобрительно головой, побарабанил пальцами по столу, закурил папиросу, закрутил на столе пепельницу, поболтал ногой — он всегда делал несколько дел сразу — и отвечал:

— Нынче многие хотят сделаться знаменитыми.

— Я не «многий»,— скромно возразил я.— Василиев, чтоб они были Максимычами и в то же время Кандыбиными — встретишь, брат, не каждый день. Это очень редкая комбинация!

— Ты давно пишешь? — спросил Стремглавов.

— Что... пишу?

— Ну, вообще,— сочиняешь!

— Да я ничего и не сочиняю.

— Ага! Значит — другая специальность. Рубенсом думаешь сделаться?

— У меня нет слуха,— откровенно сознался я.

— На что слуха?

— Чтобы быть этим вот... как ты его там назвал?.. Музыкантом...

— Ну, брат, это ты слишком. Рубенс не музыкант, а художник.

Так как я не интересовался живописью, то не мог упомнить всех русских художников, о чем Стремглавову и заявил, добавив:

— Я умею рисовать метки для белья.

— Не надо. На сцене играл?

— Играл. Но когда я начинал объясняться героине в любви, у меня получался такой тон, будто бы я требую за переноску рояля на водку. Антрепренер и сказал, что лучше уж пусть я на самом деле таскаю на спине рояли. И выгнал меня.

— И ты все-таки хочешь стать знаменитостью?

— Хочу. Не забывай, что я умею рисовать метки!

Сгремглавов почесал затылок и сразу же сделал несколько дел: взял спичку, откусил половину, завернул ее в бумажку, бросил в корзину, вынул часы и, засвистав, сказал:

— Хорошо. Придется сделать тебя знаменитостью. Отчасти, знаешь, даже хорошо, что ты мешаешь Рубенса с Робинзоном Крузо и таскаешь на спине рояли — это придает тебе оттенок непосредственности.

Он дружески похлопал меня по плечу и обещал сделать все, что от него зависит.

II

На другой день я увидел в двух газетах в отделе «Новости искусства» такую странную строку:

«Здоровье Кандыбина поправляется».

— Послушай, Стремглавов, — спросил я, приехав к нему, — почему мое здоровье поправляется? Я и не был болен.

— Это так надо, — сказал Стремглавов. — Первое известие, которое сообщается о тебе, должно быть благоприятным... Публика любит, когда кто-нибудь поправляется.

— А она знает — кто такой Кандыбин?

— Нет. Но она теперь уже заинтересовалась твоим здоровьем, и все будут при встречах сообщать друг другу: «А здоровье Кандыбина поправляется».

— А если тот спросит: «Какого Кандыбина?»

— Не спросит. Тот скажет только: «Да? А я думал, что ему хуже».

— Стремглавов! Ведь они сейчас же и забудут обо мне!

— Забудут. А я завтра пущу еще такую заметку: «В здоровье нашего маститого...» Ты чем хочешь быть: писателем? художником?..

— Можно писателем.

— «В здоровье нашего маститого писателя Кандыбина наступило временное ухудшение. Вчера он съел только одну котлетку и два яйца всмятку. Температура 39,7».

— А портрета еще не нужно?

— Рано. Ты меня извини, я должен сейчас ехать давать заметку о котлете.

И он, озабоченный, убежал.

III

Я с лихорадочным любопытством следил за своей новой жизнью.

Поправлялся я медленно, но верно. Температура падала, количество котлет, нашедших приют в моем желудке, все увеличивалось, а яйца я рисковал уже съесть не только всмятку, но и вкрутую.

Наконец, я не только выздоровел, но даже пустился в авантюры.

«Вчера,— писала одна газета,— на вокзале произошло печальное столкновение, которое может окончиться дуэлью. Известный Кандыбин, возмущенный резким отзывом капитана в отставке о русской литературе, дал последнему пощечину. Противники обменялись карточками».

Этот инцидент вызвал в газетах шум.

Некоторые писали, что я должен отказаться от всякой дуэли, так как в пощечине не было состава оскорбления, и что общество должно беречь русские таланты, находящиеся в расцвете сил.

Одна газета говорила:

«Вечная история Пушкина и Дантеса повторяется в нашей полной несообразностей стране. Скоро, вероятно, Кандыбин подставит свой лоб под пулю какого-то капитана Ч*. И мы спрашиваем — справедливо ли это? С одной стороны — Кандыбин, с другой — какой-то никому не ведомый капитан Ч*».

«Мы уверены,— писала другая газета,— что друзья Кандыбина не допустят его до дуэли».

Большое впечатление произвело известие, что Стремглавов (ближайший друг писателя) дал клятву, в случае несчастного исхода дуэли, драться самому с капитаном Ч*.

Ко мне заезжали репортеры.

— Скажите,— спросили они,— что побудило вас дать капитану пощечину?

— Да ведь вы читали,— сказал я.— Он резко отзывался о русской литературе. Наглец сказал, что Айвазовский был бездарным писакой.

— Но ведь Айвазовский — художник! — изумленно воскликнул репортер.

— Все равно. Великие имена должны быть святыней,— строго отвечал я.

IV

Сегодня я узнал, что капитан Ч* позорно отказался от дуэли, а я уезжаю в Ялту.

При встрече со Стремглавовым я спросил его:

— Что, я тебе надоел, что ты меня сплавляешь?

— Это надо. Пусть публика немного отдохнет от тебя. И потом это шикарно: «Кандыбин едет в Ялту, надеясь окончить среди чудной природы юга большую, начатую им вещь».

— А какую вещь я начал?

— Драму «Грани смерти».

— Антрепренеры не будут просить ее для постановки?

— Конечно, будут. Ты скажешь, что, закончив, остался ею недоволен и сжег три акта. Для публики это канальски эффектно!

Через неделю я узнал, что в Ялте со мной случилось несчастье: взбираясь по горной круче, я упал в долину и вывихнул себе ногу. Опять началась длинная и утомительная история с сиденьем на куриных котлетках и яйцах.

Потом я выздоровел и для чего-то поехал в Рим... Дальнейшие мои поступки страдали полным отсутствием всякой последовательности и логики.

В Ницце я купил виллу, но не остался в ней жить, а отправился в Бретань кончать комедию «На заре жизни». Пожар моего дома уничтожил рукопись, и поэтому (совершенно идиотский поступок) я приобрел клочок земли под Нюренбергом.

Мне так надоели бессмысленные мытарства по белу свету и непроизводительная трата денег, что я отправился к Стремглавову и категорически заявил:

— Надоело! Хочу, чтобы юбилей.

— Какой юбилей?

— Двадцатипятилетний.

— Много. Ты всего-то три месяца в Петербурге. Хочешь десятилетний?

— Ладно,— сказал я.— Хорошо проработанные 10 лет дороже бессмысленно прожитых 25.

— Ты рассуждаешь, как Толстой,— восхищенно вскричал Стремглавов.

— Даже лучше. Потому что я о Толстом ничего не знаю, а он обо мне узнает.

V

Сегодня справлял десятилетний юбилей своей литературной и научно-просветительной деятельности...

На торжественном обеде один маститый литератор (не знаю его фамилии) сказал речь:

— Вас приветствовали как носителя идеалов молодежи, как певца родной скорби и нищеты,— я же скажу только два слова, но которые рвутся из самой глубины наших душ: здравствуй, Кандыбин!!

— А, здравствуйте,— приветливо отвечал я, польщенный.— Как вы поживаете?

Все целовали меня.

БЕЗ ПОЧВЫ

Многие находят, что катанье на колесных коньках — очень трудная вещь... Конечно, в наш слабый развинченный век, когда многие не умеют даже как следует кататься на простом извозчике — этот спорт представляет некоторые трудности, но, конечно, не такого сорта, чтобы, отправляясь впервые на скетинг-ринг, попрощаться с родственниками, написать завещание и затвердить наизусть последние предсмертные слова.

Я стоял у буфетного столика, опираясь на мягкие перила вокруг асфальтовой площадки, по которой носились с треском и веселым гамом оживленные парочки,— стоял и думал:

— Только-то и всего? Да ведь сущий пустяк — покатиться на этих колесиках! Мне кажется, я открыл главный секрет этого спорта: стоит только стараться не упасть — и дело наполовину сделано. А если вы не рухнули на пол сразу, то последующие шаги не представляют никаких затруднений... Чтобы сдвинуться с места, необходимо попросить кого-либо из находящихся вблизи толкнуть вас легонько в спину. А коньки уж — такая подвижная штука, что мигом домчат вас до противоположной стороны площадки. Попробуем.

Я подошел к служителю, сел на диван, протянул ноги и сказал тоном лихого, безрассудно смелого спортсмена:

— Парочку коньков! Да получше!! Чтобы они обязательно были на колесиках!

— Да они и так все на колесиках,— возразил служитель, завинчивая какие-то винты на моей ноге.

— Да? — смутился я.— Это прекрасный обычай.

— Готово, господин!

Я опустил на пол оседланные ноги и потихоньку подвигал ими... Увы, твердой земли я не ощутил: мои ноги как будто болтались в воздухе.

— Это... всегда так? — робко спросил я.

— Что всегда?

— Так... скользко.

— А как же: колесики! Пожалуйте на площадку.

Я поднялся с дивана, но нога моя стремительно юркнула куда-то в сторону, и я снова опустился на свое место. Мне часто до того приходилось сиживать на диванах, но никогда я не получал такого искреннего удовлетворения от этого, как теперь.

Никогда бы раньше я не мог поверить, что можно так привязаться и полюбить простую дешевую, набитую шерстью подушку. Ни за какие деньги не хотел бы я расстаться с ней...

— Что же вы? Пожалуйте.

— Хи-хи,— засмеялся я.— Хи-хи... Я, голубчик, еще немножко посижу здесь. Устанешь, знаешь ли, за день... Тут у вас очень мило: тепло, уютно.

Он отошел от меня, а я остался сидеть, томительно вздыхая и изредка осторожно постукивая скользкой ногой по полу.

Рядом со мной надевали коньки господину, который был в таком же положении, как я. Но в этом человеке был дух героя! При Иоанне Грозном он, вместо Ермака, мог бы завоевать Сибирь; при встрече с тигром он ударил бы его кулаком в темя и, ошеломив этим изумленного зверя, притащил бы его на веревке домой... В этом человеке помещался дух героя! Он не сидел полчаса на диване, не мямлил, как я, а сразу встал, выпрямился смело во весь рост и — грохнулся на буфетный стол всей своей тяжестью.

Если заразительны дурные примеры, то заразительны и хорошие: я встал и, прижимаясь к служителю со всей порывистостью и лаской, на которую способна моя привязчивая натура, направился к барьеру.

И вот — я остался один, судорожно уцепившись за барьер и делая вид, что меня страшно заинтересовало устройство потолка.

— Отчего же вы не катаетесь? — дружески спросил меня кто-то из сидевших за столиками.

— Да я... катаюсь.

— Вы бросьте барьер! не держитесь за него — тогда легче.

Я послушался совета. Но мои ноги (никогда я не подозревал в своих собственных конечностях столько хитрости и ехидства) заметили этот маневр и сразу разбежались в обе стороны так далеко, что мне стоило большого труда снова собрать их воедино. При этом я сделал движение, напоминающее самую популярную фигуру в кэк-воке, и снова с судорожною поспешностью уцепился за барьер.

— Смелее, смелее! — кричал мне доброжелатель. Не льните так к барьеру, как к любимой женщине. Свободнее руки, отъезжайте от барьера.

— Очевидно, он знает, что нужно делать,— подумал я и отъехал от барьера.

И тут я оказался будто висящим в воздухе. Коньки сами ерзали по асфальту, как живые, я откидывался назад, изгибался, как угорь, и, наконец, видя, что позорное падение неизбежно — с молниеносной поспешностью схватил за обе руки какого-то подвернувшегося конькобежца.

— Что такое? — изумился он.— В чем дело?

Стискивая его руки, я тряс их, изгибался и, чтобы загладить свой бестактный поступок, сказал трясущимися губами:

— А, здравствуйте!.. Как поживаете? Вы... меня не узнаете?

— Первый раз вижу. Пустите мои руки!

Он вырвался. Ноги мои не упустили удобного случая сделать гадость их хозяину, разъехались в стороны, и я тяжело опустился боком на асфальт.

— Упали? — участливо спросил мой доброжелатель.

Я сделал вид, что поправляю коньки.

— Нет, это я так сел. Затянул ремни. Они, знаете, от катанья ослабевают.

Повозившись с каким-то ремнем, я тихонько подполз к барьеру и — снова нашел в нем старого, верного, испытанного друга.

— Если вы замечаете, что падаете,— сказал человек, сидевший за столом (теперь я подозреваю, что он был — случайный зритель, впервые зашедший полюбоваться на новый спорт),— если вы замечаете, что падаете,— то немедленно поднимайте одну ногу... Равновесие установится, таким образом, сразу.

Снова я с тяжелым сердцем расстался с барьером... Исполнить совет моего доброжелателя было тем легче, что

я поскользнулся сразу. И совет был исполнен даже в двойной дозе. Он советовал при падении поднять одну ногу, а я поднял обе. Правда, это было после падения, и для этого пришлось коснуться спиной асфальта, но я увидел, что в падении, в сущности, нет ничего страшного.

Мимо меня пролетел изящный господин, грациозно наклонившись вперед и легко, без усилия скользя по асфальтовой глади.

— Попробую и я так, — подумал я. — Ну, упаду! Эка важность!

Положив руки назад, я неожиданным ураганом ринулся в толпу катающихся. Я упал всего два раза, но сбил с ног человек десять, опрокинул неизвестного толстяка на барьер и, сопровождаемый разными пожеланиями и комплиментами, усталый, довольный собой отправился снимать коньки.

На второй день я опрокинул всего двух человек и к барьеру прикасался лишь изредка, большей частью покровительственно похлопывая его по упругой спине... На третий день я не опрокинул уже ни одного человека (опрокинули меня — какой-то неуклюжий медведь, — чтоб его черт побрал, — и неизвестная девица, бездарная до обморока), на барьер смотрел с презрением, как на нечто смешное, ненужное, и демонстративно держался подальше от этого пережитка старинной неуклюжести и страха... Пролетая мимо напуганных, искаженных ужасом лиц, кричал им покровительственно: «смелее!», и теперь — если бы мне предложили приз за катанье, — я взял бы его без всякого колебания, отнекиваний и ненужной скромности.

III
Мои улыбки

ЧЕТВЕРГ

В восемь часов вечера Ляписов заехал к Андромахскому и спросил его:

— Едете к Пылинкиным?

— А что? — спросил, покривившись, Андромахский. — Разве сегодня четверг?

— Конечно, четверг. Сколько четвергов вы у них бывали, и все еще не можете запомнить.

Андромахский саркастически улыбнулся.

— Зато я твердо знаю, что мы будем там делать. Когда мы войдем, m-me Пылинкина сделает радостно-изумленное лицо: «Господи! Андрей Павлович! Павел Иванович! Как это мило с вашей стороны!» Что мило? Что мило, черт ее возьми, эту тощую бабу, меняющую любовников, — не скажу даже, как перчатки, потому что перчатки она меняет гораздо реже! Что мило? То ли мило, что мы являемся всего один раз в неделю, или то, что мы, войдя, не разгоняем сразу пинками всех ее глупых гостей? «Садитесь, пожалуйста. Чашечку чаю?» Ох, эта мне чашечка чаю! И потом начинается: «Были на лекции о Ведекинде?» А эти проклятые лекции, нужно вам сказать, читаются чуть ли не каждый день! «Нет, скажешь, не был». — «Не были? Как же это вы так?» Ну, что, если после этого взять, стать перед ней на колени, заплакать и сказать: «Простите меня, что я не был на лекции о Ведекинде. Я всю жизнь посвящу на то, чтобы замолить этот грех. Детям своим завещаю бывать от двух до трех раз на Ведекинде, кухарку вместо бани буду посылать на Ведекинда и на смертном одре завещаю все свое состояние лекторам, читающим о Ведекинде. Простите меня, умная барыня, и кланяйтесь от меня всем вашим любовникам!»

Ляписов засмеялся:

— Не скажете!

— Конечно, не скажу. В том-то и ужас, что не скажу. И еще в том ужас, что и она и все ее гости моментально и бесследно забывают о Ведекинде, о лекциях и с лихорадочным любопытством набрасываются на какую-то босоножку. «Видели танцы новой босоножки? Мне нравится». А другой осел скажет: «А мне не нравится». А третий отвечает: «Не скажите! Это танцы будущего, и они мне нравятся. Когда я был в Берлине, в кафешантане...» — «Ах, — скажет игриво m-me Пылинкина, — вам, мужчинам, только бы все кафешантаны!» Конечно, нужно было бы сказать ей — кафешантаны. А тебе бы все любовники да любовники? «Семен Семеныч! Чашечку чаю с печеньицем, а? Пожалуйста! Читали статью о Вейнингере?» А чаишко-то у нее,

признаться, скверный, да и печеньице тленом попахивает... И вы замечаете? Замечаете? Уже о босоножке забыто, танцы будущего провалились бесследно до будущего четверга, разговор о кафешантане держится две минуты, увядает, осыпается и на его месте пышно расцветает беседа о новой пьесе, причем одному она нравится, другому не нравится, а третий выражает мнение, что она так себе. Да ведь он ее не видел?! Не видел, уверяю вас, шут этакий, мошенник, мелкий хам!! А ты должен сидеть, пить чашечку чаю и говорить, что босоножка тебе нравится, новая пьеса производит впечатление слабой, а кафешантаны скучны, потому что все номера однообразны.

Ляписов вынул часы:

— Однако уже скоро девять!

— Сейчас. Я в минутку оденусь. Да ведь там только к девяти и собираются... Одну минуточку.

* * *

В девять часов вечера Андромахский и Ляписов приехали к Пылинкиным.

M-me Пылинкина увидела их еще в дверях и с радостным изумлением воскликнула:

— Боже ты мой, Павел Иваныч! Андрей Павлыч! Садитесь. Очень мило с вашей стороны, что заехали. Чашечку чаю?

— Благодарю вас! — ласково наклонил голову Андромахский. — Не откажусь.

— А мы с мужем думали, что встретим вас вчера...

— Где? — спросил Андромахский.

— Как же! В Соляном Городке. Грудастов читал о Пшебышевском.

На лице Андромахского изобразилось неподдельное отчаяние.

— Так это было вчера?! Экая жалость! Я мельком видел в газетах и, представьте, думал, что она будет еще не скоро. Я теперь газеты вообще мельком просматриваю.

— В газетах теперь нет ничего интересного, — сказал из-за угла чей-то голос.

— Репрессии, — вздохнула хозяйка. — Обо всем запрещают писать. Чашечку чаю?

— Не откажусь, — поклонился Ляписов.

— Мы выписали две газеты и жалеем. Можно бы одну выписать.

— Ну, иногда в газетах можно натолкнуться на что-нибудь интересное... Читали на днях, как одна дама гипнотизмом выманила у домовладельца тридцать тысяч?

— Хорошенькая? — игриво спросил Андромахский.

Хозяйка кокетливо махнула на него салфеточкой.

— Ох, эти мужчины! Им бы все только — хорошенькая! Ужасно вы испорченный народ.

— Ну, нет,— сказал Ляписов.— Вейнингер держится обратного мнения... У него ужасное мнение о женщинах...

— Есть разные женщины и разные мужчины,— послышался из полутемного угла тот же голос, который говорил, что в газетах нет ничего интересного.— Есть хорошие женщины и хорошие мужчины. И плохие есть там и там.

— У меня был один знакомый,— сказала полная дама.— Он был кассиром. Служил себе, служил и — представьте — ничего. Потом познакомился с какой-то кокоткой, растратил казенные деньги и бежал в Англию. Вот вам и мужчины ваши!

— А я против женского равноправия! — сказал господин с густыми бровями.— Что это такое? Женщина должна быть матерью! Ее сфера — кухня!

— Извините-с! — возразила хозяйка.— Женщина такой же человек, как и мужчина! А ей ничего не позволяют делать!

— Как не позволяют? Все позволяют! Вот одна на днях в театре танцевала с голыми ногами. Очень было мило. Сфера женщины — все изящное, женственное.

— А, по-моему, она вовсе не изящна. Что это такое — ноги толстые, и сама скачет, как козел!

— А мне нравится! — сказал маленький лысый человек.— Это танцы будущего, и они открывают новую эру в искусстве.

— Чашечку чаю! — предложила хозяйка Андромахскому.— Может быть, желаете рюмочку коньяку туда?

— Мерси. Я вообще не пью. Спиртные напитки вредны.

Голос из угла сказал:

— Если спиртные напитки употреблять в большом количестве, то они, конечно, вредны. А если иногда выпить рюмочку — это не может быть вредным.

— Ничем не надо злоупотреблять,— сказала толстая дама.

— Безусловно. Все должно быть в меру,— уверенно ответил Ляписов.

Андромахский встал, вздохнул и сказал извиняющимся тоном:

— Однако я должен спешить. Позвольте, Марья Игнатьевна, откланяться.

На лице хозяйки выразился ужас.

— Уже?!! Посидели бы еще...

— Право, не могу.

— Ну, одну минутку!

— С наслаждением бы, но...

— Какой вы, право, нехороший... До свиданья. Не забывайте! Очень будем рады с мужем видеть вас.

Ласковая, немного извиняющаяся улыбка бродила на лице Андромахского до тех пор, пока он не вышел в переднюю. Когда нога его перешагнула порог — лицо приняло выражение холодной злости, скуки и бешенства.

Он оделся и вышел.

* * *

Захлопнув за собой дверь, Андромахский остановился на полутемной площадке лестницы и прислушался. До него явственно донеслись голоса: его приятеля Ляписова, толстой дамы и m-me Пылинкиной.

— Что за черт?

Он огляделся. Над его головой тускло светило узенькое верхнее окно, выходившее, очевидно, из пылинкинской гостиной. Слышно было всякое слово — так отчетливо, что Андромахский, уловив свою фамилию, прислонился к перилам и застыл...

— Куда это он так вскочил? — спросил голос толстой дамы.

— К жене,— отвечал голос Ляписова.

M-me Пылинкина засмеялась.

— К жене! С какой стороны?!

— Что вы! — удивилась толстая дама.— Разве он такой?..

— Он?! — сказал господин с густыми бровями.— Я его считал бы добродетельнейшим человеком, если бы он изменял только жене с любовницей. Но он изменяет любовнице с горничной, горничной — с белошвейкой, шьющей у жены, и так далее. Разве вы не знаете?

— В его защиту я должен сказать, что у него есть одна неизменная привязанность,— сказал лысый старичок.

— К кому?

— Не к кому — а к чему... К пиву! Он выпивает в день около двадцати бутылок!

Все рассмеялись.

— Куда же вы? — послышался голос хозяйки.

— Я и так уже засиделся,— отвечал голос Ляписова.— Нужно спешить.

— Посидите еще! Ну, одну минуточку! Недобрый, недобрый! До свиданья. Не забывайте нашего шалаша.

* * *

Когда Ляписов вышел, захлопнув дверь, на площадку, он увидел прислонившегося к перилам Андромахского и еле сдержал восклицание удивления.

— Тссс!..— прошептал Андромахский, указывая на окно.— Слушайте! Это очень любопытно...

— Какой симпатичный этот Ляписов,— сказала хозяйка.— Не правда ли?

— Очень милый,— отвечал господин с густыми бровями.— Только вид у него сегодня был очень расстроенный.

— Неприятности! — послышался сочувственный голос толстой дамы.

— Семейные?

— Нет, по службе. Все игра проклятая!

— А что, разве?..

— Да, про него стали ходить тревожные слухи. Получает в месяц двести рублей, а проигрывает в клубе в вечер по тысяче. Вы заметили, как он изменился в лице, когда я ввернула о кассире, растратившем деньги и бежавшем в Англию?

— Проклятая баба,— прошептал изумленный Ляписов.— Что она такое говорит!

— Хорошее оконце! — улыбнулся Андромахский.

— ...Куда же вы?! Посидели бы еще!

— Не могу-с! Время уже позднее,— послышался голос лысого господина.— А ложусь-то я, знаете, рано.

— Какая жалость, право!

* * *

На площадку лестницы вышел лысый господин, закутанный в шубу, и испуганно отшатнулся при виде Ляписова и Андромахского.

Андромахский сделал ему знак, указал на окно и в двух словах объяснил преимущество занятой ими позиции.

— Сейчас о вас будет. Слушайте!

— Я никогда не встречала у вас этого господина, — донесся голос толстой дамы.— Кто это такой?

— Это удивительная история,— отвечала хозяйка. — Я удивляюсь, вообще... Представили его мне в театре, а я и не знаю: кто и что он такое. Познакомил нас Дерябин. Я говорю Дерябину, между разговором: «Отчего вы не были у нас в прошлый четверг?» А этот лысый и говорит мне: «А у вас четверги? Спасибо, буду». Никто его и не звал, я даже и не намекала. Поразительно некоторые люди толстокожи и назойливы! Пришлось с приятной улыбкой сказать: пожалуйста! Буду рада.

— Ах ты дрянь этакая,— прошептал огорченно лысый старичок.— Если бы знал — никогда бы к тебе не пришел. Вы ведь знаете, молодой человек,— обратился он к Андромахскому,— эта худая выдра в интимных отношениях с тем самым Дерябиным, который нас познакомил. Ей-Богу! Мне Дерябин сам и признался. Чистая уморушка!

— А вы зачем соврали там, в гостиной, что я выпиваю 20 бутылок пива в день? — сурово спросил старичка Андромахский.

— А вы мне очень понравились, молодой человек, — виновато улыбнулся старичок.— Когда зашел о вас разговор — я и думаю: дай вверну словечко!

— Пожалуйста, никогда не ввертывайте обо мне словечка. О чем они там сейчас говорят?

— Опять обо мне,— сказал Ляписов.— Толстая дама выражает опасение, что я не сегодня завтра сбегу с казенными деньгами.

— Проклятая лягушка! — проворчал Андромахский. — Если бы вы ее самое знали! Устраивает благотворительные вечера и ворует все деньги. Одну дочку свою буквально продала сибирскому золотопромышленнику!

— Ха-ха! — злобно засмеялся старичок.— А вы заметили этого кретиновидного супруга хозяйки, сидевшего в углу?..

— Как же! — усмехнулся Андромахский. — Он сказал ряд очень циничных афоризмов: что в газетах нет ничего интересного, что женщины и мужчины бывают плохие и хорошие и что если пить напитков много, то это скверно, а мало — ничего...

Старичок, Ляписов и Андромахский уселись для удобства на верхней ступеньке площадки, и Андромахский продолжал:

— И он так глуп, что не замечал, как старуха Пылинкина подмигивала несколько раз этому густобровому молодцу. Очевидно, дело с новеньким лямиделямезончиком на мази!

— Хе-хе! — тихонько засмеялся Ляписов. — А вы знаете, старче, как Андромахский сегодня скаламбурил насчет этой Мессалины: она не меняет любовников как перчатки только потому, что не меняет перчаток.

Лысый старичок усмехнулся:

— Заметили, чай у них мышами пахнет! Хоть бы людей постыдились...

* * *

Когда госпожа Пылинкина, провожая толстую даму, услышала на площадке голоса и выглянула из передней, она с изумлением увидела рассевшуюся на ступеньках лестницы компанию...

— Я уверен, — говорил увлеченный разговором Ляписов, — что эта дура Пылинкина не только не читала Ведекинда, но, вероятно, путает его с редерером, который она распивает по отдельным кабинетам с любовниками.

— Ну да! — возражал Андромахский. — Станут любовники поить ее редерером. Бутылка клюквенного квасу, бутерброд с чайной колбасой — и madame Пылинкина, соблазненная этой царской роскошью, готова на все!..

Госпожа Пылинкина кашлянула, сделала вид, что вышла только сейчас, и с деланным удивлением сказала:

— А вы, господа, еще здесь! Заговорились? Не забудьте же — в будущий четверг!

МОЗАИКА

I

— Я несчастный человек — вот что!

— Что за вздор?! Никогда я этому не поверю.

— Уверяю тебя.

— Ты можешь уверять меня целую неделю, и все-таки я скажу, что ты городишь самый отчаянный вздор. Чего тебе недостает? Ты имеешь ровный, мягкий характер, деньги, кучу друзей и, главное, — пользуешься вниманием и успехом у женщин.

Вглядываясь печальными глазами в неосвещенный угол комнаты, Кораблев тихо сказал:

— Я пользуюсь успехом у женщин...

Посмотрел на меня исподлобья и смущенно сказал:

— Знаешь ли ты, что у меня шесть возлюбленных?!

— Ты хочешь сказать — было шесть возлюбленных? В разное время? Я, признаться, думал, что больше.

— Нет, не в разное время, — вскричал с неожиданным одушевлением в голосе Кораблев, — не в разное время!! Они сейчас у меня есть! Все!

Я в изумлении всплеснул руками.

— Кораблев! Зачем же тебе столько?

Он опустил голову.

— Оказывается, — меньше никак нельзя. Да... Ах, если бы ты знал, что это за беспокойная, хлопотливая штука... Нужно держать в памяти целый ряд фактов, уйму имен, запоминать всякие пустяки, случайно оброненные слова, изворачиваться и каждый день, с самого утра, лежа в постели, придумывать целый воз тонкой, хитроумной лжи на текущий день.

— Кораблев! Для чего же... шесть?

Он положил руку на грудь.

— Должен тебе сказать, что я вовсе не испорченный человек. Если бы я нашел женщину по своему вкусу, которая наполнила бы все мое сердце, — я женился бы завтра. Но со мной происходит странная вещь: свой идеал женщины я нашел не в одном человеке, а в шести. Это, знаешь, вроде мозаики.

— Мо-за-ики?

— Ну да, знаешь, такое из разноцветных кусочков складывается. А потом картина выходит. Мне принадлежит пре-

красная идеальная женщина, но куски ее разбросаны в шести персонах...

— Как же это вышло? — в ужасе спросил я.

— Да так. Я, видишь ли, не из того сорта людей, которые, встретившись с женщиной, влюбляются в нее, не обращая внимания на многое отрицательное, что есть в ней. Я не согласен с тем, что любовь слепа. Я знал таких простаков, которые до безумия влюблялись в женщин за их прекрасные глаза и серебристый голосок, не обращая внимания на слишком низкую талию или большие красные руки. Я в таких случаях поступаю не так. Я влюбляюсь в красивые глаза и великолепный голос, но так как женщина без талии и рук существовать не может — отправляюсь на поиски всего этого. Нахожу вторую женщину — стройную, как Венера, с обворожительными ручками. Но у нее сентиментальный, плаксивый характер. Это, может быть, хорошо, но очень и очень изредка... Что из этого следует? Что я должен отыскать женщину с искрометным прекрасным характером и широким душевным размахом! Иду, ищу... Так их и набралось шестеро!

Я серьезно взглянул на него.

— Да, это действительно похоже на мозаику.

— Не правда ли? Форменная. У меня, таким образом, составилась лучшая, может быть, женщина в мире, но если бы ты знал — как это тяжело! Как это дорого мне обходится!..

Со стоном он схватил себя руками за волосы и закачал головой направо и налево.

— Все время я должен висеть на волоске. У меня плохая память, я очень рассеянный, а у меня в голове должен находиться целый арсенал таких вещей, которые, если тебе рассказать, привели бы тебя в изумление. Кое-что я, правда, записываю, но это помогает лишь отчасти.

— Как записываешь?

— В записной книжке. Хочешь? У меня сейчас минута откровенности, и я без утайки тебе все рассказываю. Поэтому могу показать и свою книжку. Только ты не смейся надо мной.

Я пожал ему руку.

— Не буду смеяться. Это слишком серьезно... Какие уж тут шутки!

— Спасибо. Вот видишь — скелет всего дела у меня отмечен довольно подробно. Смотри: «Елена Николаевна. Ровный,

добрый характер, чудесные зубы, стройная. Поет. Играет на фортепиано».

Он почесал углом книжки лоб.

— Я, видишь ли, люблю очень музыку. Потом, когда она смеется — я получаю истинное наслаждение; очень люблю ее! Здесь есть подробности: «Любит, чтобы называли ее Лялей. Любит желтые розы. Во мне ей нравится веселье и юмор. Люб. шампанск. Аи. Набожн. Остерег. своб. рассужд. о религ. вопр. Остерег. спрашив. о подруге Китти. Подозрев., что подруга Китти неравнодушна ко мне»... Теперь дальше: «Китти... Сорванец, способный на всякую шалость. Рост маленький. Не люб., когда ее целуют в ухо. Кричит. Остерег. целов. при посторонн. Из цветов люб. гиацинты. Шамп. только рейнское. Гибкая, как лоза, чудесно танц. матчиш. Люб. засахар. каштаны и ненавид. музыку. Остерег. музыки и упоминания об Елене Ник. Подозрев.»

Кораблев поднял от книжки измученное, страдальческое лицо.

— И так далее. Понимаешь ли — я очень хитер, увертлив, но иногда бывают моменты, когда я чувствую себя летящим в пропасть... Частенько случалось, что я Китти называл «дорогой единственной своей Настей», а Надежду Павловну просил, чтобы славная Маруся не забывала своего верного возлюбленного. В тех слезах, которые исторгались после подобных случаев, можно было бы с пользой выкупаться.

Однажды Лялю я назвал Соней и избежал скандала только тем, что указал на это слово, как на производное от слова «спать». И хотя она ни капельки не была сонная, но я победил ее своей правдивостью. Потом уже я решил всех поголовно называть дусями, без имени, благо, что около того времени пришлось мне встретиться с девицей, по имени Дуся (прекрасные волосы и крошечные ножки. Люб. театр. Автомоб. ненавидит. Остерег. автомоб. и упомин. о Насте. Подозрев.).

Я помолчал.

— А они... тебе верны?

— Конечно. Так же, как я им. И каждую из них я люблю по-своему за то, что есть у нее хорошего. Но шестеро — это тяжело до обморока. Это напоминает мне человека, который когда собирается обедать, то суп у него находится на одной улице, хлеб на другой, а за солью ему приходится бегать

на дальний конец города, возвращаясь опять за жарким и десертом в разные стороны. Такому человеку, так же как и мне, приходилось бы день-деньской носиться как угорелому по всему городу, всюду опаздывать, слышать упреки и насмешки прохожих... И во имя чего?!

Я был подавлен его рассказом. Помолчав, встал и сказал:

— Ну, мне пора. Ты остаешься здесь, у себя?

— Нет,— отвечал Кораблев, безнадежно смотря на часы.— Сегодня мне в половине седьмого нужно провести вечер по обещанию у Елены Николаевны, а в семь — у Насти, которая живет на другом конце города.

— Как же ты устроишься?

— Я придумал сегодня утром. Заеду на минутку к Елене Николаевне и осыплю ее градом упреков за то, что на прошлой неделе знакомые видели ее в театре с каким-то блондином. Так как это сплошная выдумка, то она ответит мне в резком, возмущенном тоне,— я обижусь, хлопну дверью и уйду. Поеду к Насте.

Беседуя со мной таким образом, Кораблев взял палку, надел шляпу и остановился, задумчивый, что-то соображающий.

— Что с тобой?

Молча снял он с пальца кольцо с рубином, спрятал его в карман, вынул часы, перевел стрелки и затем стал возиться около письменного стола.

— Что ты делаешь?

— Видишь, тут у меня стоит фотографическая карточка Насти, подаренная мне с обязательством всегда держать ее на столе. Так как Настя сегодня ждет меня у себя и ко мне, следовательно, никоим образом не заедет, то я без всякого риска могу спрятать портрет в стол. Ты спросишь — почему я это делаю? Да потому, что ко мне может забежать маленький сорванец Китти и, не застав меня, захочет написать два-три слова о своем огорчении. Хорошо ли будет, если я оставлю на столе портрет соперницы? Лучше же я поставлю на это время карточку Китти.

— А если заедет не Китти, а Маруся... И вдруг она увидит на столе Киттин портрет?

Кораблев потер голову.

— Я уже думал об этом... Маруся ее в лицо не знает, и я скажу, что это портрет моей замужней сестры.

— А зачем ты кольцо снял с пальца?

— Это подарок Насти. Елена Николаевна однажды приревновала меня к этому кольцу и взяла слово, чтоб я его не носил. Я, конечно, обещал. И теперь перед Еленой Николаевной я его снимаю, а когда предстоит встреча с Настей — надеваю. Помимо этого мне приходится регулировать запахи своих духов, цвет галстуков, переводить стрелки часов, подкупать швейцаров, извозчиков и держать в памяти не только все сказанные слова, но и то — кому они сказаны и по какому поводу.

— Несчастный ты человек,— участливо прошептал я.

— Я же тебе и говорил! Конечно, несчастный.

II

Расставшись на улице с Кораблевым, я потерял его из виду на целый месяц. Дважды за это время мною получаемы были от него странные телеграммы:

«2 и 3 числа настоящего месяца мы ездили с тобой в Финляндию. Смотри, не ошибись. При встрече с Еленой сообщи ей это».

И:

«Кольцо с рубином у тебя. Ты отдал его ювелиру, чтобы изготовить такое же. Напиши об этом Насте. Остерег. Елены».

Очевидно, мой друг непрерывно кипел в том страшном котле, который был им сотворен в угоду своему идеалу женщины; очевидно, все это время он как угорелый носился по городу, подкупал швейцаров, жонглировал кольцами, портретами и вел ту странную, нелепую бухгалтерию, которая его только и спасала от крушения всего предприятия.

Встретившись однажды с Настей, я вскользь упомянул, что взял на время у Кораблева прекрасное кольцо, которое теперь у ювелира,— для изготовления такого же другого.

Настя расцвела.

— Правда? Так это верно? Бедняжка он... Напрасно я так его терзала. Кстати, вы знаете — его нет в городе! Он на две недели уехал к родным в Москву.

Я этого не знал, да и вообще был уверен, что это один из сложных бухгалтерских приемов Кораблева; но все-таки тут же счел долгом поспешно воскликнуть:

— Как же, как же! Я уверен, что он в Москве.

Скоро я, однако, узнал, что Кораблев действительно был в Москве и что с ним там случилось страшное несчастье.

Узнал я об этом, по возвращении Кораблева,— от него самого.

III

. . . .

— Как же это случилось?

— Бог его знает! Ума не приложу. Очевидно, вместо бумажника жулики вытащили. Я делал публикации, обещал большие деньги — все тщетно! Погиб я теперь окончательно.

— А по памяти восстановить не можешь?

— Да... попробуй-ка! Ведь там было, в этой книжке, все до мельчайших деталей — целая литература! Да еще за две недели отсутствия я все забыл, все перепуталось в голове, и я не знаю — нужно ли мне сейчас поднести Марусе букет желтых роз, или она их терпеть не может? И кому я обещал привезти из Москвы духи «Лотос» Насте или Елене? Кому-то из них я обещал духи, а кому-то полдюжины перчаток номер шесть с четвертью... А может — пять три четверти? Кому? Кто швырнет мне в физиономию духи? И кто — перчатки? Кто подарил мне галстук с обязательством надевать его при свиданиях? Соня? Или Соня, именно, и требовала, чтобы я не надевал никогда этой темно-зеленой дряни, подаренной — «я знаю кем!». Кто из них не бывал у меня на квартире никогда? И кто бывал? И чьи фотографии я должен прятать? И когда?

Он сидел с непередаваемым отчаянием во взоре. Сердце мое сжалось.

— Бедняга ты! — сочувственно прошептал я.— Дай-ка, может быть, я кое-что вспомню... Кольцо подарено Настей. Значит, «остерег. Елены»... Затем карточки... Если приходит Китти, то Марусю можно прятать, так как она ее знает, Настю — не прятать? Или нет — Настю прятать? Кто из них сходил за твою сестру? Кто из них кого знает?

— Не з-наю,— простонал он, сжимая виски.— Ничего не помню! Э, черт! Будь что будет.

Он вскочил и схватился за шляпу.

— Еду к ней!

— Сними кольцо,— посоветовал я.

— Не стоит. Маруся к кольцу равнодушна.

— Тогда надень темно-зеленый галстук.

— Если бы я знал! Если бы знать — кто его подарил и кто его ненавидит... Э, все равно!.. Прощай, друг.

IV

Всю ночь я беспокоился, боясь за моего несчастного друга. На другой день утром я был у него. Желтый, измученный, сидел он у стола и писал какое-то письмо.

— Ну? Что, как дела?

Он устало помотал в воздухе рукой.

— Все кончено. Все погибло. Я опять почти одинок!..

— Что же случилось?

— Дрянь случилась, бессмыслица. Я хотел действовать на авось... Захватил перчатки и поехал к Соне. «Вот, дорогая моя Ляля,— сказал я ласково,— то, что ты хотела иметь! Кстати, я взял билеты в оперу. Мы пойдем, хочешь? Я знаю, это доставит тебе удовольствие»... Она взяла коробку, бросила ее в угол и, упавши ничком на диван, зарыдала. «Поезжайте,— сказала она,— к вашей Ляле и отдайте ей эту дрянь. Кстати, с ней же можете прослушать ту отвратительную оперную какофонию, которую я так ненавижу».— «Маруся,— сказал я,— это недоразумение!»...— «Конечно,— закричала она,— недоразумение, потому что я с детства — не Маруся, а Соня! Уходите отсюда!» От нее я поехал к Елене Николаевне... Забыл снять кольцо, которое обещал ей уничтожить, привез засахаренные каштаны, от которых ее тошнит и которые, по ее словам, так любит ее подруга Китти... Спросил у нее: «Почему у моей Китти такие печальные глазки?..», лепетал, растерявшись, что-то о том, что Китти — это производное от слова «спать», и, изгнанный, помчался к Китти спасать обломки своего благополучия. У Китти были гости... Я отвел ее за портьеру и, по своему обыкновению, поцеловал в ухо, отчего произошел крик, шум и тяжелый скандал. Только после я вспомнил, что для нее это хуже острого ножа... Ухо-то. Ежели его поцеловать...

— А остальные? — тихо спросил я.

— Остались двое: Маруся и Дуся. Но это — ничто. Или почти ничто. Я понимаю, что можно быть счастливым с целой гармоничной женщиной, но если эту женщину разрезают на куски, дают тебе только ноги, волосы, пару голосовых

связок и красивые уши — будешь ли ты любить эти разрозненные мертвые куски?.. Где же женщина? Где гармония?

— Как так? — вскричал я.

— Да так... Из моего идеала остались теперь две крохотных ножки, волосы (Дуся) да хороший голос с парой прекрасных, сводивших меня с ума ушей (Маруся). Вот и все.

— Что же ты теперь думаешь делать?

— Что?

В глазах его засветился огонек надежды.

— Что? Скажи, милый, с кем ты был позавчера в театре?? Такая высокая, с чудесными глазами и прекрасной, гибкой фигурой.

Я призадумался.

— Кто?.. Ах да! Это я был со своей кузиной. Жена инспектора страхового общества.

— Милый! Познакомь!

РУБАНОВИЧИ

Есть целый класс людей, с которыми мы часто встречаемся, вступаем в деловые сношения, ведем длинные, горячие разговоры и которых мы вместе с тем совершенно не знаем.

Их души, логика, вкусы и стремления совершенно чужды нам, а их профессиональные привычки, действия своею загадочностью и неясностью только раздражают нас.

Это — портные.

— Я хочу заказать себе пиджачный костюм,— говорю я, обращаясь к одному из них, в то время как он, скривив набок голову, внимательно смотрит на мою грудь, руки и плечи.

У всякого портного есть болезненное, странное и ненужное ему стремление — изредка тяжело и неуклюже острить. Сапожники гораздо сосредоточеннее и серьезнее.

— Вы только хотите? — прищуривается портной. — Так вы уж прямо лучше заказывайте.

— Да, закажи вам,— нерешительно возражаю я. — Ведь вы, небось, сдерете втридорога.

— Я сдеру? Ха-ха! Хорошие шутки, нечего сказать. Ну, хотите — я вам дам десять рублей, если вы найдете другого портного, который взял бы за такой материал и работу столько же, сколько я. Хотите?

Он прекрасно знает, что я не взвалю себе на плечи эту странную операцию. Если бы даже я и нашел другого такого портного, то мой портной нашел бы массу поводов отвертеться от уплаты десяти рублей. Костюм бы он признал сшитым прескверно, а материал — дешевым гнильем.

— Хотите? Покажите мне такого другого портного, — презрительно говорит он. — И я плачу вам кровных пятнадцать рублей.

— Нет, не надо. Но только я знаю, что переплачу вам.

— Вы? Переплатите? Ну, хотите, я даю сто рублей, если вы переплатите?!

Сто рублей я у него не возьму. Я прекрасно знаю, что он сдерет с меня больше, чем нужно, и он это прекрасно знает. Мы молчаливо считаем этот вопрос решенным в положительном для него смысле и переходим к дальнейшему.

— Сколько же вы возьмете?

— Сию минуту... Это мы до копейки высчитаем.

Он берет бумажку и пишет на ней ряд каких-то цифр. Значение их ни я, ни он не понимаем. Но цифры имеют гипнотизирующее значение своей абсолютной честностью и безотносительностью. На бумажке стоит два косых 4, одно пошатнувшееся 7, три длинных худощавых единицы и одно громадное 3, похожее на змеиную конвульсию. Впрочем, после некоторого колебания портной переделывает его в 8 и ставит сбоку две пятерки.

Губами он лениво бормочет:

— Семнадцать, да две — двадцать четыре, да сорок пять — итого четырнадцать, отсюда вычитываем шесть, да семь — множимое получается 62.

Он поднимает от бумажки голову и уверенно говорит:

— 71 рубль. Ну, рубль я, как на первый раз, то отбрасываю. Пойдите-ка поищите подобный костюмчик. Я вам сорок рублей положу на это место.

— Семьдесят рублей?! Что вы, голубчик!.. Да вот этот костюм, который на мне, — тридцать два рубля стоил!

Костюм мой, конечно, стоил шестьдесят. Но мы оба забываем всякую меру и перестаем церемониться с цифрами.

Портной берет меня за плечи, подводит к свету и, оглядывая, качает головой:

— Тридцать два? А я думал — восемнадцать. За такой костюм — тридцать два рубля?.. Вот видите — где не нуж-

но, где вас обманывают — вы переплачиваете, а когда вам думают, что вы не будете торговаться, вы...

Он неожиданно схватывает меня за борт пиджака и, с бешеной силой, дергает к себе.

— Это работа?! Вы видите, она трещит, как тряпка... А фасон? Неужели вам было не стыдно носить такую работу? Вы посмотрите, как оно на вас сидит?!

Он хватает меня за бока, дергает вверх брюки, опускает сзади воротник, оттопыривает внизу жилетку так, что она торчит уродливым горбом, и загибает внутрь отвороты пиджака.

— Хорошенький фасончик, — критически говорит он, отходя вдаль и любуясь, со скривленной набок головой, — очень хорошенький... Как корова на седле. И с вас не смеялись?

Раньше, конечно, мой костюм не вызывал ни в ком веселого настроения. Но умелые руки моего собеседника придали ему такой вид, который, в лучшем случае, испугал бы окружающих.

Я с трудом привожу одежду в порядок, а портной цепляется за рукава и торжествующе кричит:

— Это стоит тридцать два рубля? Это же бумага! Неужели вы не видите? Скверный лодзинский товар!

Я вспоминаю, что предыдущий портной, который также обрушился на мой предыдущий костюм, упрекал отсутствующего предшественника, что он подсунул мне лодзинский товар. Я возражал, что материя продана мне, как английская, а он не верил и кричал: «разве этот жулик даст вам английский товар? У меня вы получите английский!»

* * *

Я до сих пор не знаю — что такое «английский товар». Каждый предыдущий портной облекал меня в него, и каждый последующий безжалостно разбивал мои иллюзии.

Теперешний портной, с которым я веду разговор, тоже побожился, что я хожу, одетый в «чистейшую лодзинскую бумагу» и, чтобы облегчить мое положение, принес торжественную клятву употребить в дело все самое английское...

— Ладно, — соглашаюсь я. — Снимайте мерку. Только брюки сшейте так же, как эти. Я люблю такой фасон.

— Эти брюки с фасоном? Дай Бог вашему прежнему портному, чтобы он на том свете ходил в брюках с таким фасоном! Они ведь такие же короткие, как зимний день в Санкт-Петербурге...

— Потому, что вы их слишком давеча подтянули... Вот они так должны быть!

— Так? Ну — поздравляю вас... Они такие же длинные, как рука нашего околоточного... С таким фасоном можно каждую минуту запутаться и разбить, извините, нос.

Мне приходилось часто слышать, как актеры отзываются об игре своего коллеги; приходилось узнавать мнение одного беллетриста о другом; но никогда в этих случаях я не замечал столько сконцентрированной ненависти и презрения, как в отзывах портных друг о друге.

В этом с ними могут состязаться только легковые извозчики, для которых каждый другой извозчик — личный враг, и в отношении к нему позволительны все средства: хлестнуть по спине кнутом, стать со своей пролеткой поперек дороги или, при невозможности сделать все это, просто крепко и ядовито выругаться...

Я не знаю, много ли у портного радостей, которые скрашивали бы его монотонную жизнь?.. Может быть, у него нет совсем радостей, кроме одной, которой он предается с диким исступлением, немецким постоянством и ослиным упорством.

Эта единственная, непонятная обыкновенному человеку и заказчику, портняжская радость и удовольствие — не сдать в срок работу.

Можно принимать все меры, пускать в ход угрозы, брать с него клятвы — это все излишне: ни один человек не получал в срок заказанное платье.

Давая клятву, всякий портной про себя думает:

— Э, нет, брат!.. Жизнь слишком скучна и не цветиста, чтобы я ради твоих прекрасных глаз пожертвовал лучшим наслаждением, которое дала нам человеческая культура: не принести работы в обещанный срок...

Я пробовал пускаться на хитрость: когда мне нужно было получить платье десятого декабря, я назначал пятое, уверив портного, что шестого утром уезжаю в Америку и каждый час промедления принесет мне неисчислимые убытки.

Но портной каким-то образом разгадывал мою тактику, догадывался о десятом числе и приносил заказ двенадцатого...

Он объяснял, что у него заболел мастер, что самому ему пришлось выехать на два дня в другой город и что он долго возился с маленьким сыном, который обварил руку... А в глазах его читалось: «никуда я не уезжал и сын здоров, как тыква... Но почему мне не доставить себе маленького невинного удовольствия?..»

* * *

Тот портной, о котором я говорил сначала, принес работу, просрочив только шесть дней. Когда я оделся в новое платье, то сразу увидел, что воротник поставлен неимоверно низко, что из-под него видна запонка на затылке, что жилет, собираясь в десятки складок, лезет тихо и настойчиво вверх к подбородку, а брюки так коротки, что весь мир сразу узнает цвет моих чулок...

Но портной восторженно хлопал руками, смотрел в кулак и, подмигивая мне, смеялся счастливым смехом:

— Ага! Это вам не Рубанович...

— Черт знает что, — морщился я. — Брюки коротки, жилет лезет вверх и воротник сползает на самые лопатки...

— Где? — изумился портной. — Вы посмотрите!

Одной рукой он поднимал кверху воротник, другой оттягивал жилет и в это же время наклонял меня так, что края брюк спускались сантиметра на два ниже.

— Видите? Прекрасно!

— Может быть, — угрюмо возразил я, — пока вы держите. Может быть, если вы, не расставаясь со мной все время, пока я ношу это платье, будете бегать сзади, подтягивать кверху воротник, книзу жилет, при условии, что я скорчусь под прямым углом, — может быть, тогда эти недостатки и не будут заметны! Но что же станется с вашим семейством и заказчиками, если мы год или два будем, как два каторжника, скованы одной цепью — отвратительно сшитым вами платьем?..

Есть случаи, когда портные не понимают юмора.

Он пожал плечами, взял семьдесят рублей и ушел.

Следующий портной оценил этот костюм в двенадцать рублей, заявив, что если бы сказать, что он сделан из лодзин-

ского материала, то это было бы комплиментом (он сделан из белостокской бумаги), и что не нужно иметь никакого стыда, чтобы носить на себе костюм, сидящий, как лошадь на седле коровы...

ЧЕТВЕРО

I

В купе второго класса курьерского поезда ехало трое: чиновник казенной палаты Четвероруков, его молодая жена — Симочка и представитель фирмы Эванс и Крумбель — Василий Абрамович Сандомирский...

А на одной из остановок к ним в купе подсел незнакомец в косматом пальто и дорожной шапочке. Он внимательно оглядел супругов Четвероруковых, представителя фирмы Эванс и Крумбель и, вынув газету, погрузился в чтение.

Особенная — дорожная — скука повисла над всеми. Четвероруков вертел в руках портсигар, Симочка постукивала каблучками и переводила рассеянный взгляд с незначительной физиономии Сандомирского на подсевшего к ним незнакомца, а Сандомирский в десятый раз перелистывал скверный юмористический журнал, в котором он прочел все, вплоть до фамилии типографщика и приема подписки.

— Нам еще ехать пять часов,— сказала Симочка, сладко зевая.— Пять часов отчаянной скуки!

— Езда на железных дорогах однообразна, чем и утомляет пассажиров,— наставительно отвечал муж.

А Сандомирский сказал:

— И железные дороги невыносимо дорого стоят. Вы подумайте: какой-нибудь билет — стоит двенадцать рублей.

И, пересмотрев еще раз свой юмористический журнал, добавил:

— Уже я не говорю о плацкарте!

— Главное, что скучно! — стукнула ботинком Симочка.

Сидевший у дверей незнакомец сложил газету, обвел снова всю компанию странным взглядом и засмеялся.

И смех его был странный, клокочущий, придушенный, и последующие слова его несказанно всех удивили.

— Вам скучно? Я знаю, отчего происходит скука... Оттого, что все вы — не те, которыми притворяетесь, а это ужасно скучно.

— То есть как мы не те? — обиженно возразил Сандомирский. — Мы вовсе — те. Я как человек интеллигентный...

Незнакомец улыбнулся и сказал:

— Мы все не те, которыми притворяемся. Вот вы — кто вы такой?

— Я? — поднял брови Сандомирский. — Я представитель фирмы Эванс и Крумбель, сукна, трико и бумазеи.

— Ах-ха-ха-ха! — закатился смехом незнакомец.

— Так я и знал, что вы придумаете самое нелепое! Ну, зачем же вы лжете себе и другим? Ведь вы кардинал при папском дворе в Ватикане и нарочно прячетесь под личиной какого-то Крумбеля!

— Ватикан? — пролепетал испуганный и удивленный Сандомирский. — Я Ватикан?

— Не Ватикан, а кардинал! Не притворяйтесь дураком. Я знаю, что вы одна из умнейших и хитрейших личностей современности! Я слышал кое-что о вас!

— Извините, — сказал Сандомирский. — Но эти шутки мне не надо!

II

— Джузеппе! — серьезно проворчал незнакомец, кладя обе руки на плечи представителя фирмы Эванс и Крумбель. — Ты меня не обманешь! Вместо глупых разговоров я бы хотел послушать от тебя что-нибудь о Ватикане, о тамошних порядках и о твоих успехах среди набожных знатных итальянок...

— Пустите меня, — в ужасе закричал Сандомирский. — Что это такое?!

— Тссс! — зашипел незнакомец, закрывая ладонью рот коммивояжера. — Не надо кричать. Здесь дама.

Он сел на свое место у дверей, потом засунул руку в карман и, вынув револьвер, навел его на Сандомирского.

— Джузеппе! Я человек предобрый, но если около меня сидит притворщик, я этого не переношу!

Симочка ахнула и откинулась в самый угол. Четвероруков поерзал на диване, попытался встать, но решительный жест незнакомца пригвоздил его к месту.

— Господа! — сказал странный пассажир.— Я вам ничего дурного не делаю. Будьте спокойны. Я только требую от этого человека, чтобы он признался — кто он такой?

— Я Сандомирский! — прошептал белыми губами коммивояжер.

— Лжешь, Джузеппе! Ты кардинал.

Дуло револьвера смотрело на Сандомирского одиноким черным глазом.

Четвероруков испуганно покосился на незнакомца и шепнул Сандомирскому:

— Вы видите, с кем вы имеете дело... Скажите ему, что вы кардинал. Что вам стоит?

— Я же не кардинал!! — в отчаянии прошептал Сандомирский.

— Он стесняется сказать вам, что он кардинал,— заискивающе обратился к незнакомому господину Четвероруков.— Но, вероятно, он кардинал.

— Не правда ли?! — подхватил незнакомец.— Вы не находите, что в его лице есть что-то кардинальное?

— Есть! — с готовностью отвечал Четвероруков.

— Но... стоит ли вам так волноваться из-за этого?..

— Пусть он скажет! — капризно потребовал пассажир, играя револьвером.

— Ну, хорошо! — закричал Сандомирский.— Хорошо! Ну, я кардинал.

III

— Видите! — сделал незнакомец торжествующий жест.— Я вам говорил... Все люди не те, кем они кажутся! Благословите меня, ваше преподобие!

Коммивояжер нерешительно пожал плечами, протянул обе руки и помахал ими над головой незнакомца.

Симочка фыркнула.

— При чем тут смех? — обиделся Сандомирский.

— Позвольте мне, господин, на минутку выйти.

— Нет, я вас не пущу,— сказал пассажир.— Я хочу, чтобы вы нам рассказали о какой-нибудь забавной интрижке с вашими прихожанками.

— Какие прихожанки? Какая может быть интриж...?!

При взгляде на револьвер коммивояжер понизил голос и уныло сказал:

— Ну, были интрижки,— стоит об этом говорить...

— Говорите!! — бешено закричал незнакомец.

— Уберите ваш пистолет — тогда расскажу. Ну что вам рассказать... Однажды в меня влюбилась одна итальянская дама...

— Графиня? — спросил пассажир.

— Ну, графиня. Вася, говорит, я тебя так люблю, что ужас. Целовались.

— Нет, вы подробнее... Где вы с ней встретились и как впервые возникло в вас это чувство?..

Представитель фирмы Эванс и Крумбель наморщил лоб и, взглянув с тоской на Четверорукова, продолжал:

— Она была на балу. Такое белое платье с розами. Нас познакомил посланник какой-то. Я говорю: «Ой, графиня, какая вы хорошень...!»

— Что вы путаете,— сурово перебил пассажир.— Разве можно вам, духовному лицу, быть на балу?

— Ну, какой это бал! Маленькая домашняя вечеринка. Она мне говорит: «Джузеппе, я несчастна! Я хотела бы перед вами причаститься».

— Исповедаться! — поправил незнакомец.

— Ну, исповедаться. Хорошо, говорю я. Приезжайте. А она приехала и говорит: «Джузеппе, извините меня, но я вас люблю».

— Ужасно глупый роман! — бесцеремонно заявил незнакомец.— Ваши соседи выслушали его без всякого интереса. Если у папы все такие кардиналы, я ему не завидую!

IV

Он благосклонно взглянул на Четверорукова и вежливо сказал:

— Я не понимаю, как вы можете оставлять вашу жену скучающей, когда у вас есть такой прекрасный дар...

Четверорукое побледнел и робко спросил:

— Ка... кой ддар?

— Господи! Да пение же! Ведь вы хитрец! Думаете, если около вас висит форменная фуражка, так уж никто и не до-

гадается, что вы знаменитый баритон, пожинавший такие лавры в столицах?..

— Вы ошиблись,— насильственно улыбнулся Четвероруков.— Я чиновник Четвероруков, а это моя жена Симочка...

— Кардинал! — воскликнул незнакомец, переведя дуло револьвера на чиновника.— Как ты думаешь, кто он: чиновник или знаменитый баритон?

Сандомирский злорадно взглянул на Четверорукова и, пожав плечами, сказал:

— Наверное, баритон!

— Видите! Устами кардиналов глаголет истина. Спойте что-нибудь, маэстро! Я вас умоляю.

— Я не умею! — беспомощно пролепетал Четвероруков.— Уверяю вас, у меня голос противный, скрипучий!

— Ах-хах-ха! — засмеялся незнакомец.— Скромность истинного таланта! Прошу вас — пойте!

— Уверяю вас...

— Пойте! Пойте, черт возьми!!!

Четвероруков конфузливо взглянул на нахмуренное лицо жены и, спрятав руки в карманы, робко и фальшиво запел:

По синим волнам океана,
Лишь звезды блеснут в небесах...

Подперев голову рукой, незнакомец внимательно, с интересом слушал пение. Время от времени он подщелкивал пальцами и подпевал.

— Хорошо поете! Тысяч шесть получаете? Наверное, больше! Знаете, что там ни говори, а музыка смягчает нравы. Не правда ли, кардинал?

— Еще как! — нерешительно сказал Сандомирский.

— Вот видите, господа! Едва вы перестали притворяться, стали сами собою, как настроение ваше улучшилось и скуки как не бывало. Ведь вы не скучаете?

— Какая тут скука! — вздохнул представитель фирмы Эванс и Крумбель.— Сплошное веселье.

— Я очень рад. Я замечаю, сударыня, что и ваше личико изменило свое выражение. Самое ужасное в жизни, господа, это фальшь, притворство. И если смело, энергично за это взяться — все фальшивое и притворное рассеется. Ведь вы раньше считали, вероятно, этого господина коммивояжером, а вашего мужа чиновником. Считали, может быть,

всю жизнь... А я в два приема снял с них личину. Один оказался кардиналом, другой — баритоном. Не правда ли, кардинал?

— Вы говорите, как какая-нибудь книга, — печально сказал Сандомирский.

— И самое ужасное, что ложь во всем. Она окружает нас с пеленок, сопровождает на каждом шагу, мы ею дышим, носим ее на своем лице, на теле. Вот, сударыня, вы одеты в светлое платье, корсет и ботинки с высокими каблуками. Я ненавижу все лживое, обманчивое. Сударыня! Осмелюсь почтительнейше попросить вас — снимите платье! Оно скрывает прекраснейшее, что есть в природе, — тело!

Странный пассажир галантно направил револьвер на мужа Симочки и, глядя на нее в упор, мягко продолжал:

— Будьте добры раздеться... Ведь ваш супруг ничего не будет иметь против этого?..

Супруг Симочки взглянул потускневшими глазами на дуло револьвера и, стуча зубами, отвечал:

— Я... нич... чего... Я сам люббблю красоту. Немножко раздеться можно, хе... хе...

Глаза Симочки метали молнии. Она с отвращением посмотрела на бледного Четверорукова, на притихшего Сандомирского, энергично вскочила и сказала, истерически смеясь:

— Я тоже люблю красоту и ненавижу трусость. Я для вас разденусь! Прикажите только вашему кардиналу отвернуться.

— Кардинал! — строго сказал незнакомец. — Вам, как духовному лицу, нельзя смотреть на сцену сцен. Закройтесь газетой!

— Симочка... — пролепетал Четвероруков. — Ты... немножко.

— Отстань, без тебя знаю!

Она расстегнула лиф, спустила юбку и, ни на кого не смотря, продолжала раздеваться, бледная, с нахмуренными бровями.

— Не правда ли, я интересная? — задорно сказала она, улыбаясь углами рта. — Если вы желаете меня поцеловать, можете попросить разрешения у мужа — он, вероятно, позволит.

— Баритон! Разреши мне почтительнейше прикоснуться к одной из лучших женщин, которых я знал. Многие считают меня ненормальным, но я разбираюсь в людях!

Четверорукое, молча, с прыгающей нижней челюстью и ужасом в глазах, смотрел на страшного пассажира.

— Сударыня! Он, очевидно, ничего не имеет против. Я почтительнейше поцелую вашу руку...

Поезд замедлял ход, подходя к вокзалу большого губернского города.

— Зачем же руку? — болезненно улыбнулась Симочка. — Мы просто поцелуемся! Ведь я вам нравлюсь?

Незнакомец посмотрел на ее стройные ноги в черных чулках, обнаженные руки и воскликнул:

— Я буду счастлив!

Не сводя с мужа пылающего взгляда, Симочка обняла голыми руками незнакомца и крепко его поцеловала.

Поезд остановился.

Незнакомец поцеловал Симочкину руку, забрал свои вещи и сказал:

— Вы, кардинал, и вы, баритон! Поезд стоит здесь пять минут. Эти пять минут я тоже буду стоять на перроне с револьвером в кармане. Если кто-нибудь из вас выйдет — я застрелю того. Ладно?

— Идите уж себе! — простонал Сандомирский.

Когда поезд двинулся, дверцы купе приоткрылись, и в отверстие просунулась рука кондуктора с запиской.

Четверoруков взял ее и с недоумением прочел:

«Сознайтесь, что мы не проскучали... Этот оригинальный, но действительный способ сокращать дорожное время имеет еще то преимущество, что всякий показывает себя в натуральную величину. Нас было четверо: дурак, трус, мужественная женщина и я — весельчак, душа общества. Баритон! Поцелуйте от меня кардинала...»

ЛЕКАРСТВО

I

В глаза я называл ее Марьей Павловной, а за глаза Марусей, Мэри и Мышоночком... Сегодня когда я ехал к ней, то думал:

— Соберусь с духом и скажу!.. Если она ответит «да» — в груди моей запоют птицы и жизнь раз навсегда окрасится

приятным розовым светом. Если — «нет»... я ничего не скажу, повернусь и выйду из комнаты... И никто никогда не услышит обо мне ни слова. Только, может быть, через несколько лет до нее и всех ее знакомых дойдет слух о странном монахе, известном своей суровой отшельнической жизнью, который поселился в пустыне, одинокий, таинственный, со следами красоты на изможденном лице, благоволящий мужчинам и отворачивающийся от женщин...

Это буду я.

Я вошел к Марье Павловне с сосредоточенно сжатыми губами и лихорадочным блеском в глазах.

— Что это вы такой? — удивленно спросила она.

— Я... должен иметь с вами один... очень важный для меня разговор!

В глазах ее засветились два огонька и — погасли.

— Хорошо. Только я раньше должна съездить в два места... Надеюсь, вы меня проводите?

— Конечно! Как можно задавать такие вопросы?..

— Я сейчас оденусь, заедем в мануфактурный магазин и потом к портнихе. Ладно?

— Хотя бы к двум портнихам!..— поклонился я.

Она призадумалась.

— К двум? Мне бы, собственно, нужно было к двум, да я не знаю адреса одной. Посидите. Я скоро оденусь. Даша! Сбегай-ка за дворником!

— Зачем это вам дворник понадобился? — изумился я.

— Не могу же я выйти на улицу в одном платье?!

— А разве дворник...

— Это длинная история! Жена дворника, которая служит у каких-то квартирантов, имеет сестру, работающую у той самой портнихи, которой я отдала переделать свою ротонду. Так вот, если жена дворника сообщит сейчас мужу адрес, где работает ее сестра,— я и пошлю Дашу туда за ротондой.

— Так, так. Это и есть тот адрес — один из двух,— которого вы не знаете?

— Что вы путаете! Это тот адрес, который я знаю. Как же иначе я бы нашла его?

— Смешные вы, женщины! — улыбнулся я.

Она показала мне язык и убежала в другую комнату.

Я уселся, взял газету и прочел ее от начала до конца. Марья Павловна одевалась. Я пересмотрел альбом, взял какую-то

книгу, прочел три главы. Марья Павловна одевалась! После шестой главы я имел совершенно точные данные, что Марья Павловна еще не совсем одета, а девятая глава заставила ее выглянуть из комнаты и спросить меня:

— Нет ли у вас крючка для застегивания ботинок? Я не могу найти свой. Целый час ищем!.. Почему вы не носите с собой крючка?

— Хорошо,— кротко отвечал я.— Теперь я буду носить его с собой. Во избежание задержек на будущее время я буду также теперь захватывать с собой щипцы для завивки волос, ротонду и головные шпильки. Если вам нужно еще что-нибудь — вы предупредите.

Она, очевидно, не поняла меня, потому что отвечала:

— Нет, щипцы у меня есть. А вот головные шпильки, если бы вы носили — я иногда брала бы у вас, потому что они страшно теряются.

Вошла Даша и спросила:

— Не видали, барин, крючка для ботинок? Он тут где-то.

— Не знаю. Я пересмотрел альбом,— его там не было. И в книге нет. Может быть, спросить того дворника, который имеет сведения о ротонде?..

И Даша меня тоже не поняла.

— Демьян! — закричала она, выбегая в переднюю,— не видел барышниного крючка?

Я вошел в ту комнату, где одевалась Марья Павловна, и сказал:

— Придется мне поискать.

Из деликатности я старался не смотреть на причесывающуюся Марью Павловну, но она воскликнула:

— Только, ради Бога, не смейте на меня смотреть!

Не посмотреть было уже неловко. Я взглянул на нее, на стоящую около нее пару крошечных ботинок, и спросил:

— Вы эти ботинки и хотите надеть?

— Да... только вот крючка нет.

— Крючок можно купить,— отвечал я.— Его можно сделать, найти, украсть, но — увы — он будет вам бесполезен.

— Почему?!

— Потому что ботинки ваши не на пуговицах, а на шнурках.

Она засмеялась.

— Да? А ведь и в самом деле! Даша! Не ищи крючка... А вы, сударь, уходите пока.

Я вышел и от скуки опять взялся за газету. Выглянула Даша и спросила:

— Барин, не видели барышниной брошки?

— Не знаю, где она. Впрочем, вы можете взглянуть на крышу соседнего дома. Не зацепилась ли она каким-нибудь образом за дымовую трубу.

Даша с озабоченным видом взглянула в окно, развела руками и ушла обратно в комнату барышни.

— Там нет... Под ковром смотрели?

— Смотрела. И в умывальнике нет.

— Ах ты ж, Господи!

Я нервно вошел в их комнату и спросил:

— Куда вы ее обыкновенно кладете? Какого она вида?

— Обыкновенно она у меня на груди. А вид у нее такой... знаете, что у лошадей на лапах бывает!

— На каких лапах?

— Ну, такое... Копыто называется...

— Я не помню у вас такой брошки-копыта. Вероятно, подкова?

— Да, да... такое, знаете, что стучит.

— Так бы вы прямо и сказали!.. Такое, что стучит — это всякий догадается. Подкову я помню. Ювелир, значит, уже вставил бирюзу, которая выпала? Помните, мы на той неделе вместе отдавали?

— Нет еще.

— Так она, значит, у ювелира? Скажите, сколько времени затрачиваете вы обыкновенно на поиски в этой комнате вещи, находящейся на другой улице?

— Действительно, она у ювелира! Даша, глупая, не ищи: я совсем и забыла.

Так как я был признан дамами очень сообразительным, толковым парнем, то меня оставили на всякий случай присутствовать при завершении туалета.

Все пошло гладко, если не считать того, что дамы тщетно пытались открыть флакон с духами, проклиная тугую пробку. Мне не стоило большого труда убедить их, что открывать его не имеет смысла, так как он совершенно пуст, и что, вероятно, можно достигнуть больших результатов, если открыть другой флакон, стоявший тут же и по горло наполненный духами.

II

Когда мы приехали в магазин, приказчик галантно поклонился нам, но сейчас же побледнел и взглядом, полным ужаса, уставился на розовую, улыбающуюся Марью Павловну.

— Покажите мне что-нибудь новенькое на блузку. Только — самое новое. Я всегда бываю у вас, и вы всегда показываете мне старое.

— Какой негодяй! — подумал я.

Приказчик полез на какую-то лестницу и стал сбрасывать на прилавок целый водопад разных разноцветных тряпок, — с таким видом, будто бы он хотел устроить между собой и покупательницей крепкую надежную баррикаду, за которой можно укрыться.

В глазах его виднелось отчаяние и покорность судьбе.

— Вот это, сударыня... Прелестный рисунок.

— Этот? Вы смеетесь надо мной! Это бабы платки такие носят.

— Тогда вот! Самый последний крик делямод.

— Этот? Нет, вы, право, надо мной смеетесь!

Я никогда не видел, чтобы так смеялись. На лбу приказчика выступил пот, а губы пересохли и нервно дрожали... Куски материй сыпались с полок дождем, развертывались, забраковывались, скрывались под свежей струей новых материй, которые, отверженные, в свою очередь, стонали под тяжестью все новых и новых кусков, которые то были «аляповаты», то слишком в крупную, то слишком в мелкую клетку... А одна материя подверглась суровому осуждению даже за то, что клетка на ней оказалась слишком средней.

— Вот эта мне нравится, — робко сказал я, указывая на какой-то желтый угол, торчавший снизу.

Приказчик с благодарностью взглянул на меня, но потом вздохнул и сказал:

— Это не материя. Это оберточная бумага из середины куска. Вот это очень недурно, кажется.

— Это? — в искусственном восхищении вскричал я. — Это великолепно.

— Покажите еще что-нибудь в этом роде, — ласково попросила моя спутница.

Приказчик уже не стоял за прилавком, а лежал где-то наверху на огромной груде измятых скомканных кусков.

Мы должны были задирать головы, чтобы видеть этого доброго человека, который хриплым голосом кричал нам сверху:

— Вот тоже... рекомендую... Дернье крик делямод...

Образ действий приказчика меня изумлял.

Что могло удержать его от одного незаметного жеста руки, которым можно было бы опрокинуть на голову покупательницы часть этой груды «чего-нибудь на блузку»... Откапывание погребенной под развалинами покупательницы и вся последующая веселая суматоха дали бы приказчику некоторую возможность передохнуть и собраться с силами, а покупательница на собственной голове и плечах убедилась бы, что бывает очень неудобно, когда «что-нибудь на блузку» весит от восьми до десяти пудов.

Последние «крики делямод», доносившиеся сверху, делались все тише и тише. Я понял, почему приказчик, увидев мою спутницу, побледнел от ужаса, а моя спутница в это время мягким, как серебряный бубенчик, голосом говорила:

— Этот цвет немного темен или, вернее, слишком для меня светел... Кажется, ничего я не подберу.

Она вздохнула и встала, ласково кивнув головой извивавшемуся где-то наверху телу приказчика.

— Мы уходим? — спросил я. — В таком случае, заверните мне, господин приказчик, вот этот кусок и этот... и этот!

— Для чего это вам? — изумилась Марья Павловна.

Я хотел сказать ей, что приказчик в самом худшем случае заслужил не этой бессмысленной для меня покупки трех кусков, а пожизненной пенсии и воспитания детей на казенный счет. Впрочем, едва ли ему нужна была пожизненная пенсия, так как, по своему наружному виду, бедняга мог дотянуть не дольше, чем до конца текущей недели.

III

Мы вышли из магазина — я, нагруженный громадным свертком, она, пустая, с победоносно веселым видом — и сели на извозчика.

— Ну? — спросил я.

— Ну?

— Куда же ехать?!
— Да к портнихе. Ведь я же говорила.
— Извозчик, к портнихе.
— На какую улицу прикажете?
— На какую улицу? — спросил я, оборачиваясь к своей спутнице.
— Такая... длинная. Я позабыла, право, как она называется.
— А, длинная! Так бы вы и сказали. Вероятно, еще по бокам стоят дома и у каждых ворот сидит дворник? Да?
— Да, да. Что-то в этом роде. Там еще есть четырехэтажный дом с такими воротами.
— С какими?
Она вытянула вперед пальцы и неопределенно пошевелила ими.
— Вот с такими, знаете?..
— Ах, вот такие ворота? Очень красивые. А улицы вы так и не знаете?
— Да я знала, да позабыла. Помню, сейчас нужно вправо завернуть.
— Извозчик! Направо.
— Да куда он едет?! Не туда! Направо!
— Он и едет направо!!
— Тогда, значит, налево.
— Эти извозчики вечно путают,— сурово проворчал я.— Дело в том, что у извозчиков и у прочих мужчин правая сторона случайно совпадает с правой рукой, а у женщин она совпадает — с левой! И мужчины так тупы, что не могут к этому привыкнуть.
— Вообще, вы, мужчины...— критически сказала Марья Павловна и улыбнулась с сознанием собственного превосходства.
Мы повернули на какую-то улицу и поскакали по ней, причем я бросал проницательные взгляды на все дома с «такими» воротами. А моя спутница в это время украдкой перекрестилась.
— Что это на вас напала такая богомольность? — пожал я плечами.— Не хотите ли вы посвятить себя Богу?
— Нет,— сказала она.— Я так узнаю, где правая сторона.
— То есть... как же это?
— Да ведь крестятся правой рукой! Я перекрещусь и думаю: «ах, вот она где, правая сторона».

— Изумительно просто! И дорогу можно находить, и грехи в то же время замаливать. Если бы все знали этот остроумный способ — не было бы заблудившихся и грешных людей.

— Вы льстите мне! — кокетливо хлопнула она меня перчаткой по руке.— Да это и не я придумала. Подруга.

— Богато одаренная натура,— одобрительно сказал я.

IV

Ввиду громадного количества домов с «такими воротами» портниху мы не нашли.

Когда через час ехали обратно, Марья Павловна вспомнила:

— А что вы мне хотели сказать такое серьезное? Помните, давеча дома говорили? Еще говорили, что это для вас очень важно!..

И я не назвал ее мысленно ни Мэри, ни Мышонком, а зевнул и сказал:

— Ах, да! Я хотел спросить только: где вы покупаете такое прекрасное печенье к чаю?

И с этого момента пустыня лишилась одного из лучших отшельников, которые когда-либо спасались в ней...

ЛОЖЬ

Трудно понять китайцев и женщин.

Я знал китайцев, которые два-три года терпеливо просиживали над кусочком слоновой кости величиной с орех. Из этого бесформенного куска китаец с помощью целой армии крохотных ножичков и пилочек вырезывал корабль — чудо хитроумия и терпения: корабль имел все снасти, паруса, нес на себе соответствующее количество команды, причем каждый из матросов был величиной с маковое зерно, а канаты были так тонки, что даже не отбрасывали тени,— и все это было ни к чему... Не говоря уже о том, что на таком судне нельзя было сделать самой незначительной поездки,— сам корабль был настолько хрупок и непрочен, что одно легкое нажатие ладони уничтожало сатанинский труд глупого китайца.

Женская ложь часто напоминает мне китайский корабль величиной с орех — масса терпения, хитрости — и все это совершенно бесцельно, безрезультатно, все гибнет от простого прикосновения.

* * *

Чтение пьесы было назначено в 12 часов ночи.

Я приехал немного раньше и, куря сигару, убивал ленивое время в болтовне с хозяином дома адвокатом Лязговым.

Вскоре после меня в кабинет, где мы сидели, влетела розовая, оживленная жена Лязгова, которую час тому назад я мельком видел в театре сидящей рядом с нашей общей знакомой Таней Черножуковой.

— Что же это, — весело вскричала жена Лязгова. — Около двенадцати, а публики еще нет?!

— Подойдут, — сказал Лязгов. — Откуда ты, Симочка?

— Я... была на катке, что на Бассейной, с сестрой Тарского.

Медленно, осторожно повернулся я в кресле и посмотрел в лицо Серафимы Петровны.

Зачем она солгала? Что это значит?

Я задумался.

Зачем она солгала? Трудно предположить, что здесь был замешан любовник... В театре она все время сидела с Таней Черножуковой и из театра, судя по времени, прямо поехала домой. Значит, она хотела скрыть или свое пребывание в театре, или — встречу с Таней Черножуковой.

Тут же я вспомнил, что Лязгав раза два-три при мне просил жену реже встречаться с Черножуковой, которая, по его словам, была глупой, напыщенной дурой и имела на жену дурное влияние... И тут же я подивился: какая пустяковая, ничтожная причина может иногда заставить женщину солгать...

* * *

Приехал студент Конякин. Поздоровавшись с нами, он обернулся к жене Лязгова и спросил:

— Ну, как сегодняшняя пьеса в театре... Интересна?

Серафима Петровна удивленно вскинула плечами.

— С чего вы взяли, что я знаю об этом? Я же не была в театре.

— Как же не были? А я заезжал к Черножуковым — мне сказали, что вы с Татьяной Викторовной уехали в театр.

Серафима Петровна опустила голову и, разглаживая юбку на коленях, усмехнулась:

— В таком случае я не виновата, что Таня такая глупая; когда она уезжала из дому, то могла солгать как-нибудь иначе...

Лязгов, заинтересованный, взглянул на жену:

— Почему она должна была солгать?

— Неужели ты не догадываешься? Наверное, поехала к своему поэту!

Студент Конякин живо обернулся к Серафиме Петровне.

— К поэту? К Гагарову? Но этого не может быть! Гагаров на днях уехал в Москву, и я сам его провожал.

Серафима Петровна упрямо качнула головой и с видом человека, прыгающего в пропасть, сказала:

— А он все-таки здесь!

— Не понимаю...— пожал плечами студент Конякин.— Мы с Гагаровым друзья, и он, если бы вернулся, первым долгом известил бы меня.

— Он, кажется, скрывается,— постукивая носком ботинка о ковер, сообщила Серафима Петровна.— За ним следят.

Последняя фраза, очевидно, была сказана просто так, чтобы прекратить скользкий разговор о Гагарове.

Но студент Конякин забеспокоился.

— Следят??! Кто следит?

— Эти, вот... Сыщики.

— Позвольте, Серафима Петровна... Вы говорите что-то странное: с какой стати сыщикам следить за Гагаровым, когда он не революционер и политикой никогда не занимался?!

Серафима Петровна окинула студента враждебным взглядом и, проведя языком по запекшимся губам, раздельно ответила:

— Не занимался, а теперь занимается. Впрочем, что мы все: Гагаров да Гагаров. Хотите, господа, чаю?

* * *

Пришел еще один гость — газетный рецензент Блюхин.

— Мороз,— заявил он,— а хорошо! Холодно до гадости. Я сейчас часа два на коньках катался. Прекрасный на Бассейной каток.

— А жена тоже сейчас только оттуда,— прихлебывая чай из стакана, сообщил Лязгов.— Встретились?

— Что вы говорите?! — изумился Блюхин.— Я все время катался и вас, Серафима Петровна, не видел.

Серафима Петровна улыбнулась.

— Однако я там была. С Марьей Александровной Шемшуриной.

— Удивительно... Ни вас, ни ее я не видел. Это тем более странно, что каток ведь крошечный,— все как на ладони.

— Мы больше сидели все... около музыки,— сказала Серафима Петровна.— У меня винт на коньке расшатался.

— Ах так! Хотите, я вам сейчас исправлю? Я мастер на эти дела. Где он у вас?

Нога нервно застучала по ковру.

— Я уже отдала его слесарю.

— Как же это ты ухитрилась отдать слесарю, когда теперь ночь? — спросил Лязгов.

Серафима Петровна рассердилась.

— Так и отдала! Что ты пристал? Слесарная по случаю срочной работы была открыта. Я и отдала. Слесаря Матвеем зовут.

* * *

Наконец явился давно ожидаемый драматург Селиванский с пьесой, свернутой в трубку и перевязанной ленточкой.

— Извиняюсь, что опоздал,— раскланялся он.— Задержал прекрасный пол.

— На драматурга большой спрос,— улыбнулся Лязгов.— Кто же это тебя задержал?

— Шемшурина, Марья Александровна. Читал ей пьесу.

Лязгов захлопал в ладоши.

— Соврал, соврал драматург! Драматург скрывает свои любовные похождения! Никакой Шемшуриной ты не мог читать пьесу!

— Как не читал? — обводя компанию недоуменным, подозрительным взглядом, вскричал Селиванский.— Читал! Именно ей читал.

— Ха-ха! — засмеялся Лязгов.— Скажи же ему, Симочка, что он попался с поличным: ведь Шемшурина была с тобой на катке.

— Да, она со мной была,— кивнула головой Серафима Петровна, осматривая всех нас холодным взглядом.

— Когда?! Я с половины девятого до двенадцати сидел у нее и читал свою «Комету».

— Вы что-нибудь спутали,— пожала плечами Серафима Петровна.

— Что? Что я мог спутать? Часы я мог спутать, Шемшурину мог спутать с кем-нибудь или свою пьесу с отрывным календарем?! Как так — спутать?

— Хотите чаю? — предложила Серафима Петровна.

— Да нет, разберемся: когда Шемшурина была с вами на катке?

— Часов в десять, одиннадцать.

Драматург всплеснул руками.

— Так поздравляю вас: в это самое время я читал ей дома пьесу.

Серафима Петровна подняла язвительно одну бровь.

— Да? Может быть, на свете существуют две Шемшуриных? Или я незнакомую даму приняла за Марью Александровну? Или, может, я была на катке вчера. Ха-ха!..

— Ничего не понимаю! — изумился Селиванский.

— То-то и оно,— засмеялась Серафима Петровна.— То-то и оно! Ах, Селиванский, Селиванский...

Селиванский пожал плечами и стал разворачивать рукопись.

Когда мы переходили в гостиную, я задержался на минуту в кабинете и, сделав рукой знак Серафиме Петровне, остался с ней наедине.

— Вы сегодня были на катке? — спросил я равнодушно.

— Да. С Шемшуриной.

— А я вас в театре сегодня видел. С Таней Черножуковой.

Она вспыхнула.

— Не может быть. Что же, я лгу, что ли?

— Конечно лжете. Я вас прекрасно видел.

— Вы приняли за меня кого-нибудь другого...

— Нет. Вы лжете неумело, впутываете массу лиц, попадаетесь и опять нагромождаете одну ложь на другую... Для чего вы солгали мужу о катке?

Ее нога застучала по ковру.

— Он не любит, когда я встречаюсь с Таней.

— А я сейчас пойду и скажу всем, что видел вас с Таней в театре.

Она схватила меня за руку, испуганная, с трясущимися губами.

— Вы этого не сделаете?!

— Отчего же не сделать?.. Сделаю!

— Ну, милый, ну, хороший... Вы не скажете... да? Ведь не скажете?

— Скажу.

Она вскинула свои руки мне на плечи, крепко поцеловала меня и, прижимаясь, прерывисто прошептала:

— А теперь не скажете? Нет?

* * *

После чтения драмы — ужинали.

Серафима Петровна все время упорно избегала моего взгляда и держалась около мужа.

Среди разговора она спросила его:

— А где ты был сегодня вечером? Тебя ведь не было с трех часов.

Я с любопытством ждал ответа. Лязгов, когда мы были вдвоем в кабинете, откровенно рассказал мне, что этот день он провел довольно беспутно: из Одессы к нему приехала знакомая француженка, кафешантанная певица, с которой он обедал у Контана, в кабинете; после обеда катались на автомобиле, потом он был у нее в Гранд-Отеле, а вечером завез ее в «Буфф», где и оставил.

— Где ты был сегодня?

Лязгов обернулся к жене и, подумав несколько секунд, ответил:

— Я был у Контана. Обедали. Один клиент из Одессы с женой француженкой и я. Потом я заехал за моей доверительницей по Усачевскому делу, и мы разъезжали в ее автомобиле — она очень богатая — по делу об освобождении имения от описи. Затем я был в Гранд-Отеле у одного по-

мещика, а вечером заехал на минутку в «Буфф» повидаться с знакомым. Вот и все.

Я улыбнулся про себя и подумал:

«Да. Вот это ложь!»

ВИЗИТЕР

Опыт характеристики

Всякий, кому приходилось видеть визитера в начале его хлопотливой деятельности, знает — какое это чистенькое, надушенное, сверкающее белизной белья и лаком ботинок существо!

Перед выходом из дому визитер долго стоит у зеркала и приглаживает несколько волосинок, отставших у уха; он долго возится над тем, чтобы кончик его белого галстука не заскакивал за край жилета, и заботливо удаляет крошечную невинную пылинку, развязно усевшуюся на носке ботинка. Пушинка на рукаве фрака приводит его в нервный трепет. Она сбрасывается с рукава так энергично, что даже производит при падении легкий стук. Двумя пальцами вытаскивается из жилетного кармана маленький кончик красного шелкового платочка — ровно настолько, чтобы на общем фоне черного и белого алело необходимое декоративное пятнышко.

Вот что проделывает визитер, собираясь уходить.

Нет нужды, что на пятом визите фрак его будет обсыпан пудрой, вымазан горчицей, и на носке ботинка уютно прикурнет прилипшая головка кильки; а на десятом визите галстук лихо передвинется набекрень, и пряжка его будет весело болтаться на мужественной груди визитера, а в красном шелковом платочке, засунутом за жилет, будет завернут плохо прожеванный кусок колбасы, не могший проползти в сузившееся визитерово горло.

Нет нужды! Визитер, одеваясь дома, о будущем не думает. Все его мысли и мироощущение — в настоящем.

* * *

Явившись в знакомый дом, визитер первым долгом бросается всех целовать, преисполненный нежной любви и ласки к прекрасному человечеству.

Мужчины по большей части переносят поцелуи визитера стоически. Лишь некоторые отрывают визитера после первого же поцелуя, так что следующие два — приходятся в воздух.

Визитер этим не смущается: воздух так воздух — он поцелует и воздух. И воздух хороший человек.

С дамами визитеру приходится повозиться.

— Ах, я, простите, не целуюсь.

— Да почему?

— Ах, нет, нет — как можно.

— Помилуйте, такой праздник... Нужно обязательно поцеловаться.

— У меня принцип — не целоваться. Ах, ах!

У многих дам единственный принцип в жизни — не целоваться на Пасху. Во все остальное время их легкомысленной жизни они целуются без всякого порядка и смысла, и тому же визитеру легче добиться прикосновения женских губ зимой, осенью и летом, чем на Пасху.

Если дама продолжает отказываться, визитер, обуреваемый высокими порывами, набрасывается на даму и, скрутив ей руки, целует ее в лопатку, в гребенку, торчащую из волос, и в тот же безропотный воздух.

Обыкновенно неприхотливый визитер удовлетворяется этим слабым выражением христианской любви, и его немедленно ведут к столу.

— Закусите-ка... Рюмку рябиновой?

В первые два визита визитер обыкновенно разбирается в напитках и закусках чрезвычайно тонко: он сначала выпьет померанцевой и закусит кусочком икры; потом зубровки и — ветчины; напоследок — рюмку коньяку и отведает кулича.

От коньяку поморщится, а кулич похвалит.

Следующие визиты усыпляют в визитере чувство излишней изысканности: сначала он пьет какой-нибудь ликер, закусывает омаром, а потом переходит на простую водку, заедая ее сахарным розаном с кулича.

И чем дальше — тем вкус его делается менее изысканным, но более прихотливым, идя рука об руку с рассеянностью.

Налитое по ошибке вместо белого вина прованское масло он хочет закусить ветчиной; но рука его попадает немного дальше, отщипывает кусок разноцветной бумажной бахромы с окорока и отправляет это красивое произведение хозяйского сынишки — в рот.

— Хорошая семга,— одобрительно кивает головой визитер, прожевывая бумагу.— По... чем продавали?

Потом он неистово хохочет сам над собой, объясняя всем, как он ошибся, сказав вместо «покупали» — «продавали»...

Он замечает свои ошибки и спешит сознаться в них. Это его бесспорное достоинство. И хохочет он с открытым ртом, из которого торчит полусъеденная разноцветная бумага, а галстук уже успел передвинуться, и пряжка как живая пляшет на груди, в такт смеху веселого хозяина.

* * *

На первых визитах хозяева дома еще делают кое-какие попытки завязать с визитером беседу.

Прием один и тот же:

— В какой церкви были у заутрени?

— В соборе.

— А где разговлялись?

— Дома.

— А хорошие у вас куличи вышли?

— Хорошие.

— А летом вы на даче?

— На даче.

— Как вообще поживаете?

— Да ничего. Ну, мне пора.

— Да посидите еще.

— Нет, нет, что вы!

Последующие визиты делают визитера человеком очень оригинальным, полным свежих неожиданностей, но вести с ним обыкновенную светскую беседу делается чрезвычайно затруднительным.

На вопрос:

— Где были у заутрени?

Он, зрело обдумав свой ответ, говорит:

— Четырнадцать. Да еще восемь позавчера.

— Что — восемь?

— Высокий такой блондин. Живи, говорит, у меня — чего там!

— Что?

— Вот вам и что! Его из печки вытащили, а он пополам. Тесто жидко замесили, что ли. Вы позволите еще рюмочку ветчины?

На самом последнем визите визитер уже не говорит, а только иронически и подозрительно посматривает на всех исподлобья.

В этот период своей жизни он легко и безболезненно отвергает все завоевания тысячелетней культуры и цивилизации, с такой любовью созданной предками. Он может неожиданно расхохотаться; или начнет с аппетитом раскусывать хрустальный бокал; или будет пытаться влезть в рояль, с категорической, не допускающей возражений просьбой:

— Разбудить его в половине шестнадцатого.

Закончив все визиты, визитер долго бродит по улицам, полный смутных, неопределенных мыслей. Редко кому приходилось видеть визитера в таком переходном состоянии, но автору этой статьи однажды удалось подсмотреть, как вел себя в вышеприведенном случае визитер.

Он брел неверными шагами вдоль улицы, изредка одобрительно похлопывая по стенам и заглядывая в отверстия водосточных труб.

Он был в таком состоянии, что на главное не обращал внимания... Вызывали к себе его интерес только пустяки.

Шагая по улице, он увидел лежащую на своем пути спичку. Он изумленно остановился над ней и застыл в напряженной позе.

Потом, осторожно подняв ее, подошел к дремавшему дворнику у ворот.

— Человек! Где у вас склад ненужных отбросов?

— Чего-с?

— Укажите такое место, где бы я мог положить этот предмет, мешающий правильному движению пассажиров.

— Да бросьте ее,— сказал, засмеявшись, дворник.— Чего там.

Он взял из рук визитера спичку и бросил ее на землю.

— Нет, милый дворник, ты этого не делай. Зачем ты это делаешь? Это делать нехорошо.

— Да кому же она мешает? — сказал дворник.

— Тут люди ходят. Зацепится кто-нибудь, упадет, сломает ногу. Ему больно будет... Умрет... без... миропомазания...

Он нагнулся, поднял снова спичку, вырыл под воротами пальцем ямку, облегченно вздохнул.

— Так-то оно и спокойнее... Прощайте, Никифор.

Визитер побрел дальше, остановился у какого-то подъезда и сел на ступеньку.

Рассеянный взгляд его упал на ботинок, на котором присохла оброненная им в предпоследнем доме килька.

Визитер снял ее с ботинка и положил на ладонь.

— Бедненькая! — сказал он, глотая слезы. — Неужели ты уже умерла? Нет! Ты еще будешь жить. Я тебя возьму к себе, и там в тепле и холе ты проживешь остаток дней твоих. О, жестокие, безнравственные люди!.. Господи, Боже ты мой! За что, спрашивается? За что?

И он, раскачиваясь, баюкал пыльную кильку на руках, гладил ее, целовал и отогревал своим дыханием.

Потом вынул шелковый платочек, разостлал его на коленях, положил в него кильку и, с трудом поднявшись, сунул все это в карман белого жилета.

Побрел, пошатываясь, и я потерял его из вида.

* * *

Один знакомый рассказывал мне прелюбопытную историю, касающуюся пасхальных визитов.

Она совершенно достоверна, так как знакомый этот служит чиновником в пробирной палатке и имеет в Петербурге двухэтажный дом.

Я не думаю, что такой человек мог бы выдумать свою историю, или раздуть ее, или изукрасить.

Да он был и слишком глуп для этого.

Кто знает хорошо институт пасхальных визитов — тому эта история не покажется особенно странной и небывалой.

* * *

Вот что он рассказал:

Однажды перед Пасхой пришлось ему поехать по делам из Петербурга в Харьков.

Город этот был незнаком ему, и он всю страстную субботу проскучал. На другой день утром, когда проснулся, солнце светило в окно и около его кровати лежал тщательно вычищенный фрак.

Чиновник пробирной палатки сладко и радостно потянулся на кровати и сказал сам себе:

«Нынче нужно делать визиты — первый день Пасхи, слава Богу! Пора бы одеваться».

Он встал, оделся, побрился и вышел на улицу. На улице сторговался с извозчиком, сел в пролетку, вынул записную книжку с разными адресами и заглянул в нее.

— Вези меня на Дворянскую, номер 7.

Приехал на Дворянскую, отыскал, как и значилось в книжке, квартиру номер 4 и позвонил.

— Дома? — спросил он горничную.— Принимают? Христос Воскресе.

— Пожалуйте-с! Воистину.

Чиновник был радостно встречен хозяином дома, расцеловался с ним и подошел к хозяйке с протянутыми губами.

— Да я не христосуюсь с мужчинами,— кокетливо заявила хозяйка.

— Да почему?

— Ах, нет, нет — как можно!

Чиновник все-таки поцеловал сначала какой-то рюш у нее на шее, потом серьгу в ухе, потом воздух, а потом все трое, весело смеясь, направились к столу...

— Рюмочку зубровки! Попробуйте нашего кулича — нынче, кажется, удачные.

— Попробую! Да, кулич прекрасный..

— Где были у заутрени? — спросила хозяйка.

— В университетской церкви.

— А где разговлялись?

— Дома.

— Летом на даче думаете?

— На даче. Ну, мне пора.

— Да посидите еще! В кои-то веки соберетесь.

— Нет, нет, что вы.

Чиновник вышел, сел на извозчика и заглянул в книжку.

— Московская, 12, квартира 20.

Извозчик привез. Чиновник повонил, похристосовался с плутоватой горничной, расцеловался с хозяином, был несказанно удивлен отказом хозяйки от христосования и потом пил доппель-кюммель.

— Где были у заутрени?

— В университетской церкви.

— Летом на даче?

— Да, ну, мне пора. До свиданья-с.

— Куда же вы?

Третье место, куда поехал извозчик, было:

— Ивановская, 9, квартира 6.

После обычного христосования и двух рюмок коньяку хозяйка спросила:

— Где были у заутрени?

— В университетской. Хотел было в Исаакиевский собор, да далеко, знаете, от меня.

— Я думаю,— сказала хозяйка.

— Да,— подтвердил чиновник.— Минут сорок нужно ехать.

— Откуда?!!

— Да от меня!

— Помилуйте, что вы говорите!.. Как же от Харькова до Петербурга сорок минут езды?

Чиновник встал, потрясенный до самого дна.

— Это... какой город?

Хозяйка засмеялась.

— Вот тебе раз! Человек в Харькове сидит на Ивановской улице у Сверчковых,— да не знает, что это за город.

— Так вы Сверчковы? — вскричал чиновник. — А у меня в книжке записан такой адрес: Ивановская, 9, квартира 6 — Чаплыгина. Вы, значит, не Чаплыгины?

— Да нет же — мы Сверчковы.

— Тогда извините,— растерялся чиновник.— Всего лучшего. Я уж пойду.

— Куда же вы — посидите!

* * *

— Понимаете,— говорил мне, рассказывая об этом случае, чиновник,— экая чепуха получилась. И в Петербурге, и в Харькове есть и Московская, и Дворянская, и Ивановская. Я по петербургским адресам и ездил.

— Да как же они вас принимали, незнакомого? — спросил я удивленно.

— Да им-то что?.. Приехал визитер, во фраке, христосуется, был у заутрени, пьет водку — значит, все как нужно, все как следует... А мое тоже положение — разве все знакомые лица упомнишь? Не разговорись я об Исаакии — так бы никто ничего и не заметил.

* * *

Жизнь посылает нам удивительные хитросплетения и устраивает самые замысловатые комбинации.

Если история, рассказанная выше, и кажется невероятной, то повторяю: не мог же чиновник пробирной палатки, владелец двухэтажного дома, выдумать ее?!



ИЗ АЛЬМАНАХА САТИРЫ И ЮМОРА ЖУРНАЛА “САТИРИКОН” “СТРУЖКИ” (1909)



весёлые устрицы



СУД СОЛОМОНА

> Власть раскрыла целый ряд злоупотреблений киевск. сыскной полиции. Особенно неслыханными являются поборы и попустительство крупным ворам, грабителям и проч.
>
> *Из газет.*

Киевский гражданин Топоренко, поворачивая на большую Васильковскую, столкнулся с компанией очень симпатичных и веселых молодых людей. Схватившись, затем, за карман, он не дал себе большого труда — убедиться, что кошелек, с шестьюдесятью рублями исчез.

Гражданин Топоренко, обнаруживши пропажу, немедленно исполнил то, что от всякого гражданина требовалось: догнал четырех молодых людей, поднял крик, и, с помощью городового, все заинтересованные лица оказались в сыскном отделении.

Заведующий отделением принял их несколько иронически...

— Боже, какая блестящая компания! Цилиндр и Клещ... и Кучерявый... и Санька!! А вы зачем, господин?

Топоренко выступил вперед и сказал:

— Вот эти... кошелек у меня украли!

— Не украли, а похитили! Но, неужели, они это сделали? Неужели, Цилиндр, которого я всегда ставил в пример другим, или Кучерявый, который так любит свою бедную больную мать — могли это сделать. Неужели жизнь так портит людей? Но, может быть, вы нашли кошелек, ребята?

— Так точно, ваше благородие, нашли.
— На тротуаре, ваше благородие!
— Идем это мы, а он у тумбочки лежит... ма-ахонький.
— Ну вот видите! чего же вы хотите?
— Помилуйте, там шестьдесят рублей! Пусть возвратят.
— Гм... А вы знаете, что, по закону, за находку полагается треть?!
Топоренко переступил с ноги на ногу, помялся и сказал:
— Ладно! Пусть уж берут 20 рублей.
— 20 рублей. Вы говорите 20 рублей? Гм... Но вы знаете, что закон гласит: «каждый нашедший что-либо на тротуаре у тумбы, или в другом каком месте, имеет право на одну треть». Так?
Топоренко покорно кивнул головой.
— Так.
— Понимаете — каждый! Значит, по закону, каждый из них должен получить 20 рублей... Так как их четыре человека, то если считать по 20 рублей, выходит — 80. А у вас всего 60... Где же остальные?
Топоренко недоумевающее развел руками.
— Да их всего-то и было 60.
— Гм... досадно! Значит один из четырех остается неудовлетворенным, по закону... У вас с собой еще есть деньги?
— В бумажнике... Рублей 40.
— Прекрасно. Так додайте четвертому 20 рублей и будем считать дело законченным.
— Г. письмоводитель, как же это!
— Ничего не поделаешь — закон!
— Да ведь как же это: я потерял, я еще и плати?!
— Да.
— Не понимаю!
— Вы потеряли на 20 рублей меньше, чем нужно.
Топоренко помялся и сказал:
— Тогда извините, г. заведующий, я пошутил... Никаких денег я не терял!
— Вот как!.. А вы имеете свидетелей, которые бы видели, что вы не теряли денег?
— Нет.
— Значит, вы их потеряли! Если же вы хотите противиться закону...
Топоренко противиться закону не хотел.

Когда он расплатился, заведующий отделением обратился к компании со словами:

— Теперь одна маленькая формальность. По закону, всякая находка оплачивается пеней в пользу города... С вас следует... Портовых — 2 р. 47 коп., на шоссейные дороги 1 р. 20 к. и овражковый сбор — 19 коп., всего 45 рублей 50 коп. Прекрасно. Ступайте!! Расписки я с вас не беру...

Когда Топоренко вышел на улицу, его догнали молодые люди. Кучерявый, держа в руках Топоренковы золотые часы, вежливо сказал:

— Стуканы изволили обронить, ваша милость. Нашли мы на лестнице.

Топоренко пощупал срезанную цепочку и сказал со вздохом:

— Получите за находку 20 целковых. Только знаете... Обделаем это все экономически. Не стоит идти туда, в сыскное, чтобы по закону.

Имея ввиду взаимную выгоду, все сразу согласились.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РАССКАЗ

Два небольших худощавых черта решили украсть в ночь под Рождество — Меньшикова.

В предприятии этом было более озорства, чем действительной необходимости, но эти два черта, к сожалению, были народ горячий и непрактичный, делавший все по первому побуждению.

Украли они в то время, когда он в стареньком халатике ходил по комнатам и, мурлыча псалмы, ругал кухарку за то, что она утаила, возвратившись с рынка, пять копеек.

— Грабишь ты меня, подлая старушонка, — визжал хозяин, размахивая руками.

— Тебя ограбишь! Гляди ты... Такой мозглявый, а злости в ем целый пуд с фунтами...

— Молчи, корявая! Подавись моим пятаком! Я, по христианскому смирению своему, прощаю тебя, чтоб ты, ради Рождества Христова, лопнула!

Черти перемигнулись и, схватив Меньшикова под руки взяли с места в карьер.

— Инородческое засилье, — подумал Меньшиков.

Сначала он впал в уныние, но когда по дороге узнал, что его везут бесплатно — повеселел.

Когда мрачные своды ада поглотили несущуюся тройку, черти поставили Меньшикова на пол и, тяжело дыша, присели.

Будучи предоставлен самому себе, Меньшиков съежился и потихоньку пошел вперед...

По дороге он нашел валявшуюся щепочку и ржавую гайку... Поднял эти предметы и положил за пазуху.

Встретив молодого черта, беззаботно размахивавшего в углу коротким хвостом, Меньшиков строго обратился к нему с вопросом:

— Где главный черт?

— Налево по коридору.

— То-то, вот... Налево по коридору! Все вы — лентяи, лежебоки! Чем делом таким заниматься, без толку хвосты треплете.

Отыскав не без труда главного черта, Меньшиков вежливо поклонился ему и сказал:

— Я право, не понимаю вас! Распустили публику до того, что смотреть противно!.. Инвентарь в беспорядке, по дороге ценные предметы валяются брошенными, как попало... Молодежь не уважает старших, время проводит в разных соблазнительных забавах. Пока не поздно — советую вам обратить ваше внимание!

Главный черт сконфузился.

— Говорил я им! Так разве это черти? Люди какие-то, извините за выражение!

Меньшиков скорбно покачал головой.

— Нехорошо, молодой человек, нехорошо! Есть у меня проектец один — искоренения ваших беспорядков... но раньше я должен сказать два слова о тех инородцах, которые несли меня. Они, представьте, с идеями, а о вас говорили такое... Позвольте, впрочем, вашу ушную раковину...

Меньшиков долго шептал, что-то главному черту, который хмурился все более и более...

Жизнерадостного черта, размахивавшего перед Меньшиковым хвостом, высекли. Хранитель гаек был отстранен

от должности за нерадение по службе, истопнику был объявлен за щепочку выговор, а экспансивные черти, принесшие Меньшикова, до сих пор томились в предварительном заключении.

Впрочем, против них был восстановлен не один главный черт. Все население, узнав, что именно эти черти принесли Меньшикова, страшно возмущалось ими и грозились при выходе заключенных из тюрьмы, расправиться своими средствами.

Прежняя веселая адова жизнь исчезла.

Все ходили, как накрахмаленные, и когда кто-либо видел вдали сгорбленную фигуру и слышал шаркающие шаги Меньшикова — давал другим знак. Все замолкали или начинали благонамеренную беседу о высокой температуре и вздорожании грешников...

— Здравствуйте, детки, — ласково говорил, подходя Меньшиков. — Работаете? Молодцы, я за вас замолвлю словечко кому следует. Постой... А это что у тебя за бумажка во рту спрятана? А ну-ка, дай ее мне посмотреть... Нет, ты не упирайся дьяволенок! Дай-ка ее, дай!.. А-а... хорошо-с. Так вы вот какими делами занимаетесь... Отметим-с! Отметим-с!

Он во все входил, всех распекал, ссорил разными сплетнями самых дружных чертей и, в конце концов, достиг того, что его ненавидели и боялись как огня.

Однажды черти подучили двух инициаторов кражи Меньшикова поговорить с ним начистоту и серьезно.

Они подошли к Меньшикову и робко сказали:

— Скучаете, Михаил Осипович?

— Нет, отчего же, детки. Дела всегда много.

— Ну уж, не скромничайте... Жарко здесь, беспорядочно... Небось, на землю опять не прочь вернуться? Мы бы и отнесли вас обратно, а?

Меньшиков смолчал, а потом пошел и донес, что черти ропщут на жару и беспорядок, а его, якобы, уговаривали бросить начатую работу и вернуться на землю.

Звезда Меньшикова стала разгораться ярким пламенем... Ему уже платили за строку доноса по полтиннику.

Но однажды, обнаглев, он дошел до того, что стал учить чертей богомольности.

Этого и начальство не могло вынести.

Поморщилось и велело выбросить Меньшикова обратно, даже без сохранения пенсии и мундира.

Черти опять принесли Меньшикова на землю и поставили, как и в момент похищения, перед кухаркой.

— А говядину покупаешь третий сорт, да показываешь первый! Знаем мы вас, кухарок!

— Врешь, подлый мужичонка! Чтоб тебя черти взяли!

— Держи карман шире...— угрюмо сказали печальные похудевшие черти и потихоньку вышли из комнаты.

ОТЧЕТ ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ

— Эй, вы, рвань коричневая! Чего толпа толпится?

— А чего ж ей... Послухать каждому лестно.

— Да тут что — драка?

— Протри глаза! Видишь — эшафотик? Оттелева разговор будет.

— Об чем?

— Об этом самом. Депутат перед почтеннейшей публикой отчитываться будет.

— Ответит он за это!

— Чего ответит? Разрешение, можно сказать, вина и елея, дадено.

— Пойдем, Кучерявый. Я эти разрешения знаю. Я, брат, уже в девятьсот пятом, после такого разрешения, две недели в больнице отлеживался.

— Попало?

— Почему попало. А от городской головы разрешение есть?

— Будьте без сумления. Всеми дозволено: Господин губернатор разрешили, палицмейстер, городской голова, архиерей и мещанский староста... Гуляй душа!

— Вот оно, вот... Смотрите!

— Чего ж цепей на ем нет?

— Дура! Нешто он арестант... С ним сам господин пристав за ручку. Вишь ты, хлопают ему как.

— Бра-а-во!! Бис!

— Господа граждане! Будучи почтен избранием в народные представители, я...

— Ой! Кто это окурок за шиворот бросил?!

— Пренебреги!

— Да ежели он с огнем...

— Дьяволы! Тут разговор сурьезный, а он с окурком.

— Ты-то хорош!

— Тссс...

— После роспуска второй Государственной Думы...

— Г. депутат! Я просил бы вас не касаться действий правительства.

— А как же сказать?

— Говорите — «после третьего июня»...

— Хорошо. После третьего июня, когда было это самое, мы съехались, хотя с тяжелым сердцем...

— Виноват, я критики правительства не могу допустить...

— Я и не критикую!

— Нет, вы говорите «с тяжелым сердцем». Это порицание...

— Извините!.. Мы съехались с легким сердцем, веря, что при наступившем успокоении, правительство даст нам возможность работать без помехи. Но...

— Я прошу вас без «но» в этом месте.

— Помилуйте, г. пристав! Вы меня перебили... Я хотел сказать слово «нося». Нося в себе эту уверенность...

— Как же ты, косолапый, говорил, что дозволено?

— Так он, вишь ты, с рельс все соскакивает...

— А от господина врачебного инспектора разрешение есть?

— Загалдели... Тише!

—...При рассмотрении законопроектов, внесенных министром...

— Я вас покорнейше прошу прибавлять в таких случаях: «г. министром».

— Слушаюсь!.. внесенных его высокопревосходительством господином министром, мы нашли некоторые из них не соответствующими...

— Г. депутат! Я серьезно предупреждаю...

— Но, позвольте...

— Именно, я не могу позволить!

— Слушаюсь! Гм!.. Мы нашли их превосходными. Таким образом, общая конъюнктура момента, зафиксированная теми обстоятельствами, кои, не являясь ни одной из желательных равнодействующих, могли до известной степени укрепить те ветхие устои...

— Чтой-то он, ребята!?

— Н-да... Закрутил!

— Помороки ему забили! Известно, с отчаянности чего не скажешь...

— Ему бы от господина брандмейстера бумажкой какой запастись...

— Много ты понимаешь! Причем тут брандмейстер?

— Дикие мы. А только я тебя ушибить всегда могу!

— То есть, это за что же?

— Вообще.

—... Грядковая культура хлебов, милостивые государи, заключается в том, что в разрыхленную почву кладутся зерна, приблизительно на такой глубине, чтобы...

— Виноват... Вы это о чем же?

— Разве нельзя?

— Нет, но вы имеете разрешения на беседу по поводу Думы, а это что же такое?.. какая-то культура... Хлеба...

—... Зерно в разрыхленной почве...

— Послушайте, об этом не надо!

— Хорошо-с. Население Австралии состоит, преимущественно из мужчин и женщин. Волки в диком состоянии очень опасны и коренное население Галиции...

— В силу предоставленного мне права, я, находя изложение г. депутатом предположенной программы не по существу каковое носит характер насмешки над администрацией — закрываю собрание.

— Так.

— Наговорился!

— Отвел душеньку...

— Ловко это насчет бюрократического режима прокатился. Волки, говорит, жрут, не разбирая мужчин и женщин, а мужики на грядках без хлеба сидят на манер Австралии.

— То-то и оно. Жена, дети, а рискует чем!

— Кучерявый, бежим, чичас бить почтейнейшую публику будут.

— Господи ты мой! Дураков не сеют, не жнут...

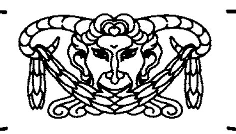
— Пойду это я сейчас и нарежусь — до полного омертвления... Ей-Богу! И завалюсь до завтра... И завтра нарежусь! И послезавтра.

— Эй, дядя!

— Ну?

— Ты не забудь и в среду нарезаться.

— Будьте благонадежны.



НОВАЯ ИСТОРИЯ (ИЗ "ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ", ОБРАБОТАННОЙ "САТИРИКОНОМ") (1910)

весёлые устрицы



ВВЕДЕНИЕ

История средних веков постепенно и незаметно переходила в новую историю. Различие между этими двумя периодами заключается в том, что человечество, покончив со средними веками, сразу как-то поумнело и, устыдившись своей средневековой дикости, поспешило сделать ряд шагов, которым нельзя отказать в сообразительности и здравом смысле.

В средние века поступательное развитие культуры измерялось лишь количеством сожженных на площадях колдунов да опытами над превращением живых людей в кошек, волков и собак (опытами — принесшими ученым того времени полное разочарование). Новая история пошла по другому, более просвещенному пути. Правда, колдунов на кострах все еще продолжали сжигать, но делали это уже безо всякого одушевления и подъема, с единственной целью заполнить хоть каким-нибудь развлечением зияющую пустоту пробуждающегося ума и души.

Таким образом, великие люди, положившие своим гением начало новой истории, имели уже благодарную почву в жаждущих чего-то нового душах простых людей... Изобретатели и открыватели могли уже начать свое дело без жгучего риска быть сожженными на приветливых огнях костров ad majorem Dei Gloriam[1].

Человечество сделалось сразу таким культурным, что ни Гуттенберг, ни Колумб не были зажарены на костре:

[1] К вящей Славе Божией (*лат.*) — девиз ордена иезуитов.

первый скончался просто от голодухи и бедности, второй от тяжести тюремных оков, в которые заключил его удивленный его открытиями король Фердинанд.

В религиозных верованиях тоже пошла коренная ломка: как из мешка посыпались разные реформаторы, протестанты, Эразмы Роттердамские и Мартины Лютеры.

Монахи были в большой моде, а один из них — Бертольд Шварц — ухитрился даже выдумать порох, что не удавалось до него даже самым интеллигентным людям того времени.

Таким образом, при веселом грохоте пушек, скрипенье печатных станков и воплях новооткрытых краснокожих — человечество вступило в период «Новой Истории»!

ЭПОХА ИЗОБРЕТЕНИЙ, ОТКРЫТИЙ И ЗАВОЕВАНИЙ

1. Книгопечатание и бумага

Раньше, до изобретения книгопечатания, люди писали черт знает на чем: на коже животных, листьях, кирпичах — одним словом, на первом, что подвертывалось под руку.

Сношения между людьми были очень затруднительны... Для того чтобы возлюбленный мог изложить как следует предмету своей любви волнующие его чувства — ему приходилось отправлять ей целую подводу кирпичей. Прочесть написанное представляло такую тяжелую неблагодарную работу, что терпение девицы лопалось, и она на десятом кирпиче выходила замуж за другого.

Кожа животных (пергамент) тоже была неудобна, главным образом своей дороговизною. Если один приятель просил у другого письменно на пергаменте взаймы до послезавтра сумму в два-три золотых, то он тратил на эту просьбу всю полученную заимообразно сумму, т.к. стоимость пергамента поглощала заем. Отношения портились, и происходили частые драки и войны, что ожесточало нравы.

Таким образом, можно с полным основанием сказать, что появление на рынке тряпичной бумаги смягчило нравы.

Первыми, кто научил европейцев делать бумагу, были — как это ни удивительно, арабы — народ, прославившийся

до того лишь черным цветом лица и необузданным, лишенным логики поведением.

Кстати, у арабов же европейцы позаимствовались и другой, очень остроумной штукой: арабскими цифрами. До этого позаимствования в ходу были лишь римские цифры, очень неудобные и громоздкие... Способ начертания их был насколько прост, настолько же и неуклюж. Если нужно было написать цифру один, писали: I, два — II, три — III и т. д. — по величине цифры — количество палочек. Оперирование с однозначными цифрами еще не представляло затруднений... Но двузначные и трехзначные — занимали целую страницу единиц, и чтобы сосчитать их, приходилось тратить непроизвольно уйму времени. А цифру миллион и совсем нельзя было написать: она занимала место, равное расстоянию от Парижа до Марселя.

Таким образом, ясно, какое громадное значение для культуры и торговли имели арабские цифры, и можно вообразить, как гордились своей выдумкой арабы, задирая кверху свои черные, сожженные солнцем носы...

Книгопечатание на первых порах стояло на самой жалкой низкой ступени. Если бы Иоганна Гуттенберга, изобретателя книгопечатания, привести теперь в самую ординарную типографию, печатающую свадебные приглашения и меню, и показать ему обыкновенную типографскую машину — он ничего бы в ней не понял и, пожалуй, выразил бы желание «покататься» на маховом колесе.

Во времена Гуттенберга печатали книги так: на деревянной доске вырезывали выпуклые буквы, намазывали черной краской и, положив на бумагу доску, садились на нее в роли подвижного энергичного пресса. От тяжести типографа и зависела чистота и четкость печати.

Вся заслуга Гуттенберга заключалась в том, что он напал на мысль вырезывать каждую букву отдельно и уже из этих подвижных букв складывать слова для печати. Кажется, — мысль пустяковая, а не приди она Гуттенбергу в голову, книгопечатание застряло бы на деревянных досках, и человечество до сих пор сидело бы в каком-нибудь семнадцатом веке, не догадываясь о причине своей отсталости. Ужас!

Будучи сообразительным человеком по части книгопечатания, Гуттенберг в жизни был сущим ребенком, и его не обманывал и не обсчитывал только ленивый... История говорит, что он вошел в компанию с каким-то золотых дел

мастером Фаустом. Тот типографию забрал себе, а Гуттенберга прогнал. Гуттенберг опять нашел какого-то, как гласит история, «очень богатого, отзывчивого человека». Отзывчивый человек тоже присвоил себе типографию, а Гуттенберга прогнал. В это время нашелся еще более отзывчивый человек — архиепископ Майнцский Адольф. Он принял Гуттенберга к себе, но не платил ему ни копейки жалованья, так что Гуттенберг избавился от голодной смерти только поспешным бегством. Так до конца жизни Гуттенберг бродил от одного мошенника к другому, пока не умер в бедности.

2. Магнитная стрелка

Что касается другого важного изобретения в истории человеческой культуры — магнитной стрелки, — то пишущий эти строки так и не добился толку: кем же, в сущности, магнитная стрелка выдумана?

По одним источникам, ее изобрел какой-то Флавио Джойо из Амальфи, по другим — она была известна еще во времена крестовых походов.

Вот и разберись тут.

На всякий случай Джойо соотечественники поставили памятник и так как патент на эту остроумную выдумку (не на памятник, а на магнит) никем не заявлен, то магнитные стрелки теперь может изготовлять всякий кому придет охота.

По мнению пишущего эти строки, все-таки для историков остался один путь, с помощью которого можно легко проверить, изобрел ли магнитную стрелку, действительно, Флавио Джойо?

Стоит только выяснить — умер ли он в нищете? Если это так, — значит, он и изобрел компас.

Примеры Гуттенберга, Колумба и других в достаточной мере подтверждают это правило.

3. Порох

Не менее загадочна история с изобретением пороха. Молва приписывает эту заслугу монаху Бертольду Шварцу, но так как нет данных, свидетельствующих о том, что он умер в нищете, то и причастность Шварца к делу «об изобретении пороха» довольно сомнительна.

Предлагаем читателю на выбор: Бертольда Шварца или еще одного монаха Роджера Бэкона, которому приписывалось изобретение пороха еще в XIII веке.

О последнем в истории сказано:

«...Он умел составлять порох, заподозрен в ереси, подвергся преследованию и умер в тюрьме».

Это показывает, что уже в те времена всеми сознавалась разрушительная сила пороха и против нее принимались радикальные меры.

Изобретение пороха произвело коренной переворот в военном искусстве.

Раньше опытные, закаленные в боях воины поступали так: заковывали себя с ног до головы в железо, вскарабкивались с помощью слуг на лошадь и бросались в битву. Враги наскакивали на такого воина, рубили его саблями, кололи ножами, а он сидел, как ни в чем не бывало, и иронически поглядывал на врагов. Если его стаскивали за ногу с лошади, он и тут же не терялся: лежал себе на земле и иронически поглядывал на врагов. Те долго и тщетно хлопотали вокруг этой гигантской замкнутой устрицы, не зная, как открыть ее, как достать из-под железа хоть кусочек живого человеческого мяса... Провозившись бесплодно несколько часов над рыцарем, враги почесывали затылок и, выругавшись, бросались на других врагов, а к победителю приближались верные слуги и снова втаскивали его на коня.

Так и возили это бронированное чучело с места на место, пока враги не обламывали об него свое холодное оружие и не сдавались в плен.

С изобретением пороха дела храбрых замкнутых рыцарей совсем пришли в упадок. Стоило стащить такого рыцаря с лошади и подложить под него фунта два пороху, как он сейчас же размыкался, разлетался на части и приходил в совершенную негодность.

Таким образом, изобретение пороха повело к упразднению личной храбрости и силы... Военное дело было реорганизовано, появились ружья, пушки, укрепленные города затрещали, а дикари, незнакомые с употреблением огнестрельного оружия, впали в совершенное уныние. Европейцы их били, колотили и презирали на том основании, что они:

— Пороху не выдумали!

4. Открытие Америки

Очевидцы утверждают, что Америка была открыта Христофором Колумбом, прославившимся, кроме того, своей силой и сообразительностью; во время диспута с учеными Колумб, в доказательство шарообразной формы Земли, раздавил на глазах присутствующих — без всяких приспособлений — куриное яйцо. Все ахнули и поверили Колумбу.

Разрешение на открытие Америки Колумб получил условно, т.е. в договоре правительства с Колумбом было сказано буквально так:

«Мы, Фердинанд Аррагонский, с одной стороны, и Христофор Колумб — с другой, заключили настоящий договор о том, что я, Фердинанд, обязуюсь дать ему, Колумбу, денежные средства и корабли, а он, Колумб, обязуется сесть на эти корабли и плыть, куда придется. Кроме того, упомянутый Колумб обязуется наткнуться на первую подвернувшуюся ему землю и открыть ее, за что он получает наместничество и десятую часть доходов с открытых земель».

Относясь чрезвычайно почтительно к памяти талантливого Колумба, мы тем не менее считаем себя обязанными осветить эту личность с совершенно новой стороны, непохожей на ту, которая была создана исторической рутиной.

Вот что мы утверждаем:

1) Выезжая впервые из гавани Палоса (в Испании), Колумб думал только об отыскании морского пути в Индию, не помышляя даже об открытии какой-то там Америки. Так что тут никакой заслуги с его стороны и не было.

2) Во-вторых, никакой Америки даже нельзя было и «открыть», потому что она уже была открыта в X веке скандинавскими мореходами.

3) И, в-третьих, если бы даже скандинавские мореходы не забежали вперед — Колумб все равно никакой Америки не открывал. Пусть проследят читатели все его поведение в деле «открытия Америки...». Он плыл, плыл по океану, пока один матрос не закричал во все горло: «Земля!» Вот кто и должен был по-настоящему считаться открывателем Америки — этот честный, незаметный труженик, этот серый герой... А Колумб оттер его, выдвинулся вперед, адмиральский напялил мундир, вылез на берег, утер лоб носовым фуляровым платком и облегченно вздохнул:

— Ф-фу! Наконец-то я открыл Америку!

Многие будут спорить с нами в этом пункте, многие отвергнут нашего матроса... Хорошо-с. Но у нас есть и другое возражение: ***в первый свой приезд Колумб никакой Америки не открывал.*** Вот что он сделал: наткнулся на остров Сан-Сальвадор (Гванагани), вызвал в туземцах удивление и уехал. Едучи, наткнулся на другой остров — Кубу, высадился, вызвал в туземцах удивление и уехал. Сейчас же наткнулся на третий остров Гаити — по своей, уже укоренившейся привычке высадился, вызвал в туземцах удивление и уехал домой в Испанию. Спрашивается, где же здесь открытие нового материка, если тщеславный моряк повертелся среди трех островов, вызвал в туземцах удавление и уехал?

Наш скептицизм разделялся многими даже в то время. По крайней мере, когда Колумб вернулся в Испанию и сообщил о своем открытии, — некоторые просвещенные люди, знавшие о посещении скандинавами новой страны еще в X веке, — пожимали плечами и, смеясь, язвили Колумба:

— Тоже! Открыл Америку.

С тех пор эта фраза и приобрела определенный смысл иронии и насмешки над людьми, сообщавшими с торжественным видом об общеизвестных фактах.

Что можно поставить Колумбу в заслугу — это его умение производить на туземцев впечатление и вызывать в них искреннее удивление. Правда, нужно признаться, что удивлялись обе стороны: красные индейцы при первой встрече с диким видом рассматривали белых европейцев, а белые европейцы с ошеломленными лицами глядели на красных безбородых людей, у которых вся одежда состояла из собственного скальпа, лихо сдвинутого набекрень.

Налюбовавшись в достаточной мере друг на друга, белые и красные приступили к торгу. Обе расы искренне считали друг друга круглыми дураками.

Белые удивлялись втихомолку:

— И что за идиоты эти дикари! Золотые серьги, кольца и целые слитки они отдают в обмен на грошовое зеркальце или десяток разноцветных стеклянных бус.

А дикари тоже тихонько подталкивали друг друга локтями, хихикали и качали головами с самым безнадежным видом:

— Эти белые смешат нас до упаду своей глупостью: за простой желтый кусочек, величиной не более кулака, они от-

дают целое неразбитое зеркало или целый аршин красного великолепного кумача!

С последующими посещениями Колумбом Америки — меновая торговля росла и развивалась.

Испанцы привезли индейцам кожи, ружья, порох, рабство и склонность к грабежам и пьянству.

Благодарные индейцы отдарили их картофелем, табаком и сифилисом.

Обе стороны поквитались, и никто не мог упрекнуть друг друга в отсутствии щедрости: ни Европа, ни Америка.

После третьего плавания в Америку Колумб стал уже подумывать о тихой спокойной жизни без тревог и приключений... В этом ему пришел на помощь сам испанский король Фердинанд: он заковал Колумба в цепи и посадил в тюрьму. Так как в то время всех выдающихся чем-либо людей, обыкновенно, сжигали, то эта королевская милость Колумбу вызвала у последнего много завистников.

Из них в истории известен Кортес, завоевавший Испании Мексику и снискавший у добродушного короля такое же расположение, как Колумб...

5. Завоевание Мексики и Перу

Завоевание Мексики и Перу считалось в то время очень значительным событием, но совершилось оно очень просто...

Один храбрый офицер по имени Фердинанд Кортес несколько раз приставал к испанскому королю Карлу с просьбой послать его в какую-нибудь экспедицию. Кортес так надоел королю своим беспокойным характером, что тот однажды *послал его к черту*.

Придравшись к этому случаю, храбрый Кортес назвал себя *посланником* короля, взял отряд из 500 человек и явился в Мексику.

Дальнейшее пошло как по маслу: сначала испанцы поубивали многих туземцев, потом туземцы порядочно пощипали испанцев, убив мимоходом в увлечении дракой даже собственного короля Монтесуму.

Убедившись, что Монтесума не оживет, племянник его Гватемосин перескочил через мертвого дядю и уселся на пре-

стол с видом завзятого короля... Испанцы осадили столицу Мексики, взяли ее приступом, туземцев снова поубивали, а Гватемосина изжарили на угольях, чего он не мог простить победителям до самой смерти.

В то же время завоевательная лихорадка распространилась повсюду: завоевывал туземцев и новые страны всякий, кому было не лень.

Обыкновенно, если несколько друзей собирались за выпивкой, кто-нибудь сейчас же предлагал:

— А что, господа, не завоевать ли нам какую-нибудь страну?

— Ну что ж... можно, — соглашались гуляки, и все немедленно гурьбой ехали к робким запуганным индейцам.

Десяток нахальных, развязных завоевателей без труда убеждал многотысячное индейское войско, что для них самое лучшее — покориться.

Почему — в это никто не входил. И, конечно, индейцам ничего не оставалось, как покоряться. И они покорялись.

Таким образом, Писарро завоевал Перу, а его компаньон по выпивке какой-то Альмагро отбился на пути от компании, заблудился и, наткнувшись на страну Чили, покорил ее один-одинешенек. И страшно-то ему было, и странно, и скучно, да ничего не поделаешь — пришлось покорять.

6. Торговля неграми

Открыв Америку, испанцы стали заставлять индейцев работать в рудниках и плантациях. Нежные, не привыкшие к работе индейцы (до сих пор вся их работа сводилась к взаимному сдиранию скальпов, в чем некоторые отличались замечательным проворством и трудоспособностью) — умирали как мухи.

Сердце одного доброго человека, по имени Лас Касас, разрывалось от жалости к несчастным индейцам.

Добрый Лас Касас стал усиленно хлопотать об освобождении индейцев.

— Какой вы чудак! — возразили ему плантаторы. — Кем же мы их заменим?

— Да африканскими неграми. Очень просто!

Совет был принят к сведению. Его исполняли так рьяно, что вся Африка скоро затрещала и почти опустела.

Освобожденные индейцы все равно вымирали, но теперь к ним присоединились и негры: они тоже вымирали.

Добрый, находчивый Лас Касас особенной популярностью среди негров не пользовался, хотя история навсегда сохранила за ним титул «защитника угнетенных».

Теперь он уже умер.

РАЗДОРЫ И ДРАКИ ИЗ-ЗА ИТАЛИИ И ПРОЧ.

Французские короли, начиная с Карла VIII, давно уже точили зубы на Неаполитанское королевство. Дело в том, что с незапамятных времен в этой стране почему-то королевствовали французы. Гораздо проще было, конечно, если бы на итальянском престоле сидел итальянец, но народы того времени были так простодушны, что не входили в подобные тонкости.

— Сидит себе на престоле какой-то человек, ну и пусть сидит. Лишь бы не драл семь шкур с жителей, а довольствовался двумя-тремя...

Таким образом, однажды на престол сел француз Карл Анжуйский и немедленно сделал вид, что иначе и быть не может. Так тянулось много лет, но однажды какой-то его наследник отлучился на минутку, и этого было достаточно, чтобы на престол сейчас же села Арагонская фамилия. Французскому королю Карлу VIII это показалось обидным. Он набрал войско и пошел на Италию; Арагонская фамилия, видя, что дело нешуточное, убежала в Испанию, а неаполитанцы ограничились тем, что лениво осмотрели нового короля и пожали плечами.

— Ну, садись ты. Тот король, правду сказать, был не особенный.

Но французский король оказался еще хуже: он грабил и притеснял неаполитанцев вовсю, как будто бы его готовили к этой профессии с детства.

Пришлось изгонять нового короля, возвращать старого.

Эта канитель тянулась довольно долго. Следующий король Людовик XII тоже косился на неаполитанский престол и даже заключил с Фердинандом Католиком договор с целью сообща стянуть у Арагонской фамилии этот престол.

Но Фердинанд Католик оказался таким пройдохой, которого свет не производил. При разделе завоеванного Неаполитанского королевства он обсчитал Людовика и вступил с ним в драку. Испанцы со стороны подошли, посмотрели на эту драку и потихоньку уселись сами на злосчастный неаполитанский престол.

Неаполитанцы согласились и с этим:

— Испанцы так испанцы.

Во время этих взаимных затрещин и потасовок выдвинулся один французский рыцарь — Баярд. Выдвинулся он своей храбростью и главным образом честностью.

Впрочем, выдвинуться последним качеством в то время было легко, так как мошенничество считалось самым обыкновенным делом и сидело даже в королевской крови (см. Иловайского «Новая История»).

Например, Людовик XII упрекал Фердинанда Католика в том, что тот обманул его два раза!

Самолюбивый Фердинанд обиделся, королевская его кровь закипела, и он воскликнул:

— Лжет он, пьяница! Я обманул его не три, а десять раз!

Конечно, Баярду легко было выдвинуться и прославиться при этих условиях... А в наше время был бы он обыкновенным, ординарным порядочным человеком, как мы с вами...

Людовику XII наследовал Франциск I. Жестоко ошибется тот, кто подумает, что Франциск не завоевывал Италии. История даже говорит так:

— Первым делом его был поход на Италию.

До сих пор непонятно, что, собственно, нужно было французским королям от Италии?

Конечно, Франциск взял Милан, конечно, новоиспеченный император германский Карл V сейчас же выгнал его оттуда с целью самому завладеть итальянским престолом. А Франциск снова вернулся в Милан и выгнал Карла. А Карл опять выгнал Франциска, разбил его наголову и захватил в плен.

Ну, хорошо ли все это? Спрашивается, при чем здесь были все время несчастные посторонние итальянцы. В истории эта неразбериха называется очень громко: «Борьба за Италию»!

Подводя итоги «Борьбы за Италию», мы удивляемся только одному: как присяжные историки разбираются во всех этих однообразных неинтересных именах. У народов того времени фантазии не было никакой: всякого короля они

называли Карлом или Людовиком и разбирали их только по ничего не говорящим римским цифрам позади имени. Изредка давали им прозвища, но и то — самые нехарактерные:

— Фердинанд Католик, Филипп Красивый, Карл Испанский.

Что типичного в том, что Фердинанд был католик? А другие короли разве не были католиками?.. Филипп назывался Красивым. А остальные как же... Были, значит, некрасивыми. Тем более что одного Людовика тоже называли Красивым.

Можно было бы еще разобраться по национальностям, которые указывались около имен, но это было совсем рискованно и очень нескладно... Например, Карл Испанский на самом деле был не испанским, а германским императором. Почему он, в таком случае, Испанский? Почему Анна Австрийская была на самом деле французской королевой?

И много, много еще странного есть во всеобщей истории...

РЕЛИГИОЗНАЯ ПУТАНИЦА В ГЕРМАНИИ

Начало коренной ломки католичества положили так называемые *гуманисты*, прямой противоположностью которых являлись так называемые *обскуранты*.

Для ясности попробуем в двух-трех обыкновенных, понятных словах охарактеризовать тех и других, руководствуясь при этом тем впечатлением, которое осталось у нас после тщательного штудирования эпохи Реформации.

Так называемые гуманисты: порядочные, умные, интеллигентные люди, без косности и предрассудков.

Так называемые обскуранты: невежественные глупцы, темные и злые дураки.

Из этих душевных свойств вытекали и поступки тех и других...

Одни писали умные книги, другие сжигали их; одни говорили здравые человеческие слова, другие, возражая им, несли невозможную чушь, так что, по словам одного летописца того времени:

— Уши вянут, когда слушаешь обскуранта.

Правда, гуманисты тоже иногда впадали в ненужную крайность. Каждый гуманист думал, что умнее его никого и нет, и сейчас же выдумывал новое религиозное усовершенствование, проповедовал новую, свою собственную (остерегаться подделок!) веру...

Повторилась та же история, что с изобретениями и открытиями: появилась мода на изобретения — все бросились изобретать что попало: книгопечатание, порох, магнитную стрелку... Эту моду сменила другая: открывать. Все лихорадочно ринулись открывать — что подвернется под руку, без всякого толку и смысла...

Понаоткрывали разных земель — мода устарела... уже считалось признаком дурного тона, старомодным провинциализмом — открыть какую-нибудь новую землю. Проезжая мимо не открытых еще земель, мореплаватели делали вид, что не замечают их.

Образовалась в душах пустота — и пустота эта стала заполняться разными вероучениями.

Кажется, достаточно было того, что один умный религиозный человек, так наз. Мартин Лютер, исправил католическую религию, довел ее до простоты, очистил от многих ошибок и заблуждений. Нет! Появился еще какой-то Цвингли, который перевернул вверх дном всю Швейцарию, доказал, что Лютер — постепеновец, обвинил его чуть ли не в октябризме и стал устраивать религию по-своему: запретил церковное пение, свечи и даже велел вынести из церквей все изображения святых.

Отсюда и пошла известная швейцарская поговорка: «Хоть святых вон выноси» (1531 г.).

Проповеднику по имени Кальвин не понравился ни Лютер, ни Цвингли. Он потер себе лоб и выдумал новое вероучение, сущность которого заключалась в предопределении. Кальвин уверял, что люди заранее назначены — одни к вечному спасению, другие — к вечной гибели. Конечно, проповедуя это, Кальвин, по своей теории, ничем уже и не рисковал в будущей жизни. Раз ему заранее было назначено то или другое — Кальвин делал в текущей жизни, что ему вздумается.

По имени Кальвина — его последователи стали называться гугенотами, но даже и этот псевдоним не спас их от истребления (см. оперу «Гугеноты»).

Некоторое время гугеноты под именем пуритан еще держались в Англии (Шотландия), но и там они постепенно вывелись. Теперь среди англичан и днем с огнем не найдешь пуританина — все едят кровавые ростбифы, ходят в кинематограф и даже изредка женятся друг на друге.

Так, по свидетельству беспощадной истории, все религии постепенно вырождаются, мельчают и меркнут.

Личность Мартина Лютера. Как и большинство людей его сорта, Мартин Лютер имел «ввалившиеся горящие глаза, вдохновенный вид и говорил убедительно, смело, открыто и горячо».

Так, например, когда профессор Эк вызвал его на религиозный спор, Лютер стойко выдержал Эковы нападки и защищался, как лев. Выслушав мнение Лютера об Иоганне Гуссе, Эк сказал:

— С этих пор, достопочтенный отец, будьте вы мне, как язычник и мытарь.

— Сам-то ты хорош! — ответил ему Лютер (Шлезенг. II ч. Стр. 143),— чем этот исторический диспут и закончился.

Спрашивается: какая же причина побудила Лютера принять лютеранство? История отвечает на это:

— Папские индульгенции!

Индульгенциями назывались свидетельства, вроде тех, которые выдаются теперь «о прививке оспы».

На первый взгляд это были простые продолговатые бумажки, но в них заключалась удивительная сила: стоило только купить такую бумажку, и покупателю отпускались грехи, не только прошедшие, но и будущие.

Перед тем как зарезать и ограбить семью, разбойник шел к монаху и, поторговавшись до седьмого поту, покупал индульгенцию...

Иногда, не имея денег, брал ее в кредит.

— Ничего,— говорил, обыкновенно, добродушный монах.— Отдашь после, когда зарежешь. Вы наши постоянные покупатели, как же-с!..

Если бы пишущий эти строки имел в кармане индульгенцию, которая отпустила бы ему нижеуказанный грех, он сказал бы:

— Все католические монахи того времени были канальи и мошенники, а все разбойники круглые дураки.

Как это ни удивительно, учение Лютера пришлось по вкусу именно влиятельным князьям и курфюрстам. В особенности нравилась им та часть учения, которая доказывала, что монастыри не нужны, что можно спасаться и без монастырей. В припадке религиозного фанатизма курфюрсты позакрывали все монастыри, а имущество монастырское и земли секуляризировали.

— Послушайте,— возражали монахи,— зачем же вы отнимаете у нас наше добро?

— Мы не отнимаем,— оправдывались курфюрсты,— а секуляризируем.

— А, тогда другое дело,— говорили успокоенные монахи и, убегая в горы, предавали курфюрстов и самого Лютера навеки нерушимому проклятию... (Комминг. «Начало реформации». Стр. 301).

Таким образом, совершенно незаметно Лютер сделался официальным революционером при дворах курфюрстов и князей...

В этот период его жизни «ввалившиеся горящие глаза» перестали вваливаться и гореть, щеки округлились, и хотя он по-прежнему говорил «смело, открыто и горячо», но вот уже каковы были его смелые горячие речи (после восстания крестьян, притесняемых дворянами):

— Этих мятежников нужно убивать, как бешеных собак.

Курфюрсты не могли нарадоваться на своего протеже...

Несмотря на все это, популярность лютеранства так возросла, что появились даже подделки.

Происходило то же, что теперь происходит с аэропланами.

Аэроплан придуман и усовершенствован был одним человеком... Но другие хватались за это изобретение, приделывали сбоку какой-нибудь пустяковый винтик или клапан — и выдавали весь аппарат за продукт своего творчества.

Так — появились анабаптисты... Это были те же лютеране, но имели свой собственный клапан: многоженство и вторичное крещение детей.

Мало этого — какой-то священник Меннон. Заинтересовался анабаптизмом, ввел в него какой-то пустяк и основал секту меннонитов.

У Меннона уже никто не хотел заимствовать его изобретения — аппарат принадлежал к категории тех, которые не летают...

ИЕЗУИТСКИЙ ОРДЕН

Иезуитский орден — есть такой орден, который все человечество, помимо всякого желания, уже несколько веков носит на своей шее.

К сожалению, люди до сих пор не научились вешать этот орден как следует.

ФРАНЦИЯ И ГУГЕНОТЫ

В наше время при спорах с противником приходится тратить много времени, ума и красноречия, чтобы убедить его или, по крайней мере, разбить его доводы. В прежние времена народ был проще, прямолинейнее, и когда, например, А вступал с Б в спор, то, если А был сильнее и могущественнее — он сжигал Б на костре, а если более сильным оказывался Б — А немедленно попадал на костер и корчился там, и вопил, и жаловался на свою суровую судьбу, пока вкусный запах жареного мяса, донесшись до Б, не показывал ему, что А убежден совершенно в правоте своего противника.

Например, во время послеобеденной прогулки А ведет с Б дружеский разговор:

А. Удивительно, как это просто: оказывается, что Земля имеет форму шара. Я сегодня только об этом узнал и, признаюсь, поражен гениальностью открытия...

Б. (иронически прищурившись). Да? Ты уверен в том, что Земля имеет форму шара?

А. Ну, конечно! Это ясно даже младенцу.

Б. (иронически). Да? Ясно? Младенцу? А я тебе скажу, милый мой, что Земля совершенно плоская.

А. (еще более иронически). Не-у-же-ли? Где же она, в таком случае, кончается?

Б. (разгорячившись). Где? Да нигде!

А. Друг! Но ведь это же чушь. Ну, тянется она на тысячу верст, ну, еще на десять тысяч, но ведь конец-то где-нибудь должен быть?

Б. Черт его знает. Нету конца, да и все.

А. Слушай же! Земля имеет форму шара — и больше никаких! Если какой-нибудь старый осел возразит: «почему же

мы, в таком случае, не скатываемся?»— то я, во-первых, спрошу этого кретина: «куда?», а во-вторых, сообщу этому чурбану: «потому что существует земное притяжение!»

Б. (горько). Да? Земное притяжение? А что ты скажешь, когда я тебя немножко погрею?

А. Я... тебя не понимаю.

Б. Где же тебе понять старого осла... Эй, люди! Тащи вязанку дров, веревок и огонь.

А. Ты этого не сделаешь!!!

Б. Бери его. Вяжи! Огонь принесли? Так. Внизу лучинок положите, чтобы разгорелось. Ну, вот. Раздувай! (Опускается около костра на корточки и обиженно спрашивает.) Ты и теперь утверждаешь, что Земля круглая?..

А. (корчась). Ну... не совсем круглая, а такая... овальная!..

Б. (с горьким смехом). Овальная? А ну, ребятки, поддай.

А. (лязгая зубами). В сущности, «овальная» я употребил как метафору...

Через пять минут А начинает предполагать, что он ошибся: пожалуй, Земля и в самом деле плоская.

Б. (добродушно). Ну, вот видишь! Я знаю, меня не переспоришь.

В те времена подобные диспуты назывались «попасть на огонек».

В настоящее время эта фраза имеет значение более идиллическое и употребляется преимущественно мелкими чиновниками, которые изредка заходят к приятелю убить мирно вечерок.

Король французский Франциск I считал себя человеком неглупым, понимающим, где раки зимуют, и поэтому жег на костре всякого, кто смотрел на религию другими глазами, чем он. Сын его Генрих II наследовал светлый ум отца, присоединив к нему изумительное трудолюбие (жег еретиков десятками там, где родитель ограничивался единицами). Кончил же Генрих II тем, что вызвал однажды на турнир капитана своей гвардии Монтгомери,— полагая, что король должен быть не только самым умным, но и самым сильным человеком. Но Монтгомери попал ему копьем не в бровь, а в глаз, и глубоко, до самого мозга, разочаровал своего повелителя в его способностях...

После Генриха II пошел народ мелкий, ничтожный, почти ничем не прославившийся... Например, Франциск II был

известен только тем, что состоял мужем знаменитой Марии Стюарт. Таких «мужей знаменитости» и\ в наше время можно встретить сколько угодно в уборной певицы или драматической актрисы. Они обыкновенно смирненько сидят в уголку и ждут, когда жена окончит спектакль — чтобы, закутав ее в шубу, везти домой.

Брат Франциска П Карл IX был знаменит тем, что за него управляла мать, Екатерина Медичи.

Нужно сказать правду: это был такой период королевского владычества во Франции, который очень хорошо характеризовался меткой фразой летописца:

— Француз ума не имеет, и иметь таковой почитает величайшим для себя несчастьем.

В самом деле — даже теперь все удивляются: что нужно было французам? Одни были католиками — ну и пусть. Другие гугенотами — пожалуйста! Сидите смирно и занимайтесь своими делами. Так католик, изволите видеть, не мог заснуть спокойно, пока не зарежет на сон грядущий гугенота. А гугеноты (из тех, которые еще не были зарезаны) спали и видели, как бы подстроить гадость католику. Противно читать даже эту позорную страницу французской истории. Ведь все равно эти религиозные дураки, с ног до головы залитые чужой и своей кровью, столько же имели шансов на царствие небесное, как любой уличный негодяй и разбойник. И ни одного в то время откровенного слова об этом, ни одного умного человека! Пишущий эти строки иногда даже кусает себе губы от досады: отчего его там не было?..

ВАРФОЛОМЕЕВСКАЯ НОЧЬ

Грубые, глупые, коварные католики истребляли глупых простодушных гугенотов, как ретивые горничные клопов в барской постели.

Например, если нужно было католикам поубивать гугенотов, они делали это просто:

— Гугеноты,— говорила Екатерина Медичи (женщина, которую теперь не уважает даже мальчишка из третьего класса гимназии).— Гугеноты! Хотите, я выдам замуж сестру

короля за вашего Генриха Наваррского?.. Не бойтесь! Приезжайте в Париж. Мы вас не тронем. Наоборот, проведем с вами очень веселую Варфоломеевскую ночь (1572).

Гугеноты, конечно, еще не знали, что такое «Варфоломеевская ночь», обрадовались, приехали в Париж, и им там устроили такую ночь, что гугеноты до сих пор не могут вспомнить о ней без отвращения.

Это произошло при короле Карле IX — слабой, безвольной душонке. Летописец того времени характеризует его так:

— Это второй зять Мижуев из «Мертвых душ».

После него царствовал Генрих III, о котором даже говорить не стоит — такой это был никчемный человек!

ГЕНРИХ НАВАРРСКИЙ

А следующим королем был Генрих IV Наваррский. Его считают самым порядочным из людей того времени. Отношение к религии у него было благодушное, с оттенком настоящей веротерпимости... Начал он с того, что был гугенотом. Но после Варфоломеевской ночи, пойманный королем, он имел с ним разговор (см. беседу А и Б о земном шаре), после которого перешел в католичество. Однако стоило только гугенотам начать новую войну с католиками, как Генрих немедленно сделался гугенотом. Но тут вышла маленькая загвоздка: протестанты провозгласили его королем, а католики-парижане не хотели его признавать.

— Чего же вы хотите? — спросил их веселый Генрих.

— Если бы ты был католиком...— нерешительно возразили парижане.

— Только-то? Да Господи! Где тут у вас церковь?

И, принятый в лоно католической церкви, сказал историческую фразу:

— Господа! Вот вам историческая фраза: «Париж стоит хорошей обедни».

Это был весельчак, не дурак выпить, любитель женщин и храбрый рубака. Нам он вообще очень симпатичен. Народ свой он очень любил. Ему принадлежит еще одна историческая фраза:

— Господа! Вот вам еще одна историческая фраза: «Я желал бы, чтобы каждый французский крестьянин мог по праздникам иметь в супе курицу...»

Узнав, что это историческая фраза, окружающие запомнили ее, и до сих пор французы, гордясь добрым королем, показывают в Луврском музее хорошо сохранившееся чучело той самой курицы, которую Генрих IV хотел видеть в супе своих крестьян.

К сожалению, этот прекрасный король был убит по наущению иезуитов (читатель! остерегайся иезуитов). Вообще, короли того времени умирали или от руки убийц (Генрих Ш, Генрих IV), или от угрызений совести (Карл IX, Людовик XIII и др.).

КАРДИНАЛЫ

После Генриха IV на престол вступил кардинал Ришелье и, как свежий человек, быстро привел дела Франции в порядок. Ему наследовал престол кардинал Мазарини, человек не менее свежий (настолько, что Анна Австрийская, женщина уже не первой молодости, тайком вышла за него замуж).

Около этих двух королей кормились еще два Людовика: XIII и XIV, но они не мешались ни во что, и благодарная история пожимает им за это руки.

Мы бы рассказали подробнее о вышесказанном любопытнейшем периоде французской истории, но не хотим отбивать хлеб у нашего коллеги, который употребил на это всю свою жизнь (Александр Дюма. «Три мушкетера», «Двадцать лет спустя» и «Виконт Бражелон»).

Дюма рассказывает об этом периоде гораздо подробнее — болтливый, как всякий француз... То, что можно сказать на двух страницах — он растянул на три с половиной тысячи страниц.

Впрочем — Бог с ним.

Всякому есть хочется.

ТЮДОРЫ, СТЮАРТЫ И К°

Первым королем из фамилии Тюдоров в Англии был Генрих VII, а вторым — Генрих VIII.

Последний отличался семейными наклонностями. Женатый на принцессе Екатерине Арагонской, он через 20 лет супружеской жизни вспомнил, что жена его раньше была замужем за покойным братом, и развелся с ней. Женился на Анне Болейн. После нее — еще на одной девушке Иоанне Сеймур; и еще на одной; он даже не помнил ее имени... и еще на одной; и еще на одной. Таким образом, у него было шесть жен, — не хватало еще седьмой, чтобы борода его посинела.

История Тюдоров и Стюартов напоминает Ветхий Завет наизнанку... Там — Авраам роди Исаака, Исаак роди Иакова, Иаков — и т.д.

А вот подлинная история Тюдоров и Стюартов: Генрих VIII казнил жену свою Анну Болейн.

Мария Стюарт казнила своего мужа Дарнлея.

Королева Елизавета казнила королеву Марию Стюарт.

Кромвель казнил короля Карла I.

Иаков II казнил сына Карла II, герцога Монмута.

И только на Иакове II прекратилась эта странная династия: Иакова II никто не казнил, а просто он, как гласит история: «забросил в Темзу государственную печать, а сам убежал».

В это же время в Англии несколько раз менялись религии: один король был ревностным католиком и насаждал католичество, убивая еретиков; другой король вспоминал, что Англия не хуже других стран, и вводил какую-нибудь новую веру, вроде англиканской, убивая еретиков. Опять приходилось прежних католиков переделывать на пуритан; но садился на престол следующий король... пуритане ему решительно не нравились. То ли дело католики!

И опять начиналась длинная процедура перекрещивания уже несколько раз перекрещенных англичан. Священники наживались на этих старых крестинах, а народ скучал в такой однообразной жизни, разорялся и бедствовал, — пока не пришел Кромвель. Это был хитрый мужичок, который хотя и обладал «голосом хриплым и монотонным, речью растянутою и грубою, а одевался небрежно», но когда он сказал своим хриплым монотонным голосом:

— Довольно! — все поняли, что действительно, довольно. Кромвель ввел парламент, поднял английскую торговлю и мореплавание; за это благодарные англичане поднесли талантливому самородку титул «Оливера», который до сих

пор красуется в истории рядом с его именем. Так отблагодарила Англия своего великого человека.

При Карле II возникла война ториев и вигов. Кто же это, спрашивается, такие?

Понятнее всего для читателя будет, если мы прибегнем к приему, уже однажды нами использованному:

Тори — плохие, глупые, тупые, косные люди.

Виги — симпатичные, прогрессивные, очень хорошие люди.

Благодаря усилиям последних, в Англии был издан закон под названием habeas corpus. У русского читателя потекли бы слюнки, если бы он узнал, что это такое... Но по цензурным условиям мы объяснить этого не можем.

ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ

Во время всех вышеприведенных передряг и смут появился в Англии Шекспир. Это был хотя и знаменитый писатель, но рост имел очень маленький, почему о нем впоследствии и говорили:

— Сапоги выше Шекспира!

Другой знаменитый человек того времени был Бэкон, отец «опытной» философии. Он доказал, как дважды два, что единственный путь к достижению истины — есть наблюдение над правдой, исследование действительности (Иловайский. «Нов. История»). Это учение имело такой успех, что Бэкона сделали государственным канцлером. Но однажды наехала в суды ревизионная комиссия, рассмотрела состояние судопроизводства в Англии и выяснила, что Бэкон брал взятки и вообще совершал всякие злоупотребления. Его посадили в тюрьму.

Таким образом, его же теория (наблюдение и исследование действительности) послужила ему только во вред.

Был еще в Англии в те времена Мильтон, но он был совершенно слепой.

ДАНИЯ, ШВЕЦИЯ И НОРВЕГИЯ

Об этих странах лучше всего ничего не писать... В самом деле: кто их знает? Кто ими интересуется? Решительно никто.

Появились там три великих человека: Ибсен, Бьёрнстьерне-Бьёрнсон и Гамсун, да и то в самое последнее время.

А раньше был только один Ваза.

И все у них было как-то несерьезно, по-детски — будто игра в куклы. Страны были маленькие, ничтожные, а тянулись за большими, подражали взрослым: так же устраивали политические восстания, казнили противников и, конечно, вводили реформацию. Но все было у них на детский рост: вместо войн — стычки, вместо казней — пустяки.

Да и реформация была какая-то такая...

Что же это за история?

ПОЛЬША

И Польша то же самое: никакого толку в ней не было. Кажется, и люди были умные, и воины храбрые — а все-таки ничего у них не клеилось...

Была, по моде того времени, взамен католической, своя собственная вера, но какая-то странная: антитринитарии. Что это такое — и до сих пор никто не знает.

С королями тоже не ладилось.

Стоило только прекратиться роду королей Сигизмундов, как стали приглашать на престол кого попало: французского принца Генриха Анжуйского, давшего потом потихоньку тягу во Францию; какого-то седмиградского воеводу Батория; шведского принца Сигизмунда и многих других.

В газетах того времени нетрудно было встретить объявление такого рода:

РЕЧЬ ПОСПОЛИТАЯ

ищет трезвого, хорошего поведения короля. Без аттестата от последнего места не являться.

Человеку ограниченному может показаться странным:

— Как так не найти короля?

Дело объяснялось очень просто: «король» — было только такое слово — и больше ничего. Никакой власти королю не давалось. Всякий делал, что хотел, и это называлось liberum veto. И частенько по ночам плакали короли в подушку от этого liberum veto...

Удивительнее всего, что и парламент существовал у поляков (сейм), но никогда пишущему эти строки (да про-

стит мне старая Польша!) не приходилось встречать более нелепого учреждения.

Например, собираются триста человек и решают вопрос о том, что нужно поднять благосостояние страны. Кажется — дело хорошее? 299 человек в восторге от проекта, а трехсотый, какой-нибудь скорбный главой шляхтич, неожиданно заявляет: «А я не хочу». — «Да почему?!» — «Вот не хочу, да и не хочу!» — «Но ведь должны же быть какие-нибудь основания?» — «Никаких! Не желаю!» *И, благодаря этому трехсотому, решение проваливалось*!! (Иловайский. Стр. 96.)

Можно ли писать историю такой страны? Конечно, нет. Это только Иловайский способен.

ТРИДЦАТИЛЕТНЯЯ ВОЙНА (1618–1648)

Как это ни скучно, но нам приходится опять возвращаться к борьбе католиков с протестантами.

Человеку нашего времени решительно непонятно: как можно воевать из-за религиозных убеждений?

Ведь в таком случае человечество могло пойти дальше: брюнеты резали бы блондинов, высокие — маленьких, умные — глупых...

А в те времена — религиозные войны были обычным и привычным делом. Целые полки под командой глупых, с тупыми физиономиями полководцев носились из страны в страну, орали, молились, поджигали, разоряли, славили Бога (своего собственного), грабили, горланили гнусавыми голосами псалмы и вешали пойманных иноверцев с таким хладнокровием, как теперь вешают собственное пальто на гвоздик.

История говорит, что после Тридцатилетней войны Германия пришла в такой упадок, возник такой голод, что жители некоторых мест принуждены были питаться человеческим мясом... Жаль, что этим кончили; с этого нужно было начать: переловить до войны всех этих тупоголовых полководцев, курфюрстов, ландграфов — и, сделав над собой усилие, поесть их. И страна бы не разорилась, и ни в чем не повинные люди остались бы несъеденными.

До чего раньше одна часть человечества была проста и доверчива, видно из следующего: в сущности, ни немецкие

католики ничего не имели против протестантов, ни немецкие протестанты против католиков.

Но появились за спиной герцога Фердинанда иезуиты и шепнули сладким голосом:

— Ка-ак? Чехи *протестанты*? Какое безобразие! Чего же вы смотрите? Бейте их!

А кардинал Ришелье с другой стороны обрушился на протестантов:

— Чего вы смотрите, дурачье! Бейте католиков по чем попало! Всыпьте им хорошенько.

Теперь таким образом можно стравить только две пьяные компании в трактире, причем драка может продолжиться максимум — полчаса. А в те времена столь примитивный прием был действителен на тридцать лет, и уменьшил он народонаселение Германии на *пятьдесят процентов.*

И господь жестоко покарал протестантов и католиков за эту тридцатилетнюю глупость: предводитель католиков Валленштейн был убит в своей спальне, предводитель протестантов Густав Адольф убит на поле битвы, а разные Фридрихи, Фердинанды и курфюрсты тоже поумирали от разных причин — и ни одного не осталось до наших дней, чтобы поведать нам об этой бестактной войне.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Изголодавшиеся страны, в конце концов, съехались и заключили мир в Вестфалии — родине знаменитых окороков.

Летописец того времени утверждает, что воюющие стороны набросились прежде всего не друг на друга, а на окорока, и впервые за тридцать лет поели как следует...

А потом, когда стали делиться землями — глупые немецкие католики и протестанты, конечно, остались с носом: самые лакомые куски забрали французы и шведы.

Рассказывают, что, разобрав, в чем дело, один курфюрст почесал затылок и воскликнул:

— Да! Теперь, когда я кончил войну, я вижу, что я старый дурак.

А когда вы ее начинали, — засмеялся француз, вы были молодым дураком.

И все присутствующие иностранцы долго и раскатисто хохотали...

ЛЮДОВИК XIV И XV ВО ФРАНЦИИ

У французских королей того времени был один и тот же обычай, переходивший от отца к сыну: вступая на престол, король брал первого министра и первую любовницу (или любимицу, как мягко выражается Иловайский). Министр всегда оставался первым, а любимицы были и вторые и третьи.

Например:

Короли	*Перв. министры*	*Любимицы*
Людовик XIII	кард. Ришелье	Несколько
Анна Австрийская	кардинал Мазарини	Ментенон и др.
Людовик XIV	Кольбер	де ла Вальер,
Людовик XV	кардинал Флери	Помпадур

Но все-таки это был красивый изящный век, век менуэта, пудреных париков, Версальских праздников и любовных приключений.

Короли умели жить в свое удовольствие...

Всякий из них был настолько умен, что оставлял после себя историческую фразу, и народ поэтому его не забывал.

Людовик XIV, например, сказал:

— L'etat c'est moi! (Государство — это я.)

Народ прозвал его «Король-солнце». И верно. Никогда над Францией не всходило более жаркого солнца. Оно так жарило, что все финансы у Кольбера испарились, и первый министр даже получил, в конце концов, настоящий *солнечный* удар...

Вторая знаменитая фраза Людовика XIV, сказанная по поводу отправления внука в Испанию:

— Нет более Пиренеев!

Гораздо хуже первой. Мы считаем ее пустой бессмысленной фразой. Эдак всякий вдруг вскочит с места да крикнет:

— Нет более Монблана! Нет более западных отрогов Кордильер!

Сказать хорошо... А ты попробуй сделать.

Что касается Людовика XV, то он прославился тоже одной фразой:

— Apres nous le deluge!

Что в переводе на русский язык значит:

— Начхать мне на моих потомков. Лишь бы мне хорошо жилось.

Великая французская революция показала, что у короля были свои основания повторять эту фразу.

ПЕРВЫЕ БАНКИРЫ

Кроме этой фразы и своей «любимицы» Помпадур, король прославился также и тем, что в его царствование один шотландец, Джон Ло, изобрел остроумный способ выпускать ассигнации, продавая их за настоящее золото.

К сожалению, Джон Ло, открыв по поручению регента для этих операций целый банк, смотрел на кредитные билеты глазами десятилетнего гимназиста, который думает, что, если нужны деньги, — их можно печатать на обыкновенной бумаге, сколько влезет...

Вы понимаете, что получилось? Джон Ло в компании с королевским регентом, герцогом Орлеанским, напечатали бумажек на *несколько миллиардов* и очень радовались:

— Вот, дескать, ловко придумали.

Но когда держатели ассигнаций испугались количества появившихся на рынке бумаг и потребовали свое золото обратно — банк лопнул, а Джон Ло заплакал и заявил, что «он вовсе не знал, что так будет».

СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИЕ ШТАТЫ

Американские колонисты были мирными трудолюбивыми людьми.

Англичане, считая американских колонистов своими подданными, понемногу стали стеснять их свободу в смысле торговли и мореплавания.

Колонисты молчали.

Англичане ввели гербовую бумагу и некоторые сборы.

Колонисты промолчали. Была гробовая тишина.

Англичане стали взыскивать пошлины за привозные товары.

Колонисты поежились, переступили с ноги на ногу и неожиданно сказали:

— А, пойдите вы к черту!

Самолюбивые англичане спросили:

— То есть, как?

— Да так. Проваливайте с вашими пошлинами.

Сказав это, схватили изумленных англичан за шиворот, повернули лицом к Англии и вытолкали.

Началась война. Вот это была хорошая, честная, умная, вызванная необходимостью война, и мы ее очень одобряем. Это не протестанты с католиками, а умные люди схватились не на живот, а на смерть из-за своих прав.

Когда колонисты победили и выгнали англичан, те пожали плечами и обиженно сказали:

— И не надо. И без вас проживем (1783).

— Ступайте, ступайте,— поощрили их колонисты,— пока вам еще не попало... Ишь! (Брадлей. «Нов. История». Стр. 201.)

ГЕРМАНСКИЕ ПРАВИТЕЛИ XVIII ВЕКА

Истинным бичом для несчастных учеников являются германские правители XVIII века. Мы не видели ни одного ученика, который не получил бы самым жалким образом единицы за «германских правителей в XVIII веке».

Даже пишущий эти строки, который считает себя человеком способным и сообразительным, историком опытным и знающим,— и он, отойдя от своих манускриптов и покрытых пылью пергаментов, сейчас же начинал путать «германских правителей в XVIII веке».

Пусть кто-нибудь попробует запомнить эту тарабарщину, годную только для сухих тевтонских мозгов: великому курфюрсту бранденбургскому Фридриху-Вильгельму наследовал сын его просто Фридрих. Этому Фридриху наследовал опять Фридрих-Вильгельм. Кажется, на этом можно бы и остановиться. Но нет! Фридриху-Вильгельму наследует опять Фридрих!!

У прилежного ученика усталый вид... Пот катится с него градом... Ффу! Ему чудится скучная проселочная дорога, мелкий осенний дождик и однообразные верстовые столбы, без конца мелькающие в двух надоедливых комбинациях:

— Фридрих-Вильгельм, просто Фридрих. Опять Фридрих-Вильгельм, просто Фридрих...

Когда же ученик узнает, что «Опять Фридриху» наследовал его племянник Фридрих-Вильгельм, он долго и прилежно рыдает над стареньким, закапанным чернилами Иловайским...

— Боже ж мой,— думает он.— На что я убиваю свою юность, свою свежесть?

Историк, пишущий эти строки, может еще раз повторить имена династии Фридрихов. Вот, пожалуйста... Пусть кто-нибудь запомнит...

У великого курфюрста Фридриха-Вильгельма был сын Фридрих. Последнему наследовал Фридрих-Вильгельм, которому в свою очередь наследовал Фридрих; Фридриху же наследовал Фридрих-Вильгельм... Этот список желающие могут продолжать.

Даже история, беспристрастная история, запуталась во Фридрихах; до сих пор неизвестно, при каком именно Фридрихе случилась Семилетняя война. Доподлинно известно только, что он не был Вильгельмом.

СЕМИЛЕТНЯЯ ВОЙНА (1756–1763)

По сравнению с Тридцатилетней войной Семилетняя война была совсем девчонка. Та — годилась бы ей в матери.

Воевали так: с одной стороны Фридрих (какой — неизвестно), с другой — Франция, Россия, Австрия и Швеция.

Швеция, собственно, была союзникам ни к чему, но она тоже вслед за большими ввязалась в драку, семеня слабыми ножонками где-то позади взрослых...

Большие усатые союзники, ухмыляясь в усы, спрашивали ее:

— Тебе еще чего нужно?

— А я, дяденьки,— шмыгая носом, пролепетала Швеция,— тоже хочу повоевать (Броун. «Семилетняя война». Стр. 21).

Воевали плохо. Побеждал Фридрих — способом очень легким: он ссорил союзников и разбивал их. Нападают, например, на него русские и австрийцы. Он немедленно садится за стол и пишет австрийскому полководцу письмо:

«Дорогой коллега! Охота вам связываться с этими русскими свиньями... Вы и один прекрасно меня победите. Ей-Богу!

И как вы можете допускать, чтобы в вашей армии командовал еще кто-то. Вы человек умный, красивый, симпатичный, а ваш товарищ просто необразованный дурак. Прогоните его скорее, а сами начните командовать».

Не было ни одного полководца, который не попался бы на эту удочку: получив письмо, прогонял союзного генерала, нападал на Фрндрнха и потом, разбитый, стремительно убегал от него с остатками армии и обидой в душе.

Семилетняя война была закончена вовремя: как раз прошло семь лет со времени ее начала.

Чисто немецкая аккуратность в исполнении принятых на себя обязательств.

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕМИЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ

Когда же войну закончили, то увидели, что и воевать не следовало: союзники хотели оттягать у Фридриха Силезию, но когда заключили мир (в Губертсбурге), «Силезия осталась у Фридриха (как говорит Иловайский), и каждая держава осталась при своем».

И жалко их всех и смешно.

ВЕЛИКАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Король Людовик XVI

Выше мы указывали на стройную систему, которой держались французские короли: у каждого из них был первый министр и фаворитка.

Людовик XVI первый нарушил эту традицию. Фаворитки у него не было, а с первыми министрами он поступал так: попался ему один очень симпатичный человек, Тюрго. Только что этот Тюрго взялся за полезные, насущные реформы, как Людовик XVI под давлением аристократов спохватился и прогнал Тюрго. После Тюрго он, под давлением общественного мнения, пригласил управляющим финансами банкира Неккера, тоже взявшегося за реформы, но в скором времени спохватился и под давлением аристократии прогнал его. Впрочем, через некоторое время он, под давлением народа, снова пригласил Неккера.

Из вышеизложенного видно, что это был король, на которого не давил только ленивый.

Под давлением же народа было созвано королем *национальное собрание*. Но тут вмешалось давление аристократии и придворных. Король послал национальному собранию приказ разойтись. Оратор собрания Мирабо вскочил и заявил:

— Мы здесь по воле народа, и только сила штыков разгонит нас.

В эту минуту случилось так, что никто не давил на короля. Он кивнул головой и добродушно сказал:

— Ну, ладно. Сидите уж.

Впрочем, через несколько дней, под давлением придворной партии, король решил стянуть к Парижу войска из иностранных наемников.

Тогда-то Франция и возмутилась против своего короля.

Говорят, что муж последний узнает об измене жены.

То же происходит и с королями, причем роль жены играет страна.

До чего Людовик XVI был слеп, показывает следующий исторический факт.

Когда ему доложили, что национальное собрание отказалось разойтись, он всплеснул руками и сказал:

— Да ведь это каприз!

— Нет, государь,— возразили ему,— это скандал.

Через несколько дней ему донесли, что парижские граждане организовывают милицию.

Опять всплеснул руками король:

— Да ведь это скандал!

— Нет, государь,— возразили ему,— это уже бунт.

А через два дня, когда парижане взяли и разрушили Бастилию, король, узнав об этом, снова патетически всплеснул руками и воскликнул:

— Да ведь это бунт!

— Нет, государь... Это уже — революция!

Тогда король успокоился и даже переехал из Версаля в Париж.

У Людовика XVI оставался еще прекрасный выход, которым он мог спасти свое положение: стоило ему только выбросить за двери всех придворных, которые оказывали на него давление,— всех тунеядцев, ленивых и глупых негодяев.

Вместо этого он:

1) Под давлением приближенных задумал бежать за границу. Был пойман и привезен в Париж.

2) Под давлением придворных вступил в переговоры с иностранными государствами, прося у них помощи против Франции.

За это Франция приговорила короля к смерти.

Он умер 21 января 1793 года под ножом гильотины и перед смертью впервые держал себя твердо и спокойно... Вероятно, потому, что почти никто уже не оказывал на несчастного короля давления...

Умер король, искупив кровью все безумства своих пышных предшественников, искупив разорение и упадок страны, искупив страшную гнусно-пророческую фразу своего деда:

— После меня хоть потоп!

ТЕРРОР

Национальное собрание передало власть *Законодательному собранию*, а Законодательное собрание — *Национальному Конвенту*.

Если можно так выразиться — Франция левела с каждым днем.

Сначала у власти стояли жирондисты, казнившие врагов свободы, но когда они оказались недостаточно левыми — их сменили монтаньяры.

Монтаньяры с Робеспьером, Дантоном и Маратом во главе, конечно, немедленно казнили жирондистов как врагов свободы.

Когда все жирондисты были казнены, Робеспьер остановил свой рассеянный взор на Дантоне и подумал:

— А не казнить ли Дантона как врага свободы?

Когда он предложил это товарищам монтаньярам, те очень обрадовались и казнили товарища Дантона.

Впрочем, вскоре после этого монтаньяры задали сами себе вопрос:

— А не отрубить ли голову товарищу Робеспьеру?

Сделали это. У Робеспьера был товарищ монтаньяр Сен-Жюст. Отрубили голову и Сент-Жюсту.

Таким образом, из всей компании один только Марат умер

своей смертью. Он был убит в ванне Шарлоттой Корде,— «одной мечтательной девушкой», как мягко выражается Иловайский.

НАПОЛЕОН БОНАПАРТ

В то время как жирондисты и монтаньяры потихоньку рубили друг другу головы, Наполеон Бонапарт потихоньку выдвигался вперед.

— Кто же такой был Наполеон Бонапарт? — спросит любопытный читатель.

Это был обыкновенный артиллерийский офицер, выдвинувшийся при осаде Тулона.

Здесь мы категорически должны опровергнуть утверждение некоторых историков, которые производят имя великого Бонапарта от его военных подвигов на поле брани (На поле он). Во-первых, если бы это было так, то простая грамотность требовала бы иной орфографии (Наполеон), а во-вторых, Наполеон был французом, более того, корсиканцем — корсиканцы же, как известно, по-русски не говорят, почему назвали бы Наполеона по-французски (Il est sur le champ); кроме того, имена обыкновенно даются еще при рождении, когда самый проницательный человек не может определить размера будущих ратных подвигов ребенка...

Вообще солидный читатель, мы уверены, не придаст серьезного значения этой неосновательной гипотезе...

Секрет успеха Наполеона, если вдуматься в него, оказывается очень прост: армия была предана ему душой и телом, а добиться такой привязанности у простых честных солдат было очень легко.

Мы сообщим рецепт успеха Наполеона на тот случай, если кто-нибудь из главнокомандующих и вообще генералов пожелает им воспользоваться.

РЕЦЕПТ УСПЕХА

Предположим, кто-нибудь из читателей попал со своим войском в Египет. Предстоит упорная битва... Вы, не отдавая никаких сухих приказов и кисло-сладких распоряжений (вроде: «братцы, постоим же за матушку-родину... братцы,

лупи неприятеля в хвост и гриву — получите потом по чарке коньяку!») — просто выбираете пару-другую пирамид повыше и указываете на них пальцем:

— Солдаты! — кричите вы. — Сорок веков смотрят на вас с высоты этих пирамид!

Простодушные солдаты поражены.

— Так много! — шепчут они. — Бросимся же, братцы, в бой!!

Если разобраться в сказанной вами фразе — в ней не найдется ничего существенного. Но закаленный в боях воин нетребователен. Ему многого не надо. «Сорок веков» его восхищают.

Если вблизи нет пирамид, можно придраться к чему-нибудь другому и опять привести солдат в крайнее возбуждение.

Например: кругом пусто, а сверху светит обыкновенное солнце.

— Солдаты! — торжественно говорите вы. — Это — то самое солнце (как будто бы есть еще другое), которое светило во время побед Людовика XII.

Не нужно смущаться тем, что злосчастный Людовик XII не имел ни одной победы — всюду его гнали без всякого милосердия...

Неприхотливым воинам это неважно. Лишь бы фраза была звонкая, эффектная, как ракета.

Конечно, полководец должен сообразоваться с темпераментом и национальностью своих солдат.

Немца на пирамиду не поймаешь... Ему нужно что-нибудь солидное, основательное или сентиментальное.

Немцу можно сказать так:

— Ребята! Нас сорок тысяч, а врагов — пятьдесят. Но они все малорослые, худые, в то время как вы — толстые, большие. Каждый враг весит в среднем около трех пудов, а вся ихняя армия — 150 000 пудов. В вас же, в каждом — около пяти пудов, т.е. вся наша армия на 50 000 пудов тяжелее ихней. Это составит 25%. Неужели же мы их не поколотим?

Кроме того, немец любит слезу:

— Солдатики! — говорите вы, сдерживая рыдания. — Что же это такое? Неужели ж мы не победим их? Если мы их не победим, — подумайте, как будут огорчены ваши добрые мамаши, вяжущие на завалинке шерстяной чулок, и ваши престарелые папаши, пьющие за газетой свой зейдель пива, и ваши дорогие невесты, которые плачут и портят свои голубые глазки.

И все заливаются слезами: полководец, солдаты... даже последний барабанщик плачет, утирая слезу барабанными палками. Потом все бросаются в бой и побеждают.

Легче всего разговаривать с китайскими солдатами. Им нужно привести такой аргумент:

— Эй, слушайте там: все равно, рано или поздно, подохнете, как собаки. Так не лучше ли подохнуть теперь, всыпав предварительно врагу по первое число.

Есть еще один прием, к которому Наполеон часто прибегал и который привязывал солдат к полководцу неразрывными цепями.

Холодное, туманное утро... Солдаты жмутся у костров, сумрачные, в ожидании битвы.

Наполеон выходит из палатки и отзывает от костра одного солдата.

— Э... послушай, братец!.. Как зовут того солдата с усами, которому ты давал прикуривать и который так весело смеется?

— Этот? Жан Дюпон из Бретани. Он вчера письмо получил от больной матери, которая уже выздоравливает — и поэтому сейчас рад, как теленок.

Наполеон направляется к указанному солдату.

— Здорово, Жан Дюпон!

Дюпон расцветает. Император знает его фамилию! Император его помнит!..

— А что, Жан Дюпон, ведь прекрасная страна ваша Бретань?!

Дюпон еле на ногах стоит от счастья. Император Франции знает даже, откуда он!

— Ну, как твоей матери — лучше теперь? Выздоравливает?

Если бедный солдатик не сходит сразу с ума от удивления и восторга — он падает перед чудесным повелителем на колени, целует руки и потом пытается убежать с определенной целью раззвонить товарищам обо всем, что произошло. Но Наполеон удерживает его:

— Скажи, от кого ты сейчас закуривал папиросу? Такой рыжий.

— А! Этот? Мой товарищ парижанин Клод Потофэ. Сирота. Отца его убили во время взятия Бастилии, и у него теперь, кроме невесты, маленькой Жанны, никого нет в Париже.

Часа через два Наполеон натыкается на Клода Потофэ.

— Здорово, старый товарищ, Клод Потофэ! Небось, сам здесь,— хе-хе! — а мысли в Париже, около маленькой Жанны. Эх ты, плутишка!!! Ну, посмотрим, такой ли ты забияка в сражении, как твой отец, который свихнул свою старую шею около Бастилии 14 июля.

Клод Потофэ падает от изумления в обморок, а когда приходит в чувство, говорит своим товарищам, захлебываясь:

— Вот это полководец! Нас у него двести тысяч, а он знает и помнит жизнь каждого солдата, как свою собственную...

НАПОЛЕОН — ИМПЕРАТОР

Если изучить как следует жизнь и деятельность Наполеона I, то придется сознаться, что этот человек подорвал в нас всякое уважение к истории человечества, к солидности и постепенности в прохождении того величавого медлительного пути, который свыше намечен народам мира.

Этот бывший артиллерийский офицерик носился по всей Европе, как собака, которой привязали к хвосту гремящую жестянку-честолюбие, дрался, как лев, хитрил, как лисица, пролез сначала в генералы, потом в первые консулы, потом в императоры и споткнулся только тогда, когда дальше идти было некуда — вся нечеловеческая прыть и прекрасная в своем ослепительном блеске наглость — была исчерпана до конца.

Пишущий эти строки счастлив, что ему представляется возможность закончить Всеобщую Историю человечества жизнью Наполеона I,— таким могучим аккордом, таким грандиозным апофеозом, который с самой беспощадной ясностью подчеркивает тщету всего земного, эфемерность так называемых «исторических и прочих условий».

Маленький человечек в треугольной шляпе и сером походном сюртуке захотел сделаться французским императором.

Он им сделался. Это так легко.

У него не было никаких предков королевской крови, никакой предшествующей династии, никаких традиций. Вероятно, поэтому он стал поступать дальше с прямотой и бесцеремонностью варвара, попавшего в музей, наполненный драгоценными реликвиями старины, прекрасными

обветшалыми тронами и портретами целых поколений королей, к которым он относился с ироническим пожатием плеч разбогатевшего лавочника — себе на уме...

Сделавшись императором, он на минутку приостановился, призадумался, положив палец на губы, и махнул рукой:

— Эх! Сделаюсь уж, кстати, и королем Италии.

Кстати, сделался и королем Италии.

Наместником туда назначил пасынка своего Евгения Богарнэ, который при других условиях торговал бы на Корсике прованским маслом в розницу или занимался корсиканской вендеттой — делом, не требовавшим больших расходов, но и не дававшим никакой прибыли.

Можно вообразить, как смеялся в тиши своего кабинета или походной палатки Наполеон, раздавая направо и налево своим бедным родственникам троны и королевства.

Это делалось с такой легкостью и простотой, с какой сытый буржуа дарит своим бедным друзьям и родственникам старые галстуки и жилеты, отслужившие хозяину свою службу.

Например, докладывают Наполеону:

— Вас там в передней спрашивают.

— Кто спрашивает?

— Говорит — ваш братец Иосиф. Да только подозрительно — правда ли это? Уж больно вид у них... подержанный.

— Ага! Зови его сюда.

Брат входит, мнется, переступая с ноги на ногу, мнет измызганную шапчонку в руках...

Добрый Наполеон лобызается с братом.

— Жозеф! Ты! Очень рад тебя видеть. Что это ты в таком непрезентабельном виде?

— Я к тебе... Нет ли местечка какого?

Наполеон трет лоб.

— Гм... Местечка... Можно было бы назначить тебя вице-королем в Италию, но туда я уже Женю посадил. Местечко занято. Разве, вот что: как тебе улыбается Неаполитанское королевство?

— Ну, что ж... У меня положение такое, что пойду и на это.

— Вот и прекрасно. Завтра же можешь и выехать. Скажи там, что я назначил тебя неаполитанским королем. Спроси, где трон — тебе покажут. Да я лучше записочку напишу. . .

. . . .

— Вас там спрашивают, в передней.
— Кто?
— Говорят, братец Людовик. Вид тоже... тово...
— Бедняга! Зовите его сюда! Здорово, Людовик! Небось, тоже за местечком... Ну-с — пораскинем мозгами. Что у нас занято и что свободно? В Италии королевствует Евгений, в Неаполе Жозеф... Гм... А, вот! Голландия!! Хочешь быть голландским королем?
— Голландским? Другого ничего нет?
— Пока не предвидится.
— Ну, хочу.
— Ну, ладно.

Впрочем, не только к своим родственникам относился тепло добрый Наполеон.

За короткое время он сделал совершенно посторонним людям такие одолжения:

Герцогу	Баварскому	дал титул	короля.
—"—	Вюртенбергскому	—"—	—"—
Курфюрсту	Саксонскому	—"—	—"—
—"—	Баденскому	—"—	великого герцога.

Однажды Наполеону взгрустнулось.
— Что бы такое сделать?

После недолгого размышления он образовал из западногерманских владений «Рейнский союз», а *себя назвал «протектором» этого союза.*

Сам себя назвал. Никто не называл. Но когда он назвал себя протектором — все без споров стали называть его протектором.

Случилось однажды так: был у Наполеона еще третий брат Иероним — а королевств свободных больше не было... Что же делает умный Наполеон? Были у Пруссии какие-то земли «к западу от Эльбы». Наполеон отнимает их у пруссаков, составляет из них Вестфальское королевство и — отдает брату.

— На, милый. Ты хоть и младший, но будь не хуже других. Тоже не лыком шит!

Когда у Наполеона не осталось больше свободных родственников — он принялся за своих генералов. Брата своего

Иосифа перевел из Неаполя в Испанию («довольно тебе, плутишка, быть неаполитанским королем — будь испанским»), а генерала Мюрата посадил на очистившийся неаполитанский престол.

Тех же генералов, которые не пользовались его расположением, Наполеон без всякого сожаления сажал на второстепенные троны. Так, его маршал Бернадот был посажен на шведский престол.

Историки рассказывают, что по этому поводу между Бернадотом и Наполеоном произошла тяжелая сцена.

— Сами садитесь на этот престол,— орал несдержанный Бернадот.— На что он мне! Не видал я вашего шведского престола!..

— Ничего, голубчик, сядешь! Невелика птица,— посмеивался Наполеон.

— Другие люди как люди,— рыдал огорченный Бернадот,— у того неаполитанский престол, у того испанский. А мне... Конечно... Понимаем-с, понимаем-с... Мы уже не нужны!! Мы уже свое сделали!! Ха-ха!.. Шведский престол...

— О, милый мой,— говорил мечтательно притихший Наполеон,— было время, когда и я бы с радостью ухватился за шведский престол...

— Было время... Конечно! Было время, когда мы без штанов бегали. Но это в прошлом, это золотое детство! А теперь — раз человек вырос, сделался солидным — вы обязаны дать ему престол — и не какой-нибудь, а большой, хороший.

— Ну, ладно, старый ворчун. Садись пока на то, что есть, а потом мы тебе подыщем что-нибудь получше... Что ты скажешь, например, об Австрии? Хе-хе...

Только этой хитростью и можно было сломить упрямого Бернадота.

История говорит, что Бернадот так и кончил свою опальную жизнь в тиши и неизвестности, всеми забытый на своем шведском престоле...

КОНЕЦ НАПОЛЕОНА

Наполеона погубило то, что он вздумал вести победоносную войну с русскими. Удивительнее всего, что так оно и случилось: Наполеон, действительно, вел победоносную войну

с русскими. Всюду русские отступали. Наполеон побеждал, русские уходили из Москвы, Наполеон. вступал в Москву, русские терпели поражения, Наполеон терпел победы.

Кончилось тем, что Наполеон потерпел последнюю победу при Березине и ускакал в Париж.

Солнце склонилось к западу...

Собака с прикрепленной к хвосту жестянкой-честолюбием — была затравлена, загнана и — погибла.

Наполеон был щедрее победивших его союзников. Он дарил последнему из своих маршалов целые королевства, а союзники подарили ему, императору, маленький островок Святой Елены и одного подданного — конвойного сторожа, ухаживавшего за императором.

Гордый император терпеливо улыбался, а потом согнал улыбку с лица и умер, сложив в последний раз по-наполеоновски руки, — те самые руки, которые долгое время жонглировали «исторически сложившимися государствами» без всякой церемонии и деликатности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Более философского, поучительного и мудрого заключения Всеобщей Истории, чем жизнь и деятельность Наполеона I — придумать нельзя.

У Наполеона не было своего личного герба (за хлопотами он забыл обзавестись им), но если бы был у Наполеона личный герб — ему приличествовала бы такая надпись:

«Vanitas vanitatum et omnia vanitas...»[1].

Что значит в переводе:

— Не боги горшки обжигают.

КОНЕЦ

[1] Суета сует и все — суета (*лат.*). Библия. Экклезиаст, 1, 2.



ДЕШЁВАЯ БИБЛИОТЕКА "САТИРИКОНА" ВЫПУСК 1 (1910)

весёлые устрицы



ДЕТИ

I

Я очень люблю детишек и без ложной скромности могу сказать, что и они любят меня.

Найти настоящий путь к детскому сердцу — очень затруднительно. Для этого нужно обладать недюжинным чутьем, тактом и многим другим, чего не понимают легионы разных бонн, гувернанток и нянек.

Однажды я нашел настоящий путь к детскому сердцу, да так основательно, что потом и сам был не рад...

* * *

Я гостил в имении своего друга, обладателя жены, свояченицы и троих детей, трех благонравных мальчиков от 8 до 11 лет.

В один превосходный летний день друг мой сказал мне за утренним чаем:

— Миленький! Сегодня я с женой и свояченицей уеду дня на три. Ничего, если мы оставим тебя одного?

Я добродушно ответил:

— Если ты опасаешься, что я в этот промежуток подожгу твою усадьбу, залью кровью окрестности и, освещаемый заревом пожаров, буду голый плясать на неприветливом пепелище, то опасения твои преувеличены более чем наполовину.

— Дело не в том... А у меня есть еще одна просьба: присмотри за детишками! Мы, видишь ли, забираем с собой и немку.

— Что ты! Да я не умею присматривать за детишками. Не имею никакого понятия, как это за ними присматривают?

— Ну, следи, чтобы они все сделали вовремя, чтобы не очень шалили и чтобы им в то же время не было скучно... Ты такой милый!..

— Милый-то я милый... А если твои отпрыски откажутся признать меня как начальство?

— Я скажу им... О, я уверен, вы быстро сойдетесь. Ты такой общительный.

Были призваны дети. Три благонравных мальчика в матросских курточках и желтых сапожках. Выстроившись в ряд, они посмотрели на меня чрезвычайно неприветливо.

— Вот, дети, — сказал отец, — с вами остается дядя Миша! Михаил Петрович. Слушайтесь его, не шалите и делайте все, что он прикажет. Уроки не запускайте. Они, Миша, ребята хорошие, и, я уверен, вы быстро сойдетесь. Да и три дня — не год же, черт возьми!

Через час все, кроме нас, сели в экипаж и уехали.

II

Я, насвистывая, пошел в сад и уселся на скамейку. Мрачная, угрюмо пыхтящая троица опустила головы и покорно последовала за мной, испуганно поглядывая на самые мои невинные телодвижения.

До этого мне никогда не приходилось возиться с ребятами. Я слышал, что детская душа больше всего любит прямоту и дружескую откровенность. Поэтому я решил действовать начистоту.

— Эй, вы! Маленькие чертенята! Сейчас вы в моей власти, и я могу сделать с вами все, что мне заблагорассудится. Могу хорошенько отколотить вас, поразбивать вам носы или даже утопить в речке. Ничего мне за это не будет, потому что общество борьбы с детской смертностью далеко и в нем происходят крупные неурядицы. Так что вы должны меня слушаться и вести себя подобно молодым благовоспитанным девочкам. Ну-ка, кто из вас умеет стоять на голове?

Несоответствие между началом и концом речи поразило ребят. Сначала мои внушительные угрозы навели на них панический ужас, но неожиданный конец перевернул, скомкал и смел с их бледных лиц определенное выражение.

— Мы... не умеем... стоять... на головах.

— Напрасно. Лица, которым приходилось стоять в таком положении, отзываются о том с похвалой. Вот так, смотрите!

Я сбросил пиджак, разбежался и стал на голову.

Дети сделали движение, полное удовольствия и одобрения, но тотчас же сумрачно отодвинулись. Очевидно, первая половина моей речи стояла перед их глазами тяжелым кошмаром.

Я призадумался. Нужно было окончательно пробить лед в наших отношениях.

Дети любят все приятное. Значит, нужно сделать им что-нибудь исключительно приятное.

— Дети! — сказал я внушительно.— Я вам запрещаю — слышите ли, категорически и без отнекиваний запрещаю вам в эти три дня учить уроки!

Крик недоверия, изумления и радости вырвался из трех грудей. О! Я хорошо знал привязчивое детское сердце. В глазах этих милых мальчиков засветилось самое недвусмысленное чувство привязанности ко мне, и они придвинулись ближе.

Поразительно, как дети обнаруживают полное отсутствие любознательности по отношении к грамматике, арифметике и чистописанию. Из тысячи ребят нельзя найти и трех, которые были бы исключением...

За свою жизнь я знал только одну маленькую девочку, обнаруживавшую интерес к наукам. По крайней мере, когда бы я ни проходил мимо ее окна, я видел ее склоненной над громадной не по росту книжкой. Выражение ее розового лица было совершенно невозмутимо, а глаза от чтения или от чего другого утратили всякий смысл и выражение. Нельзя сказать, чтобы чтение прояснило ее мозг, потому что в разговоре она употребляла только два слова: «папа», «мама», и то при очень сильном нажатии груди. Это да еще умение в лежачем положении закрывать глаза составляло всю ее ценность, обозначенную тут же, в большом белом ярлыке, прикрепленном к груди: «7 руб. 50 коп.».

Повторяю — это была единственная встреченная мною прилежная девочка, да и то это свойство было навязано ей прихотью торговца игрушками.

Итак, всякие занятия и уроки были мной категорически воспрещены порученным мне мальчуганам. И тут же я убедился, что пословица «запрещенный плод сладок» не всегда оправдывается: ни один из моих трех питомцев за эти дни не притронулся к книжке!

III

— Будем жить в свое удовольствие,— предложил я детям.— Что вы любите больше всего?

— Курить! — сказал Ваня.

— Купаться вечером в речке! — сказал Гришка.

— Стрелять из ружья! — сказал Леля.

— Почему же вы, отвратительные дьяволята,— фамильярно спросил я,— любите все это?

— Потому что нам запрещают,— ответил Ваня, вынимая из кармана папироску.— Хотите курить?

— Сколько тебе лет?

— Десять.

— А где ты взял папиросы?

— Утащил у папы.

— Таскать, имейте, братцы, в виду, стыдно и грешно, тем более такие скверные папиросы. Ваш папа курит страшную дрянь. Ну да если ты уже утащил — будем курить их. А выйдут — я угощу вас своими.

Мы развалились на траве, задымили папиросами и стали непринужденно болтать. Беседовали о ведьмах, причем я рассказал несколько не лишенных занимательности фактов из их жизни. Бонны обыкновенно рассказывают детям о том, сколько жителей в Северной Америке, что такое звук и почему черные материи поглощают свет. Я избегал таких томительных разговоров.

Поговорили о домовых, живших на конюшне.

Потом беседа прекратилась. Молчали...

— Скажи ему! — шепнул толстый, ленивый Лелька подвижному, порывистому Гришке.— Скажи ты ему!

— Пусть лучше Ваня скажет,— шепнул так, чтобы я не слышал, Гришка.— Ванька скажи ему.

— Стыдно,— прошептал Ваня.

Речь, очевидно, шла обо мне.

— О чем вы, детки, хотите мне сказать? — осведомился я.

— Об вашей любовнице,— хриплым от папиросы голосом отвечал Гришка.— Об тете Лизе.

— Что вы врете, скверные мальчишки? — смутился я.— Какая она моя любовница?

— А вы ее вчера вечером целовали в зале, когда мама с папой гуляли в саду.

Меня разобрал смех.

— Да как же вы это видели?

— А мы с Лелькой лежали под диваном. Долго лежали, с самого чая. А Гришка на подоконнике за занавеской сидел. Вы ее взяли за руку, дернули к себе и сказали: «Милая! Ведь я не с дурными намерениями!» А тетка головой крутит, говорит: «Ах, ах!..»

— Дура! — сказал, усмехаясь, маленький Лелька.

Мы промолчали.

— Что же вы хотели мне сказать о ней?

— Мы боимся, что вы с ней поженитесь. Несчастным человеком будете.

— А чем же она плохая? — спросил я, закуривая от Ванькиной папиросы.

— Как вам сказать... Слякоть она!

— Не женитесь! — предостерег Гришка.

— Почему же, молодые друзья?

— Она мышей боится.

— Только всего?

— А мало? — пожал плечами маленький Лелька.— Визжит, как сумасшедшая. А я крысу за хвост могу держать!

— Вчера мы поймали двух крыс. Убили,— улыбнулся Гришка.

Я был очень рад, что мы сошли со скользкой почвы моих отношений к «глупой тетке», и ловко перевел разговор на разбойников.

О разбойниках все толковали со знанием дела, большой симпатией и сочувствием к этим отверженным людям.

Удивились моему терпению и выдержке: такой я уже большой, а еще не разбойник.

— Есть хочу,— сказал неожиданно Лелька.

— Что вы, братцы, хотите: наловить сейчас рыбы и сварить на берегу уху с картофелем или идти в дом и есть кухаркин обед?

Милые дети отвечали согласным хором:

— Ухи.

— А картофель как достать: попросить на кухне или украсть на огороде?

— На огороде. Украсть.

— Почему же украсть лучше, чем попросить?

— Веселее, — сказал Гришка. — Мы и соль у кухарки украдем. И перец! И котелок!!

Я снарядил на скорую руку экспедицию, и мы отправились на воровство, грабеж и погром.

IV

Был уже вечер, когда мы, разложив у реки костер, хлопотали около котелка. Ваня ощипывал стащенного в сарае петуха, а Гришка, голый, только что искупавшийся в теплой речке, плясал перед костром.

Ко мне дети чувствовали нежность и любовь, граничащую с преклонением.

Лелька держал меня за руку и безмолвно, полным обожания взглядом глядел мне в лицо.

Неожиданно Ванька расхохотался.

— Что, если бы папа с мамой сейчас явились? Что бы они сказали?

— Хи-хи! — запищал голый Гришка. — Уроков не учили, из ружья стреляли, курили, вечером купались и лопали уху вместо обеда.

— А все Михаил Петрович, — сказал Лелька, почтительно целуя мне руку.

— Мы вас не выдадим!

— Можно называть вас Мишей? — спросил Гришка, окуная палец в котелок с ухой. — Ой, горячо!..

— Называйте. Бес с вами. Хорошо вам со мной?

— Превосхитительно!

Поужинав, закурили папиросы и разлеглись на одеялах, притащенных из дому Ванькой.

— Давайте ночевать тут, — предложил кто-то.

— Холодно, пожалуй, будет от реки. Сыро,— возразил я.

— Ни черта! Мы костер будем поддерживать. Дежурить будем.

— Не простудимся?

— Нет,— оживился Ванька.— Накажи меня Бог, не простудимся!!!

— Ванька! — предостерег Лелька.— Божишься? А что немка говорила?

— Божиться и клясться нехорошо,— сказал я.— В особенности так прямолинейно. Есть менее обязывающие и более звучные клятвы... Например: «Клянусь своей бородой!», «Тысяча громов...», «Проклятие неба!»

— Тысяча небов! — проревел Гришка.— Пойдем собирать сухие ветки для костра.

Пошли все. Даже неповоротливый Лелька, державшийся за мою ногу и громко сопевший.

Спали у костра. Хотя он к рассвету погас, но никто этого не заметил, тем более что скоро пригрело солнце, защебетали птицы, и мы проснулись для новых трудов и удовольствий.

V

Трое суток промелькнули, как сон. К концу третьего дня мои питомцы потеряли всякий человеческий образ и подобие...

Матросские костюмчики превратились в лохмотья, а Гришка бегал даже без штанов, потеряв их неведомым образом в реке. Я думаю, что это было сделано им нарочно — с прямой целью отвертеться от утомительного снимания и надевания штанов при купании.

Лица всех трех загорели, голоса от ночевок на открытом воздухе огрубели, тем более что все это время они упражнялись лишь в кратких, выразительных фразах.

— Проклятье неба! Какой это мошенник утащил мою папиросу?.. Что за дьявольщина! Мое ружье опять дало осечку. Дай-ка, Миша, спичечки!

К концу третьего дня мною овладело смутное беспокойство: что скажут родители по возвращении?

Дети успокаивали меня, как могли:

— Ну, поколотят вас, важность! Ведь не убьют же!

— Тысяча громов! — хвастливо кричал Ванька. — А если они, Миша, дотронутся до тебя хоть пальцем, то пусть берегутся. Даром им это не пройдет!

— Ну, меня-то не тронут, а вот вас, голубчики, отколошматят. Покажут вам и курение, и стрельбу, и бродяжничество.

— Ничего, Миша! — успокаивал меня Лелька, хлопая по плечу. — Зато хорошо пожили!

Вечером приехали из города родители, немка и та самая «глупая тетка», на которой дети не советовали мне жениться из-за мышей.

Дети попрятались под диваны и кровати, а Ванька залез даже в погреб.

Я извлек их всех из этих мест, ввел в столовую, где сидело все общество, закусывая с дороги, и сказал:

— Милый мой! Уезжая, ты выражал надежду, что я сближусь с твоими детьми и что они оценят общительность моего нрава. Я это сделал. Я нашел путь к их сердцу... Вот, смотри! Дети! Кого вы любите больше: отца с матерью или меня?

— Тебя! — хором ответили дети, держась за меня, глядя мне в лицо благодарными глазами.

— Пошли бы вы со мной на грабеж, на кражу, на лишения, холод и голод?

— Пойдем, — сказали все трое, а Лелька даже ухватил меня за руку, будто бы мы должны были сейчас, немедленно пуститься в предложенные мной авантюры.

— Было ли вам эти три дня весело?

— Ого!!

Они стояли около меня рядом, сильные, мужественные, с черными от загара лицами, облаченные в затасканные лохмотья, которые придерживались грязными руками, закопченными порохом и дымом костра.

Отец нахмурил брови и обратился к маленькому Лельке, сонно хлопавшему глазенками:

— Так ты бы бросил меня и пошел бы за ним?

— Да! — сказал бесстрашный Лелька, вздыхая. — Клянусь своей бородой! Пошел бы.

Лелькина борода разогнала тучи. Все закатились хохотом, и громче всех истерически смеялась тетя Лиза, бросая на меня лучистые взгляды.

Когда я отводил детей спать, Гришка сказал грубым, презрительным голосом:

— Хохочет... Тоже! Будто ей под юбку мышь подбросили! Дура!

РЕДАКТОР

I

В боковой комнате трактира купца Осовелова сидели за графинчиком водки два человека: приказчик бакалейной лавки Мурзакин и редактор большой ежедневной газеты «Столичная Мысль» Миколаев.

Редактор, жестикулируя, говорил:

— Да, брат... Попал я в жилу — и никаких гвоздей!. Не жизнь у меня теперь, а бланманже. Ни пито, ни едено,— пятьдесят целкачей в месяц вынь, да положь! Ге! Миколаев, брат, тоже не левой ногой сморкается. И всякая собака знает меня: «редактор Миколаев, издательница Шмит» — в каждой газете написано.

— Затрещал! — поморщился приказчик.— Ты, Миколаша, человек приятный, но пустой. Глупый человек. Этак вот прыгаешь до поры, до времени, а потом — трах! И сядешь в тюрьму.

Восторженный редактор притих, размазал пальцем по столу пролитое пиво и нерешительно возразил:

— Нет, не сяду... Зачем мне садиться?

— Сам-то не сядешь... Другие посадят. Нет... Нехорошее твое дело, Миколаев. Какой ты редактор? Силы настоящей в тебе нет. Вот ты мне друг, приятель закадычный с мальчишеского возраста — и что же? Пишу я стишки разные, поэмки, а ты... разве ты их напечатаешь в «Столичной Мысли»? Как же! Так тебе и дадут. Кишка тонка, миленький!

— Отчего же не напечатать,— нерешительно сказал редактор.— Можно и напечатать... Если... гм... материал подходящий.

Приказчик недоверчиво прищурился.

— Как же это ты сделаешь?..

— Да очень просто. Если стихи мне понравятся, возьму их, отдам приказание печатать...

— Ну? Да ведь там другой редактор есть?..

— Ш-што-с? Какой это еще другой?! Я редактор Миколаев, и больше никаких редакторов Миколаевых! Редактор Миколаев — издательница Шмит — типография «Польза и Дело»! Это, брат, мы твердо знаем. Где ваши стихи?

Ввиду серьезности момента, редактор заблагорассудил перейти с приказчиком на «вы». На приказчика сразу пахнуло холодком строгой официальности.

Почувствовались два разных человека: олимпиец-редактор распространенного органа и робкий начинающий поэт, судьба которого всецело зависит от решения этого олимпийца.

— Где ваши стихи? Посмотрим-с.

Приказчик тоже проникся настроением. Он сдвинулся на кончик стула, вынул из кармана сложенную вчетверо бумажку и почтительно протянул ее редактору.

— Вуаля, — щегольнул он французским языком, — стишки моего сочинения. Редактор критически поджал губы и развернул произведение своего друга.

— Гм... да! Действительно, стихи. Вы не ошиблись. Прочтем-с, прочтем-с...

Что за славная картина
Этот город Петербург,
Только плохо там живется
Всем приказчикам всегда.
Распроклятый бакалейный
И тяжелый очень труд:
День-деньской все на ногах ты,
Даже некогда вздохнуть!

Очень мило. Стихи о положении народного класса трудящихся. Социалистическое неустройство Карла Маркса. Так, так. Классовая перегородка, как говорится. Ну, хорошо...

Миколаев встал, и голос его зазвучал торжественно:

— Ну, хорошо!.. Трудящий поэт Мурзакин! Ваши стихи приняты.

В этом месте приказчик решил, что принятием стихов официальные отношения закончились, и, поэтому, немедленно перешел на прежний дружеский тон.

— Вот мерси, Миколаша. Это здорово. А когда ты их напечатаешь?

— Я их завтра напечатаю, господин Мурзакин, будьте покойны.

Хотя приказчик и пытался найти прежние дружеские тона в беседе с редактором, но редактор, по-видимому, не был расположен расставаться с преимуществами своего положения, и сейчас же явно подчеркнул желание держать начинающего поэта на почтительном расстоянии.

— Будьте покойны, господин Мурзакин...

Приказчик внимательно всмотрелся в своего друга и — не узнал его. Что-то новое появилось в лице редактора... Какая-то суровая, непреклонная складка легла около губ, как-то решительно засверкали мутные доселе глаза и, казалось, какой-то перелом произошел в доброй, мягкой, безвольной душе Миколаева.

Хлебнул ли он сладкого яда власти, почувствовал ли красоту силы и почета, зазвучали ли в его душе новые струны?..

Редактор допил залпом стакан пива, встал, выпрямился и, бросив на стол трехрублевку, небрежно сказал:

— Не желаете ли проехаться со мной в редакцию моей газеты? Я на минутку: отдам два-три распоряжения, отошлю ваши стихи в типографию — и тогда к вашим услугам.

Робость засветилась в приказчичьем взгляде.

— А нас не вытурят, Миколаша?

— Шш-то-с? Человек! Получите деньги! Дайте газету «Столичная Мысль». Вот, спасибо. Видите ли, господин Мурзакин — это газета... Видите ли... господин Мурзакин (если, конечно, ха-ха, вы еще не ослепли?) что внизу написано? Редактор А.С. Миколаев, издательница О. Шмит, типография «Польза и Дело»! Едем!

II

Редактор и приказчик подошли к фешенебельному подъезду, в котором помещалась редакция «Столичной Мысли» и остановились.

— Идите, Мурзакин, — не бойтесь, — ласково ободрил приказчика редактор, в то время, как на лице его застыла та же строгая, непреклонная складка. — Идите... Это моя редакция.

— Вам кого? — остановил их редакционный рассыльный.

— Болван! — вскричал, сердито хмурясь, Миколаев. — Редактора не узнал? Распустились, черти... Пьянствуете все! Сними с этого господина пальто. Пришли ко мне секретаря и издателя!.. Я буду в редакторском кабинете. Живо!

Редактор смело подошел к двери, на которой красовалась надпись «Кабинет редактора», и распахнул ее. Кабинет был пуст.

— Идите, Мурзакин. Ге! Вы уже приняты в число сотрудников и, поэтому, можете сидеть у меня в кабинете.

Тон его, по-прежнему, был ласков и снисходителен, а около губ, по-прежнему, змеилась складка неслыханного упорства и решимости.

— Эй, кто там! Тысячу раз вам нужно повторять: позовите секретаря!

В кабинет вошел полный пожилой человек и обвел удивленным взглядом сидевших людей — одного на редакторском кресле за монументальным столом, другого — на кончике стула, почтительного, робкого, подавленного окружающим его великолепием.

— Миколаев?!! Это вы тут кричите? Что вам нужно? Зачем вы сели сюда?

Миколаев откинулся на спинку кресла и юмористически всплеснул руками;

— Нет, это мне нравится; зачем я здесь? Да кто редактор? Вы редактор или я редактор? Что вы тут такое? Секретарь? Так и занимайтесь своим делом! Ш-што-с? Распустились все, за делом не следите! Если вас не подтягивать, так тут, черт знает что, пойдет!.. Не бойтесь, Мурзакин. Да, кстати, секретарь... вот я принес тут стихи этого господина. Отошлите их в типографию «Польза и Дело» и велите напечатать их покрупнее!

— Вы пьяны, Миколаев — сказал, пожимая плечами, секретарь.— Или с ума сошли.

Миколаев встал.

Лицо его было наружно спокойно, но сжатые губы и нависшие брови предвещали бурю.

— Это вы м н е говорите? Мне? Вон отсюда! Чтоб духу твоего не было! А? Как это вам понравится? — обратился редактор к поэту.— Он мне говорит такие вещи. Ну, времечко!.. Недаром, я вчера читал, говорят: реакция. И верно. Яйца курицу учат! Чего же вы стоите? Сказано вам: уходите! Скажите, чтобы вам там в конторе выдали расчет. Ступайте! Я вас всех тут шелковыми сделаю.

Приказчик обратил к редактору бледное лицо и прошептал:

— Уйдем лучше.

— Откуда? Куда? Я должен быть тут и работать! Я — редактор, милый... И не хочу, чтобы мне даром, ни за что, ни про что, платили деньги.

Он позвонил. Когда вошел рассыльный, он уткнулся в какую-то бумагу, потом поднял рассеянный, задумчивый взор и спросил:

— Издатель здесь?

— Нету.

— Где же это он ходит? Вместо того, чтобы дело делать, слоны-слоняет... Безобразие! Зачем не приглядишь сам — и все валится!..

— Слушайте,— сказал рассыльный, нерешительно подходя к столу,— шли бы вы домой, а? Ей-Богу. Вам же хуже... Знаете ведь нашего Павла Захарыча...

— Ш-ш-то-с? Ты, братец, дурак. Секретаря я выгнал, потому что он человек интеллигентный, а поступает, как нахал!.. Но ты просто глуп, и не знаешь с кем и как говорить. Ты видишь эту газету? Кто здесь подписан? Редактор А.С. Миколаев! А я кто? Андриан Семеныч Миколаев! Ясно, кажется?

Рассыльный качнул сомнительно головой и вышел.

Миколаев потер руками голову и устало сказал:

— Тяжелая, братец, это штука — редактировать газету. То, да се... Это что? Письма? Почта?

Он взял со стола пачку писем и, положив себе на колени, стал вскрывать их.

Написано: господину редактору «Столичной Мысли». Это мне. Ну, посмотрим. Это что? Рассказ: «Холерный бунт». Глупо. Только публику пугать. Зачем? Нужно веселенькое, а они о бунтах... Это что? «Дальневосточные осложнения». Политика... Ну, это можно. «Еще о мелкой земской единице». «Еще?».

Значит, что то уже было? Гм... Автор повторяется. Да и глупо: что такое — мелкая единица? Разве единицы бывают разных размеров? Почему земская? Пишут, пишут и сами не знают, что пишут. Это мы бросим в корзину, а это в типографию... Крупный шрифт!.. Гм...

Редактор так углубился в занятия, что даже не заметил, как в кабинет вошел издатель газеты Корявов.

— Миколаев?! — сказал он удивленно.— Что это ты, братец?!

— А, Павел Захарыч,— кивнул головой, отрываясь от бумаг Миколаев.— Где это вы пропадали? Я два раза спрашивал. Так нельзя.

— Ты пьян?!!

— Павел Захарыч,— сурово и твердо сказал Миколаев.— Вы здесь у меня и, поэтому, прошу... Довольно! Не забывайте, кто здесь редактор...

Издатель подошел к дверям, отворил их и, полусмеясь, полусердито сказал рассыльному:

— Илья! Возьми Миколаева и выведи в переднюю. Да скажи, чтоб в конторе выписали ему расчет.

III

Когда Миколаева выводили из кабинета, он кричал, упирался и грозил, что рассчитает издателя...

Друг его, приказчик, напротив, был тих, покорен и только молящим голосом просил Илью:

— Не трогайте его... Он сам уйдет. Ах, ты ж, Господи... Такое дело! Не толкайте его...

Очутившись на улице, оба долго шли молча, с опущенными головами... У редактора непреклонная, суровая складка исчезла, и ее заменила складка обиженная, недоумевающая.

На углу двух улиц экс-редактор сел на тумбу и поднял на приказчика взгляд, полный мучительного раздумья и неуверенности в себе.

— Не понимаю... — Печально сказал он.— Что же это такое: редактор я или не редактор?

СОСТЯЗАНИЕ

I

Если кому-нибудь из вас случится попасть на финляндское побережье Балтийского моря и набрести на деревушку *Меррикярви* (финны думают, что это город), то вы никогда не упоминайте моего имени...

К имени Аркадий Аверченко жители этой деревушки (города?) отнесутся без должного уважения, а пожалуй, даже и выругаются...

Спорный вопрос — деревушка Меррикярви или город? — я уверен, всегда будет решен в мою пользу...

У финнов — мания величия. Для них изготовить из деревушки город ничего не стоит. Способ изготовления прост: они протягивают между домами ленсмана и пастора телефонную проволоку, и тогда все место, где проделана эта немудрая штука, называется городом, а сама проволока — телефонной сетью.

С такой же простотой, совершенно не понятной для русского человека, устраиваются и общественные библиотеки.

Дачник, гуляя по полю, дочитывает книгу и пару газет, которые были у него в кармане. Дочитав, он, по своему обыкновению и лени, чтобы не таскаться с двойным грузом (книга в руках и книга в голове),— бросает книгу, газеты на землю и уходит домой.

На брошенные дачником драгоценности набредают финны. Сейчас же закипает работа: вокруг книги и газет возводятся стены, сверху покрывают крышей, сбоку над дверьми пишут: «Общественная библиотека города (деревушки?!!) Меррикярви» — и в ближайшее же воскресенье все население уже дымит трубками в этом странном учреждении.

Первое время я совершенно не знал о существовании Меррикярви, так как жил в тридцати верстах от него в деревушке *Куомяках.*

Мы жили вдвоем: я и моя маленькая яхта, на которой я изредка совершал небольшие прогулки.

Через три дня после моего приезда в Куомяки я узнал, что неисправимые финны назвали сходни, около которых стояла яхта,— «Яхт-клубом», а меня — президентом клуба.

Сначала я хотел отказаться от такого почетного звания, совершенно мною не заслуженного, но потом решил, что если проволока у них называется сетью, то почему я, скромный писатель, не могу быть президентом?

Как бы то ни было, но слава о Куомякском Яхт-клубе и обо мне, как его президенте, разлетелась далеко по окрестностям и долетела до злополучного Меррикярви.

Я не чувствую себя ни в чем виновным — начали-то ведь первые они...

II

Однажды я получил такую бумагу на печатном бланке:

Меррикярвинское общество спорта и содействия физическому здоровью

Господину президенту Куомякского
Яхт-клуба Аркадию Аверченко
Милостивый государь!

Для поощрения и развития морского спорта Меррикярвинское общество предлагает Вашему яхт-клубу устроить парусные гонки на скорость, избрав конечным пунктом гонок наш город Меррикярви.

Для поощрения и соревнования гг. гонщиков названное меррикярвинское общество со своей стороны предлагает назначить призы: первому пришедшему к нашей пристани — почетный кубок и золотой жетон; второму и третьему — почетные дипломы.

Гонки — в ближайшее воскресенье, в 2 часа дня от отправного пункта.

О согласии благоволите уведомить.

С почтением, председатель

Мутонен

Я сейчас же сел и написал ответ:

Куомякский Яхт-клуб
Господину президенту Меррикярвинского
Общества спорта и содействия физическому здоровью — Мутонену
Милостивый государь!

Куомякский Яхт-клуб, обсудив в экстренном заседании Ваше предложение, благодарит Вас за него и принимает его единогласно.

Принося также благодарность за назначение Вами поощрительных призов, имею честь сообщить, что гонки от отправного пункта будут начаты в ближайшее воскресенье, в 2 часа дня.

С почтением, главный президент

Аркадий Аверченко

III

Наступило «ближайшее воскресенье».

Я спокойно позавтракал, около двух часов оделся, сел в свою яхточку и, распустив паруса, не спеша двинулся к загадочному, не знакомому мне городу Меррикярви.

Это было очень милое, тихое плавание.

Так как торопиться было некуда, я весело посвистывал, покуривал сигару и размышлял о величии Творца и разумном устройстве всего сущего.

Встретив рыбачью лодку, я окликнул ее и спросил рыбаков: далеко ли еще до города Меррикярви.

— Лиско, — ответили мне добрые люди. — Ве или ри версты.

Финны — удивительный народ: в обычной своей жизни они очень честны и с поразительным уважением относятся к чужой собственности. Но стоит только финляндцу заговорить по-русски, как он обязательно утащит от каждого слова по букве. Спросите его — зачем она ему понадобилась?

Возвратив трем словам три ограбленные у них буквы, я легко мог выяснить, что до Меррикярви «близко: две или три версты».

Действительно, минут через десять у берега вырисовывалась громадная гранитная скала, за ней — длинный песчаный берег, а еще дальше — группа домишек и маленькая пристань, усеянная народом и украшенная триумфальной аркой из зелени.

Я бросился к парусам, направил яхту прямо к пристани, повернулся боком — и через минуту десятки рук уже подбрасывали меня на воздух... дамы осыпали меня цветами...

Сами по себе финляндцы очень флегматичны и медлительны, но между ними затесалось несколько петербургских золотушных дачников, которые шумели, производили кавардак и этим подстегивали меррикярвинских исконных граждан...

— Ур-р-ра! — ревели десятки глоток. — Да здравствует Аверченко, первый яхтсмен и победитель! Ур-ра!

Сердце мое дрожало от восторга и гордости. Я чувствовал себя героем, голова моя инстинктивно поднималась выше, и глаза блистали...

О, моя бедная, далекая матушка. Почему ты не здесь? Отчего бы тебе не полюбоваться на триумф любимого сына, которого наконец-то оценила холодная равнодушная толпа?!

— А остальные... далеко еще? — спросил меня, когда восторги немного утихли, один дачник.

— А не знаю, право, — чистосердечно ответил я. — Я никого не видел.

— Ур-ра! — грянули голоса с удвоенным восторгом.

Одна девушка поднесла мне букет роз и застенчиво спросила:

— Вы, вероятно, неслись стрелой?

— О нет, сударыня... Я ехал потихоньку себе, не спеша.

Никто не хотел верить...

— Дадим ему сейчас приз! — предложил экспансивный дачник.— Чего там ждать других?! Когда-то еще они приедут.

Я попытался слабо протестовать, я указывал на то, что такая преждевременность противна спортивным законам,— восторженная толпа не хотела меня слушать.

— Дайте ему сейчас жетон и кубок!! — ревела чья-то здоровая глотка.

— Дайте ему! Давайте качать его!

В то же время все поглядывали на море и, не видя на горизонте и признака других яхт, приходили все в больший и больший восторг.

Я, наоборот, стал чувствовать некоторое беспокойство и, потоптавшись на месте, отозвал председателя Мутонена в сторону.

— Слушайте!..— робко прошептал я.— Мне бы нужно... гм... домой вернуться. Некоторые делишки есть, хозяйство, знаете... гм...

— Нет! — крикнул председатель, обнимая меня (все кричали «ура!»).— Мы вас так не отпустим. Пусть это будет противно спортивным правилам, но вы перед отъездом получите то, что заслужили...

Он взял со стола, накрытого зеленым сукном, почетный кубок и жетон и, передав все это мне, сказал речь:

— Дорогой президент и победитель! В здоровом теле — здоровая душа... Мы замечаем в вас и то и другое. Вы сильны, мужественны и скромны. Сегодняшний ваш подвиг будет жить в наших сердцах как еще один крупный шаг в завоевании бурной морской стихии. Вы — первый! Получите же эти скромные знаки, которые должны и впредь поддержать в вас дух благородного соревнования... Ура!

Я взял призы и сунул их в карман, рассуждая мысленно так:

«Как бы то ни было, но ведь я пришел первым?! А раз я пришел первым, то было бы странно отказываться от радушия и доброты меррикярвинских спортсменов. По спра-

ведливости, я бы должен был получить и второй приз, так как могу считаться и вторым, но уж Бог с ними».

Сопровождаемый криками, овациями и поцелуями, я вскочил в яхту и, распустив паруса, понесся обратно, а меррикярвинские спортсмены и граждане уселись на скамейках, расположились на досках пристани, спустили ноги к самой воде и принялись терпеливо ждать моих соперников, поглядывая выжидательно на широкое пустынное море...

Если бы кому-нибудь из читателей пришлось попасть на побережье Балтийского моря, набрести на кучу домишек, именуемую — Меррикярви, и увидеть сидящих на пристани в выжидательной позе членов «меррикярвинского общества спорта и содействия физическому развитию», — пусть он им скажет, что они ждут понапрасну. Пусть лучше идут домой и займутся своими делами.

А то что ж так сидеть-то...

ОДИНОКИЙ

Бухгалтер Казанлыков говорил жене:

— Мне его так жаль... Он всегда одинок, на него почти никто не обращает внимания, с ним не разговаривают... Человек же он с виду вполне корректный, приличный и, в конце концов, не помешает же он нам! Он такой же банковский чиновник, как и я. Ты ничего не имеешь против? Я пригласил его к нам на сегодняшний вечер.

— Пожалуйста! — полуудивленно отвечала жена. — Я очень рада.

Гости собрались в девять часов. Пили чай, поздравляли хозяина с днем ангела и весело подшучивали над молодой парочкой: сестрой бухгалтера Казанлыкова и ее женихом, студентом Аничкиным.

В десять часов явился тот самый одинокий приличный господин, о котором Казанлыков беседовал с женой... Был

он высок, прям, как громоотвод, имел редкие, крепкие, как стальная щетка, волосы и густые черные удивленные брови. Одет был в черный сюртук, наглухо застегнутый, делавший похожим его стан на валик от оттоманки, говорил тихо и вежливо, но внушительно, заставляя себя выслушивать.

Чай пил с ромом.

Выпил два стакана от третьего отказался и, посмотрев благосклонно на хозяина, спросил:

— Деточки есть у вас?

— Ожидаю! — улыбнулся Казанлыков, указав широким, будто извиняющимся, жестом на жену, которая сейчас же вспыхнула и сделала такое движение, которое свойственно полным людям, когда они хотят уменьшить живот.

Одинокий господин солидно посмотрел на живот хозяйки.

— Ожидаете? Да... Гм... Опасное дело это — рождение детей!

— Почему? — спросил Казанлыков.

— Мало ли? Эти вещи часто кончаются смертельным исходом. Родильная горячка или еще какая-нибудь болезнь. И — капут!

Казанлыков бледно улыбнулся.

— Ну, будем надеяться, что мы открутимся от этого благополучно. Будем иметь большого такого, толстого мальчугана... Хе-хе!

Одинокий господин раздумчиво пригладил мокрой ладонью черную, редкую проволоку на своей голове.

— Мальчугана... Гм... Да, мальчуганы тоже, знаете... Часто мертвенькими рождаются.

Хозяин пожал плечами.

— Это очень редкие случаи.

— Редкие? — подхватил гость.— Нет, не редкие. Некоторые женщины совершенно не могут иметь детей... Есть такие организмы. Да вот вы, сударыня... Боюсь, что появление на свет ребенка будет грозить вам самыми серьезными опасностями, могущими кончиться печально...

— Ну, что вы завели, господа, такие разговоры,— сказала жена чиновника Фитилева.— Ничего дурного не будет. Вы же,— обратилась она к одинокому господину,— и на крестинах еще гулять будете!

Одинокий господин скорбно покачал головой.

— Дай-то Бог. Только ведь бывают и такие случаи, что ребенок рождается благополучно, а умирает потом. Детский

организм — очень хрупкий, нежный... Ветерком подуло, пылиночку какую на него нанесло, и — конец. По статистике детской смертности...

Жена Казанлыкова, бледная, с искаженным страхом лицом, слушала тихую вежливую речь гостя.

— Ну что там ваша статистика! У меня трое детей, и все живехоньки,— перебила жена Фитилева.

Гость ласково и снисходительно улыбнулся.

— Пока, сударыня, пока. Слышали вы, между прочим, что в городе появился дифтерит? Ребеночек гуляет себе, резвится и вдруг — начинает легонько покашливать... В горле маленькая краснота... Как будто бы ничего особенного...

Жена Фитилева вздрогнула и широко открыла глаза.

— Позвольте! А ведь мой Сережик вчера, действительно, вечером кашлянул раза два...

— Ну, вот,— кивнул головой гость.— Весьма возможно, что у вашего милого мальчика дифтерит. Должен вас, впрочем, успокоить, что это, может быть, не дифтерит. Может быть, это скарлатина. Вы говорите — вчера покашливал? Гм... Если он не изолирован, то легко можно заразить других детей...

Бледная, как бумага, жена Фитилева, открывала и закрывала рот, не находя в себе силы вымолвить ни одного слова.

— Особенно вы не волнуйтесь,— благожелательно сказал гость.— Скарлатина не всегда кончается смертельным исходом. Иногда она просто отражается на ушном аппарате, кончается глухотой или — что, конечно, опаснее — отзывается на легких.

— Куда вы? — с беспокойством спросила жена Казанлыкова, видя, что госпожа Фитилева надевает дрожащими руками шляпу и, стиснув губы, колет себе пальцы шляпной булавкой.

— Вы меня извините, дорогая, но... я страшно беспокоюсь. Вдруг... это... с Сережей... что-нибудь неладное.

Забыв даже попрощаться, она хлопнула выходной дверью и исчезла.

* * *

Гость прихлебывал маленькими глотками чай с ромом и изредка посматривал на сидевших против него студента Аничкина и его невесту.

— На каком вы факультете? — спросил он, ласково прищуривая левый глаз.

— На юридическом.

— Ага! Так, так... Я сам когда-то был в университете. Люблю молодежь. Только юридический факультет — это неважная штука, извините меня за откровенность.

— Почему?

— Да вот я вам скажу: учитесь вы, учитесь — целых четыре года. Кончили (хорошо, если еще удастся кончить!)... И что же вы? Помощник присяжного поверенного — без практики, или поступаете в управление железных дорог без жалованья, в ожидании далекой вакансии на сорок рублей! Конечно, вы не сделаете такой оплошности, чтобы жениться, но...

Студент сделал виноватое лицо и улыбнулся.

— Как раз я и женюсь. Вот — позвольте вам представить — моя невеста.

— Же-ни-тесь,— протянул одинокий господин грустно и многозначительно.— Вот как! Ну, что же, сударыня... Желаю вам счастья и привольной, богатой жизни. Впрочем, мне случалось наблюдать, как живут женившиеся студенты: комната в шестом этаже, больной ребенок за ширмой (обязательно больной — это заметьте!), рано подурневшая от плохой жизни худая, печальная жена, изнервничавшийся от голодухи и неудач супруг... Конечно, есть счастливые исключения в этих случаях: ребенок может помереть, а жена — сбежит с каким-нибудь смешливым соседом, но это — увы — бывает редко... Большей частью, муж однажды усылает жену в ломбард, якобы для того, чтобы заложить последнее пальто, а сам прикрепит к крюку от зеркала ремень, да и того...

В комнате было тихо.

Жених съежился, ушел в свой стул, а невеста упорно смотрела на клетку с птицей, и на ее глазах дрожали две неожиданные случайные слезинки, которые порой быстро скатывались на волнующуюся грудь, и сейчас же заменялись новыми...

— Что вы, право, такое говорите,— криво усмехнулся бухгалтер Казанлыков.— Поговорим о чем-нибудь веселом.

— В самом деле,— сказал акцизный чиновник Тюляпин. — Вы слишком мрачно и односторонне смотрите на жизнь! Вот взять хотя бы меня — я женился по любви и совершенно

счастлив с женой. Положение у нас обеспеченное, и с женой мы живем душа в душу... Она меня ни в чем не стесняет... Вот сегодня — у нее болела голова, она не могла сюда прийти поздравить дорогого хозяина — и все-таки настояла, чтобы я пошел...

Одинокий господин с сомнением качнул головой.

— Может быть... может быть... Но только я чтой-то счастливых браков не видел. Верные, любящие жены — это такая редкость, которую нужно показывать в музеумах... И что ужаснее всего,— обратился он к угрюмо потупившемуся студенту,— что чем ласковее, предупредительнее жена, тем, значит, большую гадость она мужу готовит.

— Моя жена не такая! — мрачно проворчал акцизный чиновник.

— Верю,— вежливо поклонился гость.— Я говорю, вообще. Я на своем веку знал мужей, которые говорили о женах, захлебываясь, со слезами на глазах и говорили тем самым людям, которые всего несколько часов назад держали их жен в объятиях.

— Бог знает, что вы такое говорите! — встревожено воскликнул акцизный Тюляпин.

— Уверяю вас! Однажды я снимал комнату в одной адвокатской семье. Жена каждый день ласково уговаривала мужа пойти в клуб развлечься, так как — говорила она — ей нездоровится и она ляжет спать. А он, мол, заработался. И при этом целовала его и говорила, что он свет ее жизни. А когда глупый муж уходил в клуб или еще куда-нибудь — из комода выползал любовник (они их всюду прячут), и они начинали целоваться самым настоящим образом... Я все это из-за стены и слышал.

Акцизный Тюляпин сидел бледный, порывисто дыша... Он вспомнил, что жена как раз сегодня назвала его светом ее жизни и уже несколько раз жалела его, что он заработался. Он хотел сейчас же встать и побежать домой, да было неловко.

* * *

Из столовой вышла, с заплаканными глазами, расстроенная жена Казанлыкова и сказала, что ужин подан.

Унылое настроение немного рассеялось. Все встали и повеселевшей толпой отправились в столовую.

Когда рюмки были налиты, одинокий господин встал и сказал:

— Позвольте предложить выпить за здоровье многоуважаемого именинника. Дай Бог ему прожить еще лет десять-двенадцать и иметь кучу детей!

Тост особенного успеха не имел, но все выпили.

— Вторую рюмку,— торжественно заявил одинокий господин,— поднимаю за вашего будущего первенца!

Будущая мать расцвела и бросила на одинокого господина такой взгляд, который говорил, что за это она готова простить ему все предыдущее.

— Пью за вашего будушего сына! Правда, дети не всегда бывают удачненькие. Я знал одного мальчика, который уже девяти лет воровал у отца деньги и водку, и мне однажды показывали другого четырнадцатилетнего юнца, который распорол выняньчившей его старухе живот и потом, когда его арестовали — убил из револьвера двух городовых... Но все же...

— Закусите лучше,— посоветовал хозяин, нахмурившись.— Вот прелестная семга, вот нежинские огурчики...

Гость, вежливо поблагодарив, придвинул невесте студента семгу и сказал:

— На днях одни мои знакомые отравились рыбным ядом. Купили тоже вот так семги, поели...

— Я не хочу семги,— сказала девушка. — Дайте мне лучше колбасы.

— Пожалуйста,— почтительно придвинул гость колбасу.— Заражение трихинами бывает гораздо реже, чем рыбным ядом. На днях — я читал — привозят одну старуху в больницу, думали туберкулез, а когда разрезали ее — увидели клубок свиных трихин...

Акцизный чиновник попрощался и вышел от Казанлыковых в тот момент, когда одинокий господин тоже раскланялся, вежливо поблагодарил хозяев за гостеприимство и теперь спускался по темной еле освещенной парадной лестнице.

Акцизный Тюляпин пил за ужином много, с какой-то странной ужасной методичностью. Теперь он догнал одинокого господина, схватил его за плечо и пошатываясь, сказал:

— Вы чего, черти вас разорви, каркали там насчет жен... Вот я сейчас тресну вас этой палкой по черепу — будете вы знать, как такие разговоры разговаривать.

Одинокий господин обернулся к нему и, съежившись, равнодушно сказал:

— У вас палка толстая, железная... Если вы ударите ею меня по голове, то убьете. Мне-то ничего — я буду мертвый, — а вас схватят и сошлют в Сибирь. Жена ваша обнищает и пойдет по миру, а вы не выдержите тяжелых условий каторги и получите чахотку... Дети ваши разбредутся по свету, сделаются жуликами, а когда о вашем преступлении узнает ваша мать — с ней сделается разрыв сердца... Ага!

ФИЛОСОФИЯ

Небо за рекой окрасилось тихим розовым закатным светом. Было тепло.

В мужской купальне раздевались двое: студент Гамов и бухгалтер Безобручин.

— Все дело не в том, Игнатий, — говорил студент, — что ты глуп или неинтересен. Нет! Ты не глуп и интересен. Но ты взял себе такую манеру с женщинами, что они или изумленно отворачиваются от тебя или просто даже убегают. Нельзя быть таким робким, неповоротливым, молчаливым, полным какой-то тяжелой угрюмой углубленности... С женщинами нужно уметь говорить!

— Да как же еще с ними так говорить!?

— Э, миленький, это целая наука... Не надо рассуждать с дамой, как с мужчиной — в этом случае ты только ее запутаешь и собьешь с толку. Придавай убедительность не словам, а голосу, упрощай свои глубокие мысли до глубины чайной ложки, схематизируй доводы, напирай на детали — результаты получатся чуду подобные... Давай ей философию копеечную, поэзию грошовую! Любуясь с ней на закат, не распространяйся так, как бы ты написал это в рассказе, а просто глубоко вздохни и скажи, ловя ее взгляд: «какой прелестный закат, не правда ли? Розовый-прерозовый!» Но, при этом, положи свою руку на ее талию — таким образом ты жестом вознаграждаешь за скупость слов.

— Ну, иди, Лиза, ей-Богу, она теплая! Какая ты трусиха!

— Бою-юсь... Уже вечер, нас с тобой только двое и вода, наверно, холодная...

— Почему же я не боюсь? Иди, глупая!.. Все равно, ведь разделась.

Гамов прислушался.

— Кто это там, в женской купальне?

— Это, вероятно, соседки с красной дачи. Две дамы, — отвечал, подумав, Безобручин. — Они шли сзади нас:

— Послушай, Безобручин! — сказал студент, похлопывая себя по голой груди, — поплывем к ним.

— В своем ли ты уме? Замужние приличные дамы, а мы вломимся в их купальню — нате, здравствуйте! Да они такой крик и скандал поднимут, что потом неприятности не оберешься... И от суда и от мужей.

На лице студента появилось залихватское выражение.

— Трусишь? Ну, я плыву один. Хочешь — приплывай после. Познакомлю.

Бухгалтер сделал движение удержать студента, но тот прыгнул на мостик и, шумно обрушившись в черную воду, поплыл...

На ступеньках женской купальни сидела дама в синем купальном костюме и осторожно пробовала розовый от заката ногой воду. И вода была в нескольких шагах от нее розовая и волосы ее подруги, стоявшей по пояс в воде около толстого обросшего каната — и волосы тоже были розовые.

Дама на ступеньках отличалась небольшим ростом, кокетливой трусостью и округлыми бедрами, которые она в нерешительности поглаживала гибкими медлительными руками. А та, в воде — была высокая, с мальчишескими быстрыми ухватками, странными при ее представительной широкогрудой красивой фигуре.

— Иди же, Лиза, не бойся!..

В нескольких шагах от них, показалось что-то круглое, темное, а потом это круглое, отфыркавшись и отдышавшись, оказалось головой студента Гамова, который кокетливо пригладил волосы и подобострастно взглянул на окаменевших от ужаса дам.

— Mesdames, я должен принести вам свои искренние извинения...

— А-а-ай! — закричала высокая дама. — Кто это?! Мужчина?! Как вы смеете, негодяй! Вон отсюда! Я кликну людей!..

Гамов спрятал плечи в воду, обернул голову к высокой даме и кротко сказал:

— Вот вы меня назвали негодяем... Вы, сударыня, пользуетесь преимуществами вашего пола и уверены, конечно, что я не подниму из-за этого истории... Да! Вы правы... Я не подниму ее. Но почему у вас при первом взгляде на меня явилась странная уверенность, что я причиню вам зло? Поверьте, я почтительнейше...

— Какая наглость! — с отвращением глядя на его мокрую голову, прошипела дама.— Пользуясь тем, что мы одни...

— Господа! — покачал головой Гамов.— О, как вы неправы! Боже-е, как неправы! — Вы, конечно, как женщины интеллигентные, знаете, что в Трувиле, например, дамы купаются вместе с мужчинами...

— Лжете! — истерически закричала сидящая на ступеньках Лиза.— Там это обычай, и там мужчины все в купальных костюмах! А вы голый... Убирайтесь!

— Знаете ли вы,— делая шаг по направлению Лизы, смиренно сказал студент,— что Наполеон, когда его спросили о предках, гордо заявил: я сам предок! Почему же мы не можем сказать себе: господа: мы сами заведем этот обычай!.. А что я голый — так мое тело по горло сидит в воде... это ничего. Впрочем, если вы желаете, Елизавета... виноват, как по отечеству? — то бросьте мне ту простыню, которая по ком-то сохнет на перилах. Она прекрасно прикроет мое убожество и наготу...

— Брось ему! — сказала гордо отворачиваясь, дама в воде.— И пусть он убирается.

— Хорошо, я уйду,— согласился студент, ловя простыню.— Но на прощанье спрошу вас: за что вы меня гоните?

— Вот новости! — всплеснула руками высокая.— Да как же вас не гнать? Мы тут в купальных костюмах, а вы на нас глаза пялите... Убирайтесь!

— А? Что? Сейчас, сейчас... Но мне одно странно... Если бы вы служили в театре и пели бы когда-нибудь партию какого-нибудь пажа — вы показались бы в трико?.. и не перед одним скромным, близоруким студентом, а перед тысячной толпой!.. Почему же теперь у вас появился какой-то ложный ненормальный стыд?

— То театр,— возразила Лиза.— А то — купальня!

— Виноват,— вежливо улыбнулся студент, садясь на выдавшийся из воды столб и кутаясь в простыню.— Но где же разница по существу? Ведь факт остается фактом!

— Какой факт? — недоумевающе спросила Лиза.

— Тот, о котором вы говорили.

Ни о каком факте Лиза не говорила. Но спокойный уравновешенный тон студента так озадачил ее, что она только и нашлась сказать:

— Не забывайте,— мы замужние дамы, а вы — незнакомый нам человек!

— Представьте себе, господа,— начал студент и как-то незаметно примостился на ступеньках лестницы немного ниже Лизы.— Представьте, что вы бы не встретились с вашими мужьями в свое время, а встретились со мной. Вышли бы за меня замуж — и что же! Я имел бы на вас все права... Вы бы ни капельки не стеснялись меня. Так что — стоит ли простую случайность возводить в принцип?

— В какой там еще принцип? — ворчливо отозвалась красивая дама у веревки.

— В тот, на котором вы настаиваете...

— Не понимаю, о чем вы говорите... Одному только удивляюсь: как вы могли решиться, не боясь последствий, явиться сюда?

— Сударыни! В сущности говоря — какая разница, если я сейчас в пяти шагах от вас или если бы я был в своей купальне в сорока шагах? Вас смущают эти жалкие тридцать пять шагов, но, ведь, по существу, что изменилось в нашем мире оттого, что мы сейчас мирно беседуем?.. Если бы мы были в платьях, так — очень возможно,— сидели бы еще ближе друг к другу где-нибудь в концерте... Значит, по вашему, все дело в платьях? В этой жалкой условности, сшитой из груды разноцветных тряпок — руками жалкой, глупой портнихи, иногда даже испорченной до мозга костей или больной изнурительной болезнью.

— Какой вы странный... Сидит, разговаривает. Но, представьте, ваше присутствие просто очень нам неприятно!

— Боже мой! Бедные мы люди... Мы с головой сидим в целом море условностей. Вы оскорбляете и гоните меня только потому, что я мужчина... А если бы сейчас явилась купаться сюда какая-нибудь жирная, отвратительная, вульгарная торговка — вы бы не заявили ни одного слова протеста... Почему? Потому только, что она женщина? Чем она лучше меня — необразованная, тупая женщина?

— Гм... Но она, все женщина...

— А что такое — женщина, мужчина?.. Чистая случайность,

если вдуматься в это! Так неужели же за эту случайность я должен быть ниже всякой торговки?.. Обидно! Какая-то вековая несправедливость...

— Но вы забываете о женской стыдливости! — сказала Лиза, подбирая голые ноги под ступеньки и обнимая руками колени.

— Женская стыдливость? Стыдиться можно нехорошего: воровства, убийства... Некрасивая женщина может стыдиться своих недостатков — худых ног, впалой груди (дама у веревки выпрямилась и инстинктивно погладила свою развитую, пышную грудь), а чего же стыдиться красивой женщине? Бог создал ее, наделил ее совершенствами, и если она скрывает их — она обижает этим Создателя, Творца всего сущего, мудрого, вечного...

В словах студента было что-то убаюкивающее. Он взял руку Лизы, лежавшую на ее колене, и почтительно целуя, сказал:

— Что может быть прекраснее этой руки, этого совершенного создания природы...

— Ай, — жалобно протянула Лиза. — Оля, он целует мою руку... Ой! Смотри-ка, он уже сидит около меня... Уходите отсюда!!

— Сейчас уйду, — пообещал студент. — Сию минуточку... Только мне очень тяжело и обидно (голос его, действительно, задрожал подавленной слезой) — почему на вечере любой дурак, шулер и негодяй может поцеловать вашу руку, а мне, тихому, застенчивому человеку...

Оля хлопнула рукой по воде и расхохоталась.

— Застенчивый... Хороший застенчивый. Приплыл к незнакомым дамам, уселся на ступеньках, забрал простыню... Сидит... Убирайтесь отсюда! Не смейте на меня смотреть!

— А что такое взгляд? — задумчиво сказал студент. — В сущности, это предрассудок... Да вот я, — сделайте одолжение, смотрите на меня сколько угодно...

— Очень нужно! — сказала Лиза и бросила косой взгляд на голые руки студента.

— Га-амов! — донесся издали тоскующий голос. — Скоро ты?

— Ах, я и забыл, — спохватился Гамов. — Меня тут товарищ дожидается... Заболтался я с вами. А, впрочем... Игнатий! Плыви сюда!!

— Вы с ума сошли?! — возмутилась Лиза, — кого вы там еще зовете?

— Это мой друг — мухи не обидит! Вы его, пожалуйста, приободрите. Он в малознакомом обществе теряется. Поручаю вашему такту и заботливости...

Вынырнула голова бухгалтера Безобручина.

— В... в сущности, Mesdames, — робко пролепетал он, умоляюще смотря на женщин, — это предрассудок. В опере же вы пели бы...

— Иди уж, — усмехнулся снисходительно студент. — Садись! Вот тебе еще есть, что-то, вроде полотенца. Закутайся...

— Какое безобразие! — охнула Оля. — Мое полотенце! Воображаю, что скажут наши мужья, когда вернутся из города и узнают...

— Они не узнают, — успокоил ее Гамов. — Мы им не скажем. Вот это, господа, Игнатий Безобручин, промышленник и торговый гость. Очень хорошо поет — прямо загляденье. Если бы вы настаивали на посещении нас с вами (о, пара стаканов чаю — не больше), он бы спел вам что угодно. Пианино есть?

— Однако, — сказала Лиза, качая головой, — вы довольно недвусмысленно навязываетесь на приглашение...

Дрожащий бухгалтер спрятал вылезшую из полотенца руку и, стуча зубами, заявил:

— В сущности, что такое приглашение?.. Предрассудок!.. Если вдуматься хорошенько.

— Так, — кивнул головой студент, — так и нужно, Игнатий. Уразумел?

Он поцеловал еще раз Лизину руку и почтительно сказал:

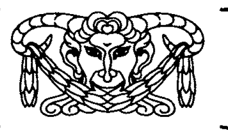
— Merci за приглашение. Пока до свидания. Одевайтесь. Мы подождем вас у выхода...

На красную дачу возвращались вчетвером... Студент, ведя под руку усмехающуюся, разрумяненную блондинку Олю, горячо говорил ей:

— Да если бы даже я поцеловал когда-нибудь вас — что здесь, в сущности, такого? Если хорошенько вдуматься...

— В сущности, это предрассудок, — поддержал его бухгалтер, влача на плече мокрую простыню и полотенце... — Если, конечно, вдуматься!

— Конечно, если вдуматься... — рассеянно подтвердила Лиза и взяла его под руку.



ДЕШЁВАЯ БИБЛИОТЕКА "САТИРИКОНА" ВЫПУСК 3 (1911)

весёлые устрицы



СМЕРЧ

I

Услышав звонок в передней, кухарка вышла из кухни, открыла парадную дверь и впустила Кирилла Бревкова, пришедшего в гости к хозяину дома Терентьеву.

Кирилл Бревков имел рост высокий, голос очень громкий, смеющийся, и лицо веселое, открытое, украшенное светло-красным носом и парой сияющих, как звезды, глаз.

При одном взгляде на этот треугольник, углы которого составляли 2 глаза и нос, можно было безошибочно определить, что Кирилл Бревков живет на земле беззаботно, радостно, много ест, много говорит и всюду находит себе материал для веселья, заливаясь всю жизнь счастливым безыдейным смехом, столь редким в наш сухой век...

— Здравствуй, Пелагея! Как поживаешь?

— Спасибо, барин. Пожалуйте.

— Постой, постой... Э! Да что это с тобой, матушка, такое?!

Он взял руками пылающее от кухонного жара лицо Пелагеи и повернул его к свету.

— Да ведь на тебе, матушка, лица нет!! Ты больна?

— Н... нет! — испуганно прошептала Пелагея. — А рази — что?

— Да ведь ты же бледна, как смерть... Краше в гроб кладут! Тифом была больна, что ли?

Багровая Пелагея действительно побледнела и вздрогнула.

— Неужто хворая?!

— Матушка! Да ведь ежели так с тобой, не знаючи, встретиться — так тебя за привидение, за русалку примешь! Сама

белая-белая, а глаза горят лихорадочным блеском! Похудела, осунулась...

Кухарка охнула, всплеснула толстыми руками и с громким топотом убежала в кухню, а Кирилл Бревков посмотрел ей вслед смеющимся, лучезарным взглядом и вошел в гостиную.

Его встретил 12-летний Гриша. Вежливо поклонившись, он сказал:

— Драсте, Кирилла Ваныч. Папа сейчас выйдет.

Напустив на себя серьезный, мрачный вид, Кирилл Бревков на цыпочках подошел к Грише, сделал заговорщицкое лицо и шепнул:

— Папаше признались?

— В чем?

— Насчет недопущения к экзамену?

Гриша растерянно взглянул в сверкающие глаза Бревкова.

— Какое недопущение? Я допущен.

— Да-а? — протянул Кирилл Бревков. — Вы так думаете? Ну, что ж — поздравляю! Блажен, кто верует... Хе-хе!..

Он сел в кресло и преувеличенно грустно опустил голову.

— Жаль мне вас, Гришенька... Влопались вы в историю!

— В ка... кую?!.

— А в такую, что я сегодня видел вашего директора Уругваева. «Как идет у вас, — спрашиваю, — Терентьев Григорий?» — «Отвратительно, — говорит. — На совете постановили не допустить его к экзаменам!» Вот оно что, молодой человек!

Если бы Гриша был наблюдательнее, он заметил бы, как дрожали полные губы Бревкова и каким весельем сверкали его бриллиантовые глазки... Но Грише было не до этого.

Он тихо побрел в детскую, спрятав голову в узкие плечи и шепча под нос:

— Господи!

II

В гостиную вышел сам Терентьев и облобызался с гостем.

— Здорово, Кирилл! Сейчас и жена выйдет.

Вышла и жена.

Она была худощавая, тонкогубая с прической, взбитой высоко-высоко над желтым лбом.

— Анна Евграфовна! Неизмеримо рад видеть вас! Ручку-с! Давно вернулись из Москвы?

— Позавчера.

Она оглядела мужчин пытливым взором и с деланным равнодушием спросила:

— Ну а вы, господа, как проводили без меня время?

Кирилл Бревков хотел заявить, что он не виделся с мужем со времени ее отъезда, но пытливое лицо Анны Евграфовны показалось ему таким забавным, что он ухмыльнулся и загадочно сказал:

— Было всего!

— Да? — криво улыбнулась Анна Евграфовна. — Вот как!

— Кстати! — обернулся к мужу Бревков. — Вчера я встретился с той полькой!

— С какой? — удивился Терентьев.

— Ну, с этой, знаешь... Станиславой. Которой ты платье тогда токайским облил. Вспоминали тебя.

При этом Бревков многозначительно подмигнул Терентьеву одной стороной своего подвижного лица. Но Терентьеву не нужно было и этого подмигивания. Терентьев знал своего веселого, замысловатого друга и сейчас же решил, что он, Терентьев, не ударит перед ним лицом в грязь.

Он сделал фальшиво-испуганные глаза и погрозил Бревкову пальцем.

— Кирилл! Ведь ты же дал слово молчать!

Кирилл расцвел. Мистификация получилась хоть куда.

— Молчать? Но я знаю, что Анна Евграфовна женщина передовая и простит мужчинам их маленькие шалости. Тем более — больших денег это не стоило. Сколько ты тогда заплатил? Сто сорок?

— Сто сорок, — подтвердил Терентьев. — Да на чай десять рублей.

Жена переводила взоры с одного весельчака на другого и наконец убежденно воскликнула:

— Да вы врете! Хотите подшутить надо мной. Дразнитесь.

Бревков никогда не мог примириться с тем, чтобы его шутки так легко разгадывались.

— Мы шутим? Ха-ха! Ну, хорошо! Да-с, Анна Евграфовна, мы шутим! Не придавайте нашим словам значения...

Он помолчал и затем обернулся к Терентьеву:

— А знаешь, насчет этой испанки Морениты ты оказался прав!

Терентьев никогда не знал никакой испанки Морениты, но вместе с тем счел необходимым обрадоваться:

— Видишь! Я говорил, что буду прав.

— Да, да,— медленно кивнул головой Кирилл.

— Она сейчас же от тебя и поехала к этому жонглеру. Ха-ха! А ведь как уверяла тебя в своих чувствах.

Бревков ударил себя ладонью по лбу:

— Кстати! Все собираюсь спросить тебя: это ты засунул мне в карман тогда утром желтый шелковый чулок?

— Так он был у тебя? — захохотал Терентьев.

— А мы-то его искали...

Жена сидела, не шевелясь, опустив глаза.

— Вы это серьезно... господа? — спросила она странно спокойным тоном.

Кирилл Бревков вздрогнул.

— О, черт возьми! Я, кажется, наболтал лишнего! Простите, сударыня. При вас не следовало вспоминать о таких вещах...

Она вскочила.

— Вы эт-то серь-ез-но?!.

В тоне ее было что-то такое, отчего муж поежился и рассмеялся бледным смехом.

— Милая, но неужели ты не видишь, что мы шутим с самого начала? Никуда я не ездил и все время сидел дома. И с Кириллом не виделся...

Муж думал, что Бревков тоже сейчас расхохочется и успокоит жену. Но Бревков был не такой.

— Неужели вы так близко принимаете это к сердцу, Анна Евграфовна? Ну что здесь, в сущности, ужасного? Все мужья это делают и остаются по-прежнему любящими мужьями. Из-за мимолетной встречи с какой-нибудь канатной плясуньей не стоит...

Жена закрыла лицо руками, заплакала и сказала сквозь рыдания:

— Вы негодяи! Развратные подлецы...

— Кирилл! — вскочил с места Терентьев.— Перестань. Довольно! Аничка... Ведь он же это нарочно...

— Не смей ко мне прикасаться, негодяй! Я тебе не испанка!

— Сударыня! — сказал Бревков.— Он больше не будет, он исправится...

Анна Евграфовна оттолкнула мужа и ушла в спальню, хлопнув дверью.

— Началась история! — сказал муж, обескураженно почесав затылок.— И нужно было тебе выдумать такую чепуху?!.

Сидя в кресле, Кирилл Бревков хохотал, как ребенок...

III

— Анюта! А, Анюта?!. Отвори мне. Ну, брось глупить. Мы же шутили...

Молчание было ответом Терентьеву.

— Анюта, Аня! Что ты там делаешь? Открой! Кирилл хотел подтрунить над тобой, а ты и поверила... Ха-ха.

— Не лги! Хоть теперь не лги... в память наших прежних отношений. Все равно твои жалкие оправдания не помогут...

За дверью послышались рыдания. Потом все стихло. Потом дверь распахнулась, и из спальни вышла Анна Евграфовна в шляпе, с чемоданчиком в руках.

— Я уезжаю к тете. Потрудитесь не разыскивать меня — это ничему не поможет. Приготовьте Гришу ко всему этому. Мне было бы тяжело его видеть. Прощайте, Бревков.

— Анна Евграфовна,— кинулся к ней Кирилл.— Неужели вы поверили? Мы же шутили!!

Она слабо улыбнулась и покачала головой.

— Не лгите, Бревков. Дружба великое дело, но за негодяев заступаться не следует.

— Анна Евграфовна...

— Прочь!! Довольно.

Она отстранила мужа и вышла из комнаты, высоко подняв голову (еще 10 минут тому назад она решила выйти из «этого дома» с «высоко поднятой головой»).

— Чтоб тебя черти взяли, Бревков,— вырвалось у мужа совершенно искренно.— Ты еще что?! Тебе еще чего надо?

— Чего? — прищурилась вошедшая Пелагея.— А того, что изверги вы все, кровопийцы. Вам бы только вдовью кровь пить, чтобы вдове скорее в могилушку снизойти. Этого вам надо?! Да?! Пожалуйте расчет.

— С ума ты сошла? Кто твою кровь пьет?

— Да уж, поверьте!.. Посторонние люди-человеки замечают... Уходили вы меня, чтоб вам ни дна, ни покрышки! Может, мне и жить-то через вас неделька-другая осталась, да чтоб я молчала?!. Нет в вас жалости! Как же — пожалеете вы! Посторонний человек пожалеет — это верно... «Бледненькая вы, Пелагея Васильевна, скажет, хворенькая»... А вам — что? Работает на вас дура — и хорошо. Хы! хы!

Она села на пол и залилась слезами.

— Вон! — закричал Терентьев. — Вот тебе деньги, вот паспорт и проваливай. Э... да ну вас всех к черту!

Терентьев схватил шляпу, нахлобучил ее на глаза и убежал. Слышно было, как в передней хлопнула дверь.

Пелагея тоже поднялась с пола и ушла.

Уходя, поклонилась Кириллу и сказала:

— Благодарим покорно, батюшка! Хучь ты вдову пожалел!

Изумленный Кирилл почесал затылок и, бормоча что-то под нос, стал прохаживаться по опустевшей комнате...

IV

В детской послышался шорох.

Крадучись, вышел маленький Гриша, увидев Бревкова, отскочил, бросил на пол какую-то бумажку и помчался к выходу.

— Куда ты? — крикнул ему вслед Бревков.

Гриша взвизгнул на ходу:

— Убегаю! В Америку.

Кирилл поднял бумажку и прочел:

«В смерти моей прошу никого не винить. Виноват директор Уругваев. Уезжаю с Митей Косых в Америку. Примечание: не знал, как начинаются записки, и потому написал про смерть. А вообще едем в Америку. Ученик 2-го класса Григо. Терентьев».

* * *

Кирилл еще минут пять бродил по пустой квартире. Потом ему сделалось жутко.

Он оделся, вышел, запер на ключ наружную дверь и, отдавая ключ дворнику, сообщил ему:

— Терентьевы уехали за границу, а все вещи подарили тебе за верную службу. Старайся, Никифор!

И пошел по улице, усмехаясь.

ЖЕЛТАЯ ЖУРНАЛИСТИКА

Розовый молодой человек

I

Сам он розовый, пиджак на нем серый, галстук красный, а пресса, в которой он работает, — желтая.

О себе он говорит всегда искренно и веско:

— Я выколачиваю деньжишки на бульваре, чтобы его черти побрали!

— На каком бульваре?

— Газетка наша бульварная. Не понимаю, как публика читает такую мерзость?..

— А что?

— Да ведь ее, газетку эту, составляют каторжники. Вы не верите? Ей-Богу. Любой сотрудник способен на шантаж, воровство, а если вы гарантируете ему безопасность, то и на убийство. Редактор мошенник.

— Да ну?

— Без сомнения.

— Зачем же вы там работаете?

— Работа легкая. Пиши о чем хочешь, измышляй что угодно и получай деньжишки. Ей-Богу.

Я недоверчиво спросил:

— Неужели можно измыслить что угодно?

— Уверяю вас. Ну, что вы, например, хотите, чтобы завтра было о вас в газете?

Я рассмеялся.

— Напишите, что я очень люблю устриц.

— Хорошо. Устрицы, так устрицы.

На другой день я прочел, к своему удивлению, в газете, в которой работал розовый молодой человек, следующее:

АНКЕТА

Являются ли устрицы полезным блюдом?

Ввиду свирепствующей теперь эпидемии холеры мы занялись вопросом: не вредны ли в этом смысле устрицы? С этим вопросом мы и обратились к

ДОКТОРУ КОПЫТОВУ.

— Видите ли, — сказал симпатичный медик, — в сущности, устрицы являются полезным питательным блюдом, но, конечно, неумеренное их употребление может повести к нежелательным последствиям.

Спрошенная по этому же поводу популярная певица

И.О. СМЯТКИНА

сказала следующее:

— Не знаю. Я не ем устриц. Несколько раз меня хотели приучить к ним, но увы — бесплодно.

И. О. засмеялась.

После поездки в Мариенбад И. О. очень поправилась и выглядит прекрасно.

— Ну, как за границей? — спросили мы.

Она улыбнулась.

— Да ничего.

Третьим, к кому мы обратились с интересовавшим нас вопросом, был

РЕДАКТОР САТИРИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА
г. АВЕРЧЕНКО.

— Устрицы? — воскликнул г. Аверченко. — Я очень люблю их. Едва ли они могут быть вредными. Конечно, я говорю о свежих устрицах.

— Ну, как цензура... прижимает? — спросили мы редактора.

Он усмехнулся:

— Еще как!

II

При встрече со мной розовый молодой человек засмеялся, пожал мне руку и спросил:

— Читали?

— Однако! Неужели вы беседовали по этому вопросу и с доктором Копытовым и с певицей Смяткиной?

— Ребенок! Доктор живет на Васильевском острове, а дача Смяткиной в Новой Деревне. Одни извозчики стоили бы мне два рубля.

— А... как же вы?..

— Да ничего. Сам. Им же лучше. Все-таки реклама. И я свое заработал. Спасибо вам за устрицы. Хотите, еще что-нибудь сделаем?

— Нет, благодарю вас. А скажите,— спросил я,— вы с действительными происшествиями тоже так делаете?

— Нет... Там нужно быть лично. Вы свободны сейчас?

— Да. А что?

— Тут один человечек застрелился. Я поеду взглянуть — хотите со мной?

— Гм... Пожалуй.

Мы поехали.

Застрелившийся «человечек» лежал на столе, но я интересовался не им, а розовым молодым человеком...

К нам вышла женщина средних лет с ввалившимися глазами и смертельно бледным лицом.

— А, здравствуйте... Позвольте представиться: сотрудник петербургских газет. А это, так — мой знакомый. Очень приятно! Ну, как поживаете?

Женщина вынула платок из кармана и, отвернувшись, прошептала:

— Как видите. Единственный сын был. Вся надежда! Да не выдержало молодое сердце...

— Гм... Действительно... Бывает... Записочку оставил?

— Мне... письмо... «дорогой маме»...

— Так, так. Можно полюбопытствовать?

— На что?

— На письмецо. Я отдам потом.

— Что вы! Это моя самая святая теперь вещь...

— Самая святая? Ага!

Молодой человек вынул записную книжку и отметил: «Самая святая,— сказала нам мать».

— Благодарю вас. Еще вопросик: когда вы вбежали в комнату — застали сынка в агонии или как?

Мать закрыла лицо руками.

— Мертвый уже был.

— Значит, агонии уже не застали? Экая жалость! А какая система?

— Чего?

— Револьвера.

— Не заметила я. Не до того было...

— Да, скажите, гм... вам, конечно, очень жалко покойника?

— Сына-то?!!

— Да, да... сына... конечно. Я это понимаю. Ну, а скажите: у вас все-таки осталось еще немного детей?

Я вскочил и схватил за руку розового молодого человека.

— Пойдем отсюда!

— Сейчас, сейчас. А позвольте полюбопытствовать, сударыня: а кухарка не видела агонии вашего сынка?

— Извините... мне тяжело говорить об этом...

— А-а... спасибо. Гм!.. Делает вам честь...

Он положил на колено записную книжку и отметил:

— «Мать убита горем. Тяжелые воспоминания. Система неизвестна».

— Еще вопросик: вы очень удивились, в первый момент, когда застали его лежащим на полу вместо постели?

Я схватил его за руку и потащил.

III

В тот же вечер он повез меня в театр на премьеру пьесы, о которой ему предстояло дать рецензию... Когда мы приехали — только что кончился четвертый акт и оставался пятый.

— Посмотрим пятый? — спросил я.

— Не стоит. С кем это вы раскланялись?

— Знакомый. А что?

— Спросите его, как пьеса?

Я подошел к знакомому и вступил с ним в разговор.

Тут же, в фойе, в одном шаге от нас, стал розовый молодой человек и, с видом скучающего ротозея, принялся рассматривать витрину с портретами актеров.

— Пьеса? Как вам сказать... Пьеса из тех, которые принято называть «сценичными». Фабула бессодержательна, но автор опытен и это его спасает. И сюжет стар! Акробаты благотворительности — об этом еще писал Григорович. Декорации хорошие, а постановка неважная... Очень интересна была в роли Евгении — Баранская. Остальные так себе. Положим, по первому спектаклю нельзя судить...

Со стороны фотографической витрины до меня донесся шепот:

— Спросите: вызывали ли автора?

— А автора вызывали? — спросил я.

— Он не был в театре. Нездоров, что ли. Простуда, кажется.

Розовый молодой человек неожиданно обернулся ко мне и сказал:

— Ну, я поеду. Еще в редакцию нужно успеть. Прощайте.

* * *

На другое утро в той же самой газете, где была анкета об устрицах, я прочел рецензию о новой пьесе:

— «Еще популярный писатель Григорович касался наболевшего вопроса об «акробатах благотворительности», этих фальшивых исковерканных ложью и ханжеством людях. Ту же тему положил в основание пьесы и автор «Сливок общества». Правда, сюжет не нов, но сценическая опытность и знание театральных вкусов публики спасли на этот раз произведение автора. Разыграна была пьеса, за исключением г-жи Баранской, давшей цельный искренний образ, — очень, как говорится, «так себе». Хотя все старались, не исключая и суфлера. Впрочем, по первому спектаклю нельзя судить... Постановка нам не понравилась. Что это сделалось с режиссером Агеевым? Спасли положение декорации, действительно, прекрасные и сделанные с большим вкусом. Публика пыталась вызывать автора, но — увы — его в театре не было. Тяжелая форма гастрита приковала талантливого автора «Сливок» к постели. Ах, уж этот петербургский климат!»

КОЕ-ЧТО О БЛИЗОРУКОСТИ

I

Хотя близорукость — физический недостаток, и хотя над физическими недостатками смеяться не принято, но я думаю, что несколько слов о близорукости мне можно сказать.

Постараюсь не хихикать, не подсмеиваться над несчастными, обиженными природой людьми, тем более, что сам я близорук очень сильно и сам я перенес из-за этого много неприятностей и огорчений, о которых дальнозоркие люди и не слыхивали.

Вообще, дальнозоркие люди не могут себе представить, что такое близорукость, а близорукие смотрят на дальнозорких как на что-то чудесное, непонятное и загадочное.

Однажды я мельком слышал такой разговор:

— Видите вы на той крыше кошку? Что это она там делает у водосточной трубы?

— Кошку? Я не вижу даже самой крыши!

— Как не видите? Вот эта большая, красная.

— Я вижу что-то красненькое, но, признаться, думал, что это флаг.

— Флаг?! Вы, наверно, притворяетесь... Просто дурачите меня.

— А я так, откровенно говоря, уверен, что это вы подсмеиваетесь надо мной. Я никак не могу понять, как это можно видеть на таком расстоянии кошку?

— Да? А вот вы убейте меня — я не пойму, как это на таком расстоянии можно не увидеть кошки! Она вся, как на ладони. Видите, лапой что-то скребет...

— Ха-ха! Может быть, она блоху поймала? Вы блохи не видите? Ну, признайтесь — ведь вы выдумали вашу кошку?

Так они долго говорили на разных языках.

Часто близорукие обладают странным свойством: тщательно скрывать свой недостаток. И из-за этого происходит много недоразумений, и многие попадают в неловкое положение.

Вы сидите в ресторане и неожиданно замечаете какого-то нового господина, который только что вошел в комнату. Вы не уверены — знаете вы его, или нет. Лицо его сливается издали в бледное туманное пятно, на котором неясно отмечается один глаз и какая-то черная повязка поперек лица.

Вы начинаете мучительно размышлять:

— Знаком он вам или нет?

Сомнения рассеиваются: новоприбывший сделал вам приветственный знак рукой, и вы, чувствуя, что он смотрит прямо на вас, меняете бессмысленное выражение лица на приветливо радостное, вскакиваете с места и спешите к нему.

И, по мере приближения к этому господину, вы замечаете, что на его туманном, будто расплющенном, лице появляется второй, недостававший ранее, глаз, а черная трагическая повязка, которая казалась вам результатом какого-нибудь телесного повреждения,— на самом деле — черные густые усы. И на расстоянии двух шагов от него вы уже начинаете сомневаться — знаком ли он вам, а через один шаг уже уверены в том, что видите его в первый раз...

Но на вашем лице застыла первоначальная радостно-приветливая улыбка и вы так и не успели согнать ее, а не-

знакомец уже заметил ваше поведение, заметил эту, такую глупую по своей ненужности, радостную улыбку, и смотрит на вас с чувством изумления и растерянности.

Чтобы рассеять как-нибудь это тяжкое глупое положение, вы, сохраняя на лице ту же глупейшую улыбку, глядите куда то вдаль, делаете кому-то приветственные знаки, хотя впереди вас, кроме притворенной двери, никого нет, проскальзываете мимо незнакомца и в растерянности выпиваете у буфета рюмку водки, которая так противна после съеденных вами трубочек с кремом...

Еще более тяжелое впечатление получается, когда вы входите в ресторан, битком набитый публикой.

Проходя среди длинного ряда столиков, за которыми сидят странные люди без носов, глаз и губ, вы видите, что некоторые из них, как будто, при виде вас зашевелились и кланяются вам. Тогда вы, чтобы не показаться невежливым и, вместе с тем, не попасть в глупое положение, слегка наклоняете голову, делая что-то среднее между поклоном и отмахиванием от севшей на лоб мухи. А на лице блуждает та же бессмысленная неопределенная улыбка, и хочется скорее проскользнуть мимо этой проклятой публики со стертыми белыми пятнами, вместо лиц, — тем более, что сзади вы ясно слышите дружеский голос, позвавший вас по имени.

Вы хотите улизнуть, но тот же голос еще раз ясно и настойчиво окликает вас и — здесь наступает самый трагический момент: вы поворачиваетесь, с глупой улыбкой посматриваете на расплывшийся ряд столов и недоумеваете — с какого же стола слышался голос? На всякий случай, дружески киваете головой толстому брюнету, подносящему ко рту какое-то желтое пятно (вино? яичница? платок?), в то самое время, как сзади вас дергают за фалды и говорят:

— Да здесь мы, здесь! Вот чудак? Неужели, ты нас не видишь? Иди к нам.

«Неужели, не видишь?!.» Да, конечно же, не вижу! Господи...

II

Многие, вероятно, испытывалн чувство, когда уронишь на пол пенсне и немедленно же попадаешь в положение человека, которому завязали глаза.

Человек, уронивший пенсне, прежде всего, как ужаленный, отскакивает от этого места, потому что боится раздавить ногами пенсне, отходит в самый дальний угол комнаты, становится на колени и начинает осторожно ползти, шаря по грязному полу руками. Его поиски облегчились бы, если бы на носу было пенсне, но для этого его надо найти, а найти пенсне, не имея его на носу — затруднительно, тяжело и хлопотливо.

Хорошо, если вблизи находится дальнозоркий человек. Он с молниеносной быстротой найдет пенсне, но при этом не упустит случая облить своего несчастного друга и брата — такого же человека, как и он — ядом снисходительного презрения и жалости.

— Да где ты ищешь? Вот же оно! Эх, ты! Слепая курица!

Я часто замечал, что дальнозоркие люди презирают нас и не прочь, если подвернется случай, подшутить, посмеяться над нами.

Один знакомый потащил меня в театр и там сделал меня целью самых недостойных шуток и мистификаций... А я даже и не замечал этого.

Сначала он не знал, что я близорук, и открылось это лишь благодаря простой случайности. В антракте после первого действия мы стояли в ложе бельэтажа, и мой знакомый рассматривал публику партера. Я стоял около и равнодушно обводил глазами тусклые белые пятна лиц, смутно проплывавших перед моими глазами.

— Смотрите, — сказал мой знакомый, дергая меня за руку. — Вот новый французский посланник!

— Где?!

— Вот видите — внизу, около той ложи, в которой сидит декольтированная дама в сером.

Я хотел сознаться, что не вижу ни дамы, ни ложи, но боязнь бестактных насмешек и разговоров удержала меня от этого.

Я наклонился через барьер, бросил бессмысленный взгляд на опущенный занавес и с деланным оживлением воскликнул:

— Ах, вижу, вижу. Вот он.

— Да не туда! Вы совсем не туда смотрите... Влево, около второй ложи.

Я покорно повернул голову влево и, стараясь, чтобы он не проследил направление моего бесцельного взгляда, сказал:

— Ага! Вот он. Теперь я его узнал.

— Удивительно! Он только что сейчас скрылся в проходе. Как же вы могли его узнать?

— Да вы про кого говорите? — смущенно спросил я. — Про того высокого в белых брюках, который стоит около оркестра?

— В белых брюках? — ахнул мой собеседник. — Протрите глаза! Там стоит господин, но цвета брюк его не видно, потому что его заслоняет дама в белом платье. Послушайте... Вы дьявольски близоруки!?..

Я стал энергично отрицать это, и мое нахальство обидело его.

Он помолчал и через минуту, вглядываясь в толпу, шевелившуюся внизу, сказал:

— Вот идет ваш знакомый Петрухин. Он кланяется вам. Почему же вы не отвечаете ему?

Я перевесился через барьер и неопределенно закивал головой, закланялся, заулыбался.

— Смотрите, — тронул меня за плечо знакомый. — Вдова Мурашкина с дочерьми — вон, видите, в ложе что-то говорит о вас... Почему-то укоризненно грозит вам пальцем...

— Вероятно, — подумал я, — я им не поклонился, а Мурашкины никогда не прощают равнодушия и гордости.

Раскланялся я и с Мурашкиными, хотя никого из них не видел.

В этот вечер мой знакомый тронул меня до слез своей заботливостью: он беспрестанно отыскивал глазами людей, которые, по его словам, делали мне приветственные знаки, слали дружеские улыбки, и всем им я, со своей стороны, отвечал, раскланивался, улыбался, принимая при этом такой вид, что замечаю их всех и без указаний моего знакомого...

А когда мы возвращались из театра, этот пустой ничтожный человек неожиданно расхохотался и заявил, что он всё выдумывал: ни одного знакомого в театре не было, и я по его указаниям посылал все свои улыбки, поклоны и приветствия черт знает кому — или незнакомым людям или гипсовым украшениям на стенах театра.

Я назвал этого весельчака негодяем, и с тех пор ни одна душа не услышит от меня о нем доброго слова. Наглец, каких мало.

Вообще, театры пугают меня после одного случая: однажды я приехал в театр с опозданием — к началу второго действия и, впопыхах, сбросив пальто на руки капельдинера у вешалки, ринулся к дверям. Но капельдинер бешенно взревел, бросил мое пальто на пол, догнал меня и схватил за шиворот.

— Как вы смеете, черт возьми? — крикнул он.

Оказалось, что это был полковник генерального штаба, приехавший за минуту до меня и только что раздевшийся у вешалки.

Мы стали ругаться, как сапожники, и я заявил, что пойду сейчас к околоточному составить на него протокол. Я побежал по каким-то коридорам, после долгих поисков нашел околоточного и, задыхающимся голосом, сказал:

— Меня оскорбили, г. околоточный. Прошу составить протокол.

— Убирайтесь к черту! — завопил он. — Какой я вам околоточный?

Когда я рассмотрел его — он оказался тем же полковником генерального штаба, на которого я снова наткнулся в полутьме.

Изрыгая проклятия, я опять побежал, нашел околоточного (уже настоящего) и, приведя его на место нашей схватки, указал на стоявшего у вешалки полковника:

— Вот он. Ругал меня, оскорблял. Арестуйте его.

И поднялся страшный крик и суматоха. Офицер назвал меня, в конце концов, идиотом, и я не спорил с ним, потому что, после десятиминутных пререканий, выяснилось, что это другой офицер, а тот первый давно уже ушел.

Все ругали меня: офицер, околоточный, капельдинеры... Было скучно и неприветливо.

III

Однажды я изменил своим убеждениям.

Будучи прогрессистом, я, вообще, держусь того взгляда, что с домашней прислугой обращаться должно строго, и хотя и вежливо, но без тени фамильярности. Иначе прислуга портится.

В один дождливый вечер я зашел к знакомым. Радостно всей гурьбой высыпали знакомые в переднюю встретить меня, и я стал дружески со всеми здороваться.

Седьмое рукопожатие предстояло мне проделать с молодой барышней в кокетливом переднике, но едва я протянул ей руку, — она спряталась назад и ни за что не хотела здороваться, хихикая и конфузясь. Сбитый с толку, недоумевающий, я настаивал, искал ее руку, а хозяева смущенно засмеялись и объяснили, что она — горничная.

Была преотчаянная минута всеобщего молчания и неловкости.

Не зная, что мне делать, я сказал:

— Всё равно! Я всё-таки хочу с ней поздороваться. Она такой же человек, как и мы, и, право, давно уже пора разрушить эти нелепые сословные перегородки!..

Так как я настаивал, то горничная протянула мне руку, но немедленно после этого расплакалась и убежала.

Теперь я слыву среди знакомых чудаком, толстовцем, народником.

А когда я прихожу в тот дом, где мне случилось поздороваться с горничной, то, к великому изумлению новых гостей, здороваюсь с этой горничной, лакеем и швейцаром.

Иногда в передней сталкиваюсь с кучером, пришедшим за приказаниями. Здороваюсь и с ним.

— Ах, он такой оригинал, — говорят обо мне хозяева.

Так говорят они, дальнозоркие люди.

Никогда им не понять близорукого человека!.. Боже ты мой...

ВАСИЛИСЫ ТЕМНЫЕ

Многие утверждают, что в прежние времена нравы были грубее, суровее, что жестокость была самым ярким качеством наших предков. Как на иллюстрацию этого, указывают на факт из жизни князя Василия Темного: поймали князя Василия родные братья и выжгли ему глаза. После этого ослепленный князь стал знаменит под именем Василия Темного, а история заклеймила поступок братьев, назвав его варварским, жестоким, бесчеловечным...

Можно согласиться с тем, что это были жестокие, варварские времена, но радоваться, что эти времена уже прошли, преждевременно и легкомысленно.

Многие не знают того, что в наши дни, в наш культурный добросердечный век жестокие братья нашли целую армию последователей и под покровом тайны эти дикари совершают грубо и безнаказанно свои ужасные, леденящие кровь операции. Тягостнее всего то, что вместо крепких, терпеливых мужчин они выискивают своих жертв среди нежных, кротких девушек и без жалости и милосердия фабрикуют целые легионы Василис Темных, которые бродят потом по свету, жалкие, незрячие, незнающие — куда им приткнуться и что им делать?

Бродят эти Василисы Темные по свету и мстят за себя другим — ослепляя всех подвернувшихся, так же грубо и так же жестоко...

Ужасный век.

* * *

У родителей девицы Василисы собрались однажды гости, — народ все внешне культурный, изысканный, но таящий под этим наружным блестящим слоем самые разнузданные жестокие инстинкты...

Сидят и разговаривают мирно, тихо, с видом самых закоренелых интеллигентов.

Среди разговора хозяйка дома вдруг встает и с улыбкой поворачивается к девушке Василисе, своей единственной, горячо любимой дочери:

— Васенька... Может быть, ты что-нибудь споешь нам?

— Хорошо, мама.

Василиса встает; подкрадывается к пианино и, схватив с этажерки лист бумаги, начинает кричать. Все понимают, что пианино стояло, никого не задевая, что оно ни в чем не виновато и поэтому незачем на него кричать и бить его кулаками по зубам... Да если даже предположить, что этот инструмент — обвиняемый, а Василиса читает ему по бумажке обвинительный акт, — даже в этом случае прокурор не должен кричать во все горло и набрасываться с кулаками на преступника.

Избитый, оплеванный, униженный инструмент громко и жалобно рыдает, разъяренная Василиса кричит на него, а гости сидят, не шевелясь, и никому не придет в голову вмешаться в эту историю.

Наконец судебная ошибка сделана, инструмент осужден, и Василиса, успокоившись и как будто даже стыдясь своей горячности, замолкает... застенчиво мнет в руках обвинительный акт...

Гостям нужно было бы тактично промолчать, а они встают, окружают Василису и начинают лениво мямлить:

— Очень мило! Оч-чень прекрасно! У вас несомненный талант. Вам нужно идти на сцену.

Невидимые ножи сверкают в их руках, они тычут этими ножами в ясные, красивые Василисины глазки, и — свершается страшное дело: девушка Василиса делается Василисой Темной! Дикари в смокингах ослепили ее...

* * *

Мать всплескивает руками.

— Так вы думаете, у нее есть талант?

— О, помилуйте!

— И ваше мнение таково, что ей нужно идти на сцену?

— Конечно! Заправской артисткой будет.

Василиса Темная сидит в кресле и мечтательно улыбается.

— Мама... слышишь? Я буду артисткой.

— Слышу, дочка.

— В таком случае, я начну серьезно учиться. Слышишь, мама?

— Да, милая. Я горжусь тобой!

— Я так счастлива, мама.

И она кротко улыбается..

О! когда ослепляли Василия Темного, он, наверное, ревел как бык. Недаром говорят, что женщины терпеливее переносят боль, чем мужчины.

На другой день Василиса Темная одевается во все лучшее и отправляется к профессору пения.

— Что вам угодно? — спрашивает профессор, критически всматриваясь в ее незрячие глаза.

— Я хочу серьезно заняться пением. Вчера один знакомый — Сергей Сергеич — сказал, что у меня хороший голос.

Профессор усмехается, но она не видит этого — Василиса Темная.

— Сергей Сергеевич сказал? Так... Тогда, конечно... Ну-ка, спойте что-нибудь.

Василиса Темная открывает рот и начинает кричать, глядя в угол незрячими глазами.

— Гм...— говорит нерешительно профессор.— Конечно, всякий голос можно обработать, но требуется такая уйма труда и усилий...

— Я вам заплачу две тысячи рублей! — поспешно заявляет Василиса Темная.

— О, в таком случае...

Ее ослепили... Ослепляет и она. На каждый профессорский глаз накладывается куча кредиток — и вторая жертва людской бестолковости начинает кричать дуэтом вместе с Василисой Темной.

* * *

Через год Василиса Темная надевает лучшее платье и идет к оперному антрепренеру.

— Я хочу к вам поступить.

— А ну-ка, изобразите что-нибудь.

Очевидно, Василисе Темной не нравится фамильярный тон антрепренера, потому что она накидывается на него и начинает кричать.

— Помилуйте,— бормочет антрепренер смущенно. — Зачем же кричать? Простите, если я что-нибудь...

— Да это я не кричу на вас. Это я спела на пробу.

— Ага! Вот оно что... У нас, видите ли, певиц полный штат. Больше не надо.

— Ничего,— успокаивает его Василиса Темная. — Одна лишняя певица не помешает. Каких-нибудь пятьсот рублей в месяц.

— Нет, не надо.

— Ну, я т а к пока буду петь, бесплатно.

— Да нет, не надо.

— Ну, я вам буду платить пятьсот рублей. Мне бы только выступить...

Антрепренер сразу делается Василием Темным. Мужественно превозмогая боль в ослепленных глазах, он торопливо говорит:

— О! В таком случае — пожалуйте.

Выйдя от антрепренера, Василиса Темная садится на извозчика и едет к рецензенту бульварной газеты.

— Чем могу служить?

— Я певица... завтра мой дебют в опере. Нельзя ли...

— Можно. Знаете, какое на западном побережье Америки несчастье случилось? Страшное наводнение! Тысячи туземцев остались без крова... осиротевшие семьи... Потрясающая вещь!..

— Ну?

— Собираю пожертвования. Не дадите ли? Триста.

Василису Темную, профессора пения и антрепренера ослепляли другие. Самоотверженный рецензент мужественно и бестрепетно стремится ослепиться сам...

Утром меломаны покупают газету и читают:

— «Первый дебют молодой певицы Василисы Темной прошел с громадным успехом. У нас есть несомненные данные утверждать, что из нее выработается первоклассная певица с редким по красоте тембра голосом».

Меломан не догадывается, что это за «несомненные данные». Взор его постепенно теплеет, меркнет, и к вечеру — глаза совершенно слепнут.

К началу спектакля в театр набирается целая толпа Василиев Темных.

— Читали? — спрашивают они друг друга. — Очень хвалят Василису Темную.

— Да, да... Очень любопытно послушать.

И после первого же акта поднимается неимоверный рев:

— Браво, Василиса Темная! Бис!

Визжит Василиса Темная, ревут Василии Темные, а полицейский пристав важно развалился в своем кресле и не знает, что у него под носом свершается тягчайший позор нашего культурного века: ослепление зрячих оптом и в розницу.

Да, уж это даже в правило вошло: полиция всегда узнает о злодеяниях последняя.

ПОД ЛУЧОМ ЗДРАВОГО СМЫСЛА

Посвящаю человечеству

Однажды в военное министерство одной страны явился человек с хитрым лукавым лицом и сказал:

— Дайте мне какого-нибудь понимающего господинчика. Я сделаю ему очень важное сообщение...

— В чем — понимающего? — спросили его.

— В воздухоплавании! Я сделал новое важное открытие в военном воздухоплавании и хочу продать это открытие. Оно произведет переворот в военном деле и совершенно изменит способы ведения войны! Кто купит у меня этот секрет — у того будет громадное, поражающее преимущество перед противником. Война должна кончиться победой обладателя моей выдумки! Вот что-с.

Все очень обрадовались и повели изобретателя к генералу.

Генерал тоже обрадовался, усадил изобретателя в кресло и спросил:

— В чем заключается ваше изобретение?

— Я придумал тип дирижабля, который может держаться в воздухе сто часов, который подымает на себе целую роту солдат и который не боится ни дождя, ни противного ветра, ни бури. Не купите ли?

И, взяв с генерала честное слово, что тот не злоупотребит его доверчивостью, изобретатель показал все свои планы и чертежи.

— Да! — сказал генерал, просмотрев чертежи.— Вы правы... Это именно так, как вы говорите! Сколько вы хотите за это изобретение?

— Миллион.

— Прекрасно! — воскликнул генерал, целуя его.— Вот вам ассигновка на казначейство. Ровно миллион. Большое вам спасибо! Если придумаете еще что-нибудь — приходите.

— А у меня еще есть что-то для вас,— подмигнул незнакомец, и его лицо засветилось лукавством.— Штучка, достойная удивления!

— А... что такое?

— Я изобрел пушку, которая легко подшибает на лету придуманный мною дирижабль, так что он вверх тормашками шлепается на землю. Спасения дирижаблю от моей пушки нет!

— Слушайте! — поморщился генерал.— Это что-то странное... Как вам, право, не стыдно? Придумали такой хороший, прекрасный дирижабль и вдруг — против него пушку! Это даже, простите, неделикатно.

— Ничего не вижу тут неделикатного,— усмехнулся незнакомец.— Согласитесь сами, что военная техника и способы борьбы с неприятелем должны все время совершенствоваться,

все время шагать вперед, не застывая на одном месте. Мой дирижабль — ужасная вещь! Должно же быть придумано против него какое-нибудь противоядие.

— Гм... Конечно, это так, но не совсем; я еще понимаю, если бы вашу пушку выдумал кто-нибудь другой, пришел бы к нам и предложил купить...

— Господи! — всплеснул руками незнакомец. — Будто бы это не все равно. Ну, легче ли вам будет, если я сейчас выйду за двери, срежу свои усы, повяжу иначе галстук, войдя, снова поздороваюсь и сделаю вид, что я совершенно другой человек, который сроду вас не видывал. Хотите, я это сделаю?

Генералу стало стыдно, потому что он был человек неглупый, не любящий пустых детских игр.

— Вы правы, — сказал он. — Ничего не поделаешь. Мы должны купить вашу ужасную пушку, потому что вы можете продать ее кому-нибудь другому — это ваше право. Сколько?

— Миллион.

Генерал расплатился с изобретателем, похлопал его по плечу и восторженно сказал:

— А вы очень способный человек!

— Еще бы, — засмеялся изобретатель. — Я очень способный.

— Да, ей-Богу, придумать такую ужасную, грозную пушку...

Изобретатель скромно возразил:

— Ну, уж и ужасную... Вы мне льстите. Особенно ужасного в ней ничего и нет.

— Как нет? Насколько я понял по чертежам...

— Да! Она, действительно, страшна для этого ужасного дирижабля. Но...

Он снова опустился в кресло и, хитро прищурившись, бросил косой взгляд на генерала.

—... Но что вы скажете, если я вам открою маленький, очень полезный для вас секрет: я придумал для дирижабля такую прекрасную крепкую оболочку (мой секрет!), которую моя пушка даже и не поцарапает!..

Генерал схватился за голову.

— С ума вы хотите меня свести, что ли. Это низко, некрасиво, нечестно делать такие вещи!

Незнакомец нахмурился.

— Я никогда не делаю бесчестных вещей. Вы ни в чем не можете меня упрекнуть. Плох мой дирижабль? Прекрасен! Пушка плоха? Еще лучше дирижабля!!

— Да, но вы могли сразу предложить мне вашу непробиваемую оболочку!

— Зачем же? — хладнокровно возразил изобретатель. — Развитие военного дела и способов ведения войны должно совершаться нормально и постепенно. Скачков не должно быть!

Потом оба — и генерал, и изобретатель — сидели молча минут пять. Генерал думал, изобретатель курил сигару.

Генерал хотел опять возразить, что уж лучше было бы, если бы секрет оболочки сообщил какой-нибудь другой человек, но, боясь, что незнакомец снова пообещает выйти за двери и, сбрив усы, явиться новым человеком, генерал тяжело вздохнул и сказал:

— Сколько?

— Миллион.

— Возьмите полмиллиона.

— В другом месте мне дадут два миллиона, — пожал плечами изобретатель.

— О, Господи! Вот человек!.. Ну, ладно. Берите еще миллион. Разоряйте нас!

Незнакомец получил деньги, пожал генералу руку и сделал шаг к выходу.

— Послушайте! — остановил его генерал, и в лице его читалось колебание. — Вы действительно уверены, что ваша оболочка дирижабля непробиваема?

Незнакомец лукаво усмехнулся.

— Моей пушкой? Без сомнения, непробиваема.

— Так что относительно оболочки я могу быть спокоен?

— О, да.. Если не будут изобретены новые сложные ядра, особо разрушительной силы...

— А они не будут изобретены? — вздрогнул генерал.

— Будут.

— Владыка небесный! Когда?!

— Они уже изобретены!

— Кем?

— Мною.

— О, черт!.. Чего же вы молчали.

— Да я и не молчу. Я и говорю вам откровенно: ядра такие будут. Они придуманы мною.

Генерал злобно засмеялся.

— И конечно, вы предложите продать нам эти новые ядра... Да? А когда мы у вас купим ядра, вы улыбнетесь

всей своей отвратительной рожей и намекнете, что у вас есть еще одна броня, самого непроницаемого качества, — против этих ядер... Да?

— Да, — согласился незнакомец.

— И продадите ее за свой идиотский миллион, а потом придумаете новые ядра?!

— Без сомнения.

Генерал вырвал клок из своей головы и заревел:

— Что б вы пропали, проклятый! Вы завели нас в такой тупик, в котором вся наша страна завязнет, разорится и погибнет. Скажите, кто вы такой?! Скажите ваше имя, чтобы мы могли проклинать его на всех перекрестках?!

Незнакомец вскочил. Его умное, освещаемое раньше лукавой усмешкой лицо было нахмурено, а нижняя губа обиженно тряслась.

— Можете ругать меня сколько угодно, — сказал он. — От этого вы не сделаетесь умнее, а я — ниже. Имени своего я вам не назову, а если бы вы были посообразительнее, то сразу догадались бы, что я — воплощенная Логика, ходячий Здравый Смысл на двух ногах!! У вас слабый ум, и вы не можете сразу охватить им и понять, что — безразлично, разорится ли ваша страна на вооружения в десять лет или в десять минут... К вам пришел человеческий гений, явился настоящий Здравый Смысл — и вы готовы, убогий вы человек, надавать ему оплеух!! Конечно, мне, простому Здравому Смыслу, делать в вашем деле нечего! Всякий разоряется по своему вкусу и темпераменту. У вас не хватает даже темперамента, чтобы разориться сразу, без хлопот. Прощайте-с!!

И, оглушительно хлопнув дверью, незнакомец выбежал из военного министерства указанной выше страны.

ЧЕРНЫЕ ДНИ

(*Посвящаю И.М. Хейфецу*)

I

Я с самого раннего детства слышал эту фразу:

— Надо откладывать на черный день!

Но, насколько я помню, в детстве у меня было о черном дне совсем иное представление, чем теперь. Черный день

рисовался мне таким: случилось солнечное затмение, и среди белого дня наступила черная ночь. Тогда перепуганное человечество вынимает из комодов деньги, отложенные на этот случай, и начинает лихорадочно их тратить... Одного только не мог я в то время взять в толк: что за интерес человечеству тратить скопленные деньги именно в такое мрачное, суетливое, суматошливое время; и потом мне казалось, что черный день, когда ни зги не видно, мог являться непреодолимым препятствием для размена швыряемых денег... Разве что зажигали бы свечи.

В настоящее время я знаю, как и все другие взрослые читатели, что черный день может наступить даже при солнечной, яркой погоде, и затмение здесь ни при чем; знаю, что черные дни почти никогда не налетают внезапно, а подкрадываются медленно, ехидно и осторожно, успевая еще перед своим появлением высосать содержимое комодов, кошельков и старых чулков.

Один знакомый спросил меня:

— Сколько вы зарабатываете?

Я сказал.

— Ого! Много откладываете на черный день?

— Да ничего не откладываю.

— Это безрассудно! — сказал строго знакомый. — Сейчас вы молоды, здоровы, сильны и, работая много, зарабатываете еще больше. Но вдруг вы заболеете? Вдруг потеряете трудоспособность? Да что там болезнь?.. В один прекрасный день вы попадаете под автомобиль, калечитесь и — что с вами будет?

Я опечалился... Призадумавшись, тихо отвечал:

— Я... буду стараться... ходить по тротуарам.

— Да я насчет автомобиля к примеру сказал. А на тротуаре вам на голову сверху свалится кирпич и пробьет череп, как спелый орех.

Сердце мое похолодело... Положение было отчаянное, безвыходное: на мостовой меня подстерегали страшные, бешеные автомобили, а на тротуарах кирпичи валились именно с таким расчетом, чтобы изувечить мою бедную, никому не делавшую вреда голову.

— Хорошо! — воскликнул я, с лицом, искаженным тяжелым предчувствием. — С этого момента буду откладывать на черный день.

II

Через два дня, пересчитывая в бумажнике деньги, я нашел, что из них я могу без всякого для себя ущерба отложить на черный день пятьдесят рублей.

Сделал я это так: отложил в сторону две двадцатипятирублевки, потом помахал ими в воздухе и поспешно засунул в пустое, среднее отделение бумажника.

— Отложено! — сказал я громко.— На черный день.

Ровно через двое суток наступил черный день. О его цвете не могло быть у всего человечества двух мнений: он был, именно черный. С утра одна очень симпатичная, прекрасная лицом и душой дама сказала, что для нее будет большим удовольствием, если мы поедем на несколько часов за город на автомобиле... В кармане у меня была только пятирублевка и два серебряных рубля. День немедленно съежился, потом потускнел, потом потемнел и, наконец, сделался таким черным, что я еле мог найти в бумажнике отложенные на этот случай деньги.

На другое утро после катанья я встретился с экономным знакомым. Он первый вспомнил о нашем разговоре и спросил:

— Откладываете?

— Откладывал. Да подвернулся, знаете, черный день... Катались с Марьей Герасимовной за городом... Понадобились деньги...

Он всплеснул руками.

— Бог мой! Да какой же это черный день?!

Я сконфузился.

— Вы там что-то такое... предостерегали, кажется, насчет автомобилей и их вреда...

— Ну?

— И вы были совершенно правы!! Это животное съело почти все мои сбережения за два дня.

Он долго и вразумительно объяснял мне, что такое черные дни и почему отсутствие денег на наем автомобиля не может считаться автомобильной катастрофой.

Мне кажется, я понял его.

Теперь для меня начнется новая жизнь: я буду трудиться, как вол, и накоплю уйму денег.

Через неделю я уже мог отложить в среднее отделение бумажника сто рублей.

III

Какой-то порочный, без всяких нравственных устоев человек украл мое пальто, и я был принужден отыскивать способы к приобретению нового.

В кармане у меня лежало сто рублей, но я, удобно усевшись в кресло, вступил сам с собой в резкий оживленный спор.

— Нет! — сказал я сам себе.— Раз ты скопил эти деньги на черный день — ты не имеешь права их тратить.

Мое благоразумное «я» возразило:

— А откуда же ты возьмешь денег на пальто?

— Откуда? — подхватило легкомысленное «я».— Да очень просто! Возьми авансом часть жалованья. Все равно, скоро месяц кончается.

— Да? — язвительно прищурилось благоразумное «я».— А не все ли тебе равно, если ты возьмешь эти деньги у посторонних людей или сам у себя? Первое еще хуже хотя бы в том отношении, что ты просишь, клянчишь, унижаешься и вызываешь у кассира косые взгляды.

Легкомысленное «я» заерзало на месте и, припертое к стене, сердито стукнуло кулаком по столу:

— Тогда на кой же черт это откладывание денег «на черный день»?! Какая-то кукольная комедия...

— Да ведь мы первого числа, получив жалованье, пополним эту невольную растрату.

— Нет,— сказало легкомысленное «я».— Это уже не то.

— Да почему не то?

— Да так, что-то такое чувствуется — не то. Собирали, собирали, а тут какие-то займы... Среднее отделение бумажника пустеет на целых две недели...

— Да пойми ж ты, что здесь ли, там ли возьмем — все равно из одного кармана!!

— Нет,— заладило легкомысленное «я».— Так-то оно так, а все как будто не то. Скопили и сейчас же забрали... Стоит после этого собирать?..

— Вот и поговори ты с таким человеком! Русским языком мы тебе говорим, что деньги эти вернутся первого числа из жалованья! Могу тебе в этом поручиться.

— Ты можешь? — едко ухмыльнулось мое легкомысленное «я».— А я так, представь, не могу...

Благоразумное «я» на этот раз победило, но, к моему удивлению, правым оказалось в конце концов легкомысленное «я». Первого числа я действительно получил три сотенных бумажки, но сейчас же сделал глупость: мне нужно было сейчас же вернуть сторублевку среднему отделению бумажника, а я не вернул, отложив это до завтра, «тем более», как сказал я сам себе, «ты человек взрослый и, надеюсь, понимаешь, что нет, по существу, никакой разницы между тем — лежит ли бумажка в среднем или крайнем отделении бумажника»...

Ах! Разница была.

Я платил вечером за квартиру и каким-то образом оторвал у оставшейся сторублевки солидный угол, так, рублей на тридцать пять... Небольшим уголком я поужинал, еще угол целиком ушел на поездку в «Аквариум», и утром я держал в руках оборванную, обгрызанную середину — так, рублей двенадцать.

Легкомысленное «я» ядовито хохотало и, кривляясь, подмигивало смущенному благоразумному «я».

— Что? Ручалось?! Хе-хе... Уж я знаю... Уж если тронешь заповедную деньгу — конец ей...

IV

— Ну, что? Откладываете?..

— Да...— смутился я, не глядя на неугомонного знакомого.— Откладывал... Но — что прикажете делать... Понадобилось, я и...

— Да вы где их держали?

— А? Тут же, в бумажнике... Только в среднем отделении.

— Ни-ни! Ни в каком случае! Деньги не должны быть около вас! Нужно делать так, чтобы вам было трудно их достать... Повертитесь, повертитесь, плюнете, махнете рукой, да и обойдетесь как-нибудь без них.

На этот раз я был уверен, что понял его... Пошел в магазин и сказал приказчику.

— Дайте мне копилку... Только прочную. Такую, чтобы нельзя было ее сломать.

Я купил ее. Была она прочная, тяжелая и вместительная. Я принес ее домой, опустил в отверстие сорок рублей и потом, вынув ключ, вышел из дому.

— Извозчик! На пристань.

На пристани я нашел лодку, выехал на средину реки и, вынув из кармана какой-то предмет, нерешительно повертел его в руках.

— Гм... Может быть, не бросать? А вдруг — пригодится... Нет! Нет!!

Я размахнулся и без колебаний швырнул в воду предмет, находившийся у меня в руках. Он, как ключ, пошел ко дну.

Да, признаться, это и был ключ. От копилки.

Облегченный, радостный, вернулся я домой.

Две недели золотым и серебряным дождем сыпались деньги в копилку.

К исходу третьей недели я однажды вечером взял в руки копилку и стал ее трясти, держа щелью вниз. Но проклятые мастера сделали внутри около щели какие-то закорючки таким образом, что монета никак не могла выскочить обратно.

Я поставил копилку на место и два дня бродил бледный, как тень, грустный.

Может быть, это было мое личное мнение, но дни казались мне черными... Я взял копилку, понес ее в кухню, повалил на пол и стал колотить по ней обухом топора... Копилка даже не поморщилась. Я стучал по ней лезвием, пинал ее ногами, топтал железным ломом — кроме нескольких царапин, она осталась неуязвимой.

Пришла даже мне в голову мысль: взорвать эту машину динамитом. Но я побоялся шума, грохота и скандала.

В тот же вечер я сделал шаг, который при некоторых осложнениях мог бы грозить мне каторгой. Так как слесарные мастерские были уже закрыты, я обернул проклятую кассу в платок и потащил на конец города, где проходил железнодорожный путь. Подкрался к рельсам, положил на одну из них кассу и стал дожидаться в канаве прохода поезда...

Поздно вечером мы ужинали с Марьей Герасимовной в «Аквариуме», и при расплате лакей попросил меня переменить одну из золотых монет, которая, по его словам, была «как будто жеваная»...

V

Я отправился в сберегательную кассу и обратился к чиновнику:

— Можно у вас вносить деньги на сбережение?

— Можно.

— Прекрасно. Я буду вносить, но если я приду когда-нибудь требовать их — вы мне не давайте...

— Этого мы не имеем права.

— Да скажите просто: нет в кассе денег. Все якобы истрачены.

— Этого нельзя. В кассе деньги всегда должны быть.

— Почему? Ну скажите просто вашим сторожам, чтобы они вывели меня. А если я буду упираться, настаивать и требовать вклад обратно, отдуйте меня просто палкой.

— Вы с ума сошли! Кто же нам позволит расправляться палкой с клиентами?!

— Так какая же это тогда сберегательная касса?! Эх вы!

Я ушел, резко хлопнув дверью.

После этого я отправился к своему экономному знакомому и спросил его совета. Положение казалось мне безвыходным.

Он пожевал конец уса, постучал пальцами о стол и неожиданно предложил мне:

— Знаете что? Отдавайте деньги мне. А я человек крепкий... И если вы даже в ногах у меня будете валяться, прося деньги на какой-нибудь вздор, я вам не дам ни грошика.

— Правда? — обрадовался я.— О, как я буду вам благодарен.

С души моей свалился камень.

На другой день я встретился со своим благодетелем и вручил ему первые шестьдесят рублей.

Он одобрительно кивнул головой, сунул их в карман и сказал:

— Прекрасно! А теперь зайдем в ресторан — я угощу вас ужином и бутылочкой-другой винца.

Мы зашли. Во все время ужина я сидел, восторженный, светлый и строил планы, как у меня накопится много денег и я буду чувствовать себя независимым человеком.

Когда ему подали счет, он вынул мои деньги и бросил на стол двадцатипятирублевку.

— Постойте! — изумился я. — Зачем же вы расплачиваетесь моими деньгами?!

Он усмехнулся.

— Эх вы! Дитя! Не все ли равно... Ну, я не захватил с собой денег, а потом приду домой и пополню.

— Ах, так!..

VI

До сих пор я собрал уже около двух тысяч, и все они лежат у моего экономного, благоразумного знакомого.

Он не солгал. Его сердце оказалось тверже скалы.

Несколько раз я пробовал вымаливать у него небольшие суммы, но — увы — все было безуспешно.

— На что вам? — говорил он. — На букеты, театры, костюмы да финтифлюшки разные? Это, батенька, на черный день!

Недавно я захворал тифом. Денег при себе у меня не было... Я с радостью вспомнил о своих сбережениях и, в одну из минут сознания, попросил у навестившего меня знакомого небольшую сумму.

— Ну вот, — слабо улыбаясь, пролепетал я, когда он приехал ко мне, — и наступили черные дни... Лежу я, одинокий, горю в огне, в бреду, а денег нет. Теперь-то уж вы дадите, я думаю?

— Ни-ни, — благосклонно ответил он. — Ни в коем случае. Это еще, батенька, не черный день. Вы лежите в больнице и, так или иначе, но за вами ухаживают. Ничего! Отлежитесь. Вот если бы вам отрезало поездом обе ноги или хватил паралич... Тогда другое дело.

Я действительно отлежался.

После тифа у меня было два черных, по моему мнению, дня: я остался без работы и без денег, а потом у меня случилось что-то с почками, и доктора настоятельно требовали, чтобы я ехал на Кавказ.

В эти черные дни я два раза приступал с просьбами к моему казначею, но он не находил моих черных дней черными...

— Э, нет, батенька... И не думайте! Не дам! Вот если бы вас изранило упавшим на голову аэропланом, или выскочивший в зверинце из клетки лев помял бы вас как следует, — вот это я понимаю! Да-а!.. Это черные дни!

Теперь я сижу и с ужасом думаю:

— Странно! А что, если так-таки у меня никогда и не будет черных дней?!



РАССКАЗЫ (ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ) КНИГА ПЕРВАЯ (1910)

весёлые устрицы



ПОЭТ

— Господин редактор,— сказал мне посетитель, смущенно потупив глаза на свои ботинки,— мне очень совестно, что я беспокою вас. Когда я подумаю, что отнимаю у вас минутку драгоценного времени, мысли мои ввергаются в пучину мрачного отчаяния... Ради бога, простите меня!

— Ничего, ничего,— ласково сказал я,— не извиняйтесь.

Он печально свесил голову на грудь.

— Нет, что уж там... Знаю, что обеспокоил вас. Для меня, не привыкшего быть назойливым, это вдвойне тяжело.

— Да вы не стесняйтесь! Я очень рад. К сожалению, только ваши стишки не подошли.

— Э?

Разинув рот, он изумленно посмотрел на меня.

— Эти стишки не подошли?!

— Да, да. Эти самые.

— Эти стишки?! Начинающиеся:

Хотел бы я ей черный локон
Каждое утро чесать
И, чтоб не гневался Аполлон,
Ее власы целовать...

Эти стихи, говорите вы, не пойдут?!

— К сожалению, должен сказать, что не пойдут именно эти стихи, а не какие-нибудь другие. Именно начинающиеся словами:

Хотел бы я ей черный локон...

— Почему же, господин редактор? Ведь они хорошие.

— Согласен. Лично я очень ими позабавился, но... для журнала они не подходят.

— Да вы бы их еще раз прочли!

— Да зачем же? Ведь я читал.

— Еще разик!

Я прочел в угоду посетителю еще разик и выразил одной половиной лица восхищение, а другой — сожаление, что стихи все-таки не подойдут.

— Гм... Тогда позвольте их... Я прочту! «Хотел бы я ей черный локон...»

Я терпеливо выслушал эти стихи еще раз, но потом твердо и сухо сказал:

— Стихи не подходят.

— Удивительно. Знаете что: я вам оставлю рукопись, а вы после вчитайтесь в нее. Вдруг да подойдет.

— Нет, зачем же оставлять?!

— Право, оставлю. Вы бы посоветовались с кем-нибудь, а?

— Не надо. Оставьте их у себя.

— Я в отчаянии, что отнимаю у вас секундочку времени, но...

— До свиданья!

Он ушел, а я взялся за книгу, которую читал до этого. Развернув ее, я увидел положенную между страниц бумажку.

Прочел:

Хотел бы я ей черный локон...
Каждое утро чесать
И, чтобы не гневался Аполл...

— Ах, черт его возьми! Забыл свою белиберду... Опять будет шляться! Николай! Догони того человека, что был у меня, и отдай ему эту бумагу.

Николай помчался вдогонку за поэтом и удачно выполнил мое поручение.

В пять часов я поехал домой обедать.

Расплачиваясь с извозчиком, сунул руку в карман пальто и нащупал там какую-то бумажку, неизвестно как в карман попавшую.

Вынул, развернул и прочел:

Хотел бы я ей черный локон
Каждое утро чесать
И, чтоб не гневался Аполлон,
Ее власы целовать... и т. д.

Недоумевая, как эта штука попала ко мне в карман, я пожал плечами, выбросил ее на тротуар и пошел обедать.

Когда горничная внесла суп, то, помявшись, подошла ко мне и сказала:

— Кухарка чичас нашла на полу кухни бумажку с написанным. Может, нужное.

— Покажи.

Я взял бумажку и прочел:

— «Хотел бы я ей черный ло...» Ничего не понимаю! Ты говоришь, в кухне, на полу? Черт его знает... Кошмар какой-то!

Я изорвал странные стихи в клочья и в скверном настроении сел обедать.

— Чего ты такой задумчивый? — спросила жена.

— Хотел бы я ей черный ло... Фу ты черт!! Ничего, милая. Устал я.

За десертом — в передней позвонили и вызвали меня... В дверях стоял швейцар и таинственно манил меня пальцем.

— Что такое?

— Тсс... Письмо вам! Велено сказать, что от одной барышни... Что оне очень, мол, на вас надеются и что вы их ожидания удовлетворите!..

Швейцар дружелюбно подмигнул мне и хихикнул в кулак.

В недоумении я взял письмо и осмотрел его. Оно пахло духами, было запечатано розовым сургучом, а когда я, пожав плечами, распечатал его, там оказалась бумажка, на которой было написано:

Хотел бы я ей черный локон...

Все от первой до последней строчки.

В бешенстве изорвал я письмо в клочья и бросил на пол. Из-за моей спины выдвинулась жена и в зловещем молчании подобрала несколько обрывков письма.

— От кого это?

— Брось! Это так... глупости. Один очень надоедливый человек.

— Да? А что это тут написано?.. Гм... «Целовать»... «каждое утро»... «черты... локон...» Негодяй!

В лицо мне полетели клочки письма. Было не особенно больно, но обидно.

Так как обед был испорчен, то я оделся и, печальный, пошел побродить по улицам. На углу я заметил около себя

мальчишку, который вертелся у моих ног, пытаясь всунуть в карман пальто что-то беленькое, сложенное в комочек. Я дал ему тумака и, заскрежетав зубами, убежал.

На душе было тоскливо. Потолкавшись по шумным улицам, я вернулся домой и на пороге парадных дверей столкнулся с нянькой, которая возвращалась с четырехлетним Володей из кинематографа.

— Папочка! — радостно закричал Володя.— Меня дядя держал на руках! Незнакомый... дал шоколадку... бумажечку дал... Передай, говорит, папе. Я, папочка, шоколадку съел, а бумажечку тебе принес.

— Я тебя высеку,— злобно закричал я, вырывая из его рук бумажку со знакомыми словами: «Хотел бы я ей черный локон»...— ты у меня будешь знать!..

Жена встретила меня пренебрежительно и с презрением, но все-таки сочла нужным сообщить:

— Был один господин здесь без тебя. Очень извинялся за беспокойство, что принес рукопись на дом. Он оставил ее тебе для прочтения. Наговорил мне массу комплиментов (вот это настоящий человек, умеющий ценить то, что другие не ценят, меняя это то — на продажных тварей) и просил замолвить словечко за его стихи. По-моему, что ж, стихи как стихи... Ах! Когда он читал о локонах, то так смотрел на меня...

Я пожал плечами и пошел в кабинет. На столе лежало знакомое мне желание автора целовать чьи-то власы. Это желание я обнаружил и в ящике с сигарами, который стоял на этажерке. Затем это желание было обнаружено внутри холодной курицы, которую с обеда осудили служить нам ужином. Как это желание туда попало — кухарка толком объяснить не могла.

Желание чесать чьи-то волосы было усмотрено мной и тогда, когда я откинул одеяло с целью лечь спать.

Я поправил подушку. Из нее выпало то же желание.

* * *

Утром после бессонной ночи я встал и, взявши вычищенные кухаркой ботинки, пытался натянуть их на ноги, но не мог, так как в каждом лежало по идиотскому желанию целовать чьи-то власы.

Я вышел в кабинет и, севши за стол, написал издателю письмо с просьбой об освобождении меня от редакторских обязанностей.

Письмо пришлось переписывать, так как, сворачивая его, я заметил на обороте знакомый почерк:

Хотел бы я ей черный локон...

ЗДАНИЕ НА ПЕСКЕ

I

Я сидел в уголку и задумчиво смотрел на них.

— Чья это ручонка? — спрашивал муж Митя жену Липочку, теребя ее за руку.

Я уверен, что муж Митя довольно хорошо был осведомлен о принадлежности этой верхней конечности именно жене Липочке, а не кому-нибудь другому, и такой вопрос задавался им просто из праздного любопытства...

— Чья это маленькая ручонка?

Самое простое — жене нужно было бы ответить:

— Мой друг, эта рука принадлежит мне. Неужели ты не видишь сам?

Вместо этого жена считает необходимым беззастенчиво солгать мужу прямо в глаза:

— Эта рука принадлежит одному маленькому дурачку.

Не опровергая очевидной лжи, муж Митя обнимает жену и начинает ее целовать. Зачем он это делает, Бог его знает.

Затем муж бережно освобождает жену из своих объятий и, глядя на ее неестественно полный живот, спрашивает меня:

— Как ты думаешь, что у нас будет?

Этот вопрос муж Митя задавал мне много раз, и я каждый раз неизменно отвечал:

— Окрошка, на второе голубцы, а потом — крем.

Или:

— Завтра? Кажется, пятница.

Отвечал я так потому, что не люблю глупых, праздных вопросов.

— Да нет же! — хохотал он. — Что у нас должно родиться?

— Что? Я думаю, лишенным всякого риска мнением будет, что у вас скоро должен родиться ребенок.

— Я знаю! А кто? Мальчик или девочка?

Мне хочется дать ему практический совет: если он так интересуется полом будущего ребенка, пусть вскроет столовым ножиком жену и посмотрит. Но мне кажется, что он будет немного шокирован этим советом, и я говорю просто и бесцельно:

— Мальчик.

— Ха-ха! Я сам так думаю! Такой большущий, толстый, розовый мальчуган... Судя по некоторым данным, он должен быть крупным ребенком... А? Как ты думаешь... Что мы из него сделаем?

Муж Митя так надоел мне этими вопросами, что я хочу предложить вслух:

— Котлеты под морковным соусом.

Но говорю:

— Инженера.

— Правильно. Инженера или доктора. Липочка! Ты показывала уже Александру свивальнички? А нагрудничков еще не показывала? Как же это так?! Покажи.

Я не считаю преступлением со стороны Липочки ее забывчивость и осторожно возражаю:

— Да зачем же показывать? Я после когда-нибудь увижу.

— Нет, чего там после. Я уверен, тебя это должно заинтересовать.

Передо мной раскладываются какие-то полотняные сверточки, квадратики.

Я трогаю пальцем один и робко говорю:

— Хороший нагрудничек.

— Да это свивальник! А вот как тебе нравится сия вещь?

Сия вещь решительно мне нравится. Я радостно киваю головой:

— Панталончики?

— Чепчик. Видите, тут всего по шести перемен, как раз хватит. А колыбельку вы не видели?

— Видел. Три раза видел.

— Пойдемте, я вам еще раз покажу. Это вас позабавит.

Начинается тщательный осмотр колыбельки.

У мужа Мити на глазах слезы.

— Вот тут он будет лежать... Большой, толстый мальчишка. «Папочка, — скажет он мне, — папочка, дай мне карамельку!» Гм... Надо будет завтра про запас купить карамели.

— Купи пуд,— советую я.

— Пуд, пожалуй, много,— задумчиво говорит муж Митя, возвращаясь с нами в гостиную.

Рассаживаемся. Начинается обычный допрос:

— А кто меня должен поцеловать?

Жена Липочка догадывается, что этот долг всецело лежит на ней.

— А чьи это губки?

Из угла я говорю могильным голосом:

— Могу заверить тебя честным словом, что губы, как и все другое на лице твоей жены, принадлежат именно ей!

— Что?

— Ничего. Советую тебе сделать опись всех конечностей и частей тела твоей жены, если какие-нибудь сомнения терзают тебя... Изредка ты можешь проверять наличность всех этих вещей.

— Друг мой... я тебя не понимаю... Он, Липочка, кажется, сегодня нервничает. Не правда ли?.. А где твои глазки?

— Эй! — кричу я.— Если ты нащупаешь ее нос, то по левой и правой стороне, немного наискосок, можешь обнаружить и глаза!.. Не советую даже терять времени на розыски в другом месте!

Вскакиваю и не прощаясь ухожу. Слышу за своей спиной полный любопытства вопрос:

— А чьи это ушки, которые я хочу поцеловать?..

II

Недавно я получил странную записку:

«Дорог Александ Сегодня она, кажется, уже! Ты понимаешь?.. Приходи, посмотрим на пустую колыбельку она чувствует себя превосход. Купил на всякий слу. карамель. Остаюсь твой счастливый муж, а вскорости и счастли. отец!!!?! Ого-го-го!!»

«Бедняга помешается от счастья»,— подумал я, взбегая по лестнице его квартиры.

Дверь отворил мне сам муж Митя.

— Здравствуй, дружище! Что это у тебя такое растерянное лицо? Можно поздравить?

— Поздравь,— сухо ответил он.

— Жена благополучна? Здорова?

— Ты, вероятно, спрашиваешь о той жалкой кляче, которая валяется в спальне? Они еще, видите ли, не пришли в себя... ха-ха!

Я откачнулся от него.

— Послушай... ты в уме? Или от счастья помешался?

Муж Митя сардонически расхохотался:

— Ха-ха! Можешь поздравить... пойдем, покажу.

— Он в колыбельке, конечно?

— В колыбельке — черта с два! В корзине из-под белья!

Ничего не понимая, я пошел за ним и, приблизившись к громадной корзине из-под белья, с любопытством заглянул в нее.

— Послушай! — закричал я, отскочив в смятении. — Там, кажется, два!

— Два? Кажется, два? Ха-ха! Три, черт меня возьми, три!! Два наверху, а третий куда-то вниз забился. Я их свалил в корзину и жду, пока эта идиотка акушерка и воровка нянька не начнут пеленать...

Он утер глаза кулаком. Я был озадачен.

— Черт возьми... Действительно! Как же это случилось?

— А я почем знаю? Разве я хотел? Еще радовался, дурак: большой, толстый мальчишка!

Он покачал головой.

— Вот тебе и инженер!

Я попробовал утешить его.

— Да не печалься, дружище. Еще не все потеряно...

— Да как же! Теперь я погиб...

— Почему?

— Видишь ли, пока что я лишился всех своих сорочек и простынь, которые нянька сейчас рвет в кухне на пеленки. У меня забрали все наличные деньги на покупку еще двух колыбелей и наем двух мамок... Ну... и жизнь моя в будущем разбита. Я буду разорен. Всю эту тройку негодяев приходится кормить, одевать, а когда подрастут — учить... Если бы они были разного возраста, то книги и платья старшего переходили бы к среднему, а потом к младшему... Теперь же книги нужно покупать всем вместе, в гимназию отдавать сразу, а когда они подрастут, то папирос будут воровать втрое больше... Пропало... все пропало... Это жалкое, пошлое творение, когда очнется, попросит показать ей

ребенка, а которого я ей предъявлю? Я думаю всех вместе показать — она от ужаса протянет ноги... как ты полагаешь?

— Дружище! Что ты говоришь! Еще на днях ты спрашивал у нее: «А чья это ручка? Чьи ушки?»

— Да... Попались бы мне теперь эти ручки и губки! О, черт возьми! Все исковеркано, испорчено... Так хорошо началось... Свивальнички, колыбельки... инженер...

— Чем же она виновата, глупый ты человек? Это закон природы.

— Закон? Беззаконие это! Эй, нянька! Принеси колыбельки для этого мусора! Вытряхивай их из корзины! Да поставь им на спине чернилами метки, чтобы при кормлении не путать... О, Господи!

Выходя, я натолкнулся в полутемной передней на какую-то громадную жестяную коробку. Поднявши, прочел:

«Детская карамель И. Кукушкина. С географическими описаниями для самообразования».

ЛЕНТЯЙ

На скамейке маленького заброшенного сквера бок о бок со мной сидел человек.

Этот человек сразу обратил на себя мое праздное внимание, отчасти своей нелепой позой, отчасти же не менее нелепым и странным поведением... Он сидел, скорчившись, подняв колени в уровень с лицом и запрятав руки в карманы брюк. На одной ноге у него лежала развернутая книга, которую он читал, лениво водя по строкам полузакрытыми глазами. Дочитав страницу, он не переворачивал ее, а поднимал глаза кверху и начинал смотреть на маленькую, ползущую по небу тучку или переводил взгляд на металлическую решетку сквера.

Легкий весенний ветерок ласково налетал на нас, шевелил полы моего пальто, шевелил сухие прошлогодние листья у наших ног и переворачивал страницу книги моего зазевавшегося соседа.

Услышав шелест перевернутой страницы, сосед вновь опускал глаза на книгу и продолжал читать ее с благодушно-сонным видом.

Но, перевернув таким образом несколько страниц, ветерок превратился в ветер и, дунув на нас, свалил книгу с колен сидевшего около меня господина.

Господин скользнул равнодушным взглядом по валявшейся на дорожке книге и, закрыв глаза, задремал.

— Послушайте... Эй! Слушайте... у вас упала книга,— сказал я, дергая его за рукав.

Он открыл глаза и задумчиво посмотрел на книгу.

— Да. Упала.

— Так надо бы ее поднять!

Он обернулся ко мне, и в его сонных глазах засветилась хитрость.

— Не стоит вставать из-за этого... И вы сидите... Кто-нибудь другой поднимет.

— Да почему же? — удивился я.

В этот момент из-за поворота показалась женщина в платке, с корзинкой в руках. Поравнявшись с нами, она увидела книгу, инстинктивно наклонилась и сказала, поднимая ее:

— Книжечка, господа, упала!

После чего положила ее на скамейку и, недоумевающе посмотрев на нас, пошла дальше.

Мой сосед открыл сонные глаза и подмигнул мне:

— Видите! Говорил я вам.

— Неужели вам было трудно самому поднять книгу?

— А вы думаете — легко!

Я разговорился с ним.

Около меня сидел Лентяй, такой чистокровный и уверенный в своей правоте Лентяй, каких мне до сих пор не приходилось видывать.

— В сущности говоря,— жаловался он мне,— на человека взвалена в жизни масса работы! Он должен пить, есть, одеваться, умываться, а если он религиозный, то и молиться Богу... Я уже не говорю о том обидном факте, что это даже не считается работой. Вы подумайте! *Кроме всего этого, он еще должен работать!* Миленькая планета, черти бы ее разодрали по экватору надвое!

— Как же вы живете? — спросил я.

— Какая же это жизнь,— простонал он.— Это мучение.

Наморщив брови, он, с явным желанием ошеломить меня, сказал:

— Представьте себе: вчера я должен был ехать к портному заказывать костюм!

Так как я остался равнодушным, то он продолжал:

— Да... заказывать костюм! Чтоб он лопнул по всем швам! Выбирать материю, подкладку, снимать мерку...

Я не выразил ему никакого сочувствия.

— Поднимите, говорит, руки! Снимите пиджак... Не горбитесь, вытяните ногу! А? Как это вам нравится...

— Жизнь ваша ужасна! — серьезно сказал я. — Отчего бы вам не покончить ее самоубийством?

Он откровенно сказал:

— Я уже думал об этом... Но понимаете, такая возня с этими дурацкими крюками, веревками... А тут еще эти письма писать... поздравительные, или как их там, что ли... Повозился, повозился, так и бросил.

Он поднял глаза к небу и сказал:

— Ах, черт возьми! Солнце уже заходит... Не можете ли вы сказать мне, который час?

— Мои стоят, — сказал я, взглянув на часы.

— Э, чтоб она пропала, эта преподлая планетишка! Крутится, крутится, а чего — и сама не знает.

— Часы можно проверить в магазине напротив сквера, — посоветовал я.

— Можно, — сказал он, ласково посмотрев на меня.

Я встал.

— Я пойду, посмотрю.

— Ах, мне так совестно затруднять вас! — воскликнул он, не вынимая рук из карманов. — Может быть, подождем прохожего, спросим у него.

Возвратившись, я нашел его в той же позе.

— Без двадцати семь!

— Что вы говорите! Чтоб это бабье попалил небесный огонь!

— Какое бабье?

— Да мне нужно сейчас в Александровский сад.

— Прекрасно! — сказал я. — Я тоже собираюсь туда. Отправимтесь вместе.

Лентяй не обрадовался, а умоляюще посмотрел на меня.

— Ради Бога! Не могли ли бы вы оказать мне одну огромную услугу... Раз вы идете в Александровский сад, то это так кстати... А уж я вам потом чем-нибудь отплачу... Тоже схожу куда-нибудь... Или нет! лучше подарю очень забавную вещицу: китайский портабак... А?..

— Сделайте одолжение! — сконфузился я. — Я и так...

— Вот что... На третьей скамейке боковой аллеи будет сидеть барышня в сиреневой шляпе. Это — моя невеста. Я ее очень люблю, и мы назначили свидание друг другу...

— Так отчего же вам не пойти! — вскричал я, пораженный.

Он виновато улыбнулся.

— Я лучше здесь посижу. Знаете, придешь — расспросы разные, ласки... ухаживать за ней нужно, занимать разговором... Это страшно утомительно... чтоб они треснули, эти романы! А потом нужно провожать ее домой... Я уж лучше после когда-нибудь.

— Что же ей сказать? — угрюмо спросил я.

— Скажите, что я болен, что у меня температура... что доктора с ног сбились...

— А если она все-таки захочет видеть вас?

— Скажите, что у меня заразительная форма. Может быть, она испугается.

Пожав плечами, я протянул ему руку.

— До свиданья!

— Всего хорошего... Вот мой адрес... Очень буду рад, если зайдете! К невесте вы успеете как раз... теперь около семи часов.

Он вынул часы. Я воскликнул:

— Оказывается, у вас есть часы?!

— Да, — добродушно подтвердил он. — А что?

— Ничего... Прощайте!

Барышню я нашел в указанном месте.

Подойдя, раскланялся и вежливо сказал:

— Я от вашего жениха. Он болен и прийти не может!

— Как болен?! Да я его видела сегодня утром...

— Но сейчас он в опасном положении... У него... гм... температура.

— Какая температура?

— Такая, знаете... высокая! Что-то градусов сорок. Должен вам сообщить тяжелую весть: он лежит!

— Да он всегда лежит! Как только дома, так и лежит.

— Он страшно убивался, что не может вас видеть. Поставил себе термометр и говорит мне...

— Он поставил себе термометр? — строго спросила барышня.

— Да... знаете, Реомюра, такой никелиро...

— Сам поставил?

Я покраснел.

— Сам.

Она посмотрела мне в глаза.

— Зачем же вы лжете? Он сам никогда не мог бы сделать этого... Боже! Что это за человек? Нет, довольно! Передайте ему, чтобы он и на глаза мне не показывался!

— Если вы хотите ему насолить, то прикажите показываться вам на глаза три раза в день,— посоветовал я.— При его лени это лучший способ мщения.

Она рассмеялась.

— Ну, ладно. Скажите ему, чтобы он приехал завтра с утра. Мы поедем с ним по магазинам.

— Так его! — жестко проворчал я.

Расстались мы друзьями.

Я стал бывать у Лентяя, и между нами возникла какая-то странная дружба. При встречах я ругал его, на чем свет стоит, а он добродушно улыбался и говорил:

— Ну, бросьте... ну, стоит ли... ну, охота...

Вчера я зашел к Лентяю и застал его по обыкновению лежащим в кровати.

Около него валялась масса изорванной газетной бумаги и пальто, очевидно, снятое и брошенное на пол впопыхах, по возвращении с обычной прогулки в сквере. Лентяй повернул ко мне голову и радостно сказал:

— А-а, это вы! Признаться, я уже жду вас с полчаса...

— А что случилось?

— Не можете ли вы оказать мне одну дружескую услугу?

— Пожалуйста!

— Нет, мне, право, совестно! Я так всегда затрудняю вас.

— Да говорите! Если это для меня возможно...

— Я знаю, это вас затруднит...

— Э, черт! Вы меня больше затрудняете вашими переговорами!.. Скажите, что вам нужно?

— Не могли ли бы вы дать мне зонтик, который стоит в углу в передней?

— Что это вы! Неужели на вас дождь каплет?

— Нет, но проклятый портсигар, чтоб ему лопнуть вдоль и поперек, завалился за кровать.

— Ну?

— А в зонтике есть ручка с крючком. Я зацеплю его и вытащу.

— Так лучше просто засунуть руку за кровать.

Он почтительно посмотрел на меня.

— Вы думаете?

Я достал ему портсигар и спросил:

— Что это за бумага валяется вокруг вас?

— Газетная. Дурак Петр, чтоб ему кипеть на вечном огне, забыл на кровати разостланную сегодняшнюю газету.

— Ну?

— А я пришел и лег сразу на кровать. Потом захотелось прочесть газету, да уж лень было вставать...

— Ну?

— Так я вот и обрывал ее по краям. Оторву кусочек, прочту и брошу. Очень, знаете ли, удобно. Только вот с фельетоном я немного сбился. Как раз на середке его лежу.

Я открыл рот, чтобы обрушиться на него градом упреков и брани, но в это время в открытое окно ворвался чей-то отчаянный пронзительный крик.

Мы оба вздрогнули, и я подскочил к окну.

На воде канала, находившегося в двадцати шагах от дома, барахтался какой-то темный предмет, испуская отчаянные крики... На почти безлюдном в это время берегу бестолково бегали какая-то женщина и мальчишка из лавочки... Они махали руками и что-то визжали.

— Человек тонет! — в ужасе обернулся я к Лентяю.

Под ним будто пружина развернулась.

— Э, проклятый! — подбежал он к окну. — Конечно, тонет, чтоб его перерезало вечерним поездом!

И, сбросив пиджак, он камнем вывалился из окна. У Лентяя был такой вид, что, будь окно в третьем этаже, он вывалился бы из него так же поспешно. К счастью, квартира Лентяя была в первом этаже.

Помедлив минуту, я выпрыгнул вслед за ним и помчался к берегу.

Лентяй был уже в воде. Он плыл к барахтавшемуся человеку и кричал ему:

— Как можно меньше движений! Делайте как можно меньше движений!

Я уверен, что этот совет он давал просто из присущей ему лени.

Но сам Лентяй на этот раз обнаружил несвойственную ему энергию и сообразительность. Через пять минут мы уже вытаскивали на берег плачущего извозчика, который имел глупость упасть в канал, и моего Лентяя,— безмолвного, мокрого, как умирающая мышь.

Зубы у него были стиснуты и глаза закрыты.

Извозчик сидел на берегу и всхлипывал, а какой-то подошедший лавочник наклонился к лежащему Лентяю, пощупал его и сказал, снимая фуражку:

— Шабаш! Кончилась христианская душа!

— Как кончилась? — в смятении воскликнул я.— Не может быть! Он отойдет... Мы его спасем... Братцы! Помогите отнести его в квартиру... Он тут же живет... тут...

Мокрый извозчик, баба, лавочник и мальчишка подняли тело Лентяя и, предводительствуемые мною, с трудом внесли в его квартиру.

Вся компания взвалила его на кровать, дружно перекрестилась и тихонько на цыпочках вышла, оставив меня с телом одного.

Тело пошевелилось. На меня глянул хитрый глаз Лентяя:

— Ушли? — спросил он.

— Боже! Вы живы!! А я думал...

— Вы извините, что я вас затруднил. Мне просто не хотелось мокрому возвращаться на своих ногах, и я думаю: пусть это дурачье, чтоб их перевешали, понесет меня на руках. Я вас не затрудню одной просьбой?

— Что такое?

— Нажмите кнопку, которая над моей головой! Хотя мне, право, совестно...

СЛАВНЫЙ РЕБЕНОК

I

Проснувшись, мальчик Сашка повернулся на другой бок и стал думать о промелькнувшем, как сон, вчерашнем дне.

Вчерашний день был для Сашки полон тихих детских радостей: во-первых, он украл у квартиранта полкоробки красок и кисточку, затем, пристав описывал в гостиной мебель и, в-третьих, с матерью был какой-то припадок удушья... Звали доктора, пахнущего мылом, приходили соседки; вместо скучного обеда все домашние ели ветчину, сардины и балык, а квартиранты пошли обедать в ресторан — что было тоже неожиданно любопытно и не похоже на ряд предыдущих дней.

Припадок матери, кроме перечисленных веселых минут, дал Сашке еще и практические выгоды: когда его послали в аптеку, он утаил из сдачи двугривенный, а потом забрал себе все бумажные колпачки от аптечных бутылочек и коробку из-под пилюль.

Несмотря на кажущуюся вздорность увлечения колпачками и коробочками, Сашка — прехитрый мальчик. Хитрость у него чисто звериная, упорная, непоколебимая. Однажды квартирант Возженко заметил, что у него пропал тюбик с краской и кисть. Он стал запирать ящик с красками в комод и запирал их таким образом целый месяц. И целый месяц, каждый день после ухода квартиранта Возженко, Сашка подходил к комоду и пробовал, заперт ли он? Расчет у Сашки был простой — забудет же когда-нибудь Возженко запереть комод...

Вчера как раз Возженко забыл сделать это.

Сашка, лежа, даже зажмурился от удовольствия и сознания, сколько чудес натворит он этими красками. Потом Сашка вынул из-под одеяла руку и разжал ее: со вчерашнего дня он все время носил в ней аптекарский двугривенный и спать лег, раздевшись одной рукой.

Двугривенный, влажный, грязный был здесь.

II

Полюбовавшись двугривенным, Сашка вернулся к своим утренним делишкам.

Первой его заботой было узнать, что готовит мать ему на завтрак. Если котлеты — Сашка поднимет капризный крик и заявит, что, кроме яиц, он ничего есть не может. Если же яйца — Сашка поднимет такой же крик и выразит самые определенные симпатии к котлетам и отвращение к «этим паршивым яйцам».

На тот случай, если мать, расщедрившись, приготовит и то и другое, Сашка измыслил для себя недурную лазейку: он потребует оставшиеся от вчерашнего пира сардины.

Мать он любит, но любовь эта странная — полное отсутствие жалости и легкое презрение.

Презрение укоренилось в нем с тех пор, как он заметил в матери черту, свойственную всем почти матерям: иногда за пустяк, за какой-нибудь разбитый им бокал, она поднимала такой крик, что можно было оглохнуть. А за что-нибудь серьезное, вроде позавчерашнего дела с пуговицами, — она только переплетала свои пухлые пальцы (Сашка сам пробовал сделать это, но не выходило — один палец оказывался лишним) и восклицала с легким стоном:

— Сашенька! Ну, что же это такое? Ну, как же это можно? Ну, как же тебе не стыдно?

Даже сейчас, натягивая на худые ножонки чулки, Сашка недоумевает, каким образом могли догадаться, что история с пуговицами — дело рук его, Сашки, а не кого-нибудь другого?

История заключалась в том, что Сашка, со свойственным ему азартом, увлекся игрой в пуговицы... Проигравшись дотла, он оборвал с себя все, что было можно: штанишки его держались только потому, что он все время надувал живот и ходил, странно выпячиваясь. Но когда фортуна решительно повернулась к нему спиной, Сашка задумал одним грандиозным взмахом обогатить себя: встал ночью с кроватки, обошел, неслышно скользя, все квартирантские комнаты и, вооружившись ножницами, вырезал все до одной пуговицы, бывшие в их квартире.

На другой день квартиранты не пошли на службу, а мать долго, до обеда, ходила по лавкам, подбирая пуговицы, а после обеда сидела с горничной до вечера и пришивала к квартирантовым брюкам и жилетам целую армию пуговиц.

— Не понимаю... Как она могла догадаться, что это я? — поражался Сашка, натягивая на ногу башмак и положив по этому случаю двугривенный в рот.

III

Отказ есть приготовленные яйца и требование котлет заняло Сашкино праздное время на полчаса.

— Почему ты не хочешь есть яйца, негодный мальчишка?

— Так.
— Как — так?
— Да так.
— Ну, так знай же, котлет ты не получишь!
— И не надо.

Сашка бьет наверняка. Он с деланной слабостью отходит к углу и садится на ковер.

— Бледный он какой-то сегодня,— думает сердобольная мать.

— Сашенька, милый, ну, скушай же яйца! Мама просит.
— Не хочу! Сама ешь.
— А, чтоб ты пропал, болван! Вот вырастила идиота...

Мать встает и отправляется на кухню.

Съев котлету, Сашка с головой окунается в омут мелких и крупных дел.

Озабоченный, идет он прежде всего в коридор и, открыв сундучок горничной Лизаветы, плюет в него. Это за то, что она вчера два раза толкнула его и пожалела замазки, оставшейся после стекольщиков.

Свершив акт правосудия, идет на кухню и хнычет, чтобы ему дали пустую баночку и сахару.

— Для чего тебе?
— Надо.
— Да для чего?
— Надо!
— Надо, надо... А для чего надо? Вот — не дам.
— Дай, дура! А то матери расскажу, как ты вчера из графина для солдата водку отливала... Думаешь, не видел?
— На, чтоб ты пропал!

Желание кухарки исполняется: Сашка исчезает. Он сидит в ванной и ловит на пыльном окне мух. Наловив в баночку, доливает водой, насыпает сахар и долго взбалтывает эту странную настойку, назначение которой для самого изобретателя загадочно и неизвестно.

IV

До обеда еще далеко. Сашка решает пойти посидеть к квартиранту Григорию Ивановичу, который находится дома и что-то пишет.

— Здравствуйте, Григориваныч! — сладеньким тонким голоском приветствует его Сашка.

— Пошел, пошел вон. Мешаешь только.

— Да я здесь посижу. Я не буду мешать.

У Сашки определенных планов пока нет, и все может зависеть только от окружающих обстоятельств: может быть, удастся, когда квартирант отвернется, стащить перо или нарисовать на написанном смешную рожу, или сделать что-либо другое, что могло бы на весь день укрепить в Сашке хорошее расположение духа.

— Говорю тебе — убирайся!

— Да что я вам мешаю, что ли?

— Вот я тебя сейчас за уши, да за дверь... Ну?

— Ма-ама-а!!! — жалобно кричит Сашка, зная, что мать в соседней комнате.

— Что такое? — слышится ее голос.

— Тш!.. Чего ты кричишь,— шипит квартирант, зажимая Сашке рот.— Я же тебя не трогаю. Ну, молчи, молчи, милый мальчик...

— Ма-а-ма! Он меня прогоняет!

— Ты, Саша, мешаешь Григорию Ивановичу,— входит мать.— Он вам, вероятно, мешает?

— Нет, ничего,— помилуйте,— морщится квартирант.— Пусть сидит.

— Сиди, Сашенька, только смирненько.

— Черти бы тебя подрали с твоим Сашенькой,— думает квартирант, а вслух говорит:

— Бойкий мальчуган! Хе-хе! Общество старших любит...

— Да, уж он такой,— подтверждает мать.

V

За обедом Сашке — сплошной праздник.

Он бракует все блюда, вмешивается в разговоры, болтает ногами, руками, головой, и когда результатом соединенных усилий его конечностей является опрокинутая тарелка с супом, он считает, что убил двух зайцев: избавился от ненавистной жидкости и внес в среду обедающих веселую, шумную суматоху.

— Я котлет не желаю!

— Почему?

— Они с волосами.

— Что ты врешь! Не хочешь? Ну и пухни с голоду.

Сашка, заинтересованный этой перспективой, отодвигает котлеты и, притихший, сидит, ни до чего не дотрагиваясь, минут пять. Потом, решив, что наголодался за этот промежуток достаточно — пробует потихоньку живот: не распух ли?

Так как живот нормален, то Сашка дает себе слово когда-нибудь на свободе заняться этим вопросом серьезнее — голодать до тех пор, пока не вспухнет, как гора.

VI

Обед кончен, но бес хлопотливости по-прежнему не покидает Сашки.

До отхода ко сну нужно успеть еще зайти к Григорию Ивановичу и вымазать салом все стальные перья на письменном столе (идея, родившаяся во время визита), а потом не позабыть бы украсть для сапожникова Борьки папирос и вылить баночку с мухами в Лизаветин сундук за то, что толкнула.

Даже улегшись спать, Сашка лелеет и обдумывает последний план: выждавши, когда все заснут,— пробраться в гостиную и отрезать красные сургучные печати, висящие на ножках столов, кресел и на картинах...

Они очень и очень пригодятся Сашке.

СПЕЦИАЛИСТ

Я бы не назвал его бездарным человеком... Но у него было во всякую минуту столько странного, дикого вдохновения, что это удручало и приводило в ужас всех окружающих... Кроме того, он был добр и это было скверно. Услужлив, внимателен — и это наполовину сокращало долголетие его ближних.

До тех пор, пока я не прибегал к его услугам, у меня было чувство благоговейного почтения к этому человеку: Усатов все знал, все мог сделать и на всех затрудняющихся и сомневающихся смотрел с чувством затаенного презрения и жалости.

Однажды я сказал:

— Экая досада! Парикмахерские закрыты, а мне нужно бы побриться.

Усатов бросил на меня удивленный взор.
— А ты сам побрейся.
— Я не умею.
— Что ты говоришь?! Такой пустяк. Хочешь, я тебя побрею.
— А ты... умеешь?
— Я?
Усатов улыбнулся так, что мне сделалось стыдно.
— Тогда, пожалуй.
Я принес бритву, простыню и сказал:
— Сейчас принесут мыло и воду.
Усатов пожал плечами.
— Мыло — предрассудок. Парикмахеры, как авгуры, делают то, во что сами не верят. Я побрею тебя без мыла!
— Да ведь больно, вероятно.
Усатов презрительно усмехнулся.
— Садись.
Я сел и, скосив глаза, сказал:
— Бритву нужно держать не за лезвие, а за черенок.
— Ладно. В конце концов, это не так важно. Сиди смирно.
— Ой,— закричал я.
— Ничего. Это кожа не привыкла.
— Милый мой,— с легким стоном возразил я.— Ты ее сдерешь прежде, чем она привыкнет. Кроме того, у меня по подбородку что-то течет.
— Это кровь,— успокоительно сказал он.— Мы здесь оставим, пока присохнет, а займемся другой стороной.
Он прилежно занялся другой стороной. Я застонал.
— Ты всегда так стонешь, когда бреешься? — обеспокоенно спросил он.
— Нет, но я не чувствую уха.
— Гм... Я, кажется, немножко его затронул. Впрочем, мы ухо сейчас заклеим... Смотри-ка! что это... У тебя ус отвалился?!
— Как — отвалился?
— Я его только тронул, а он и отвалился. Знаешь, у тебя бритва слишком острая...
— Разве это плохо?
— Да. Это у парикмахеров считается опасным.
— Тогда,— робко спросил я.— Может, отложим до другого раза?
— Как хочешь. Не желаешь ли, кстати, постричься?

Он вынул ножницы для ногтей. Я вежливо, но твердо отказался.

Однажды вечером он сидел у нас и показывал жене какой-то мудреный двойной шов, от которого материя лопалась вслед за первым прикосновением.

— Милый,— сказала мне жена.— Кстати, я вспомнила: пригласи настройщика для пианино. Оно адски расстроено.

Усатов всплеснул руками.

— Чего же вы молчите! Господи... Стоит ли тратиться на настройщика, когда я...

— Неужели вы можете? — обрадовалась жена.

— Господи! Маленькое напряжение слуха...

— Но у тебя нет ключа,— возразил я.

— Пустяки! Можно щипцами для сахара.

Он вооружился щипцами и, подойдя к пианино, ударил кулаком по высоким нотам.

Пианино взвизгнуло.

— Правая сторона хромает! Необходимо ее подтянуть.

Он стал подтягивать, но, так как по ошибке обратил свое внимание на левую сторону, то я счел нужным указать ему на это.

— Разве? Ну, ничего. Тогда я правую сторону подтяну сантиметра на два еще выше.

Он долго возился, стуча по пианино кулаками, прижимал к деке ухо так сильно, что даже измял его, а потом долго для чего-то ощупывал педаль.

После этих хлопот отер пот со лба и озабоченно спросил:

— Скажи, дружище... Черные тебе тоже подвинтить?

— Что черные? — не понял я.

— Черные клавиши. Если тебе нужно, ты скажи. Их, кстати, пустяковое количество.

Я взял из его рук щипцы и сухо сказал:

— Нет. Не надо.

— Почему же? Я всегда рад оказать эту маленькую дружескую услугу. Ты не стесняйся.

Я отказался. Мне стоило немалых трудов потушить его энергию. Сам он считал этот день не потерянным, потому что ему удалось вкрутить ламповую горелку в ре-

зервуар и вывести камфарным маслом пятно с бархатной скатерти.

Недавно он влетел ко мне и с порога озабоченно вскричал:

— К тебе не дозвонишься!

— Звонок оборвал кто-то. Вот приглашу монтера и заведу электрические.

— Дружище! И ты это говоришь мне? Мне, который рожден электротехником... Кто же тебе и проведет звонки, если не я...

На глазах его блестели слезы искренней радости.

— Усатов! — угрюмо сказал я.— Ты меня брил — и я после этого приглашал двух докторов. Настраивал пианино — и мне пришлось звать настройщика, столяра и полировщика.

— Ах, ты звал полировщика?! Миленький! Ты мог бы сказать мне, и я бы...

Он уже снял сюртук и, не слушая моих возражений, засучивал рукава:

— Глаша! Пойди, купи тридцать аршин проволоки. Иван! беги в электротехнический магазин на углу и приобрети пару кнопок и звонков двойного давления.

Так как я сам ничего не понимал в проведении звонков, то странный термин «звонок двойного давления» вызвал во мне некоторую надежду, что электротехника — именно то, что можно было бы доверить моему странному другу.

— Возможно,— подумал я,— что в этом-то он и специалист.— Но когда принесли проволоку, я недоверчиво спросил специалиста:

— Слушай... Ведь она не изолированная?

— От чего? — с насмешливым сожалением спросил Усатов.

— Что — от чего?

— От чего не изолированная?

— Ни от чего! Сама от себя.

— А для чего тебе это нужно?

Так как особенной нужды в этом я не испытывал, то молча предоставил ему действовать.

— Отверстие в двери мы уже имеем. Надо протащить проволоку, привязать к ней кнопку, а потом прибить в кухне звонок. Видишь, как просто!

— А где же у тебя элементы?

— Какие элементы?

— Да ведь без элементов звонок звонить не будет!

— А если я нажму кнопку посильнее?

— Ты можешь биться об нее головой... Звонок будет молчалив, как старый башмак.

Он задумался.

— Брось проволоку, — сказал я. — Пойдем обедать.

Ему все-таки было жаль расставаться со звонком. Он привязался к этому несложному инструменту со всем пылом своей порывистой, дикой души...

— Я возьму его с собой, — заявил он. — Вероятно, можно что-нибудь еще с ним сделать.

Кое-что ему действительно удалось сделать.

Он привязал звонок к висячей лампе, непосредственно затем оторвал эту лампу от потолка и непосредственно затем обварил моего маленького сына горячим супом.

Недавно мне удалось, будучи в одном обществе, подслушать разговор Усатова с худой, костлявой старухой болезненного вида.

— Вы говорите, что доктора не могут изгнать вашего застарелого ревматизма? Я не удивляюсь... К сожалению, медицина теперь — синоним шарлатанства.

— Что вы говорите!

— Уверяю вас. Вам бы нужно было обратиться ко мне. Лучшего специалиста по ревматизму вы не найдете.

— Помогите, батюшка...

— О-о... должен вам сказать, что лечение пустяковое: ежедневно ванны из теплой воды... градусов так 45–50 ...Утром и вечером по чайной ложке брауншвейгской зелени на костяном наваре... или еще лучше по два порошка цианистого кали в четыре килограмма. Перед обедом прогулка — так, три-четыре квадратных версты, а вечером вспрыскивание нафталином. Ручаюсь вам, что через неделю вас не узнаешь!..

ПРАВЕДНИК

Бледные лучи лунного света робко прокрадываются сквозь маленькое запыленное окошечко и причудливыми бликами

ложатся на лицо человека, сидящего с опущенной головой в каморке, убого меблированной.

Глубокие, черные тени пугливо прячутся во впадинах его изможденного, худого лица и только слегка бледнеют, ежатся и сокращаются, когда лицо поворачивается к окну.

Против него, совсем затушевываясь в густой тьме, помещается его собеседник. Последнего совсем не было бы заметно, если бы он по временам, в пылу горячего разговора, не приближал своей головы к полосе лунного света.

И тогда на его лице можно прочесть ужас и негодование.

Он изредка вставляет свои замечания и вопросы. Речь же другого, тихая и монотонная, льется как дождик в пасмурный осенний день.

— ...И хотя вы исходите весь мир, не найдете ни добра, ни справедливости... Поверьте-с! Со-о-орок лет! Сорок лет ищу ее, подлую, шарю по целому свету... И нет ни одного справедливого человека! Да-с! На что народ, народ-то наш православный, и то!.. Намедни говорю я Афимье, что через крыльцо у акцизного живет: «Эй, говорю, Афимья, не похорошему живешь! Солдат-то, что каждый вечер ходит на кухню, не муж ведь, чай, а? А ведь это грех... Уймись ты, говорю, Афимья, брось солдата, живи по-хорошему!» Так что же вы думали? Возьми она, да расскажи это своему хахалю... Встречает он меня в переулке, к вечерне я шел, и шепчет: «Ты, говорит, барин, тово... Афимье не пой! А то я те, говорит, такое пение пропишу, что как по нотам...» Да кулачищем на меня...

— Известно, необразованность... — вздыхает хозяин.

— Какое! А выше-то лучше? — машет рукой оратор. — Один грех... Дело тоже такое вышло на днях. Сидим мы у Перепойкина, консисторского, пьем чай. Был и Турухтанов, знаете, что опекуном над Карпычевскими сиротами назначили. Уж не знаю, как он их там опекает; а только, думаю себе, дело-то такое... соблазнительное. До греха рукой подать. А ежели что, то сирот жалко. Ежели, то есть, не по правде... И говорю я ему при всех, чтобы чувствительнее было и чтобы понял он, что я по правде. «Вот, говорю, Поликарп Семеныч, упредить тебя я хочу. Оно, конечно, ты, может, и честный человек... только не делай ты этого и сироток пожалей... Жалко ведь. Махонькие оне». И так

это я хорошо сказал, что сам прослезился. А он, понимаете, вскакивает да на меня. «Это, говорит, что за намеки глупые!» — «И никаких намеков, скромно я ему отвечаю, нет; а плоть слаба, опять же махонькие оне... А ежели ты, говорю, пылишь и дымишь с первого слова, так это что-то подозрительно... Нет дыму без огня!» Не успел я этого, представьте, сказать, как он меня ручищей за воротник, да об пол!.. Это за мою-то правильность! Тут шум, конечно, все повскочили; а я поднялся с полу, отряхнулся, взял шапку и говорю с христианским смирением: «Бог тебя простит, Поликарп Семеныч, только вижу я теперь, что подлец ты первостатейный, и сироток-то уж, без сомнения, обидишь, коли меня обидел...» Теперь, слышь, в суд на меня подает за оскорбление словами... А какое тут оскорбление? Одно назидание!..

В каморке наступает мертвая тишина.

Слушатель долго, с благоговением, смотрит на гостя и наконец полуукоризненно произносит:

— И охота вам, Фома Еремеич, в чужие дела мешаться... Пользы никакой для вас, все больше неприятности!..

Фома Еремеич сокрушенно ударяет себя по колену и шепчет:

— Не могу, брат, хоть ты что!.. Правду эту самую уж больно люблю. Ох, смерть моя! Где вижу несправедливость, на стену лезу!..

Он угрюмо молчит, но вдруг лицо его озаряется каким-то новым воспоминанием:

— А вы думаете, меня не били? Били-с! — язвительно шепчет он, наклоняясь к слушателю и пронизывая его во тьме своими слезящимися глазками.

У того на лице появляется выражение ужаса, и он инстинктивно защищается рукой, как будто от чего-то страшного.

— Били-с! Это уж купцы такие. Вдовица одна, которая бедная, покупает у него фунт сахару, можно сказать, на последнюю лепту. А он, представьте, ей чуть не полфунта бумаги оберточной на сахар наворотил. Ну, на что вдове бумага, посудите сами? Я не вытерпел и говорю: «Бога ты не боишься, Сиволдаев,— зачем вдову обижать? Мало, что обвесил, наверное, да еще и бумагу...» Горько!

Рассказчик замолчал...

— Ну?!

— Били меня приказчики в те поры сильно... Мне говорили: «Подай на него!» А зачем? Я только для справедливости, чтоб по правде...

По лицу слушателя видно, что он страдает еще больше, чем страдал его собеседник во время избиения приказчиками. Благоговение, жалость, гнев на непонимающих праведника людей — быстро сменяются на лице его. Наконец, он вскакивает, делает четыре шага вперед, потом поворачивается, как на оси, и шагает назад. Для чувств, которые его обуревают, мало комнаты длиной в четыре шага.

А Фома Еремеич уже рассказывает о каком-то капитане, который самовольно заложил золотые часы Фомы Еремеича, заставив его же и проценты платить.

Эти проценты — последняя капля в чаше невыносимоудрученного состояния хозяина каморки.

Он, с нервно искаженным лицом, хватает рассказчика за плечи и поворачивает его лицо к лунному свету.

— Да вы что,— истерически взвизгивает он,— блажной, что ли, или в раю живете? Зачем же, зачем вы все это делаете? Разве эти купчишки да капитаны поймут?! Не поймут они! Господи! А вы,— смотрите! Вы даже не возмущаетесь...

Фома Еремеич устремляет неподвижные глаза на взволнованное лицо хозяина и тоскливо шепчет:

— А правда-то! Велика правда! И не терплю я несправедливости, каковой много на свете!..

И потом через минуту добавляет:

— Каковой о-очень много на свете...

Наступает долгое молчание. Слышны мягкие шаги хозяина и хриплое дыхание катарального горла Фомы Еремеича. В окно смотрит любопытная луна, вероятно, досадуя, что слой пыли мешает ей видеть происходящее. Гость машинально водит головой за шагающим хозяином и жует губами, очевидно, желая, но не решаясь что-то сказать.

Наконец он прерывает молчание.

— От дочки-то... от Верочки, говорю, известий не имеете?

— Ах, не напоминайте мне про нее! — досадливо машет рукой хозяин, и по его лицу пробегает мимолетная судорога боли.— Счастья захотела, отца не спросила, ну, и что ж!.. Полюбуйтесь! Какое счастье... С офицером-то оно лучше, чем с отцом!.. Э-эх!

Он прислоняет лоб к окну и глядит прямо в желтое, нахальное лицо луны.

Глядит долго-долго... И до Фомы Еремеича доносится хриплый голос:

— Проклял я ее, вот что...

Гость неодобрительно качает головой.

— Проклял! Сами бы вы на себя посмотрели, а потом и проклинали... дочку-то! Что греха таить, не сладко ей было у вас. Сами вы... и денег куча, а живете в какой-то собачьей будке; она же девица молодая, ей жить хочется, ну, театры там, конфекты и все такое... А какие у вас конфекты? Ничего такого нет у вас! И живете вы бобылем сейчас, и никто вам глаз не закроет, ежели что...

Хозяин сначала удивленно прислушивается к словам Фомы Еремеича, но потом вдруг бледнеет от злости и начинает кричать, заломивши руки:

— Позвольте! Что же это такое? Как это вы мне?.. Да это вас не касается!! Мои семейные отношения, они мои и есть; а вы... вы зачем же мешаетесь? И такие слова...

— Нет-с, вы позвольте! — вскакивает с места Фома Еремеич.

Его нельзя узнать. Он преобразился... Глаза у него уже не мутные, а грозные, сверкающие. Он делается выше ростом, и указательный палец его твердо и значительно устремляется на хозяина. Как боевой конь при звуке трубы, он выпрямляется при одном намеке на когда-то и кем-то совершенную несправедливость.

— Вы мне позвольте! Я долго молчал, полагал, может, одумаетесь; ан, оно вот что... Проклял! Это по правде, а? А тебя бы, старого дурака, проклясть,— ты бы что запел? Она девица молодая, ей кон... фекты...

Дальше он начинает хрипеть, потому что рука хозяина схватывает его за ворот.

— А, так ты меня же... и упрекаешь! Я, может, страдал, как в аду, два года; а ты... конфекты! Я тебе дам конфекты... Не сметь! Уходи, пока я не расшатался! Плохо будет... И не смей никогда ко мне ходить с такими словами... Уходи!

Через минуту Фома Еремеич, еще более похудевший и печальный, шагает по улице. Во впадинах под глазами сверкает по слезинке, и губы дрожат от недавней обиды.

Он бросает взгляд на залитую холодным лунным светом улицу, на прозрачное звездное небо и шепчет сокрушенно:

— Такой широкий мир, и так мало правды... Гм... Даже странно!

ДВОЙНИК

Молодой человек Колесакин называл сам себя застенчивым весельчаком.

Приятели называли его забавником и юмористом, а уголовный суд, если бы веселый Колесакин попал под его отеческую руку, разошелся бы в оценке характера веселого Колесакина и с ним самим и колесакиновыми приятелями.

Колесакин сидел на вокзале небольшого провинциального города, куда он приехал на один день по какому-то вздорному поручению старой тетки.

Его радовало все: и телячья котлета, которую он ел, и вино, которое он пил, и какая-то заблудшая девица в голубенькой шляпке за соседним столиком — все это вызывало на приятном лице Колесакина веселую, благодушную улыбку.

Неожиданно за его спиной раздалось:

— А-а! Сколько зим, сколько лет!!

Колесакин вскочил, обернулся и недоумевающе взглянул на толстого красного человека, с лицом, блестевшим от скупого вокзального света, как медный шар.

Красный господин приветливо протянул Колесакину руку и долго тряс ее, будто желая вытрясти все колесакинское недоумение:

— Ну как же вы, батенька, поживаете?

— Черт его знает,— подумал Колесакин,— может быть, действительно где-нибудь познакомились. Неловко сказать, что не помню.

И ответил:

— Ничего, благодарю. Вы как?

Медный толстяк расхохотался.

— Хо-хо! А что нам сделается?! Ваши здоровеньки?

— Ничего... Слава богу,— неопределенно ответил Колесакин и, из вежливого желания поддержать с незнакомым толстяком разговор, спросил:

— Отчего вас давно не видно?

— Меня-то что! А вот вы, дорогой, забыли нас совсем. Жена и то спрашивает... Ах, черт возьми — вспомнил! Ведь вы меня, наверное, втайне ругаете?

— Нет,— совершенно искренно возразил Колесакин.— Я вас никогда не ругал.

— Да, знаем...— хитро подмигнул толстяк.— А за триста-то рублей! Куриозно! Вместо того чтобы инженер брал у поставщика, инженер дал поставщику! А ведь я, батенька, в тот же вечер и продул их, признаться.

— Неужели?

— Уверяю вас! Кстати, что вспомнил... Позвольте рассчитаться. Большое мерси!

Толстяк вынул похожий на обладателя его, такой же толстый и такой же медно-красный бумажник и положил перед Колесакиным три сотенных бумажки.

В Колесакине стала просыпаться его веселость и юмор.

— Очень вам благодарен,— сказал он, принимая деньги.— А скажите... не могли бы вы — услугу за услугу — до послезавтра одолжить мне еще четыреста рублей? Платежи, знаете, расчет срочный... послезавтра я вам пришлю, а?

— Сделайте одолжение! Пожалуйте! В клубе как-нибудь столкнемся — рассчитаемся. А, кстати: куда девать те доски, о которых я вам писал? Чтобы не заплатить нам за полежалое.

— Куда? Да свезите их ко мне, что ли. Пусть во дворе полежат.

Толстый господин так удивился, что высоко поднял брови, вследствие чего маленькие заплывшие глазки его впервые как будто глянули на свет Божий.

— Что вы! Шутить изволите, батенька? Это три-то вагона?

— Да! — решительно и твердо сказал Колесакин. — У меня есть свои соображения, которые... Одним словом, чтобы эти доски были доставлены ко мне — вот и все. А пока позвольте с вами раскланяться. Человек! Получи. Жене привет!

— Спасибо! — сказал толстый поставщик, тряся руку Колесакина.— Кстати, что Эндименов?

— Эндименов? Ничего, по-прежнему.

— Рипается?

— Ого!

— А она что?

Колесакин пожал плечами.

— Что ж она... Ведь вы сами, кажется, знаете, что своего характера ей не переделать.

— Совершенно правильно, Вадим Григорьич! Золотые слова. До свиданья.

Это был первый веселый поступок, совершенный Павлушей Колесакиным. Второй поступок совершился через час в сумерках деревьев городского чахлого бульвара, куда Колесакин отправился после окончания несложных теткиных дел.

Навстречу ему со скамейки поднялась стройная женская фигура, и послышался радостный голос:

— Вадим! Ты?! Вот уж не ждала тебя сегодня! Однако, как ты изменился за эти две недели! Почему не в форме?

— А она прехорошенькая! — подумал Колесакин, чувствуя пробуждение своего неугомонного юмора.— Моему двойничку инженеру живется, очевидно, превесело.

— Надоело в форме! Ну, как ты поживаешь? — любезно спросил веселый Колесакин, быстро овладевая своим странным положением.— Поцелуй меня, деточка.

— Ка-ак? Поцелуй? Но ведь тогда ты говорил, что нам самое лучшее и честное — расстаться?

— Я много передумал с тех пор,— сказал Колесакин дрожащим голосом,— и решил, что ты должна быть моей! Сядем вот здесь... Тут темно. Садись ко мне на колени...

— А знаешь что,— продолжал он потом, тронутый ее любовью,— переезжай послезавтра ко мне! Заживем на славу.

Девушка отшатнулась.

— Как к тебе?! А... жена?

— Какая жена?

— Твоя!

— Ага!.. Она не жена мне. Не удивляйся, милая! Здесь есть чужая тайна, которую я не вправе открыть до послезавтра... Она — моя сестра!

— Но ведь у вас же двое детей!

— Приемные! Остались после одного нашего друга. Старый морской волк... Утонул в Индийском океане. Отчаянию не было пределов... Одним словом, послезавтра собирай все свои вещи и прямо ко мне на квартиру.

— А... сестра?

— Она будет очень рада. Будем воспитывать вместе детей... Научим уважать их память отца!.. В долгие зимние вечера... Поцелуй меня, мое сокровище.

— Господи... Я, право, не могу опомниться... В тебе есть что-то чужое, ты говоришь такие странные вещи...

— Оставь. Брось... До послезавтра... Мне теперь так хорошо... Это такие минуты, которые, которые..............

....

В половине одиннадцатого ночи весельчак Колесакин вышел из сада утомленный, но довольный собой и по-прежнему готовый на всякие веселые авантюры.

Кликнул извозчика, поехал в лучший ресторан и, войдя в освещенную залу, был встречен низкими поклонами метрдотеля.

— Давненько не изволили... забыли нас, Вадим Григорьич. Николай! Стол получше господину Зайцеву. Пожалуйте-с!

На эстраде играл какой-то дамский оркестр.

Решив твердо, что завтра с утра нужно уехать, Колесакин сегодня разрешил себе кутнуть.

Он пригласил в кабинет двух скрипачек и барабанщицу, потребовал шампанского, винограду и стал веселиться...

После шампанского показывал жонглирование двумя бутылками и стулом. Но когда разбил нечаянно бутылкой трюмо, то разочаровался в жонглировании и обрушился с присущим ему в пьяном виде мрачным юмором на рояль: бил по клавишам кулаком, крича в то же время:

— Молчите, проклятые струны!

В конце концов он своего добился: проклятые струны замолчали, за что буфетчик увеличил длинный и печальный счет на 150 рублей...

Потом Колесакин танцевал на столе, покрытом посудой, грациозный танец неизвестного наименования, а когда в соседнем кабинете возмутились и попросили вести себя тише, то Колесакин отомстил за свою поруганную честь тем, что, схвативши маленький барабан, прорвал его кожу и нахлобучил на голову поборника тишины.

Писали протокол. Было мокро, смято и печально. Все разошлись, кроме Колесакина, который, всеми покинутый, диктовал околоточному свое имя и фамилию:

— Вадим Григорьич Зайцев, инженер.

Счет на 627 рублей 55 коп. Колесакин велел отослать к себе на квартиру.

— Только, пожалуйста, послезавтра!

Уезжал Колесакин на другой день рано утром, веселый, ощущая в кармане много денег и в голове приятную тяжесть.

Когда он шел по пустынному перрону, сопровождаемый носильщиком, к нему подошел высокий щеголеватый господин и строго сказал:

— Я вас поджидаю! Мы, кажется, встречались... Вы — инженер Зайцев?

— Да!

— Вы не отказываетесь от того, что говорили на прошлой неделе на журфиксе Заварзеевых?

— У Заварзеевых? Ни капельки! — твердо ответил Колесакин.

— Так вот вам. Получите!

Мелькнула в воздухе холеная рука, и прозвучала сильная глухая пощечина.

— Милостивый государь! — вскричал Колесакин, пошатнувшись.— За что вы деретесь?..

— Я буду бить так всякого мерзавца, который станет утверждать, что я нечестно играю в карты!

И повернувшись, стал удаляться. Колесакин хотел догнать его и сообщить, что он — не Зайцев, что он пошутил... Но решил, что уже поздно.

Когда ехал в поезде, деньги уже не радовали его и беспечное веселье потускнело и съежилось...

И при всей смешливости своей натуры — веселый Колесакин совершенно забыл потешиться в душе над странным и тяжелым положением инженера Зайцева на другой день.

ДАЧНЫЙ ТЕАТР

В каждом дачном театре есть режиссер, и каждый режиссер — фармацевт. Это загадочное свойство дачного режиссера наблюдалось многими, но никто не мог дать ему удовлетворительного объяснения... Те редкие случаи, когда

дачный режиссер оказывался не фармацевтом, объяснялись тем, что он имел брата или дядю — фармацевта, или сам в дни золотой юности мечтал, забившись в уголок, об этой почтенной, любопытной профессии.

Обязанности дачного режиссера заключаются в том, что он всегда безошибочно разрешает запутанные вопросы театрального быта, вроде таких: в ту или другую дверь нужно войти герою пьесы; или: как объяснить авторскую ремарку — *«она на коленях умоляет графа не покидать ее»?..* Спрашивается: на чьих коленях она должна умолять: на своих собственных или графовых?

Авторитет режиссера в этих случаях стоит вне сомнений.

На его же обязанности лежит — выбрать пьесу. Пьеса может быть трудная, легкая, умная, глупая, сложная — это не затрудняет никого. Главное, чтобы в ней не было горничных.

Лакей, в крайнем случае, может быть терпим: всегда можно отыскать глупого, мрачного гимназиста, которому нечего терять в своей злосчастной жизни. Что же касается горничной, то ни одна барышня не поддается на эту удочку...

Конечно, можно было бы переделать горничную в лакея, но как это сделать, — никто не знает.

Я знаю случай, когда одну барышню уломали-таки сыграть роль горничной. Ей нужно было выйти и сказать хозяйке во втором акте несложную, но необходимую в театральном обиходе фразу:

— Барыня! Чай в столовой подан.

Барышня надела для этого случая белое атласное платье, перчатки выше локтя, бриллиантовую брошь, а волосы украсила гирляндой из красивых роз... Войдя в нужную комнату, в гостиную, она, помявшись немного, сказала:

— А я к вам, моя дорогая... Здравствуйте! Сейчас проходила мимо столовой и вижу, что самоварчик уже подан.

Хозяйке ничего не оставалось делать, как пригласить ее садиться и, ведя с ней светский разговор, перепутать всю пьесу.

Героя пьесы играет всегда гимназист, обыкновенно самый взрослый из всех, которых можно найти в данной дачной местности.

Укоренившийся обычай этого гимназиста состоит в том, чтобы за две недели до спектакля с ролью в руках бродить днем и ночью по окрестностям, появляясь неожиданно в самых отдаленных местах, пугая влюбленные парочки, изумляя мужиков, натыкаясь на дремлющего рыболова...

В день спектакля гимназист начинает гримироваться. К этой загадочной для него операции он приступает с трех часов дня, если спектакль назначен в 9 часов, и с половины третьего, если спектакль — в половину девятого.

Все замыслы и стремления гримирующегося направлены обыкновенно к тому, чтобы как можно больше изменить свою наружность, сделать себя не похожим на свой обычный человеческий облик и услышать на спектакле восторженно-удивленный шепот знакомых:

— Да неужели же это Федя Мамахин?! Ни капельки нельзя узнать!

Густая черная борода, ярко-красные щеки и ряд морщин, проведенных в направлении, прямо противоположном и пересекающем обыкновенное место расположения будущих Фединых морщин,— все это делает Федю личностью загадочной, неузнаваемой.

При этом лиловые морщины, перемежающиеся с зелеными и красными, приятно разнообразят Федино мертвенное лицо, свидетельствуя о том, что Федя ни одной из красок не оставил в обидном пренебрежении.

Кроме пугающего, страшного опасения, как бы не провалиться, гимназиста Федю тревожит еще задернутый завесой будущего вопрос: что скажет о нем пресса?

Представитель прессы сидит тут же в первом ряду и на все бросает критические, полные глубокого анализа взгляды.

Это тоже гимназист, но страшный, зловещий в своей таинственности гимназист: он пишет статьи и уже печатается, пишет заметки и уже печатается и пишет театральные рецензии и тоже уже печатается...

Что-то он напишет?

Зловещий гимназист-рецензент при самом поднятии занавеса вынимает из кармана громадную записную книжку, карандаш и, взглядывая искусственно-рассеянным взглядом на сцену, начинает делать в книжке отметки.

И публика, увидя это, начинает перешептываться, и все бросают на самоуглубленного гимназиста благоговейные взгляды, а он никого не замечает и пишет, пишет...

Судя по тому времени, которое он затрачивает на писание своих впечатлений, предстоящих опубликованию, можно быть уверенным, что на следующий день половина столичной газеты уйдет под правдивый отчет об этом спектакле...

Но на самом деле читатели встречают на последней газетной полосе такие строки, напечатанные нонпарелью:

«Вчера в нашем дачном театре состоялся спектакль. Давали: «Перепутались, а потом распутались». Исполнители были все на своих местах. Публики было много. Почаще бы устраивать вместо пьянства и карт подобные разумные развлечения!»

Бывает и так, что ни одной строки не появится в газете о спектакле, хотя рецензент накануне исписал всю записную книжку.

Тогда рецензент уходит от людей, оскорбленный, в лес и долго бродит там, шепча запекшимися губами:

— Подлецы!

В день спектакля с самого утра у дачных актеров-любителей такое выражение лица, будто бы их пообещали высечь, или они, сговорившись поджечь ночью чей-нибудь дом, не знают, куда до вечера деть свои досуги.

Режиссер-фармацевт один сохраняет непоколебимое спокойствие. Но оно — наружное. Втайне его обуревают относительно спектакля самые черные мысли, вплоть до опасения, что актеры или публика могут его поколотить.

За два часа до спектакля выясняется, что режиссер, или его помощник, или суфлер, или кассир — ибо никто не знает, от кого это зависит,— совершенно упустил из виду одно обстоятельство: в третьем акте требуется декорация леса, а ее нет!

Гостиная есть, павильон есть, бедная комната есть, а леса нет.

И вот в этом случае нет ничего находчивее режиссера: театральный плотник командируется в близлежащую рощу с категорическим приказанием вырубить тайком и принести лес, в количестве пяти-шести малолетних деревьев, которые потом и прикрепляются гвоздями впереди «бедной комнаты», знаменующей собой необъятную лесную даль.

Таким же образом вид «скалы на взморье» получает полную иллюзию с помощью венского стула, обернутого серой бумагой, а луна просто выбрасывается, как светило второ-

степенное и всем достаточно намозолившее глаза в действительной жизни...

Двенадцать часов дня.

Так как объявлена «предварительная продажа билетов», то кассир уже на месте. До восьми часов вечера предварительная продажа дала такие результаты: какая-то старушка спросила билет в десятом ряду, но, узнав, что он стоит 60 копеек, — обиделась и ушла; ее заменил толстый отец семейства, сделавший кассиру заманчивое предложение продать семь билетов — «гуртом», за что и требовал сорока процентов скидки; получив отказ, он уступил место бойкой барышне, которая очень настойчиво просила кассира:

— Передать сестрам Дубининым, если они придут, что Иван Алексеевич завтра не приедет... так и сказать: завтра не приедет!

Чем предварительная продажа билетов и заканчивается.

Кассир дремлет, рассматривая от скуки лицо красного здоровенного парня, поставленного около кассирской будки с целью регулировать напор толпы.

За отсутствием толпы, парень регулирует наплыв тучи комаров, нанося звонкие удары по своему лицу, шее и прочим частям упитанного тела.

Скучно. Жарко.

К 8 часам начинает сходиться публика.

Раздается звонок, еще и еще. Услышав три звонка, публика стремглав бросается занимать места и потом сидит около часу перед опущенным занавесом:

— Время! Давай! Начинай!! Три звонка было!

Потом публика получает через знакомого с артистическим миром дачного юношу конфиденциальное уведомление, что звонки эти по ошибке были даны малолетним сынишкой инженю-драматик, нашедшим в углу звонок, но это публику не успокаивает.

— Врремя! Вррремячко!

Давно жданный момент... Поднимается занавес!

Перед публикой черный, зияющий провал неосвещенной сцены, и оттуда доносится неизвестно чей голос:

— Эти яркие, солнечные лучи, льющиеся в комнату, напоминают мне детство...

— Ничего не вижу! — раздается чей-то откровенный голос из публики.

Пользуясь темнотой, лицо, вспоминавшее свое детство, выскальзывает за кулисы и шепчет режиссеру:

— Рампа не освещена! Забыли лампы зажечь!!

Минут через пять парень, состоявший ранее в роли сдерживающего элемента против наплыва публики, перелезает через барьер и начинает возиться с рампой... Шарит по карманам, перелезает обратно через барьер и, по-товарищески, обращается к зрителю первого ряда:

— Нет ли спичечки?

У того нет. Поиски переходят во второй, в третий ряд, и, наконец, парень, довольный своей судьбой, в третий раз перелезает через барьер.

Лампы сияют.

— Эти яркие солнечные лучи,— говорит героиня,— напоминают мне дет...

— Вы это уже говорили! — замечают ей из заднего ряда.

— Тише!

— ...Я помню высокий, высокий лес, птичек, которые...

Потный, озабоченный кассир входит в сопровождении незнакомца, таща за собой, во избежание кражи, остаток билетов и коробку из-под гильз с деньгами — и обращается к господину в первом ряду:

— Нет ли у вас 25 рублей разменять? Вот они покупают билет, так им сдачу нужно.

Кто-то меняет. Сначала считает деньги меняющий, потом кассир, потом господин, купивший билет. У кассира не хватает 30 копеек; меняла сомневается в доброкачественности двадцатипятирублевки, а господин, купивший билет, рассыпает мелочь, после чего первый ряд и часть второго принимает деятельное участие в розысках.

Внимание остальной публики приковано к трем лицам, запутавшимся в сложной финансовой комбинации. Артисты в это время терпеливо ждут, причем героиня даже «играет»: с деланным любопытством смотрит в окно из крашеного полотна.

Все деньги собраны, пересчитаны, и владелец их вежливо обращается к сцене:

— Извините, господа! Можно продолжать.

— ...Эти яркие солнечные лучи...— надрывается суфлер.

— Эти яркие солнечные лучи...— аккуратно повторяет героиня.

Входит жизнерадостный дачник и, изумленно смотря на сцену, кричит:

— Петька! Ты! Я тебя сразу узнал!

— Он самый,— отвечает комик.— Только ты не мешай мне сейчас: я играю.

— Ну, играй! А после конца можно к тебе в уборную?

— Заходи!

— Эти яркие солнечные лучи...

— Бис!! — как выстрел раздается со стороны экспансивной галерки.

Так весело и разнообразно проходит спектакль.

В третьем акте живой лес вызывает восторги публики, но когда одно дерево, не выдержав напора первого любовника, валится на публику — поднимается суматоха... Любовник и комик перескакивают через барьер, забирают обратно свое дерево и тут же, увидя знакомых, мимоходом здороваются:

— Здравствуйте, Марья Евграфовна.

— Неужели это ты, Федя? Прямо бы не узнала тебя.

— А Ваську узнали? Вон он играет старого банкира.

Рецензент в уголке прилежно пишет:

— «Спектакль прошел с большим успехом... Все исполнители были на своих местах...»

А исполнители в это время садятся на свободное место во втором ряду, и пока плотник снова приколачивает дерево — заводят дружеский разговор с соседями, беззастенчиво разоблачая тайны святого искусства Мельпомены.

ДВА МИРА

I

Два человека шли по пыльной, залитой светом луны улице города Чугуева и беседовали:

— Так, значит, так-то, брат Перепелицын...

— Именно так, Никеша.

— В Питер, значит... Только как же ты поедешь, если не знаешь, что там еще с тобой будет?

— Это пустяки! Я сегодня уже написал моему питерскому приятелю Шелестову, чтобы он узнал — как и что. Скажем — три дня письмо туда, три дня — ответ обратно. Ну... да день ему на справки. Итого — через неделю получу.

II

Два человека лежали на диванах в большой меблированной комнате, выходившей окнами на шумную петербургскую улицу, и тихо беседовали:

— Сегодня Стрелка, завтра — Стрелка. Сегодня Аквариум, завтра — Аквариум... Скучно, брат Шелестов... Правильно сказал великий психолог Гоголь: скучно жить на этом свете, господа!

В дверь постучали.

— Вам письмо, господин Шелестов!

— От кого это? — лениво спросил приятель Шелестова, забрасывая ногу на спинку дивана.

— Недоумеваю... Гм... Какой-то Перепелицын... Чего ему нужно, этому удивительному Перепелицыну. Ага! Из Чугуева... Припоминаю Перепелицына! Был такой человек, с которым мы во дни оны играли в перья и воровали огурцы на огородах.

— Наглец! — сказал, зевая, приятель Лошадятников.

— Не хочет ли он теперь, под угрозой раскрытия этих хищений, шантажировать тебя?

— «Дорогой Петруша! Ты, конечно, страшно сердит на меня за то, что я за эти шесть лет не удосужился написать ни строчки, но что поделать — такова уж городская шумная жизнь. У нас, в Чугуеве, очень весело — недавно приезжал цирк и играла малороссийская труппа. Очень хорошо играли. Могу сообщить новость, которая тебя очень удивит: Пальцев разошелся с женой и живет теперь с акушеркой Звездич».

— Кто сей Пальцев? — спросил Лошадятников.

— Понятия не имею!

— Так что выбор акушерки Звездич и ее дальнейшая судьба тебя не заинтриговывает?

— Ты видишь,— я остаюсь совершенно хладнокровен. Продолжаю: «У меня к тебе есть маленькая просьба, которую, надеюсь, исполнишь: по получении сего письма заезжай на политехнические курсы (адреса не знаю) и узнай условия

приема и срок подачи прошений. Потом еще просьба от Кати Шанкс — нельзя ли достать «Вестник Моды» за прошлый год № 9, — ей для чего-то нужен. Вышли наложенным платежом. Твой Илья Перепелицын».

Шелестов засвистал какой-то неведомый мотив и принялся складывать из письма петуха. Когда это занятие ему надоело, он забросил петуха за диван и сладко потянулся.

— Ты бы хотя адрес его заметил... — сказал Лошадятников.

— Чей адрес?

— Куропаткина.

— А на что он мне?

— Положим. Ты бы одевался. Скоро девять.

III

Прошла неделя.

— Вам письмо, барин!

Шелестов повернулся на кровати и прищурился на горничную.

— Давай-ка его сюда. Да чего ты боишься? Подойти ближе.

У горничной были, очевидно, какие-либо свои соображения и взгляды, потому что ближе она не подошла, а, бросив письмо на одеяло, отпрыгнула и убежала.

— От кого бы это?

Писал Илья Перепелицын.

— «Дорогой Петруша! Прошла неделя, а от тебя ответа нет. Сомневаюсь — получил ли ты мое письмо? На всякий случай, прошу тебя, кроме политехникума, заехать на фельдшерские курсы и узнать условия приема и программу. Кстати, можешь Кате Шанкс «Вестник Моды» не высылать. Она нашла его у Колопытовых. А с Колопытовыми — ты не поверишь, какой случай: Ивану Григорьевичу во время сна заполз в ухо маленький таракан, а жена его заперла, когда уходила. Он выскочил из окна и получил сотрясение мозга. Да, забыл я прошлый раз написать — кланялся тебе Гриша Седых. Представь себе, он уже в аптеке фармацевтом. Дорогой Петруша! Зайди в магазин Бурхардта и узнай — есть ли пластинки куплетиста Бурдастова. Если есть — вышли наложенным платежом. Буду весьма благодарен... А Пальцев уже ухаживает за попадьей, женой о. Ионы. Звездич в отчаянии. Твой Илья Перепелицын».

В дверь постучали. Вошел, приплясывая, Лошадятников.

— А у меня есть ложа на Крестовский... товский, товский, товский, кий!

— Можешь представить себе, Митя, потрясающую новость: Пальцев, оказывается, ухаживает за женой о. Ионы.

Лошадятников посмотрел на приятеля широко раскрытыми глазами:

— Какой Пальцев? Какого Ионы?

— Да я и сам, собственно, не знаю. Но об этом считает нужным поставить меня в известность Илья Перепелицын.

— Какой Перепелицын?

— Боже ты мой! Перепелицын — знаменитый Чугуевский Перепелицын. Но ты — сущее дерево... Ты способен остаться равнодушным даже к тому, что Гриша Седых служит фармацевтом?

— Ах, это тот... чудак пишет? Еще что-нибудь поручает?

— Как же! Просит заехать на фельдшерские курсы и за граммофонными пластинками.

— Что ж ты?

— Ну конечно, я моментально. Сейчас же лечу, как молния.

— Однако слушай... Брось глупости. Поговорим о серьезном. Ты едешь завтра в Павловск? Будет Мушка и Дегтяльцева.

— Вам телеграмма,— сказала горничная, просовывая в дверь руку.

Шелестов взял телеграмму и, заинтересованный, развернул ее.

— От кого? — спросил Лошадятников.

— Ну конечно же... от Ильи Перепелицына. «По некоторым обстоятельствам выезжаю сам Петруша встреть меня на Николаевском вокзале завтра утром Илья Перепелицын».

— Шелестов?!

— Ну?

— Ведь он дурак?

— Форменный.

За окном заиграла шарманка.

Лошадятников поморщился, вынул пятак, завернул его в телеграмму Ильи Перепелицына и выбросил это несложное сооружение за окно. Потом обрушился всей тяжестью на кровать рядом с Шелестовым и деловито спросил:

— Сегодня свободен?

— По горло. В двенадцать — отель «Де Франс», в половине второго — банк, в четыре к Уржумцеву, в семь — у Павлищевых и десять — Крестовский.

— И у тебя не выберется времени погоревать о судьбе акушерки Звездич и поведении Пальцева?

— Что делать! Такова участь о. Ионы,— вздохнул Шелестов.

IV

Через три дня Шелестов получил письмо:

— «Дорогой Петруша! Я страшно перед тобой виноват. Ты, наверно, очень удивился, приехав на вокзал и не найдя меня. Очень перед тобой извиняюсь. Дело в том, что обстоятельства изменились, и я должен остаться еще на две недели. Но ты не беспокойся — я сообщу тебе точный день выезда. Пластинки куплетиста Бурдастова я еще не получил. Не знаю почему: вероятно задержка в дороге. Можешь представить — о. Иона узнал обо всем и вышел большой скандал. У нас открылся новый биоскоп — уже по счету третий. Помнишь Киликиных? Их недавно описали. Никеша очень просил тебе кланяться. Он еще здесь. Твой Илья Перепелицын».

Прочтя это письмо, Лошадятников сказал:

— Знаешь, твой этот Перепелицын начинает мне нравиться. Роскошный юноша!

V

Три долгих месяца пронеслось над головами Шелестова, Лошадятникова и Перепелицына.

Однажды вечером Шелестов и Лошадятников заехали за Перепелицыным, не попавшим ни на фельдшерские, ни на политехнические курсы, а просто жившим в столице на те 100 рублей, которые присылали ему родители.

— Перепелка! — сказал, входя, Шелестов.— Вот тебе письмо. Я внизу у почтальона взял на твое имя. Из Чугуева.

— От кого?! Решительно недоумеваю...

Перепелицын пожал плечами и распечатал письмо.

— «Дорогой Ильюша,— прочел он.— Тебе все кланяются. Пишу тебе это я, Никеша... Голубчик, большая к тебе просьба: заезжай в какой-нибудь магазин фотографических

принадлежностей и узнай — сколько стоит «Кодак». Если недорого — вышли наложенным платежом. Еще просьба — вышли дюжину открыток с видами Петербурга. Очень интересно. Какие у вас стоят погоды? А знаешь — вчера видели Пальцева с Корягиной Лидочкой. Что ты на это скажешь? Сообщи в письме, не родственник ли Леонид Андреев купцу нашему Николаю Андрееву? Сын его Петя очень интересуется этим вопросом. Твой Никеша Чебурахин».

— Слушай, Перепелка,— сказал Шелестов, выслушав содержание письма.— Ведь этот Никеша, очевидно, дурак?

Перепелицын пожал плечами.

— Форменный.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ НОМЕРА 24345

I

Видел кто-либо лицо Судьбы?

Она все время вертится, суетится около нас; забежит вперед, отстанет и некоторое время держится позади; взовьется кверху и, сдернувши с карниза строящегося дома кирпич, укажет ему линию полета, кончающуюся внизу вашим, плохо защищенным шляпой, теменем. Сейчас же она, не обращая больше на вас внимания, привяжется к другому прохожему, остановит его у окна модного магазина, высунув язык, помчится дальше и, найдя поблизости красивую дамочку, обязательно притащит ее к тому же самому окну... И прохожий посмотрит на дамочку и пойдет за ней, а суетливая, бестолковая Судьба ковыляет за ними, пока прохожий не разговорится с дамочкой и не пригласит ее поужинать с ним в каком-либо укромном ресторане... Здесь Судьба на минуту бросает парочку и мчится, как вихрь, за женой вышеуказанного прохожего, чтобы напомнить ей, что она должна что-то сделать у портнихи, помещающейся в том самом переулке, куда выходит подъезд в кабинеты ресторана.

И, конечно, жена застает мужа с незнакомой дамой, и разражается скандал у подъезда, а Судьба уже забыла о проведенной ею комбинации и мчится дальше, толкнув мимоходом мальчишку под автомобиль и увязавшись за богатым

стариком, которому она распахивает полы пальто, продувает холодным, смертоносным ветром и через неделю валит его в черную яму, устроив племяннику старика, беззаботному лодырю и лежебоке, неожиданное, полумиллионное состояние.

Для чего нужно ей все это?

II

В ночь с 23-го на 24-е число недалекая, бестолковая Судьба обратила внимание на скромного легкового извозчика № 24345 и, со свойственной ей дикой энергией и суетливостью, занялась номером 24345.

Она остановила его на углу большой улицы и тихого переулка, заботливо удалила всех других прохожих, которые могли бы нанять номер 24345, а сама хлопотливо заковыляла к мировому судье Колесникову и стала нашептывать ему мутные, соблазнительные мысли, подсунув предварительно номер газеты, в котором была помещена публикация о новом большом кафешантане.

Мировой судья Колесников прочел публикацию, сладко потянулся и сказал:

— А отчего бы и не поехать? Заеду за Катей, захвачу ее и поедем вместе.

Через десять минут мировой судья Колесников вышел на улицу и крикнул:

— Извозчик!!

Номер 24345 задергал вожжами, зачмокал — и скоро Колесников ехал именно на номере 24345, а не на каком-либо другом, хотя другие и стояли недалеко от дома судьи.

Извозчик завез судью на длинную, тихую улицу, где они захватили красивую, худощавую женщину в громадной шляпе, а потом поехали в кафешантан.

Извозчик завел было разговор с седоками об околоточном, который неправильно записал его адрес, но седоки его не слушали, а говорили о своем.

— Мы просмотрим программу и выпьем бутылочку бургундского... Ладно?

— Ладно, милый. А ты помнишь, что я люблю бургундское?

— Еще бы.

Извозчик прекратил разговор об околоточном, покачал головой и прошептал:

— Бурхунцкое... Поди ж ты!

Подъехали к кафешантану, и номер 24345, получив плату, лениво затрусил к стоянке.

III

В этот вечер больше никто не нанял его, а на другой день утром, когда № 24345 мыл на извозчичьем дворе свою пролетку, он нашел в углу сиденья бумажник, в котором лежало около восьмисот рублей.

— Бурхунцкое, — укоризненно проворчал извозчик.

Потом снял шапку, медленно, благоговейно перекрестился и, значительно поджав губы, сказал:

— Нельзя! надо отдать. Господин с переулку потеряли. Которые бурхунцкое пьють.

Мировой судья Колесников встретил извозчика с бумажником радостно, видимо, втайне пораженный его честностью. Тут же под их ногами вертелась Судьба, скаля зубы, носясь от одного к другому и заглядывая в лицо, то извозчику, то мировому судье.

Извозчика пригласили в кабинет.

Мировой судья Колесников, взявши бумажник, пожал номеру 24345 руку, угостил папиросой и минут пять любезно беседовал с ним о тягостях извозчичьей жизни.

На прощанье поблагодарил, еще раз пожал руку и дал, в виде благодарности, пятнадцать рублей.

IV

Выйдя от Колесникова, номер 24345 разжал кулак, посмотрел на деньги, погладил рыжую бороду и задумчиво сказал:

— Дурные деньги! Надо их не иначе пропить...

В тот же вечер извозчик номер 24345 умылся, приоделся и пошел в трактир «Перепутье путников» — заведение, пользовавшееся славой лучшего извозчичьего отеля.

— Дай ты мне, брат, водки покрепче, закусочки посолонее и чаю побольше. Как есть я нынче богатый человек.

Извозчик был честный малый, но в нем преобладала свойственная многим ординарным людям жилка тщеславия: он вынул свои серебряные часы и повесил их наружу, на грудь. Вынул деньги и положил на стол под локоть, якобы для того, чтобы они были ближе на случай расходов; попросил, чтобы

ему поставили водку в такую же металлическую посудину, как у его соседа, пившего вино...

После чего принялся пить и есть.

Часы все время неловко болтались на груди, попадая от времени до времени в тарелку с котлетами; деньги держали извозчика все время в тревожном состоянии, так как он боялся, чтобы их не стянул со стола сосед, пивший вино; и полбутылка водки в серебряном ведре все время тонула в массе льда, так что извозчику приходилось засучивать рукав, чтобы выловить ее из ведра.

Но, несмотря на это, номер 24345 чувствовал себя на седьмом небе.

После третьей полбутылки он принялся за пиво, а, почувствовав себя пьяным, потребовал чаю...

V

Все могло бы этим и кончиться, но бестолковая Судьба прилипла к простодушному извозчику, цепко держась за его толстые, могучие плечи и красную мокрую шею...

— Чего бы такоича еще выпить? — задумался извозчик. — Эге! Как его... А право! Что ж мы не люди, или как? Могу я себе доставить удовольствие? Явное дело — могу. Господин человек!!

Над ним наклонился грязный официант.

— Что прикажете?

— Бурхунцкаго. Полбутылки бурхунцкаго с закуской.

— В полбутылках нет. Есть в бутылках.

Извозчик неожиданно для себя захохотал.

— Шут его бери! Давай бутылку! Только это самое... полнее!

И пил извозчик номер 24345 бургундское, пил, мокрый, багровый, пока окончательно не захмелел.

А к буфету в это время подошел длинный, костлявый человек, которого Судьба только что затащила в трактир, и заказал себе рюмку водки.

Извозчик подмигнул ему.

— Водку пьешь, сердешный? Пил бы лучше бурхунцкое!

— Вам какое дело! — сердито возразил костлявый человек. — Вас не трогают!

— Дурашка... — поднял удивленно брови номер 24345. — Разве я что...

— Сам дурак! — злобно крикнул человек. — Зубы чешутся?

— То есть, как чешутся? — ухмыльнулся добродушно извозчик.

— Почистить их надо — вот как!

Номер 24345 неожиданно для себя встал.

— Ах ты, прохвост! Забияка паршивый! Дьявол нечесаный! Шкилет разнесчастный. Мне зубы чистить? А этого не хотел?

Многим известно, что на воспитанных интеллигентных людей бургундское производит действие легкого, веселого, благородного опьянения. Но редко кому приходилось наблюдать действие бургундского на извозчиков.

Номер 24345 ударил костлявого человека и опрокинул буфетную стойку. Через пять минут на тротуаре перед трактиром в ночной мгле возилась странная черная куча, из которой вырывались свистки и доносились голоса:

— Крепкай, черт!.. Бей его сюда! Так...

— Ах, собака. Гляди, руку прокусил!

— Ой-ё-ёй, братцы!.. Часы... кто сребряные часы оборвал? Да пусти, дьявол!

— А, ты так?.. Вот же тебе...

VI

Перед мировым судьей Колесниковым стоял обвязанный тряпками извозчик номер 24345 и давал показания.

Тут же в камере находились официанты, буфетчик, городовые и ночной сторож.

Сначала Колесников не узнал почерневшего забинтованного извозчика. Он спросил его:

— С чего же вы это так разгулялись?

— Дык с тех же пятнадцати... Что ваша милость намедни прожертвовала за кожаный портмонет. Не признали?

Мировой судья Колесников был умный человек. Он вспомнил свою поездку, потерю бумажника, честность номера 24345 ...

И подумал:

— Если бы я не поехал в шантан, то не потерял бы бумажника, он бы его не нашел, я не наградил бы его пятнадцатью рублями, он не напился бы на них и не устроил бы безобразного побоища...

Судья упустил только одно звено из этой цепи: если бы он не заговорил с женщиной о бургундском — извозчик номер 24345 никогда больше не встретился бы с судьей на широкой дороге жизни.

Судья потер затылок, обвел глазами свидетелей, истца-буфетчика и, улыбнувшись в усы, сказал:

— Гражданский иск в сумме сорока рублей 20 копеек будет удовлетворен. Не беспокойтесь. И вы, извозчик, не беспокойтесь. Гм... А дело о нарушении тишины за... гм... недоказанностью — прекратить!

А Судьба оскалила зубы, сделала гримасу и, заметив входившего в камеру письмоводителя из участка, оставила извозчика в покое и увязалась за ним.

В тот же день письмоводитель взял взятку так неудачно, что его уволили.

ЕВРЕЙСКИЙ АНЕКДОТ

I

У Суры Фрейберг из местечка Выркино было семеро детей и ни одного мужа.

Сначала был муж, а потом его посадили за какие-то слова в тюрьму, и тогда он,— как говорила, качая головой, мадам Фрейберг:

— Постепенно сошел на нет.

Сура, не вступая в неприличную перебранку с равнодушным небом, обидевшим ее, поступила чисто по-женски: стала торговать на базаре шпильками, иголками и лентами, перекрашивать заново старые платья выркинских франтих, вязать по ночам чулки, жарить пирожки, которые потом через маленького Абрамку выгодно сбывались выркинским гастрономам, шить мужские рубашки и метить носовые платки.

Впрочем, эти веселые, забавные занятия не должны были отрывать Суру от ее прямых обязанностей: придя в сумерки из лавки,— разыскать семерых маленьких человечков, которые за долгий день успевали, как раки из корзины, расползтись по всему местечку,— вернуть их в отчий дом, обругать их, проклясть, переколотить всех до одного, вымыть, накормить

и, перецеловавши, — уложить спать, что давало возможность приступить на покое к одному из перечисленных выше веселых занятий.

А утром хлопот было еще больше.

Все просыпались сразу и сразу же начиналась комичная путаница и недоразумения с тринадцатью башмаками (Давиду в свое время телегой отрезало одну ногу), с тринадцатью чулками и с целым ворохом тряпья, пока все разобранное не рассасывалось по худым ногам и узеньким плечикам обладателей этих сокровищ.

Сортировка башмаков отнимала у Суры столько времени, что она не успевала проклясть всех семерых, и колотушки по утрам распределялись крайне неравномерно: некоторым счастливцам перепадала двойная порция, а некоторым приходилось дожидаться вечера.

И, дожевывая кусок хлеба, мадам Фрейберг хватала шаль, вязанье, стремглав бежала из комнаты и, наткнувшись в дверях на какого-нибудь маленького Семку, торопливо спрашивала:

— И когда этого ребенка от меня черти возьмут, чтоб он не путался под ногами?

Маленький Семка открывал рот — не то для того, чтобы точно ответить на материнский вопрос, не то — просто захныкать, но мадам Фрейберг уже не было.

Она уже летела по узким улицам Выркина и рассчитывала убогим женским умом — сколько продаст она за сегодня шпилек и булавок и что ей от этого будет...

II

Не так давно, вернувшись вечером с базара, мадам Фрейберг с материнским беспристрастием прокляла детей — всех до единого, дернула за ухо Давида, толкнула Семку и, взяв на руки двухгодовалого Арончика, стала плакать привычными, надоевшими ей самой слезами.

Покончив со слезами, она нечаянно остановила взгляд на сияющем от съеденного масла лице Арончика и — ахнула...

— Что это? Что это? Что это с твоим глазом, мой маленький хорошенький цыпленочек? Что это с твоим глазом, чтоб ты провалился сквозь землю, паршивый мальчишка, который только и мечтает, чтоб напортить своей мамаше. Ой! У него глаз-таки красный, как мак, и со слезой, как какой-нибудь водопад... Ой, мое горе!

Теперь плакали три глаза: два — мадам Фрейберг и один — маленького Арончика, красный, слезящийся, полуприкрытый отяжелевшим веком.

А около прыгал на одной-единственной ноге Давид, и высасывала из порезанного пальца кровь девочка Раичка.

Было превесело.

III

На другой день глаз Арончика, вместе с его равнодушным ко всему в свете обладателем, был вытащен из дому и представлен на строгий суд добросердечных соседок мадам Фрейберг.

— Ты, мальчик, что-нибудь видишь с этим глазом? — спросила мадам Перельмутер.

— Уй, — неопределенно пропищал мальчик.

— Что он понимает... — сказала старая Гительзон. — Что он понимает, — маленькая глупая крошечка? Его нужно везти к глазному доктору!

— К тому, который глаза лечит, — подтвердила мадам Штильман.

— Который живет десять часов по железной дороге, — любезно сообщила мадам Перельмутер.

— Десять часов туда — десятъ часов обратно, — разъяснила старая Гительзон.

— Мадам Фрейберг! — сказала зловеще спокойно мадам Перельмутер. — Глаз этой малютки обойдется вам до пятнадцати рублей.

Мадам Фрейберг стиснула зубы, напустила на лицо каменное выражение и спокойно сказала:

— Хорошо. Для моего ребенка я это сделаю.

Она взяла сына за руку и добавила:

— Пойдем домой, чтобы черти сегодня же отнесли тебя в нечистое место!

IV

Мадам Фрейберг последние дни очень спешила.

Денег было всего около восьми рублей, глаз Арончика краснел, как рубин, а спрос на шпильки и ленты упал до смешного.

Поэтому Абрамка продавал теперь двойную порцию пирожков, мадам Фрейберг спала только в то время, когда умывала, проклинала и целовала детей, а все ночи — шила, вязала, и такую роскошь, как плакать — позволяла себе не больше десяти минут на день.

Когда у нее накопилось двенадцать рублей, то пришли утром соседки: мадам Перельмутер и мадам Штильман и старая Гительзон и сказали:

— Что значит! Возьмите еще пять рублей у нас, мадам Фрейберг. Они же вам сейчас — да, нужны.

Так как несколько минут было свободных, то мадам Фрейберг заплакала, беря деньги, и сейчас же перейдя на деловой тон, решила ехать с Арончиком сегодня вечером...

V

С базара Сура прибежала за сорок минут до поезда. Так как сорок минут нужно было ехать до станции, то Сура схватила Арончика, закутала его в большой платок, перелетела к столу, схватила узелок с провизией, перелетела к Раичке, дала ей тумака, крикнула Давиду: «смотри, не бей детей — ты старший!», пощупала в кармане деньги, уронила узелок с провизией, подняла его и — скрылась с последними словами:

— Умойте, накормите маленьких!

Когда мадам Фрейберг села в вагон, она вздохнула свободно и сказала себе:

— Мадам Фрейберг, теперь ты можешь до утра поспать! Хе-хе... Я думаю, ты-таки заслужила это, мадам Фрейберг.

Утром Сура сидела в приемной окулиста, держа на руках спящего Арончика, закутанного в теплый платок, и нервно ждала очереди.

— Пожалуйте!

Сура поднялась, вошла в приемную и низко поклонилась доктору:

— Здравствуйте, господин врач! Как поживаете? Принесла вам свою малютку. С глазом что-то такое делается, что ума не постижимо. Чистое мучение.

Доктор подошел, помог Суре развернуть платок и, открыв мальчику глаза, посмотрел на них.

— Гм... — пробормотал он. — Странно... Ничего снаружи не заметно.

И здесь раздался странный, хриплый, надтреснутый крик матери:

— Господин врач! Я не того ребенка захватила!

VII

Если бы Бог с высоты небес посмотрел на мокрую от осеннего дождя землю, Он увидел бы ползущего по необозримому пространству червяка.

Этот червяк — поезд, в котором едет обратно с маленьким Семкой мадам Фрейберг.

Она едет и думает:

— Мое сердце теперь крепко стучит. Так крепко, что если бы оно разорвалось, то от грома его оглохли бы люди и жить на свете — сделалось бы окончательно скучно... Охохо. Бог все видит!

ПРЕСТУПНИКИ

Спавшего пристава 2-го стана Бухвостова разбудили и сообщили, что мужики привезли на его усмотрение двух пойманных ими людей: Савелия Шестихатку и неизвестного, скрывшего свое имя и звание.

В препроводительной бумаге из волости сообщалось, что присланные люди нарушили «уголовные узаконения на предмет наказаний за гражданские несоответствия»...

Ниже писарь простым человеческим языком сообщал, что оба пойманные вели себя ниже всякой критики: Шестихатка ворвался к арендатору еврею Зальману, перебил и переломал все его вещи, ранил ручкой от сковороды жену арендатора, а арендаторову сыну оторвал ухо; доставленный в волость, избил волостного старшину, выбил десятскому два зуба, а ему, писарю, пытался повредить передние конечности...

Оторванное ухо и два выбитых зуба препровождались здесь же при бумаге, завернутые в заскорузлую, пропитавшуюся кровью, тряпку.

Второй — неизвестный человек — был уличен в том, что, пойманный на огородах, не мог назвать своего имени, а при обыске у него нашли пачку прокламаций, бомбу и рыжую фальшивую бороду.

Пристав Бухвостов прочел препроводительную бумагу, засвистал и, почесав небритую щеку, проворчал:

— Прохвост — народ.

И по его лицу нельзя было узнать, о ком он это думал: о мужиках, нарушивших его сон, Шестихатке, оторвавшем ухо арендаторову сыну, или о неизвестном, занимавшемся темным, таинственным и ужасным делом.

Пристав открыл дверь из канцелярии в переднюю и крикнул десятскому:

— Пускай по очереди!

В комнату вошел высокий черный мужик в коротеньком армячке, с узенькими калмыцкими глазками и волосами, веером топорщившимися на его шишковатой костистой голове.

Он остановился у стола и угрюмо потупил взор на носок левого разорванного сапога.

Пристав Бухвостов быстро подошел к нему, энергичным движением руки взбросил кверху его опущенную голову и, прищурясь, сказал:

— Хорош!.. Эх ты, Шестихатка! Тебе не Шестихаткой быть, а...

Пристав хотел сказать что-то очень забавное, что заключало бы в себе юмористическое переиначиванье фамилии Шестихатки и вместе с тем звучало бы насмешкой над его поведением, но, вместо этого, пристав неожиданно докончил:

— ...А сволочью!

Потом пристав Бухвостов перешел на серьезный, деловой тон.

— На тебя вот доносят, что ты устроил арендатору погром, оторвал его сыну ухо, избил старшину и выбил десятскому зубы. Правда это?

Черный мужик посмотрел исподлобья на пристава и прогудел:

— Правда.

— Извольте видеть, — всплеснул руками пристав. — Он же еще и признается! Что тебе сделал арендатор?

Мужик еще раз внимательно поглядел на пристава и сказал:

— Я жидов завсегда бью.

— За что ж ты их бьешь?

— Они Христа мучили, а также не уважают начальство. Я за неуважение больше.

— Гм...— замялся пристав.— Но драться ты все-таки не имеешь права!

— Да как же,— развел руками мужик.— Я им говорю: дайте срок, господин губернатор всех вас перевешает, а он мне,— арендатор,— говорит: что мне твой губернатор — я его за три рубля куплю!

— Неужели так и сказал?

— Форменно! Обожди, говорю, будет известно господину приставу об твоих словах! А он, паскуда, смеется: ежели, говорит, губернатор у вас три целковых стоит, так пристава за полтинник приобрести можно. А-а, говорю... так?

Пристав неожиданно захохотал.

— Так ты... значит... сыну... ухо?

— Начисто! Форменно. Потому я так рассуждаю: ежели ты оскорбил мое начальство, господина пристава,— имею я право твоему щенку ухи пооборвать? Имею. Форменно!

— Ха-ха! Ах ты... чудак! Этакая непосредственная душа. Но ты, однако, вот пишут — целый кавардак там устроил. Зачем арендаторшу сковородкой вздул?

— Она, ваше благородие, насчет супруги вашей неправильно выразилась. Насчет добродетелей.

— А-а...— криво улыбнулся пристав.— Хорошо-с. Мы об этом расспросим арендаторшу. Вот нехорошо только, братец, что ты старшину оскорбил и зубы вынул десятскому. Зачем?

— Они тоже. Я говорю: — не смейте меня брать, я за господина пристава старался, а они мне: а что твой пристав за такая цаца? Так и сказали — цаца! Потемнело у меня. Об начальстве так??!! Ну, развернулся...

— Ха-ха! Ха-ха! Ты, я вижу,— не глупый парень... с правилами! А дело твое придется прекратить — прекурьезное оно уж очень... Ступай, Шестихатка. Постой! Водку небось пьешь, Шестихатка?

Пристав Бухвостов порылся в кармане и вынул полтинник.

— На... выпьешь там где-нибудь.

— Форменно. Я бы, ваше благородие, насчет сапожков взыскать к вашей милости. Нет ли каких? Пообдержался я с сапогами.

— Ладно уж! Веселый ты парень... Я тебе свои дам, ношеные — два месяца всего и носил. Так сковородкой ты ее?

— А мне что? Трахнул, да и все. С ними так и нужно.

Пристав вышел из канцелярии в спальню и через минуту вынес сапоги.

— Вот,— сказал он.— Бери. Ступай, брат! Иди себе.

— Ваше благородие! Может пальтишко какое...

— Ну, ну... иди уж! Довольно тебе! Не проедайся. Эй, Парфен! выпусти его — пусть идет себе... Да тащи сюда другого. Прощай, Шестихатка. Так — цаца, говорят? Ха-ха! Ха-ха!

— Прощайте, ваше благородие! Оно дальше еще смешнее будет. Желаю оставаться!

Десятский ввел другого человека, привезенного мужиками, и, толкнув его для порядка в спину, вышел.

— А-а, сокол ясный! Летал, летал, да и завязил коготь... Давно вашего брата не приходилось видеть... Как Эрфуртская программа поживает?

Перед приставом стоял небольшой коренастый человек, с бычачьей шеей, в жокейской изодранной шапчонке и, опустив тяжелые серые веки, молча слушал...

— Конечно, об вашем социальном положении нечего и спрашивать: лиддит, меленит, нитроглицерин и тому подобный бикфордов шнур...

Потом, переменив тон, пристав посмотрел в лицо неизвестному и сухо спросил:

— Сообщники есть?

— Не было,— тихо ответил неизвестный.

— Ну конечно. Я так и думал! Что ж, господин ниспровергатель... Зверь вы, очевидно, красный: в город нам с вами ехать придется. Ась?

— Да я из городу и есть.

— Вот как?.. Какой же это ветер занес вас на синюхинские огороды?

— Зачем мне на синюхинские огороды? Я на Боркино ехал, ваше благородие!

— Ну, да! Так что старшина, и писарь, и мужики оклеветали вас? Бедненький!

— Черт попутал, ежели так сказать!

— Не-уже-ли? Что вы говорите! Первый раз слышу об участии этого господина в ваших организациях... Небось и на убийство шли не сами по себе, а наущаемые сим конспиратором.

— Да убийства никакого и не было! Так хотел... попугать.

— Конечно! Бросишь ее под ноги — легкий испуг и нервное сотрясение... Ха-ха! Ваша платформа, конечно, предусматривает любовь и великодушие к ближнему? А? Что же вы молчите?

Неизвестный переступил с ноги на ногу и сказал:

— Пьян был!

— Что-о-о?

— Пьян был. А они... За сено... тридцать копеек. Разве это возможно?

— Какое сено? Что вы?..

— Ихнее. Я им говорю: — Христа на вас нет, а они: — там, говорят, есть или нет, а мы без расчету — Васьки не отпустим.

— Ничего не постигаю! Какой Васька?

— Чугреевский. Я на чугреевском ехал. И так мне обидно стало! Ах, вы, говорю, такие-сякие... Пыли вашей не останется...

— Стой, стой, милый! Я ничего не разберу. Кому ты это сказал?

— Арендателю.

— Да бомба-то здесь при чем?

— Бомба ни при чем.

— Так чего же ты, черт тебя возьми, арендатора путаешь?! Бомбу ты где взял?

— Не брал я ее, ваше благородие. Зачем нам... нам чужого не нужно.

Пристав побагровел.

— Да ты кто такой?!

— Опять же чугреевский. Они: — тридцать копеек, говорит, дозвольте. Ка-ак? Где такой закон, чтоб за гнилое сено?.. Ну и пошло.

— Что пошло?

— С пьяного человека что взять, ваше благородие? Известно — ничего.

— Ты, брат, что-то хвостом виляешь... Бестолковым прикидываешься! Мужичком-дурачком!!

— Дурачок и есть. Нешто вумный будет жидятам ухи рвать? С пьяну. Зуд у меня ручной. А как очухаешься, видишь — да-а-а... Завинтил!

Пристав Бухвостов прыгнул к неизвестному и вцепился ему в горло.

— Ты... ты... Как тебя... зовут?

— Меня-то? А Савелием. У Чугреева в амбарных. Савелий Шестихатка по хвамелии.

Пристав Бухвостов оттолкнул от себя Савелия и с ревом вылетел в переднюю.

— Ушел? Упустили мерзавца?!

Оставшись один, Савелий поднял недоуменно брови и сказал, обращаясь к портрету в золотой раме:

— Вот поди ж... Не выпьешь — ничего, а выпьешь — сичас в восторг приходишь: тому ухо с корнем выдрал, этому зубы... Ежели с таким характером, то ухов, брат Шестихатка, для тебя жидята не напасут. Жирно!

НЕРВЫ

I

Когда Царапов проснулся, его неприятно поразило, что платье его не было вычищено и ботинки валялись тут же около кровати, забрызганные грязью.

Сердце Царапова сжалось, сделалось маленьким, злобным и провалилось куда-то вниз, пронизавши тело, и простыню, и пружинный матрац.

— Черт их всех раздери! — прошептал, передернувшись мелкою дрожью, Царапов. Потом вскочил, сжал губы в мучительную складку и стал одеваться.

Забрызганные грязью ботинки вызывали в нем решительное отвращение... Он натянул их на ноги и стал шарить концы шнурка. Через минуту обнаружилось, что концы влезли вместе с ногой внутрь ботинка, и это заставило Царапова заскрежетать зубами и громко выругаться. Он сел на стул, злобно взмахнул обеими ногами, и ботинки слетели с ног, причем один попал на подзеркальник, свалив хрустальный пульверизатор.

Царапов пришел в неистовство. Поймал оба ботинка, снова натянул на ноги и стал нервно зашнуровывать их. Но на половине этого утомительного занятия шнурок не выдержал бешеных движений Царапова и лопнул.

Царапов сорвал с ног ботинки и стал топтать их, шепча прыгающими губами что-то нечленораздельное. Вынул из шкафа новые лакированные туфли и надел их, хотя че-

рез окно было видно, что шел дождь и улицы покрылись липкой грязью.

— Пусть! — шипел он. — Пусть!

Одевшись, Царапов вышел из комнаты и с какой-то злобной радостью встретил идущую с подносом горничную Лушу.

— Что? Чай пить? Ты мне еще керосину предложи, дурища! За что вам, дармоедам, деньги платятся? Платья не чистите, ботинки грязные...

— Да ведь вы сами, давеча, барин, комнату свою на ключ закрыли... я хотела взять, а вы не открыли.

— Молчи!! — визгливо закричал Царапов и, хлопнув дверью, стал спускаться с лестницы.

— Какая отвратительная лестница, — подумал он.

— Здесь каменщикам каким-нибудь жить или слесарям... а не порядочным людям. И швейцар — дрянь преизрядная. Небось вчера ночью на чай не дал, так эта упитанная морда сегодня и не подумает распахнуть дверь...

Швейцар снял фуражку и распахнул перед ним дверь на улицу.

— Подхалимы все! — подумал Царапов и зашагал, осторожно ступая лакированными туфлями по мокрому тротуару.

Трамвая пришлось ждать долго — минут десять. Царапов прошептал по адресу заправил трамвая несколько слов, осуществление которых сделало бы несчастными не только этих толстокожих людей, но и их семейства. Потом, подождав еще немного, крикнул извозчика. Когда он садился в пролетку, из-за угла показался ожидаемый им трамвай, но извозчик в это время уже тронул, и через двадцать шагов обнаружилось, что лошадь не бежала, а шла, еле переступая с ноги на ногу...

II

На службу Царапов опоздал.

— Если хотите служить, — сказал ему желтый бородатый старший бухгалтер, — то служите!.. А не хотите — сделайте одолжение! На ваше место найдутся другие.

Царапов молча повернулся к своей конторке и, развернув книгу, задумался.

— Вот, — думал он, — бухгалтер... Если бы сейчас я был атаманом каких-нибудь разбойников, то приказал бы им

поймать этого бухгалтера и привести его ко мне в какое-нибудь подземелье... Привязал бы его к столбу и стал бы над ним издеваться: «Здравствуйте, господин бухгалтер! Так вы на мое место хотели найти другого?.. Позвольте вам плюнуть в лицо...» Плюю. Он молчит и испуганно смотрит на меня. «А что ваша борода крепко держится, господин мерзавец? Позвольте за нее дернуть! Что? Больно? А теперь мои молодцы выжгут вам глаза, отрубят руки и вырежут язык. Видите ли... я мог бы вас убить, но не хочу сразу прекращать ваших мучений...

А без глаз, языка и рук вы не очень-то разболтаете о том, что с вами сделал Николай Царапов. Ха-ха!..»

— Опять у вас журнал за три дня не записан?! — услышал Царапов сбоку себя. — И зачем вы служите, если не хотите?.. Есть люди более полезные и более любящие то дело, от которого вас, очевидно, тошнит...

От бороды старшего бухгалтера идет едкий старый табачный запах, такой противный, что мысли Царапова принимают другое направление:

— Неужели такую жалкую лягушку, от которой пахнет, как из старого табачного мундштука, могут целовать женщины?.. А жена у него в веснушках, беременная, и ей, от старости, лень ему изменять. Гнездо гадин!

Потом, когда бухгалтер отошел, Царапову приходит в голову мысль, леденящая мозги своей безысходностью:

— В Петербурге полтора миллиона народу... И все они желчные, в ботинках, забрызганных грязью, ненавидят друг друга... Всякий желает гибели другого, и все полтора миллиона, свалявшись в груду жирных червей на гниющем теле, едят друг друга, размножаясь в то же время со стонами отвращения и ненависти... Хорошо было бы взять сейчас какое-нибудь безболезненное средство и отравиться.

Мимо Царапова прошел директор правления.

Царапов сделал вид, что прилежно пишет в большой, толстой книге, но на самом деле он думал:

— Я умру, а другие будут жить и веселиться. Вспомнит разве кто-нибудь обо мне? Дудки! Даже сестра забудет. Хорошо бы, если бы могли умереть все сразу... весь земной шар. Начинить его динамитом — несколько миллионов пудов (я думаю, если на всех заводах начать вырабатывать динамит, то можно) и потом, нажавши кнопку, трах! Если бы сейчас

около меня была такая кнопка для взрыва — ни минуты, то есть ни одной секунды бы не задумался!

Бьет четыре часа.

Царапов складывает книги и отправляется обедать. Ест он «домашние обеды».

III

За обедом против него сидит чиновник контрольной палаты и студент... А сбоку барышня с противно-светлыми волосами, старая, с длинным носом, плохо напудренная, и чертежник из адмиралтейства.

Суп — с кусочками жира, который Царапов ненавидит всеми силами души. В голубцах ему попадаются нитки, а хлеб черствый, похожий на губку...

— Что новенького? — благодушно спрашивает его лысый чиновник.

Царапов бледнеет.

— Скажите... вам не надоело каждый день методически обращаться ко мне с этим вопросом? Что это значит! Что новенького? Где? В какой сфере? Вчера мы расстались в шесть часов вечера, так что прошло менее суток. Может быть, на службе новенькое? Или у меня в меблированных комнатах? Да ведь, в сущности, вы и вопрос этот задали так — зря! Если бы вас действительно интересовали новости, вы бы купили за пятак газету и узнали бы обо всем — в более связной литературной форме, чем от меня.

Чиновник берет фуражку и уходит.

Царапов вынимает из кармана томик Чехова и, прихлебывая с отвращением жидкий кисель, погружается в чтение.

— Николай Львович! — обращается к нему плохо напудренная барышня, капризно надувая губы. — Отчего вы все читаете, да читаете... Поговорили бы лучше со мной.

Царапов долго, прищурившись, смотрит на нее.

— Я могу... но, конечно, при условии, если ваша беседа будет не менее остроумна и содержательна, чем эта книга. Беретесь?

— Отчего вы сегодня такой угрюмый?

— Людишки дрянь!

Царапов берет книгу и задумывается.

— Вот у этой ободранной кошки нет ни родных, ни друзей, которым она доставляла бы удовольствие... Отчего бы ей

не умереть? На земле не образовалось бы никакого пустого места. Но странные наши уголовные законы: если я убью Льва Толстого или эту бесполезную старую кошку — наказание мне будет одинаковое... А, по-моему, за нее следовало бы дать легкий выговор или даже просто обязать убийцу взять на себя расходы по похоронам...

— Отчего вы такой задумчивый? — тоскливо спрашивает барышня.

IV

Когда Царапов вышел на улицу, тротуары были уже сухи. И небо очистилось, и высоко в прозрачном воздухе висела чистая, прозрачная луна.

Впереди себя Царапов увидел двух дам. Они шли, нарядные, легко неся свои крупные, красивые тела и бойко стуча каблуками подъемистых щегольских ботинок.

Царапов обогнал дам и заглянул с любопытством в их розовые, слегка улыбающиеся лица.

— Какой интересный! — донесся до него тихий, подавленный женский шепот.

— Да... такие... редко...— уловило его ухо начало ответа другой.

И сердце Царапова остановилось... и сладко, с веселым шумом, оборвалось, уйдя далеко, далеко...

Царапов распрямил плечи, изменил вялый, развинченный шаг на упругий и крепкий и бодро взглянул на свежее небо.

Придя домой, легко взбежал по лестнице и, встретив в коридоре Лушу, ласково пошутил:

— Ну, как... от жениха давно письмо имела? Если нужно черкнуть ему ответ — приходи, напишу. Хе-хе!

И, запев матчиш, он стал бодро переодеваться.

НИНОЧКА

I

Начальник службы тяги, старик Мишкин, пригласил в кабинет ремингтонистку Ниночку Ряднову и, протянувши ей два черновика, попросил ее переписать их начисто.

Когда Мишкин передавал эти бумаги, то внимательно посмотрел на Ниночку и, благодаря солнечному свету, впервые разглядел ее как следует.

Перед ним стояла полненькая, с высокой грудью девушка среднего роста... Красивое белое лицо ее было спокойно, и только в глазах время от времени пробегали искорки голубого света.

Мишкин подошел к ней ближе и сказал:

— Так вы, это самое... перепишите бумаги. Я вас не затрудняю?

— Почему же? — удивилась Ниночка.— Я за это жалованье получаю.

— Так, так... жалованье. Это верно, что жалованье. У вас грудь не болит от машинки? Было бы печально, если бы такая красивая грудь да вдруг бы болела...

— Грудь не болит.

— Я очень рад. Вам не холодно?

— Отчего же мне может быть холодно?

— Кофточка у вас такая тоненькая, прозрачная... Ишь, вон у вас руки просвечивают. Красивые руки. У вас есть мускулы на руках?

— Оставьте мои руки в покое!

— Милая... Одну минутку... Постойте... Зачем вырываться? Я, это самое... рукав, который просвечив...

— Пустите руку! Как вы смеете! Мне больно! Негодяй!

Ниночка Ряднова вырвалась из жилистых дрожащих рук старого Мишкина и выбежала в общую комнату, где занимались другие служащие службы тяги.

Волосы у нее сбились в сторону, и левая рука, выше локтя, немилосердно ныла.

— Мерзавец,— прошептала Ниночка.— Я тебе этого так не прощу.

Она надела на пишущую машинку колпак, оделась сама и, выйдя из управления, остановилась на тротуаре. Задумалась:

«К кому же мне идти? Пойду к адвокату».

II

Адвокат Язычников принял Ниночку немедленно и выслушал ее внимательно.

— Какой негодяй! А еще старик! Чего же вы теперь хотите? — ласково спросил адвокат Язычников.

— Нельзя ли его сослать в Сибирь? — попросила Ниночка.

— В Сибирь нельзя... А притянуть его вообще к ответственности можно.

— Ну, притяните.

— У вас есть свидетели?

— Я — свидетельница,— сказала Ниночка.

— Нет, вы — потерпевшая. Но если не было свидетелей, то, может быть, есть у вас следы насилия?

— Конечно, есть. Он произвел надо мной гнусное насилие. Схватил за руку. Наверно, там теперь синяк.

Адвокат Язычников задумчиво посмотрел на пышную Ниночкину грудь, на красивые губы и розовые щеки, по одной из которых катилась слезинка.

— Покажите руку,— сказал адвокат.

— Вот тут, под кофточкой.

— Вам придется снять кофточку.

— Но ведь вы же не доктор, а адвокат,— удивилась Ниночка.

— Это ничего не значит. Функции доктора и адвоката так родственны друг другу, что часто смешиваются между собой. Вы знаете, что такое алиби?

— Нет, не знаю.

— Вот то-то и оно-то. Для того чтобы установить наличность преступления, я должен прежде всего установить ваше алиби. Снимите кофточку.

Ниночка густо покраснела и, вздохнув, стала неловко расстегивать крючки и спускать с одного плеча кофточку.

Адвокат ей помогал. Когда обнажилась розовая, упругая Ниночкина рука с ямочкой на локте, адвокат дотронулся пальцами до красного места на бело-розовом фоне плеча и вежливо сказал:

— Простите, я должен освидетельствовать. Поднимите руки. А это что такое? Грудь?

— Не трогайте меня! — вскричала Ниночка.— Как вы смеете?

Дрожа всем телом, она схватила кофточку и стала поспешно натягивать ее.

— Чего вы обиделись? Я должен еще удостовериться в отсутствии кассационных поводов...

— Вы — нахал! — перебила его Ниночка и, хлопнув дверью, ушла.

Идя по улице, она говорила сама себе:

«Зачем я пошла к адвокату? Мне нужно было пойти прямо к доктору. Самое лучшее — это пойти к доктору, пусть он даст свидетельство о гнусном насилии».

III

Доктор Дубяго был солидный пожилой человек.

Он принял в Ниночке горячее участие, выслушал ее, выругал начальника тяги, адвоката и потом сказал:

— Разденьтесь.

Ниночка сняла кофточку, но доктор Дубяго потер профессиональным жестом руки и попросил:

— Вы уж, пожалуйста, совсем разденьтесь...

— Зачем же совсем? — вспыхнула Ниночка. — Он меня хватал за руку. Я вам руку и покажу.

Доктор осмотрел фигуру Ниночки, ее молочно-белые плечи и развел руками.

— Все-таки вам нужно раздеться... Я должен бросить на вас ретроспективный взгляд. Позвольте, я вам помогу.

Он наклонился к Ниночке, осматривая ее близорукими глазами, но через минуту Ниночка взмахом руки сбила с его носа очки, так что доктор Дубяго был лишен на некоторое время возможности бросать не только ретроспективные взгляды, но и обыкновенные.

— Оставьте меня!.. Боже! Какие все мужчины мерзавцы!

IV

Выйдя от доктора Дубяго, Ниночка вся дрожала от негодования и злости.

«Вот вам — друзья человечества! Интеллигентные люди... Нет, надо вскрыть, вывести наружу, разоблачить всех этих фарисеев, прикрывающихся масками добродетели».

Ниночка прошлась несколько раз по тротуару и, немного успокоившись, решила отправиться к журналисту Громову, который пользовался большой популярностью, славился, как человек порядочный и неподкупно честный, обличая неправду от двух до трех раз в неделю.

Журналист Громов встретил Ниночку сначала неприветливо, но потом, выслушав Ниночкин рассказ, был тронут ее злоключениями.

— Ха-ха! — горько засмеялся он. — Вот вам лучшие люди, призванные врачевать раны и облегчать страданья страждущего человечества! Вот вам носители правды и защитники угнетенных и оскорбленных, взявшие на себя девиз — справедливость! Люди, с которых пелена культуры спадает при самом пустяковом столкновении с жизнью. Дикари, до сих пор живущие плотью... Ха-ха. Узнаю я вас!

— Прикажете снять кофточку? — робко спросила Ниночка.

— Кофточку? Зачем кофточку?.. А, впрочем... можно снять и кофточку. Любопытно посмотреть на эти следы... гм... культуры.

Увидев голую руку и плечо Ниночки, Громов зажмурился и покачал головой.

— Однако руки же у вас... разве можно выставлять подобные аппараты на соблазн человечеству. Уберите их. Или нет... постойте... чем это они пахнут? Что, если бы я поцеловал эту руку вот тут... в сгибе... А... Гм... согласитесь, что вам никакого ущерба от этого не будет, а мне доставит новое любопытное ощущение, которое...

Громову не пришлось изведать нового любопытного ощущения. Ниночка категорически отказалась от поцелуя, оделась и ушла.

Идя домой, она улыбалась сквозь слезы:

«Боже, какие все мужчины негодяи и дураки!»

V

Вечером Ниночка сидела дома и плакала.

Потом, так как ее тянуло рассказать кому-нибудь свое горе, она переоделась и пошла посидеть к соседу по меблированным комнатам студенту-естественнику Ихневмонову.

Ихневмонов день и ночь возился с книгами, и всегда его видели низко склонившимся красивым, бледным лицом над печатными страницами, за что Ниночка шутя прозвала студента профессором.

Когда Ниночка вошла, Ихневмонов поднял от книги голову, тряхнул волосами и сказал:

— Привет Ниночке! Если она хочет чаю, то чай и ветчина там. А Ихневмонов дочитает пока главу.

— Меня сегодня обидели, Ихневмонов, — садясь, скорбно сообщила Ниночка.

— Ну!.. Кто?

— Адвокат, доктор, старик один... Такие негодяи!

— Чем же они вас обидели?

— Один схватил руку до синяка, а другие осматривали и все приставали...

— Так... — перелистывая страницу, сказал Ихневмонов, — это нехорошо.

— У меня рука болит, болит, — жалобно протянула Ниночка.

— Этакие негодяи! Пейте чай.

— Наверно, — печально улыбнулась Ниночка, — и вы тоже захотите осмотреть руку, как те.

— Зачем же ее осматривать? — улыбнулся студент. — Есть синяк — я вам и так верю.

Ниночка стала пить чай. Ихневмонов перелистывал страницы книги.

— До сих пор рука горит, — пожаловалась Ниночка.

— Может, примочку какую-нибудь надо?

— Не знаю.

— Может, показать вам руку? Я знаю, вы не такой, как другие, — я вам верю.

Ихневмонов пожал плечами.

— Зачем же вас затруднять... Будь я медик — я бы помог. А то я — естественник.

Ниночка закусила губу и, встав, упрямо сказала:

— А вы все-таки посмотрите.

— Пожалуй, показывайте вашу руку... Не беспокойтесь... вы только спустите с плеча кофточку... Так... Это?.. Гм... Действительно, синяк. Экие эти мужчины. Он, впрочем, скоро пройдет.

Ихневмонов качнул соболезнующе головой и снова сел за книгу.

Ниночка сидела молча, опустив голову, и ее голое плечо матово блестело при свете убогой лампы.

— Вы бы одели в рукав, — посоветовал Ихневмонов. — Тут чертовски холодно.

Сердце Ниночки сжалось.

— Он мне еще ногу ниже колена ущипнул, — сказала Ниночка неожиданно, после долгого молчания.

— Экий негодяй! — мотнул головой студент.

— Показать?

Ниночка закусила губу и хотела приподнять юбку, но студент ласково сказал:

— Да зачем же? Ведь вам придется снимать чулок, а здесь из дверей, пожалуй, дует. Простудитесь — что хорошего? Ей же Богу, я в этой медицине ни уха, ни рыла не смыслю, как говорит наш добрый русский народ. Пейте чай.

Он погрузился в чтение. Ниночка посидела еще немного, вздохнула и покачала головой.

— Пойду уж. А то мои разговоры отвлекают вас от работы.

— Отчего же, помилуйте, — сказал Ихневмонов, энергично тряся на прощанье руку Ниночки.

Войдя в свою комнату, Ниночка опустилась на кровать и, потупив глаза, еще раз повторила:

— Какие все мужчины негодяи!

БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ
(*Рождественский рассказ*)

Серое, темное небо нависло над землей... Снег валил большими хлопьями, устилая белым покровом улицы, по которым сновала веселая предпраздничная толпа, совершая разные закупки, необходимые для великого праздника...

Старый чиновник Слякин стоял у запорошенного снегом окна и печально глядел на улицу, полную озабоченных, спешащих людей.

— Боже, — думал он, и его добрые, сияющие глаза туманились непрошеными слезами. — Боже! Такая великая праздничная ночь, и сколько в это же время обездоленных людей, лишенных крова, теплого угла и маленькой, изукрашенной игрушечками елочки. О, как бы мне хотелось принести радость хоть немногим, обогреть хотя одного несчастного и дать малым ребяткам, лишенным этого, — хотя одну веселую, праздничную елочку. Боже ты мой... Сколько на свете холода, горя и несчастья!

Чиновник Слякин надел шубу, шапку и, полный грустных и сладких мыслей, — вышел из дому.

Оживленная толпа мощным потоком неслась мимо него, а он, остановившись на углу, долго стоял и думал:

— Какие они все равнодушные, сухие... Никому ни до кого нет дела... А в это же самое время среди них, может быть, сотни голодных, нуждающихся, лишенных тепла и участия...

Около него остановилась собака, уткнула нос в его галоши и, тихонько повизгивая, тряхнула спиной, занесенной снегом.

— Бедная, бесприютная собачка,— сказал растроганный Слякин, наклоняясь к ней.— Бродишь ты по улицам и никому нет до тебя дела. Пойдем со мной, я накормлю тебя и уложу на теплый-теплый коврик.

Слякин протянул руку к собаке, но она громко залаяла, открыла пасть и крепко впилась в Слякинову руку острыми белыми зубами.

— Вы зачем, черт вас забери, мою собаку дразните? — послышался около него сердитый голос, и вышедший из магазина офицер сурово поглядел на растерявшегося Слякина.

— Я хотел собачку... домой отвести... согреть.

— Ха-ха! — грубо расхохотался офицер.— У вас губа не дура. Породистого сторублевого водолаза взять домой! В участок бы вас свести нужно, а не домой!.. Неро, ici![1]

А волны озабоченных равнодушных людей по-прежнему неслись куда-то вдаль, заменяемые все новыми и новыми волнами...

Шагая по улице, Слякин, закутанный в теплый воротник пальто, грустно думал:

— Ветер воет, и в степи теперь страшно, как будто тысячи разбушевавшихся дьяволов справляют свой праздник... Плохо в это время путнику, которого застигает в пути непогода... Ветер, забираясь в прорехи его жалкого платья, будет леденящим дыханием морозить несчастного, и вой далеких волков, чующих скорую поживу, зазвучит ему похоронной песней. И он идет пешком, утопая по колена в снегу, так как несчастному не на что было нанять бойкую неутомимую лошадку... И он идет, сгорбившись, пытаясь закутаться в плохо греющий воротник, молча, без единого звука...

Слякин смахнул непрошеную слезу и свернул в малолюдный переулок.

Мимо него прошел, сгорбившись, пытаясь закутаться в воротник пальто, неизвестный человек.

Сердце Слякина сжалось.

---

[1] Сюда (*фр.*).

— Послушайте... эй! Путник! Обождите.

Он догнал прохожего и молча сунул ему в руку три рубля.

Прохожий остановился, поднял из воротника изумленное лицо и поглядел на Слякина.

— Это... что значит?

— Это вам, путник. Дорога вам, я знаю, предстоит дальняя, а лошадок нанять не на что. Не благодарите! Чем могу, помог. А в поле будто тысячи разбушевавшихся дьяволов празднуют...

— Да как вы смеете! — взревел прохожий. — Да вы знаете, кто я? Да я вас в 24 часа... Этакая наглость!

Его щегольская шинель распахнулась и на груди блеснуло золотое шитье и несколько искрящихся при свете фонаря орденов.

— Извините... — пролепетал Слякин.

— Безобразник! С каких пор успел нарезаться!.. Проходите!

Ветер все крепчал.

Декабрь давал себя знать, и Слякин, выйдя снова на многолюдную, широкую улицу, печально размышлял:

— А сколько детей, этих — по выражению поэта — цветов жизни, бродят сейчас по улице, рассматривая выставленные в роскошных витринах вкусные вещи, которые, увы, — не для них... Не для этих пасынков на жизненном пиру.

Горло его перехватило от слез, и сердце сжалось. У роскошной витрины кондитерской стояла девочка и жадно рассматривала выставленные торты и конфекты.

— Бедное дитя! — пробормотал Слякин, хватая девочку за руку. — Несчастный бесприютный ребенок... Пойдем со мной, я тебя накормлю и обогрею в эту святую ночь.

— Maman! — закричала испуганная девочка.

— Maman! oú mê tire-t-il?[1]

Рассматривавшая соседнюю витрину модного магазина дама ахнула и подбежала к девочке.

— Оставьте ее, скверный старикашка, — закричала она. — Пустите ее, или я ударю вас по голове зонтиком. Как вы смеете хватать ее за руку и тащить?!

---

[1] Мама! куда он меня тащит? (*фр.*).

— Наглость этих сладострастных павианов переходит всякие границы,— сказал господин, проходя мимо.

— Они уже стали хватать свои жертвы на многолюдных улицах среди тысячной толпы!..

— Уверяю вас,— сказал Слякин.— Я только хотел взять эту девочку к себе домой и приютить ради этой ночи, которая...

— Вы негодяй! — сказала возмущенная дама.

— Nadine, ты не должна слушать того, что он говорит. Пойдем скорее...

А снег все падал...

Слякин снова свернул в безлюдный переулок и, печальный, шагая по обледеневшей мостовой, думал:

— О, как бы хотелось мне принести радость, облегчить нужду и горе хотя бы одному человеку... Но настоящая бедность горда и прячет свои лохмотья... Нужно много деликатности и такта, чтобы не оскорбить бедняка и не подчеркивать своего благодеяния.

С ним поравнялся, заглядывая ему в лицо, высокий человек в рыжем пальто, подпоясанном веревкой, и в фуражке с полуоторванным козырьком.

— Вот оно,— подумал умиленный Слякин и начал тихим деликатным голосом:

— Погода дурная, не правда ли?

— Погодка сволочная,— согласился незнакомец.

— Вы, вероятно, выходя из дому, забыли тепло одеться? — деликатно спросил Слякин.— Я думаю, десять рублей, взятые у меня заимообразно, могли бы до известной степени урегулировать этот пустяковый вопрос... А?

— Нет, ты мне лучше пальто дай,— возразил незнакомец.— Снимай-ка его, живей!

— А... как же я?..— удивился Слякин.

— А я тебе свое барахло дам. Ну, живей, старичок. А где твои десять рублей? Дай-ка мне их, дядя. Тут больше? Ну, все равно. А часики... золотые? Чего ж ты, дьявол, серебряные носишь?

Вьюга разыгралась, и снег беспрерывными хлопьями падал на белую землю.

По улице шагал старик в рваном, подпоясанном веревкой полушубке и изорванных сапогах и что-то ворчал про себя.

Маленький, одетый в женскую кацавейку мальчик подошел к нему и, дрожа от холода, пролепетал:

— Дядинька... Ради праздничка...

— Ради праздничка?! — закричал Слякин.— Вот тебе, маленький негодяй!

Слякин схватил мальчишку и, дав ему несколько шлепков, принялся усердно драть за уши...

И это было единственное доброе дело, совершенное Слякиным, потому что оборванный мальчишка совсем замерзал, а шлепки и пощечины быстро согрели его спину и красные уши...

ЕРОПЕГОВ

I

Недавно ко мне зашел мой приятель Еропегов и среди разговора вдруг, будто что-то вспомнив, всплеснул руками.

— Да! Чуть не забыл... С тобой очень хочет познакомиться Демкин.

— Какой Демкин?

— Демкин! Очень симпатичный парень. Я ему много о тебе говорил. Тебе с ним обязательно нужно познакомиться.

Я пожал плечами.

— Ему что-нибудь от меня нужно?

— Ну, вот видишь, вот видишь, какой ты сухой, черствый человек. Сейчас — «нужно»! Просто он тобой очень интересуется — я ему так много рассказывал о тебе... Почему же вам не познакомиться?

Еропегов был известен мне за человека крайне порывистого, нелепо-суетливого и восторженного.

Поэтому я еще раз пожал плечами и спросил:

— Да он что же, по крайней мере, интересный человек?

— Он? Удивительный! Стихи пишет.

— Да что ж тут удивительного: и я пишу стихи.

— И ты удивительный человек. Я знаю, ты о себе преувеличенно скромного мнения, но... эх, брат! О чем там говорить. Так можно его привести к тебе? В нем, между прочим, есть

еще одно драгоценное качество: незаменимо рассказывает анекдоты!

— Ну что ж — приводи.

— Очень тобой интересуется. А анекдоты — ты животики надорвешь.

II

На другой день, сидя в кабинете, я услышал звонок и потом шум какой-то борьбы в передней.

— Да пойдем! Чего ты, чудак, стесняешься? — слышался голос Еропегова.

— Уверяю же тебя, что неудобно. Ну как это так вдруг, ни с того ни с сего явиться к незнакомому человеку знакомиться! — доносился до меня другой голос.

— Пустяки! Он тобой очень интересуется. Я так много рассказывал ему о тебе. Ты ему доставишь только удовольствие! Расскажешь два-три анекдота — посмеемся. Раздевайся! Тут запросто.

— Да почему ему так хотелось со мной познакомиться?

— Ну как же! Он тоже стихи пишет...

Дверь отворилась, и на пороге показался оживленный Еропегов, таща за руку конфузливо упиравшегося черного человека с кривыми ногами и мрачным, унылым взглядом впалых глаз.

— Вот он, проказник! Насилу приволок... Ффу!.. Познакомьтесь, господа!

Демкин застенчиво пожал мою руку и сел, скривив голову набок.

— Вот, брат, тот Демкин, о котором я говорил. Стихи пишет! Поэт.

Поэт сконфузился и занялся своими ногами: одну подвернул под кресло, а на носок другой стал пристально смотреть, будто не веря глазам, что он еще обладает этой частью тела.

Руки решительно затрудняли его: сначала он сложил их на коленях, непосредственно за тем перенес их на грудь и, в конце концов, подпер одной рукой бок, а другой стал обмахивать лицо, покрасневшее от уличного холода.

— Вы действительно пишете стихи? — спросил я, желая ободрить его.

— Пишу,— отвечал он надтреснутым голосом. — Только так, для себя...

Этот человек трогал меня до слез своим жалостным видом. Я решительно недоумевал: зачем Еропегов притащил его?

— Нет ты, брат, расскажи лучше анекдотик какой-нибудь. Изумительно анекдоты рассказывает,— обратился ко мне оживленный, веселый Еропегов.— Право, расскажи!

Демкин потупил голову и гудящим, унылым голосом покорно начал:

— Один купец пришел в ресторан. Видит — висит клетка с соловьем. «Сколько,— говорит,— стоит».

— «Триста рублей».— «Зажарьте».

— Этот анекдот мне известен,— сказал я.— Купец, когда зажарили, сказал: отрежьте на три копейки. Да?

— Да, да,— кивнул головой Демкин.— А то другой анекдот есть: армянин застал жену с приказчиком на диване. Они целовались, и он...

— Знаю! — перебил я.— Потом он еще диван продал.

Демкин тяжело вздохнул и замолчал.

— Ты расскажи об еврее, который пришел в театр, а потом ушел, не желая ждать, когда прочел в программе, что между вторым и третьим действием проходит полтора месяца,— подсказал Еропегов.

Мрачный Демкин покорно рассказал анекдот об еврее.

Анекдот был тоже мне знаком, но я сделал вид, что впервые услышал его, и поэтому насильственно смеялся.

Еропегов громко хохотал и одобрительно повторял:

— Этакий весельчак! Удивительно! Вот ему бы,— обратился он ко мне,— с Подскокиным познакомиться! Надо будет их познакомить. Да что, брат, там думать... Пойдемте сейчас все к Подскокиным. Они будут очень рады.

Я категорически отказался, ссылаясь на работу.

Демкин встал и стал прощаться со мной. Еропегов хлопал его по плечу, одобрительно говоря:

— Уморушка с тобой! То есть, откуда у него берутся эти анекдоты?! Прямо удивительно!

Потом я слышал, как Еропегов говорил Демкину в передней:

— Ты, брат, к нему запросто приходи! Он очень будет рад. Ну, как он тебе понравился? Не правда ли — душа человек?.. А сейчас мы к Подскокиным поедем.

— Да я ж с ними не знаком!
— Пустое! Они очень будут рады.

III

На днях я собирался ехать в Москву. Услышав об этом, Еропегов всплеснул руками и спросил меня:
— Ты где же думаешь остановиться?
— В гостинице. Мне на два дня.
— Ну не чудак ли?.. Я всегда говорил, что ты — форменный чудак! Поезжай прямо к Коле Полтусову и остановись у него.
— К какому Коле Полтусову?
— Ты не знаешь Кольку? Он не знает Кольку! Тебе стоит только явиться к нему и сказать: «привез вам поклон от Алеши!» Он тебя в объятьях задушит.
Глаза его увлажнились слезами.
— Да...— прошептал он, будто охваченный потоком нахлынувших воспоминаний.— Коля Полтусов... Сколько у меня связано с этим именем... Наши кутежи, попойки... Милый, непосредственный Коля... Нет, брат! Ты его обидишь, если не приедешь прямо к нему. У него ты великолепно устроишься на эти два дня.
— Но как же мне поехать к незнакомому человеку? Ведь это ты с ним друг. А мне он не знаком.
— Колька не знаком?! Николай Полтусов не знаком?. — вскричал Еропегов.— Ну, ты, милый, меня уморить хочешь. Вас через час водой не разольешь! Прямо скажи — поклон от Алеши! Ну, согласись... ведь ко мне ты бы поехал? Почему же к нему не хочешь? Ты скажи только — я друг Алеши! И довольно. И довольно!!
Я спорил с Еропеговым около часа и, наконец, он победил меня своей стремительностью, взяв торжественное слово, что я, по приезде в Москву, направлюсь прямо к Полтусову.
— Но ведь не могу же я ему сказать: «приютите меня». Это неудобно!
— Этого и не надо. Он сам в тебя вцепится. Да. Коля Полтусов... Что-то ты сейчас делаешь там, в своей Москве?! — растроганно прошептал Еропегов.

IV

Приехав в Москву, я прямо с вокзала поехал по данному мне адресу и действительно увидел подъезд с металлической дощечкой на дверях:

«Николай Карпович Полтусов, присяжный поверенный».

Меня впустили и через минуту ввели в кабинет Полтусова, высокого пожилого господина, недоумевающе поднявшегося мне навстречу.

— Здравствуйте,— сказал я, отрекомендовавшись.

— Привез вам поклон от Алеши.

— От какого Алеши? — спросил он.

— От Алексея Петровича Еропегова, вашего друга.

— Алексея... Агапеньева?.. Что-то... такого я не знаю, — задумчиво сказал Полтусов.

— Не Агапеньева, а Еропегова.

— Еропегова?.. Гм... Да он какой из себя?

— Высокий такой, костлявый. Вечно суетится.

Полтусов потер лоб.

— Не припомню... Что за странность!..

— Да вы Полтусов? Ваше имя Николай?!

— Да.

— Ну как же вы его не помните?! Он еще вспоминал о ваших попойках, о каком-то кутеже в «Славянском Базаре»...

Полтусов задумался.

— Он не брюнет ли такой, с размашистыми движениями?.. Еще всех знакомить любит?..

— Он! — вскричал я.— Конечно, Еропегов!

— Теперь я припоминаю. Мы с компанией однажды сидели в «Славянском Базаре» за столиком, а этот господин, сидя рядом, со своим знакомым, подошел потом к нам и сам представился. Помню, помню. Он еще предлагал мне выпить на брудершафт, да я отказался... Ну что за смысл пить с почти незнакомым человеком... Не правда ли?

Я встал, пробормотал несколько слов извинения и, опрокинув стул, поспешно ушел от Полтусова, боясь оглянуться, чтобы не встретиться с его глазами.

V

— Ну что,— спросил Еропегов, радостно приветствуя меня по возвращении из Москвы.— Как Коля?

— Ничего. Просил тебе кланяться,— усмехнулся я.

— Вот видишь! Ты, конечно, у него остановился?

— О, да. Он меня принял, как родного. Одно твое имя раскрыло передо мной все двери.

— Ну, вот видишь! Я всегда говорю, что человеческие отношения должны быть самыми простыми и задушевными.

Он посмотрел на меня, помолчал и потом, подумав немного, сказал:

— Тебе нужно отдохнуть среди природы. Тебе нужно поехать в Новоузенский уезд.

— Почему именно в Новоузенский?

— Там живет семья помещика Козулевича. Прекрасные люди! Право, поезжай. Они тебя, как родного, примут. Чего, в самом деле.

— Ты хорошо знаком с ними? — усмехнулся я.

— Я не знаком, но мне Демкин много говорил о них. Славные такие люди! Они будут тебе бесконечно рады...

АПОСТОЛ

I

Всякий вдумчивый, наблюдательный человек уже заметил, вероятно, что богатство дядюшек прямо пропорционально расстоянию, которое отделяет их от племянников.

Всякий вдумчивый, наблюдательный человек замечал, что самые богатые, набитые золотом дядюшки всегда поселяются в Америке... Человеку, желающему быть миллионером, достичь этого, со времени великого открытия Колумба, очень легко: нужно обзавестись в Европе племянниками, сесть на пароход и переехать из Европы в эту удивительную страну. Совершив это — вы совершили почти все... Остаются пустяковые детали: сделаться оптовым торговцем битой свинины, или железнодорожным королем, или главой треста нефтепромышленников.

Если дядюшка живет где-либо в Англии — племяннику его уже никогда не придется увидеть миллионов... В лучшем случае ему попадут несколько сот тысяч.

И чем ближе к племяннику — тем дядюшка все беднеет... Сибирь приносит племяннику всего несколько десятков

тысяч, какая-нибудь Самара — тощий засаленный пучок кредиток и, наконец, есть такой предел, такая граница — где дядюшка не имеет ничего. Перевалив эту границу, дядюшка начинает быть уже отрицательной величиной. Если он живет в двадцати верстах от племянника, то таскается к нему каждую неделю, поедает сразу два обеда, выпрашивает у племянника рубль на дорогу и втайне мечтает о гнусном, чудовищном по своей противоестественности случае: получить после смерти племянника его наследство.

Хотя у меня и есть дядюшка, но я им в общем доволен: он живет в Сибири.

II

Однажды, когда я сидел за обедом, в передней послышался звонок, чьи-то голоса, и ко мне неожиданно ввалился дядюшка, красный от радости и задыхающийся от любви ко мне.

— А я к тебе, брат племянник! Погостить. Посмотреть, как они тут живут, эти самые наследники... Хо-хо!

Он обнял меня, посмотрел внимательно через мое плечо на покрытый стол и — отшатнулся.

— Что вы, дядя?

Он прохрипел, нахмурив брови:

— Убийца!

— Кто убийца,— озабоченно спросил я.— Где убийца?

— Ты убийца! Что это такое? Это вот...

— Кусок ростбифа. Не желаете ли скушать?..

— Чтобы я ел тело убитого в муках животного?.. Чтобы я был соучастником и покровителем убийства?! Пусть лучше меня самого съедят!

— Вы что же, дядя... вегетарианец?

Он уселся на стул, кивнул головой и внушительно добавил:

— Надеюсь, и ты им будешь. Надеюсь.

Если бы этот человек приехал из Самары или какого-нибудь Борисоглебска, я бы не церемонился с ним. Но он был из Сибири.

— Конечно, дядя... Если вы находите это для меня необходимым — я с сегодняшнего дня перестаю быть, как вы справедливо выразились, убийцей! Действительно, это, в сущ-

ности, возмутительно: питаться через насилие, через боль... Впрочем, этот ростбиф я могу доесть, а?

— Нет! — энергично вскочил дядюшка, хватаясь за ростбиф.— Ты не должен больше ни куска есть. Нужно мужественно и сразу отказаться от этого ужаса!

— Дядя! Ведь животное это все равно убито, и его уже не воскресить. Если бы оно могло зашевелиться, ожить и поползти на зеленую травку — я бы, конечно, его не тронул... Но у него даже нет ног... Не думаю, чтобы этот бедняга мог что-либо чувствовать...

— Дело не в нем! Конечно, он (на глазах дяди показались две маленькие слезинки) ничего не чувствует... Его уже убили злые, бессердечные люди. Но ты — ты должен спать отныне с чистой совестью, с убеждением, что ты не участвовал в уничтожении божьего творения...

До сих пор было наоборот: я обретал спокойный сон только по уничтожении одного или двух кусков божьего творения. И наоборот, пустой желудок мстил мне жестокой длительной бессонницей.

Но так как от Сибири до меня расстояние было довольно внушительное — я закрыл руками лицо и с мучительной болью в голосе прошептал:

— И подумаешь, что я до сих пор был кровожадным истребителем, пособником убийц... Нет! Нет!! Отныне начинаю жить по-новому!..

Дядя нежно поцеловал меня в голову, потрепал по плечу и сказал:

— Вот ты увидишь, какой прекрасный обед я закажу сейчас твоей кухарке. Через час все будет готово: мы пообедаем очаровательно!

III

На столе стояли вареные яйца, масло, маринованные грибы и хлеб.

— Мы, брат, чудесно пообедаем,— добродушно говорил дядя.— За первый сорт. Я голоден как волк.

Он взял яйцо и вооружился ложкой.

— Дядюшка! — изумленно вскричал я.— Неужели вы будете есть это?!

— Да, мой друг. Ведь здесь я никого не убиваю...

— Ну, нет! По-моему, это такое же убийство... Из этого яйца мог бы выйти чудесный цыпленок, а вы его уничтожаете!

Его глаза увлажнились слезами. Он внимательно взглянул на меня: мои глаза тоже были мокры.

Он вскочил и бросился в мои объятия.

— Прости меня. Ты прав... Ты гораздо лучше, чем я!

Мы прижали друг друга к сердцу и, растроганные, снова сели на свои места.

Дядя повертел в руках яйцо и задумчиво произнес:

— Хотя оно уже вареное... Цыпленок из него едва ли получится.

— Дядюшка! — укоризненно отвечал я. — Дело ведь не в нем, а в вас. В вашей чистой совести!

— Ты опять прав! Тысячу раз прав. Прости меня, старика!..

Кухарка внесла суп из цветной капусты.

— Дай я тебе налью, — любовно глядя на меня, сказал дядюшка.

Я печально покачал головой.

— Не надо мне этого супа.

— Что такое? — встревожился дядя. — Почему?

— Позвольте мне, дядя, рассказать вам маленькую историйку... На одном привольном, залитом светом горячего солнца огороде росла цветная капуста. Радостно тянулась она к ласковым лучам своей яркой зеленью... Любо ей было купаться в летнем тепле и неге!.. И думала она, что конца не будет ее светлой и привольной жизни... Но пришли злые огородники, вырвали ее из земли, сделали ей больно и потащили в большой равнодушный город. И попала несчастная в кипяток и только тогда, в невыносимых муках, поняла, как злы и бессердечны люди... Нет, дядя!.. Не буду я есть этой капусты.

Дядя с беспокойством взглянул на меня.

— Ты думаешь... Она что-нибудь чувствует?

— Чувствовала! — прошептал я со слезами на глазах. — Теперь уже не чувствует... Учеными ведь доказано, что всякое растение — живое существо, и если оно не умеет говорить, то это не значит, что ему не больно!.. О, как я раньше был жесток! Сколько огурцов убил я на своем веку...

Дядя тихо положил ложку и отодвинул суповую чашку.

— Мне стыдно перед тобой... Теперь только я вижу, как я был жалок со своим вегетарианством, которое было тем же

замаскированным убийством... Ты прямолинейнее и, значит, — лучше меня.

Мы сидели молча, растроганные, опустив головы в пустые тарелки.

— Но... — прошептал наконец дядя, задумчиво глядя на меня. — Чем же мы должны питаться?

— Молоком, — сказал я. — Это никому не делает больно. Хлеб делается из колосьев, и поэтому жестоко было бы уничтожать его. Вместо хлеба можно подбирать сухие опавшие листья, молоть их и изготовлять суррогат муки.

Дядя вздохнул.

— А я заказал кухарке на второе спаржу.

— Дядюшка! Позвольте мне рассказать вам историйку: на одном огороде росла спаржа... Радостно тянулась она к яркому...

— Знаю, — кивнул головой дядя. — Потом пришли злые огородники и сделали ей больно...

Он почесал затылок и сказал:

— Ну что ж делать... Попьем молочка! Может, до сбора сухих листьев можно с кусочком хлеба... Он ведь мертвенький...

— Дядя! — сурово и непреклонно сказал я. — Будьте же мужественны! Ведь дело не в мертвеньком, как вы говорите, хлебе, а в вас! Дело в чистой совести!

IV

Он пил маленькими глотками молоко и, пораженный, смотрел на меня. А я говорил:

— Я вам беспредельно благодарен! Вы мне открыли новый мир!.. Теперь я буду всю жизнь ходить босиком...

— Босиком? Зачем, мой друг, босиком?

— Дядя! — укоризненно сказал я. — Вы, кажется, забываете, что башмаки делаются из кожи убитых животных... Не хочу я больше быть пособником и потребителем убийства!

— Ты мог бы, — сосредоточенно раздумывая, прошептал дядя, — делать башмаки из дерева... Как французские крестьяне.

— Дядюшка... Позвольте вам рассказать одну печальную историйку. В тихом дремучем лесу росло деревце. Оно жадно тяну...

— Да, да,— кивнул головой дядя.— Потом его срубили злые лесники. Милый мой! Но что же тогда делать?! Вот, у тебя сейчас деревянные полы...

Я тихо, задумчиво улыбнулся.

— Да, дядюшка! В будущий ваш приезд этого не будет... Я закажу стеклянные полы...

— По... чему стеклянные?

— Стеклу не больно. Оно — не растительный предмет... Стулья у меня будут железные, а постели из мелкой металлической сетки...

— А... матрац и... подушки? — робко смотря на меня, спросил дядя.

— Они хлопчатобумажные! Хлопок растет. Позвольте рассказать вам одну...

— Знаю,— печально махнул рукой дядя.— Хлопок рос, а пришли злые люди...

Он встал со стула. Вид у него был расстроенный, и глаза горели голодным блеском, так как он пил только молоко.

— Может быть, вы желали бы пройтись после обеда по саду? — спросил я.— Мне нужно кое-чем заняться, а вы погуляйте.

Он встал, робкий, голодный, и заторопился:

— Хорошо... не буду тебе мешать... Пойду погуляю...

— Только,— серьезно сказал я,— одна просьба: не ходите по траве... Она вам ничего не скажет, но ей больно... Она будет умирать под вашими ногами.

Я обнял его, прижал к груди и шепнул:

— Когда будете идти по дорожке — смотрите под ноги... У меня болит сердце, когда я подумаю, что вы можете раздавить какого-нибудь несчастного кузнечика, который...

— Хорошо, мой друг. У тебя ангельское сердце...

Дядя посмотрел на меня робко и подавленно, с чувством тайного почтения и страха. Втайне он, очевидно, и сам был не рад, что разбудил во мне такую чуткую, нежную душу.

Когда он ушел, я вынул из буфета хлеб, вино, кусок ростбифа и холодные котлеты.

Потом расположился у окна и, уничтожая эти припасы, любовался на прогуливавшегося дядюшку.

Он шагал по узким дорожкам, сгорбленный от голода, нагибаясь время от времени и внимательно осматривая землю

под ногами... Один раз он машинально сорвал с дерева листик и поднес его ко рту, но сейчас же вздрогнул, обернулся к моему окну и бросил этот листик на землю.

Прожил он у меня две недели — до самой своей смерти.

Мы ходили босиком, пили молоко и спали на голых железных кроватях.

Смерть его не особенно меня удивила.

Удивился я, только узнав, что хотя он и жил в Сибири, но имел все свойства самарского дядюшки: после его смерти я получил тощий засаленный пучок кредиток — так, тысячи три.

ДУШЕВНАЯ ДРАМА
(*Жизнь человека*)

Начало этой печальной и трагической истории такое.

В шестом этаже большого каменного дома стояли в разных позах трое лиц и вели между собой оживленный разговор.

Женщина прижимала красивыми полными руками к груди простыню, забыв, что простыня не может нести двойную службу и прикрывать в то же время ее стройные обнаженные колени; женщина плакала; и в промежутке между рыданьями женщина говорила:

— О, Иван! Уверяю же тебя, что я не виновата... Это все он... Вскружил мне голову, увлек меня и все это, уверяю тебя, против моей воли! Я боролась...

Один мужчина, не снимая пальто и шляпы, сильно жестикулировал и укоризненно говорил третьему в этой комнате:

— Мерзавец! Я тебе докажу сейчас, что ты подохнешь, как собака, и закон будет на моей стороне! Ты расплатишься за эту кроткую страдалицу, подлый змей-искуситель!!

Третьим в этой комнате был молодой господин, одетый в настоящий момент хотя не совсем тщательно, но державшийся с большим достоинством...

— Что ж я... Я ничего,— возражал он, печально смотря в пустой угол комнаты.

— Ты — ничего? Так вот же тебе, негодяй!

Мощный мужчина в шляпе распахнул окно, выходившее на улицу, схватил в охапку не совсем тщательно одетого молодого господина и выбросил его в окно...............

....

Очутившись в воздухе, молодой господин стыдливо застегнул жилетку и, прошептав себе в утешение: «Ничего... Неудачи закаляют!» — полетел вниз.

Не успел он еще в своем полете достигнуть следующего, пятого, этажа, как из груди его исторгся тяжелый вздох.

Воспоминание о женщине, которую он сейчас только покинул, отравило своей горечью всю прелесть ощущения полета.

— Боже ты мой! — горестно подумал молодой господин. — Ведь я ее любил... А она не нашла в себе даже мужества во всем признаться супругу! Бог с ней! Теперь я чувствую, что она для меня далека и безразлична...

С последней мыслью он достиг уже пятого этажа и, пролетая мимо окна, с любопытством заглянул в него.

За покосившимся столом, подперев голову руками, сидел молодой студент и читал книгу.

Пролетавший господин, увидя его, вспомнил свою жизнь, вспомнил, что он до этого проводил все свое время в светских забавах, забывши о науке, о книгах, и его потянуло к свету знания, к раскрытию пытливым умом тайн природы, к восхищению перед гением великих мастеров слова...

— Милый, милый студент! — хотелось ему крикнуть читавшему. — Ты разбудил во мне дремавшие стремления и излечил от того пустого увлечения суетой жизни, которая довела меня до такого печального разочарования в шестом этаже...

Но, не желая отрывать студента от занятий, молодой человек не крикнул этого, а пролетел до четвертого этажа, и здесь мысли его приняли другое направление.

Сердце сжалось сладкой и жуткой болью, а голова закружилась от восхищения и восторга.

У окна четвертого этажа сидела девушка и, имея перед собою швейную машину, что-то шила.

Но ее прекрасные белые руки забыли в настоящий момент о работе, и голубые, как васильки, глаза смотрели куда-то вдаль мечтательно и грустно.

Молодой господин не мог оторвать взора от этого видения, и в сердце его росло и ширилось какое-то новое, большое и властное чувство...

И понял он, что все его прежние встречи с женщинами были не более как пустыми увлечениями и что только теперь он познал это странное, загадочное слово: любовь.

И его потянуло к тихой, семейной жизни, к ласке беззаветно любимого существа, к улыбке радостного и умиротворенного бытия.

Следующий этаж, который он в настоящий момент пролетал, еще более укрепил его в этом стремлении.

В окне третьего этажа он увидел смеющуюся мать, которая, подбрасывая на коленях полненького улыбающегося ребенка, пела ему тихую песенку, и в глазах ее светилась любовь и ласковая материнская гордость.

— И я хочу жениться на девушке из четвертого этажа и хочу иметь таких же розовых, пухленьких ребят, как в третьем этаже,— подумал господин.— И я весь отдамся моей семье и в этом самопожертвовании найду свое счастье...

Но приближался уже второй этаж. И картина, которую в окне этого этажа увидел молодой господин, заставила сжаться его сердце.

За роскошным письменным столом сидел господин с блуждающим взглядом и взъерошенными волосами. Он беспрестанно поглядывал на фотографическую карточку, которая стояла перед ним. При этом правой рукой писал какую-то записку, а в левой держал револьвер, прижимая дуло его к виску.

— Безумец! Остановись!! — хотел крикнуть ему пролетающий молодой господин.— Жизнь так прекрасна!

Но какое-то инстинктивное чувство удержало его от этого.

Роскошная обстановка квартиры, богатство и уют навели молодого господина на мысль, что в жизни есть что-то другое, что может развеять и этот уют, и довольство, и семью, что-то более сильное, властное и ужасное...

— Что же это такое? — подумал с тяжелым сердцем молодой господин, и, как будто нарочно, жизнь дала ему суровый и бесцеремонный ответ в окне первого этажа, которого он теперь достиг.

У окна, почти совсем скрываясь за драпировкой, сидел молодой человек без сюртука и жилета, а на коленях у него сидела полуодетая дама, любовно обвивши шею возлюбленного круглыми розовыми руками и жарко прижимаясь к нему пышной грудью...

Молодой господин вспомнил, что он видел эту нарядную даму на прогулке с мужем, но этот человек не был ее мужем... Тот был старше, с черными полуседыми кудрями, а этот имел прекрасные белокурые волосы.

И вспомнил молодой господин свои давешние планы — ученья, по примеру студента пятого этажа, женитьбы на девушке четвертого этажа, мирной семейной жизни на манер третьего этажа — и тяжело сжалось его сердце.

Увидел он всю эфемерность, непрочность счастья, о котором он мечтал, увидел в будущем около себя и жены целый ряд молодых людей с прекрасными белокурыми волосами, вспомнил муки господина второго этажа и те меры, которые тот принял для избавления от этих мук,— и понял он его.

— После всего виденного жить больше не стоит, это и глупо, и мучительно,— с болезненной, саркастической усмешкой подумал молодой человек и, сдвинув брови, решительно подлетел к самому тротуару улицы.

И не дрогнуло сердце его, когда он коснулся руками тротуарных плит и, сломав эти бесполезные теперь руки, разбил голову о твердый, равнодушный камень.

А когда около его неподвижного трупа собрался любопытствующий народ, никому и в голову не пришло, какую глубокую и сложную душевную драму пережил за момент перед этим молодой господин!

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА

Кулаков стоял перед хозяином гастрономического магазина и говорил ему:

— Шесть с полтиной? С ума сойти можно! Мы, Михайло Поликарпыч, сделаем тогда вот что... Вы мне дайте коробку зернистой в фунт, а завтра по весу обратно примете... Что съедим — за то заплачу. У нас-то ее не едят, а вот гость нужный на блинах будет, так для гостя, а?

«Чтоб тебе лопнуть, жила!» — подумал хозяин, а вслух сказал:

— Неудобно это как-то... Ну, да раз вы постоянный покупатель, то разве для вас. Гришка, отвесь!

Кулаков подвел гостя к столу и сказал, потирая руки:

— Водочки перед блинами, а? В этом удивительном случае хорошо очищенную, а? Хе-хе-хе!..

Гость опытным взглядом обвел стол.

— Нет-с, я уж коньячку попрошу! Вот эту рюмочку, побольше.

Хозяин вздохнул и прошептал:

— Как хотите. На то вы гость.

И налил рюмку, стараясь недолить на полпальца.

— Полненькую, полненькую! — весело закричал гость и, игриво ткнув Кулакова пальцем в плечо, прибавил: — Люблю полненьких!

— Ну-с... ваше здоровье! А я простой выпью. Прошу закусить: вот грибки, селедка, кильки... Кильки, должен я вам сказать, поражающие!

— Те-те-те! — восторженно закричал гость. — Что вижу я! Зернистая икра, и, кажется, очень недурная! А вы, злодей, молчите!

— Да-с, икра... — побелевшими губами прошептал Кулаков. — Конечно, можно и икры... Пожалуйте вот ложечку.

— Чего-с? Чайную? Хе-хе! Подымай выше. Зернистая икра хороша именно тогда, когда ее едят столовой ложкой. Ах, хорошо! Попрошу еще рюмочку коньяку. Да чего вы такой мрачный? Случилось что-нибудь?

Хозяин придвинул гостю тарелку с селедкой и страдальчески ответил:

— Жизнь не веселит! Всеобщий упадок дел... Дороговизна предметов первой необходимости, не говоря уже о предметах роскоши... Да так, к слову сказать, знаете, почем теперь эта зернистая икра? Шесть с полтиной!

Гость зажмурился.

— Что вы говорите! А вот мы ее за это! На шесть гривен... на хлеб... да в рот... Гам! Вот она и наказана.

Хозяин сжал под столом кулаки и, стараясь улыбнуться, жизнерадостно воскликнул:

— Усиленно рекомендую вам селедку! Во рту тает.

— Тает? Скажите. Таять-то она, подлая, тает, а потом подведет — изжогой наделит. Икра же, заметьте, почтеннейший, не выдаст. Бла-агороднейшая дама!

— А что вы скажете насчет этих малюток? Немцы считают кильку лучшей закуской!

— Так то немцы, — резонно заметил гость. — А мы, батенька, русские. Широкая натура! А ну, еще... «Черпай, черпай источник! Да не иссякнет он», — как сказал какой-то поэт.

— Никакой поэт этого не говорил, — злобно возразил хозяин.

— Не говорил? Он был, значит, неразговорчивый. А коньяк хорош! С икрой.

Хозяин заглянул в банку, погасил в груди беззвучный стон и придвинул гостю ветчину.

— Вы почему-то не кушаете ветчины... Неужели вы стесняетесь?

— Что вы! Я чувствую себя как дома!

«Положим, дома ты бы зернистую икру столовой ложкой не лопал», — хотел сказать вслух Кулаков, но подумал это про себя, а вслух сказал:

— Вот и блины несут. С маслом и сметаной.

— И с икрой, добавьте, — нравоучительно произнес гость. — Икра — это Марфа и Онега всего блинного, как говаривал один псаломщик. Понимаете? Это он вместо Альфы и Омеги говорил... Марфа и Онега! Каково? Хе-хе!

Потом гость тупо посмотрел на стол и удивленно воскликнул:

— Черт возьми! Икра, как живая. Я ее придвигаю сюда, а она отодвигается туда... Совершенно незаметно!

— Неужели? — удивился печальный хозяин и прибавил: — А вот мы ее опять придвинем.

И придвинул грибки.

— Да это грибки, — добродушно сказал гость.

— А вы... чего же хотели?

— Икры. Там еще есть немного к блинам.

— Господи! — проскрежетал Кулаков, злобно смотря на гостя.

— Что такое?

— Кушайте, пожалуйста, кушайте!

— Я и ем.

Зубы хозяина стучали, как в лихорадке.

— Кушайте, кушайте!! Вы мало икры ели, еще кушайте... Кушайте побольше.

— Благодарю вас. Я ее еще с коньячком. Славный коньячишка.

— Славный коньячишка! Вы и коньячишку еще пейте... Может быть, вам шампанское открыть, ананасов, а? Кушайте!

— Дело! Только вы, дружище, не забегайте вперед... Оставим место и для шампанского и для ананасов... Пока я — сию брюнеточку. Кажется, немного еще осталось?

— Куш... кушайте! — сверкая безумными глазками, взвизгнул хозяин.— Может, столовая ложка мала? Не дать ли разливательную? Чего же вы стесняетесь — кушайте! Шампанского? И шампанского дам! Может, вам нравится моя новая шуба? Берите шубу! Жилетка вам нравится? Сниму жилетку! Забирайте стулья, комод, зеркало... Деньги нужны? Хватайте бумажник, ешьте меня самого... Не стесняйтесь, будьте как дома! Ха-ха-ха!!

И, истерически хохоча и плача, Кулаков грохнулся на диван.

Выпучив в ужасе и недоуменье глаза, смотрел на него гость, и рука с последней ложкой икры недвижно застыла в возухе.

РЫЦАРЬ ИНДУСТРИИ

Мое первое с ним знакомство произошло после того, как он, вылетев из окна второго этажа, пролетел мимо окна первого этажа, где я в то время жил,— и упал на мостовую.

Я выглянул из своего окна и участливо спросил неизвестного, потиравшего ушибленную спину:

— Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезным?

— Почему не можете? — добродушно кивнул он головой, в то же время укоризненно погрозив пальцем по направлению окна второго этажа.— Конечно же можете.

— Зайдите ко мне в таком случае,— сказал я, отходя от окна.

Он вошел веселый, улыбающийся. Протянул мне руку и сказал:

— Цацкин.

— Очень рад. Не ушиблись ли вы?

— Чтобы сказать вам — да, так — нет! Чистейшей воды пустяки.

— Наверное, из-за какой-нибудь хорошенькой женщины? — подмигивая, спросил я.— Хе-хе.

— Хе-хе! А вы, вероятно, любитель этих сюжетцев, хехе?! Не желаете ли — могу предложить серию любопытных открыточек? Немецкий жанр! Понимающие люди считают его выше французского.

— Нет, зачем же,— удивленно возразил я, всматриваясь в него. Послушайте... ваше лицо кажется мне знакомым. Это не вас ли вчера какой-то господин столкнул с трамвая?..

— Ничего подобного! Это было третьего дня. А вчера меня спустили с черной лестницы по вашей же улице. Но, правду сказать, какая это лестница? Какие-то семь паршивых ступенек.

Заметив мой недоумевающий взгляд, господин Цацкин потупился и укоризненно сказал:

— Все это за то, что я хочу застраховать им жизнь. Хороший народ: я хлопочу об их жизни, а они суетятся о моей смерти.

— Так вы — агент по страхованию жизни? — сухо сказал я.— Чем же я могу быть вам полезен?

— Вы мне можете быть полезны одним малюсеньким ответиком на вопрос: как вы хотите у нас застраховаться — на дожитие или с уплатой премии вашим близким после — дай вам Бог здоровья — вашей смерти?

— Никак я не хочу страховаться,— замотал я головой.— Ни на дожитие, ни на что другое. А близких у меня нет... Я одинок.

— А супруга?

— Я холост.

— Так вам нужно жениться — очень просто! Могу вам предложить девушку — пальчики оближете! Двенадцать тысяч приданого, отец две лавки имеет! Хотя брат шарлатан, но она такая брюнетка, что даже удивительно. Вы завтра свободны? Можно завтра же и поехать посмотреть. Сюртук, белый жилет. Если нет — можно купить готовые. Адрес — магазин «Оборот»... Наша фирма...

— Господин Цацкин,— возразил я.— Ей-Богу же, я не хочу и не могу жениться! Я вовсе не создан для семейной жизни...

— Ой! Не созданы? Почему? Может, вы до этого очень шумно жили? Так вы не бойтесь... Это сущий, поправимый пустяк. Могу предложить вам средство, которое несет собою радость каждому меланхоличному мужчине. Шесть тысяч книг бесплатно! Имеем массу благодарностей! Пробный флакончик...

— Оставьте ваши пробные флакончики при себе, — раздражительно сказал я.— Мне их не надо. Не такая у меня наружность, чтобы внушить к себе любовь. На голове порядочная лысина, уши оттопырены, морщины, маленький рост...

— Что такое лысина? Если вы помажете ее средством нашей фирмы, которой я состою представителем, так обрастете волосами, как, извините, кокосовый орех! А морщины, а уши? Возьмите наш усовершенствованный аппарат, который можно надевать ночью... Всякие уши как рукой снимет! Рост? Наш гимнастический прибор через каждые шесть месяцев увеличивает рост на два вершка. Через два года вам уже можно будет жениться, а через пять лет вас уже можно будет показывать! А вы мне говорите — рост...

— Ничего мне не нужно! — сказал я, сжимая виски. — Простите, но вы мне действуете на нервы...

— На нервы? Так он молчит!.. Патентованные холодные души, могущие складываться и раскладываться! Есть с краном, есть с разбрызгивателем. Вы человек интеллигентный и очень мне симпатичный... Поэтому могу посоветовать взять лучше разбрызгиватель. Он дороже, но...

Я схватился за голову.

— Чего вы хватаетесь? Голова болит? Вы только скажите: сколько вам надо тюбиков нашей пасты «Мигренин» — фирма уж сама доставит вам на дом...

— Извините,— сказал я, закусывая губу,— но прошу оставить меня. Мне некогда. Я очень устал, а мне предстоит утомительная работа — писать статью...

— Утомительная? — сочувственно спросил господин Цацкин.— Я вам скажу — она утомительна потому, что вы до сих пор не приобрели нашего раздвижного пюпитра для чтения и письма! Нормальное положение, удобный наклон... За две штуки семь рублей, а за три — десять...

— Пошел вон! — закричал я, дрожа от бешенства. — Или я проломлю тебе голову этим пресс-папье!!

— Этим пресс-папье? — презрительно сказал господин Цацкин, ощупывая пресс-папье на моем письменном столе. — Этим пресс-папье... Вы на него дуньте — оно улетит! Нет, если вы хотите иметь настоящее тяжелое пресс-папье, так я вам могу предложить целый прибор из малахита...

Я нажал кнопку электрического звонка.

— Вот сейчас придет человек — прикажу ему вывести вас!

Скорбно склонив голову, господин Цацкин сидел и молчал, будто ожидая исполнения моего обещания.

Прошло две минуты. Я позвонил снова.

— Хорошие звонки, нечего сказать, — покачал головой господин Цацкин. — Разве можно такие безобразные звонки иметь, которые не звонят. Позвольте вам предложить звонки с установкой и элементами за семь рублей шестьдесят копеек. Изящные звонки...

Я вскочил, схватил господина Цацкина за рукав и потащил к выходу.

— Идите! Или у меня сейчас будет разрыв сердца...

— Это не дай Бог, но вы не беспокойтесь! Мы вас довольно прилично похороним по второму разряду. Правда, не будет той пышности, как первый, но катафалк...

Я захлопнул за господином Цацкиным дверь, повернул в замке ключ и вернулся к столу.

Через минуту я обратил внимание, что дверная ручка зашевелилась, дверь вздрогнула от осторожного напора и — распахнулась.

Господин Цацкин робко вошел в комнату и, прищурясь, сказал:

— В крайнем случае могу вам доложить, что ваши дверные замки никуда не годятся... Они отворяются от простого нажима! Хорошие английские замки вы можете иметь через меня — один прибор два рубля сорок копеек, за три — шесть рублей пятьдесят копеек, а пять штук...

Я вынул из ящика письменного стола револьвер и, заскрежетав зубами, закричал:

— Сейчас я буду стрелять в вас!

Господин Цацкин с довольной миной улыбнулся и ответил:

— Я буду очень рад, так как это даст вам возможность убедиться в превосходном качестве панциря от пуль, который надет на мне для образца и который могу вам предложить. Одна штука восемнадцать рублей, две дешевле, три еще

дешевле. Прошу вас убедиться!..

Я отложил револьвер и схватив господина Цацкина поперек туловища, с бешеным ревом выбросил в окно.

Падая, он успел крикнуть мне:

— У вас очень непрактичные запонки на манжетах! Острые углы, рвущие платье и оцарапавшие мне щеку. Могу предложить африканского золота с инкрустацией, пара два рубля, три пары де...

Я захлопнул окно.

ДЕНЬ ГОСПОЖИ СПАНДИКОВОЙ

День госпожи Спандиковой начался обычно.

С утра она поколотила сына Кольку, выругала соседку по даче «хронической дурой» и «рыжей тетехой», а потом долго причесывалась.

Причесавшись, долго прикалывала к голове модную шляпу и долго ругала прислугу за какую-то зеленую коробку.

Когда зеленая коробка забылась обеими спорящими сторонами, а вместо этого прислуга выставила ряд основательных возражений против поведения Кольки, госпожа Спандикова неожиданно вспомнила о городе и, схватив за руки сына Кольку и дочь Галочку, помчалась с ними к вокзалу.

В городе она купила десять фунтов сахарного песку, цветок в глиняном горшке и опять колотила Кольку.

Колька наружно отнесся к невзгодам своей молодой жизни равнодушно, но тайно поклялся отомстить своей матери при первом удобном случае.

Направляясь к вокзалу, госпожа Спандикова засмотрелась на какого-то красивого молодого человека, вздохнула, сделала грустные глаза и сейчас же попала под оглоблю извозчика.

Извозчик сообщил, что считает ее чертовой куклой, а госпожа Спандикова высказала соображение, что извозчик мерзавец и что долг подсказывает ей довести о его поведении до сведения какого-то генерал-прокурора.

Но извозчик уже уехал, и госпожа Спандикова, схватив за руки сына Кольку и дочь Галочку, помчалась на вокзал.

Колька, сахар, госпожа Спандикова и цветок поместились в вагоне, а Галочка куда-то делась. Так как искать ее

по вокзалу было поздно, то, когда тронулся поезд, госпожа Спандикова успокоилась.

— Дрянная девчонка вернется на городскую квартиру и переночует у соседки Наседкиной.

Поезд мчался. Стоя на площадке вагона, госпожа Спандикова разговаривала с жирной женщиной, не обращая внимания на Кольку. А Колька вынул ножик и тихонько пропорол им мешочек с сахарным песком.

Когда поезд остановился на промежуточной станции, госпожа Спандикова почувствовала, что мешочек сделался легок и сначала радовалась, но потом, ахнув, бросилась из вагона в хвост поезда подбирать сахар.

Поезд же, неожиданно для госпожи Спандиковой, тронулся и умчался, унося сына Кольку, а подобрать сахарный песок оказалось задачей невыполнимой, потому что он растянулся на целую версту и перемешался с настоящим песком.

— Мука моя мученская! — простонала госпожа Спандикова и бросила пустой мешочек. С полчаса побродила бесцельно по пути и, вздохнув, решила идти до своей дачи пешком.

Из Галочки, сахара, Кольки и госпожи Спандиковой осталось двое: Спандикова и цветок, от которого горшок отвалился на рельсу и разбился, так как владелица растения держала его за верхушку.

Вернувшись на дачу с верхушкой цветка, госпожа Спандикова долго колотила Кольку, но не за его проделку с мешком, а за то, что поезд двинулся раньше времени, необходимого госпоже Спандиковой для сбора сахара.

* * *

Перед обедом госпожа Спандикова отправилась купаться и, так как долго не возвращалась, то муж обеспокоился и, пообедав, пошел за ней.

Он нашел ее сидящей на нижней ступеньке лестницы, около самой воды, уже одетой, но горько плачущей.

— Чего ты? — спросил господин Спандиков.

— Я потеряла обручальное кольцо в воде, — всхлипнула госпожа Спандикова.

— Ну? Очень жаль. Впрочем, что же делать — потеряла, значит, и нет его. Пойдем.

— Как пойдем? — вспыхнула госпожа Спандикова. — Так может говорить только старый осел!

— Чего ты ругаешься? Кто же может быть виноват в том, что кольцо пропало?

Так как кольцо в свое время было подарено мужем, то госпожа Спандикова, призадумавшись, ответила:

— Ты.

— Ну ладно, ну я... Пойдем, милая.

— Как пойдем?! Кольцо необходимо найти.

— Я куплю другое. Пойдем, милая.

— Он купит другое! Да неужели ты не знаешь, что потерять обручальное кольцо значит — большое несчастье.

— Первый раз слышу!

— Он первый раз слышит!.. Это известно всякому младенцу.

— Ну, я иду домой.

— Он пойдет домой! Неужели ты не догадываешься, что тебе нужно сделать?

— Купить другое? — пошутил муж.

Госпожа Спандикова всплеснула руками.

— Он купит другое! Раздевайся сейчас же и лезь в воду. Я не могу уйти без кольца... Это принесет нам страшное несчастье.

— Да мне не хочется.

— Лезь.

Между супругами возгорелся жаркий спор, результатом которого явилось то, что господин Спандиков разделся и, морщась, полез в воду.

— Ищи тут!

Он нырнул и, наткнувшись ухом на какой-то камень, вылез обратно.

— Ищи же тут! Нырни еще.

Муж нырнул еще. Потом, отфыркиваясь, спросил:

— Разве ты в этом месте купалась?

— Нет... вот здесь! Но я думаю, что течением отнесло его в эту сторону.

— Да течение не оттуда, а отсюда.

— Не может быть... Почему же, когда мы купались у Красной рощи, течение было отсюда?

— Потому что мы были на том берегу реки.

— Это все равно! Ищи!

Посиневший, дрожащий господин Спандиков нырнул и потом вылез на лесенку, грустный с искаженным лицом...

— Не могу больше! — прохрипел он.

— Это еще что за новости?!

— Я только что пообедал, а ты меня держишь полчаса в холодной воде. Это может отразиться плохо для моего здоровья.

— Вот глупости! А если мы не найдем кольца, то примета говорит, что с нами приключится несчастье... Поищи еще здесь...

* * *

Солнце уже закатилось, а госпожа Спандикова наклонялась к мужу и кричала:

— Поищи еще вот тут! В то время, когда я купалась, дул северо-восточный ветер...

В сущности, ветер указанного госпожой Спандиковой направления не дул, да и сама она не знала, какое он имел отношение к местопребыванию кольца, но тем не менее господин Спандиков, зеленый, как лягушка, покорно окунался в воду и потом, отдуваясь, поднимался со странной, маленькой от мокрых волос головой и слипшейся бородкой.

Вернулись вечером.

Господин Спандиков лег в постель и все время дрожал, хотя его укрыли теплым одеялом. Потом ему дали коньяку, но у него появилась рвота. В одиннадцать с половиной часов господин Спандиков умер.................................

....

На даче все оживилось.

Послышался вой прислуги, плач детей и рыдания самой госпожи Спандиковой.

Чтобы разделить с кем-нибудь горе, госпожа Спандикова послала за соседкой, названной ею утром «хронической дурой» и «рыжей тетехой».

Забыв обиду, хроническая дура пришла и долго выслушивала жалобы на жестокую судьбу.

Сочувствовала.

Утром рыжая соседка говорила своему мужу:

— Видишь! А ты еще не верил приметам. Спандиковы-то, что живут рядом с нами... Вчера жена потеряла обручальное кольцо. Это страшно скверная примета!

— Ну? — спросил муж хронической дуры.

— Ну — и в тот же день у нее умирает муж! Можешь себе представить?

СТРАШНЫЙ ЧЕЛОВЕК

I

В одной транспортной конторе (перевозка и застрахование грузов) служил помощником счетовода мещанин Матвей Петрович Химиков.

Снаружи это был человек маленького роста, с кривыми ногами, бледными, грязноватого цвета глазами и большими красными руками. Рыжеватая растительность напоминала редкий мох, скупо покрывающий какую-нибудь северную скалу, а грудь была такая впалая, что коснуться спины ей мешали только ребра, распиравшие бока Химикова с таким упорством, которое характеризует ребра всех тощих людей.

Это было снаружи. А внутри Химиков имел сердце благородного убийцы: аристократа духа и обольстителя прекрасных женщин. Какая-нибудь заблудившаяся душа рыцаря прежних времен, добывавшего себе средства к жизни шпагой, а расположение духа — любовью женщин, набрела на Химикова и поселилась в нем, мешая несчастному помощнику счетовода жить так, как живут тысячи других помощников счетовода.

Химикову грезились странные приключения, бешеная скачка на лошадях при лунном свете, стрельба из мушкетов, ограбление проезжих дилижансов, мрачные таверны, наполненные подозрительными личностями с нахлобученными на глаза шляпами, и какие-то красавицы, которых Химиков неизменно щадил, тронутый их молодостью и слезами. В это же самое время Химикову кричали с другого стола:

— Одно место домашних вещей. Напишите квитанцию, два пуда три фунта.

Химиков писал квитанцию, но когда занятия в конторе кончались, он набрасывал на плечи длинный плащ, нахлобучивал на глаза широкополую шляпу и, озираясь, шагал по улице, похожий на странного, дурацкого вида разбойника.

Под плащом он всегда держал на всякий случай кинжал, и если бы по дороге на него было произведено нападение,

помощник счетовода захохотал бы жутким, зловещим смехом и всадил бы кинжал в грудь негодяя по самую рукоять.

Но или негодяям было не до него, или людные улицы, по которым он гордо шагал, вызывая всеобщее удивление, не заключали в себе того сорта негодяев, которые набрасываются среди тьмы народа на путников.

II

Химиков благополучно добирался домой, с отвращением съедал обед из двух блюд с вечным киселем на сладкое.

Из-за обеда у него с хозяйкой шла вечная, упорная борьба.

— Я не хочу вашего супа с битком, — говорил он обиженно. — Разве нельзя когда-нибудь дать мне простую яичницу, кусок жаренного на вертеле мяса и добрый глоток вина?

О жаренном на вертеле мясе и яичнице он мечтал давно, но бестолковая хозяйка не понимала его идеалов, оправдываясь непитательностью такого меню.

Он хотел сделать так.

Съесть, надвинув на глаза шляпу, мясо, запить добрым глотком вина, закутаться в плащ и лечь на ковер у кровати, чтобы выспаться перед вечерними приключениями.

Но раз не было жаренного на вертеле мяса и прочего, эффектный отдых в плаще на полу не имел смысла, и помощник счетовода отправлялся на вечерние приключения без этого.

Вечерние приключения состояли в том, что Химиков брал свой вечный кинжал, кутался в плащ и шел, озираясь, в трактир «Черный Лебедь».

Этот трактир он избрал потому, что ему очень нравилось его название «Черный Лебедь», что там собирались подонки населения города и что низкие, закопченные комнаты трактира располагали к разного рода мечтам о приключениях.

Химиков пробирался в дальний угол, садился, драпируясь в свой плащ, и старался сверкать глазами из-под надвинутой на них шляпы.

И всегда он таинственно озирался, хотя за ним никто не следил и мало кто интересовался этой маленькой фигуркой в театральном черном плаще и шляпе, с выглядывающими из-под нее тусклыми глазами, которые никак

не могли засверкать, несмотря на героические усилия их обладателя.

Усевшись, помощник счетовода хлопал в ладоши и кричал срывающимся голосом:

— Эй, паренек, позови ко мне трактирщика! Что там у него есть?

— Их нет-с, — говорил обычно слуга. — Они редко бывают. Что прикажете? Я могу подать.

— Дай ты мне пива, только не в бутылке, а вылей в какой-нибудь кувшин. Да прикажи там повару зажарить добрую яичницу. Ха-ха! — грубо смеялся он, хлопая себя по карману. — Старый Матвей хочет сегодня погулять: он сделал сегодня недурное дельце.

Слуга в изумлении смотрел на него и потом, приняв прежний апатичный вид, шел заказывать яичницу.

«Дельце» Химикова состояло в том, что он продал какому-то из купцов-клиентов имевшееся у него на комиссии деревянное масло, но со стороны казалось, что заработанные Химиковым три рубля обрызганы кровью ограбленного ночного путника.

Когда приносили яичницу и пиво, он брал кувшин, смотрел его на свет и с видом записного пьяницы приговаривал:

— Доброе пиво!! Есть чем Матвею промочить глотку.

И в это время он, маленький, худой, забывал о конторе, «домашних местах» и квитанциях, сидя под своей громадной шляпой и уничтожая добрую яичницу, в полной уверенности, что на него все смотрят с некоторым страхом и суеверным почтением.

III

Вокруг него шумела и ругалась городская голытьба, он думал: «Хорошо бы набрать шаечку человек в сорок, да и навести ужас на все окрестности. Кто, — будут со страхом спрашивать, — стоит во главе? Вы не знаете? Старый Матвей. Это — страшный человек! Потом княжну какую-нибудь украсть...»

Он шарил под плащом находившийся там между складками кинжал и, найдя, судорожно сжимал рукоятку.

Покончив с яичницей и пивом, расплачивался, небрежно бросал слуге на чай и, драпируясь в плащ, удалялся.

«Хорошо бы,— подумал он,— если бы у дверей трактира была привязана лошадь. Вскочил бы и ускакал».

И помощник счетовода чувствовал такой прилив смелости, что мог идти на грабеж, убийство, кражу, но непременно у богатого человека («эти деньги я все равно отдал бы нуждающимся»).

Если по пути попадался нищий, Химиков вынимал из кармана серебряную монету (несмотря на скудость бюджета, он никогда не вынул бы медной монеты) и, бросая ее барским жестом, говорил:

— Вот... возьми себе.

При этом монету бросал он на землю, что доставляло нищему большие хлопоты и вызывало утомительные поиски, но Химиков понимал благотворительность только при помощи этого эффектного жеста, никогда не давая монету в руку попрошайке.

IV

У помощника счетовода был один только друг — сын квартирной хозяйки Мотька, в глазах которого раз навсегда застыл ужас и преклонение перед помощником счетовода.

Было ему девять лет. Каждый вечер с нетерпением ждал он той минуты, когда Химиков, вернувшись из трактира, постучит к его матери в дверь и крикнет:

— Мотя! Хочешь ко мне?

Замирая от страха и любопытства, Мотька робко входил в комнату Химикова и садился в уголок.

Химиков в задумчивости шагал из угла в угол, не снимая своего плаща, и наконец останавливался перед Мотькой.

— Ну, тезка... Было сегодня жаркое дело.

— Бы-ло? — спрашивал Мотька, дрожа всем телом.

Химиков зловеще хохотал, качал головой и, вынув из кармана кинжал, делал вид, что стирает с него кровь.

— Да, брат... Купчишку одного маленько пощипали. Золота было немного, но шелковые ткани, парча — чудо что такое.

— А что же вы с купцом сделали? — тихо спросил бледный Мотька.

— Купец? Ха-ха! Если бы он не сопротивлялся, я бы, пожалуй, отпустил бы его. Но этот негодяй уложил лучшего из моих молодцов — Лоренцо, и я, ха-ха, поквитался с ним!

— Кричал? — умирающим шепотом спрашивал Мотька, чувствуя, как волосы тихо шевелятся у него на голове.

— Не цыкнул. Нет, это что... Это забава сравнительно с делом старухи Монморанси.

— Какой... старухи? — прижимаясь к печке, спрашивал Мотька.

— Была, брат, такая старуха... Мои молодцы пронюхали, что у нее водятся деньжата. Хорошо-с... Отравили мы ее пса, один из моей шайки подпоил старого слугу этой ведьмы и открыл нам двери... Но каким-то образом полицейские ищейки пронюхали. Ха-ха! Вот-то была потеха! Я четырех уложил... Ну, и мне попало! две недели мои молодцы меня в овраге отхаживали.

Мотька смотрел на помощника счетовода глазами, полными любви и пугливого преклонения, и шептал пересохшими губами:

— А сколько... вы вообще человек... уложили?

Химиков задумывался:

— Человек... двадцать, двадцать пять. Не помню, право. А что?

— Мне жалко вас, что вы будете на том свете в котле кипеть...

Химиков подмигивал и бил себя кулаками по худым бедрам.

— Ничего, брат, зато я здесь, на этом свете, натешусь всласть... а потом можно и покаяться перед смертью. Отдам все свое состояние на монастыри и пойду босой в Иерусалим...

Химиков кутался в плащ и мрачно шагал из угла в угол.

— Покажите мне еще раз ваш кинжал,— просил Мотька.

— Вот он, старый друг,— оживлялся Химиков, вынимая из-под плаща кинжал.— Я таки частенько утоляю его жажду. Ха-ха! Любит он свежее мясо... Хах-ха!

И он, зловеще вертя кинжалом, озирался, закидывая конец плаща на плечо и худым пальцем указывал на ржавчину, выступившую на клинке от сырости и потных рук.

Потом Химиков говорил:

— Ну, Мотя, устал я после всех этих передряг. Лягу спать.

И, закутавшись в плащ, ложился, маленький, бледный, на ковер у кровати.

— Зачем вы предпочитаете пол? — почтительно спрашивал Мотька.

— Э-э, брат! Надо привыкать... Это еще хорошо. После ночей в болотах или на ветвях деревьев — это царская постель.

И он, не дождавшись ухода Мотьки, засыпал тяжелым сном.

Мотька долго сидел подле него, глядя с любовью и страхом в скупо покрытое рыжими волосами лицо.

И вдвойне ужасным казалось ему то, что весь Химиков — такой маленький, жалкий и незначительный. И что под этой незначительностью скрывается опасный убийца, искатель приключений и азартный игрок в кости.

Насмотревшись на лицо спящего помощника счетовода, Мотька заботливо прикрывал его сверх плаща одеялом, гасил лампу и на цыпочках, стараясь не потревожить тяжелый сон убийцы, уходил к себе.

V

Помощник счетовода Химиков, благородный авантюрист, рыцарь и искатель приключений, всей душой привязанный к отошедшему в вечность,— закопченным тавернам, нападениям на дилижансы и мастерским ударам кинжала,— влюбился.

Его идеал,— бледная, стройная графиня, сидящая на козетке в старинном барском доме,— нашел воплощение в девице без определенных занятий — Полине Козловой, если иногда и бледной, то не от благородного происхождения, а от бессонных ночей, проводимых ею не совсем согласно с кодексом обычной добродетели.

Однажды, когда дико живописный Химиков шагал аршинными решительными шагами по улице, закутанный в свой вечный плащ и прикрытый сверху чудовищной шляпой, он услышал впереди себя разговор:

— Очень даже это нетактично приставать к незнакомым девушкам.

— Сударыня, Маруся... Я уверен, что такое очаровательное существо может именоваться только Марусей... Маруся! Не вносите аккорда в диссонанс нашей мимолетной

встречи. Позвольте быть вам проводимой мной. Где вы живете?

— Ишь, чего захотели. Никогда я не скажу вам, хотя бы вы проводили меня до самого дома на Московской улице, номер семь... Ах, что я сказала! Я, кажется, проговорилась... Нет, забудьте, забудьте, что я вам сказала!

Подслушивание Химиков считал самым неблагородным делом, но когда до него донесся этот разговор, его мужественное сердце наполнилось состраданием к преследуемой и бешеным негодованием против гнусного преследователя.

— Милостивый государь! — загремел он, приблизившись к дон-жуану и смотря на него снизу вверх. — Оставьте эту беззащитную девушку, или вы будете иметь дело со мной!

Беззащитная девушка с некоторым неудовольствием взглянула на мужественного Химикова, а ее кавалер сердито вырвал руку и закричал:

— Кто вы такой, черти вас раздери?

— Негодяй! Я тот, которого провидение нашло нужным послать в критическую для этого существа минуту. Защищайся!

Противник Химикова, громадный, толстый блондин, сжал кулак, но вид маленького Химикова, бешено извивавшегося у его ног с кинжалом в руке, заставил его отступить.

— Ч-черт з-знает, что такое, — пробормотал он, отскакивая от бледной, худой руки, которая бешено чертила кинжалом вокруг него замысловатые круги и восьмерки. — Черт знает... решительно не понимаю... — оторопело промычал блондин и стал быстрыми шагами удаляться от Химикова, оставшегося около девицы.

VI

— Сударыня, — сказал Химиков, снимая свою черную странную шляпу и опуская ее до самой земли. — Прошу извинений, если ваше ухо было оскорблено несколькими грубыми словами, произнести которые вынудила меня необходимость. Ха-ха! — зловеще захохотал Химиков. — Парень, очевидно, боится запаха крови и ловко избежал маленького кровопускания... Ха-ха-ха!

— Кто вы такой? — спросила изумленная Полина Козлова, осматривая Химикова.

— Я...

Химикову неловко было сказать, что его фамилия Химиков и что он служит помощником счетовода в транспортной конторе. Он опустил голову, забросил конец плаща на плечо и, как будто стряхнувши с себя что-то, сказал:

— Когда-нибудь... когда будет возможно, человек с черной бородой явится к вам, покажет этот кинжал и сообщит, кто я... Пока же... сударыня, не забывайте, что город этот страшен. Он таит совершенно неизвестные вам опасности, и нужно иметь мою звериную хитрость и ловкость, чтобы избежать их. Но вы... Как ваши престарелые родители рискуют отпустить вас в эту страшную ночь... Не найдете ли вы удобным соблаговолить дать мне милостивое разрешение предложить сопутствовать вам до вашего дома.

— Ну что ж, можно,— усмехнулась Полина Козлова.

Химиков взял девушку под руку и, свирепо озираясь на встречных прохожих, бережно повел ее по улице. Через сто шагов он уже узнал, что у его спутницы нет родителей и что она носит фамилию — Полина Козлова.

— Так молоды и, увы, беззащитны,— прошептал Химиков, тронутый ее историей.— Скорбь об утрате ваших почтенных родителей смешивается в моей душе со сладкой надеждой быть вам чем-нибудь полезным и принять на свою грудь направленные на вас удары злобной интриги и происки вра...

— Покатайте меня на автомобиле,— сказала девушка, щуря на Химикова глаза.

По своим убеждениям Химиков ненавидел автомобили, предпочитая им старые добрые дилижансы. Но желание женщины было для него законом.

— Сударыня, вашу руку...

Они долго катались на автомобиле, а потом девушка проголодалась и заявила, что хочет в ресторан.

Химиков не возражал ей ни слова, но про себя решил, что если в ресторане у него не хватит денег, он выйдет в переднюю и там заколется кинжалом. Пусть лучше над ним нависнет роковая тайна, чем прозаический отказ в ужине. В кабинете ресторана девушка поправила растрепавшуюся прическу, подошла к Химикову и, севши на его худые, неверные колени, поцеловала помощника счетовода в щеку.

Сердце Химикова затрепетало и оборвалось.

— Суд... Полина. Вв... вы... меня... полюбили! О, пусть эта неожиданно вспыхнувшая страсть будет залогом моего стремления посвятить вам отныне мою жизнь.

— Дайте папиросу, — попросила Полина, разглаживая его редкие рыжие волосы.

— Грациозная шалунья! Резвящаяся сирота! — в экстазе воскликнул Химиков и прижал девушку к своей груди.

После ужина Химиков проводил Полину домой, у подъезда ее дома снял шляпу, низко, почтительно поклонился и, поцеловав руку, удалился, закутанный в свой длинный плащ.

Сбитая с толку девушка удивленно посмотрела ему вслед, улыбнулась и сказала:

— Сегодня я сплю одна.

Это был самый редкий и курьезный случай в ее жизни.

VII

Химиков зажил странной жизнью.

Транспортную контору, трактир «Черный Лебедь», добрый кувшин пива — все это поглотило молодое поэтичное чувство, загоревшееся в его тощей груди.

Он часто встречался с Полиной и, рыцарски вежливый, рабски исполнял все капризы девушки, очень полюбившей автомобили и театральные представления. Долги зловещего авантюриста росли с головокружительной быстротой, и ряд прозаических неприятностей обрушился на его бедную голову. В конторе стали коситься на его небрежность в писании квитанций и вечные просьбы жалованья вперед. Хозяйка перестала получать за квартиру и почти не кормила иссохшего от страсти и лишений Химикова.

И Химиков, голодный, лишенный даже «доброй яичницы» в трактире «Черный Лебедь», ждал с нетерпением вечера, когда можно было накинуть плащ и, захватив кинжал и маску (маска появилась в самое последнее время как атрибут любовного похождения), отправиться на свидание.

Полина Козлова была нехорошей девушкой.

Химикову изменяли — он не замечал этого. Над Химиковым смеялись — он считал это оригинальным выражением любви. Химикова разоряли — он был слишком поэтичной натурой, чтобы обратить на это внимание...

И наступило крушение.

VIII

Как всякому авантюристу, Химикову дороже всего было его оружие, и Химиков берег кинжал как зеницу ока.

Но однажды Полина сказала:

— Принесите завтра конфект.

И разоренный Химиков на другой день без колебаний завернул кинжал в бумагу и понес его торговцу старинными вещами.

— Что это? — спросил удивленный торговец.

— Кинжал. Это мой старый друг, сослуживший мне не одну службу,— печально сказал Ходиков, запахиваясь в плащ.

— Это простой нож для разрезывания книг, а не кинжал,— улыбнулся торговец.— С чего вы взяли, что он кинжал? Таких можно купить по семи гривен где угодно. Даже более новых, не заржавленных.

Изумленный Химиков взял свой кинжал и побрел домой. В голове его мелькала мысль, что сегодня можно к Полине не пойти, а завтра сказать, что с ним случилось странное приключение: какие-то неизвестные люди похитили его, увезли в карете и продержали сутки в таинственном подземелье.

IX

А на другой день, так как вопрос о конфектах не разрешился, Химиков решил ограбить кого-нибудь на улице.

Решил он это без всяких колебаний и сомнений. Ограбить богатого человека он считал вовсе не позорным делом, твердо стоя на точке зрения рыцарей прошлых веков, не особенно разборчивых в сложных вопросах морали.

Тут же он решил, если ограбит большую сумму, отдать излишек бедным.

Закутанный в плащ, с кинжалом в руке, Химиков в тот же вечер отправился на улицы города, зорко оглядываясь по сторонам.

Все было как следует. Ветер рвал полы его плаща, луна пряталась за тучами, и прохожих было немного. Химиков притаился в какой-то впадине стены и стал ждать.

Гулкие шаги по пустынной улице возвестили помощнику счетовода о приближении добычи. Вдали показался господин,

одетый в дорогое пальто и лоснящийся цилиндр. Химиков судорожно сжал кинжал, выскользнул из засады и предстал — маленький, в громадной шляпе, как чудовищный гриб — перед прохожим.

— Ха-ха-ха! — жутким смехом захохотал он.— Нет ли денег?

— Бедняга! — сострадательно сказал господин, приостанавливаясь.— В такую холодную ночь просить милостыню... Это ужасно. На тебе двугривенный, пойди, обогрейся!

Химиков зажал в кулак всунутый ему в руку двугривенный и, лихорадочно стуча зубами, пустился бежать по улице. Голова его кружилась, и так странно окончившийся грабеж наполнял сердце обидой. Черной, странной птицей несся он по улице, а ветер, как крыльями, шлепал полами его плаща и продувал удивительного помощника счетовода.

X

Химиков лежал на своей убогой кровати, смотря остановившимся взглядом в потолок.

Около него сидел неутешный хозяйский сын Мотька и, со слезами на грязном лице, гладил бледную руку Химикова.

— Да... брат... Мотя,— подмигнул ему Химиков, — много я грешил на своем веку, и вот теперь расплата.

— Мама говорила, что, может, не умрете,— попытался обрадовать страшного счетовода Мотька.

— Нет уж, брат... Пожито, пограблено, выпущено крови довольно. Мотя, у меня не было друзей, кроме тебя. Хочешь, я тебе подарю, что мне дороже всего, — мой кинжал?

На минуту Моткины глаза засверкали радостью:

— Спасибо, Матвей Петрович! Я тоже, когда выросту, буду им убивать.

— Ха-ха-ха! — зловеще засмеялся Химиков.— Вот он, мой наследник и продолжатель моего дела! Мотя, жди, когда придут к тебе трое людей в плащах, с винтовками в руках,— тогда начинайте действовать. Пусть льется кровь сильных в защиту слабых.

Он оборвал разговор и затих.

Уже несколько времени Химиков ломал голову над разрешением одного вопроса: какие сказать ему последние пред-

смертные слова: было много красивых фраз, но все они не нравились Химикову.

И он мучительно думал.

Над Химиковым склонился доктор и Моткина мать.

— Кто он такой? — шепотом спросил доктор, удивленно смотря на висевшую в углу громадную шляпу и плащ.

— Лекарь, — с трудом сказал Химиков, открывая глаза, — тебе не удастся проникнуть в тайну моего рождения. Ха-ха-ха!

Он схватился за грудь и прохрипел:

— Души загубленных мной толпятся перед моими глазами длинной вереницей... Но дам я за них ответ только перед престолом всевыш... Засни, Красный Матвей!

И затих.

ЗАГАДКА ПРИРОДЫ

Предисловие

Всякий, кому довелось читать мои произведения, заметил, что все они проникнуты теплым, ярким светом недюжинного таланта и оригинальности. Я не помню ни одного своего рассказа, который не вызвал бы массы толков и восторженных похвал. Например, вчера: зашел ко мне приятель, с целью перехватить кое-что «до следующей среды». Получив деньги, он положил их в карман, похлопал меня по плечу и дружески сказал:

— Читал я на днях твою штучку... Ничего!

Да всего и не упомнишь!

Читатель обыкновенно замечает хорошие стороны писателя только тогда, когда поднесешь их ему под самый нос. Исходя из этого, я должен обратить внимание читателя на то, что во мне нет и в помине тривиальности и пошлости других жалких писак. Например, в нижеследующем рассказе я пишу о таких невероятных вещах, что всякий здравомыслящий читатель ни крошки не поверит, что это правда... Зная об этом, мои презренные коллеги прибегают в таких случаях к невероятно пошлому и навязшему в зубах приему: они разглагольствуют о самых небывалых, невозможных вещах в продолжение всей повести, и в самом

конце вскользь упоминают об очевидце рассказанной им чепухи:

— Но тут он... проснулся!

Подумаешь, будто читатель без этого поверил бы всем выдуманным нелепостям. И автор, полагающий, что он — крайне хитрый, себе на уме человек, в тысячный раз ставит между «но тут он» и «проснулся» многоточие. Он уверен, что читатель, прочтя, «но тут он» все еще будет думать обо всем рассказанном как о голой правде, и слово «проснулся» застанет его врасплох, — изумленным и не подготовленным к ошеломляющему разоблачению автора.

Совсем не так поступаю я.

Нижеследующее покажется читателю неслыханным, странным и необъяснимым, но я утверждаю, что *все это было*, и малейший признак недоверия к рассказанному глубоко уязвит мою чуткую, впечатлительную душу.

Глубокой ночью сидел я в своем тихом уютном кабинете и писал для оккультного журнала статью о загробной жизни.

Фактов о загробной жизни у меня было столько же, сколько у любой торговки апельсинами, и это немало огорчало меня.

Приходилось фантазировать, что вовсе мне не по душе.

Написав несколько строк о том, что души покойников после смерти переселяются на верхушки стоящих около могил деревьев, занимаясь потом, при появлении живых родственников, печальным киванием этими верхушками, я недоверчиво пожал плечами и задумался.

— Вот, — говорил я сам себе, — за моей спиной в глубине кабинета висит женский скелет, подаренный мне приятелем... И этот нелепый, никому не нужный костяк знает о загробной жизни в сто раз больше меня, живого человека и царя природы... Я не пожалел бы остатка своей жизни за то, чтобы эта женщина открыла свои костлявые уста и приподняла хотя маленький краешек таинственной завесы загробной жизни.

Сзади послышался глухой вздох.

Я вздрогнул и насторожился.

— Ах! где я? — заскрипело что-то в глубине кабинета. — Какой это идиот осмелился меня повесить?

Я вскочил с глазами, готовыми от ужаса выпрыгнуть на пол, и обернулся к скелету. Обладательница его пошевелила рукой и приняла стыдливую позу Венеры, выходящей из воды. Я не мог отвести от нее испуганных глаз и стоял без единого звука, а она, наклонивши череп, застенчиво сказала:

— Ах! Не смотрите так на меня!

— Как — так? — машинально спросил я.

— Так... Все вы, мужчины, одинаковы. Вы, кажется, забыли, что я не одета. Ну, чего же вы стали, как столб? Пошевелитесь! Принесите скорее мне какую-нибудь простыню, да отцепите от этого проклятого гвоздя. Только не смотрите на меня, пока я не оденусь. У-у... Шалун.

Она погрозила мне костяшкой пальца и закуталась в поданное мной одеяло. Я снял ее с гвоздя, причем заметил, что она прижалась к моему плечу больше, чем это было нужно.

— Боже! — сказала она, запахиваясь в одеяло. — Я одна, в глухую ночь, в кабинете молодого мужчины... Надеюсь, вы не употребите во зло мое безвыходное положение?

— Помилуйте, сударыня,— возразил я, незаметно отодвинувшись от нее.— Как вы могли подумать...

— Да, да... знаю я вас! Все вы сначала говорите одно и то же...

Оглядевшись, она взяла со стола скомканную бумажку, потерла ее о рыхлую землю цветочного горшка и стала пудрить свои белые костлявые скулы.

— Не смотрите на меня так! Я всегда чернею от смущения, когда мужчина смотрит на меня.

— Простите,— пробормотал я.— Я не буду смотреть...

— Вы не будете смотреть? — лукаво улыбнулась она страшным оскалом челюстей.— Разве я вам не нравлюсь?..

— О, помилуйте! Вы мне очень нравитесь... гм... Я очень люблю таких... худощавых дам!

Я бессовестно льстил ей, надеясь выведать у нее многое из того, что знала она и что было для меня таким недоступным.

Она же приняла мои слова за чистую монету.

Почернела, потупилась и, подняв обе руки к черепу, воскликнула:

— Ах, какой вы кавалер! Скажите, пожалуйста... У меня прическа не растрепалась?

— Нет! — совершенно искренно ответил я, так как прическа ее не могла растрепаться ни при каких условиях.

Она лукаво поглядела на меня пустыми глазницами, и я, собравшись с духом, сказал:

— Мадам!

— Ах! — что вы...— сконфузился скелет...— Я пока мадемуазель.

— Неужели? Простите, я не знал. Сударыня! У меня к вам есть большая просьба...

Скелет закутался плотнее в одеяло и захихикал:

— Ах, нет, нет! Что это вы... Ни за что!

— Что — нет? Я вас не понимаю, сударыня...

— Да, не понимаете... Все вы, мужчины, не понимаете!..

— Уверяю вас! У меня есть к вам важная просьба: расскажите мне что-нибудь о загробной жизни!

— Вы не знаете? — улыбнулась она, кокетливо помахивая кончиком ноги, выставившейся из-под одеяла.— Ах, это так интересно!.. Это страшно, безумно интересно!

— Да что вы! — обрадовался я.— Так вы расскажете...

— Конечно, конечно! Вы себе и представить не можете, что там делается!.. Только... гм... и вы должны сообщить мне кое-что...

— О, сколько угодно!

Она наморщила надбровную дугу и деловито сказала:

— Merci[1]. Скажите мне: что теперь носят?

Будучи уверен, что ее мысли заключены в узкий круг мертвецких похоронных интересов, я ответил, покачав головой:

— Носят? Да все. И мальчиков, и стариков, и цветущих женщин, и младенцев.

— Нет! я вас спрашиваю, что в этом сезоне носят?

— Холерных больше,— подумав, сказал я.

— Не-е-ет! Какой вы, право, непонятливый... Что у вас носят женщины? Ну, узкие рукава — в моде?

— Ах, так! Да, бывают узкие,— неопределенно ответил я.

— Вы не заметили — на груди есть складки?

— Складки? Иногда портнихи их, действительно, делают.

Она задумчиво покачала черепом.

— Гм... Так я и думала. А скажите... Как нынче юбки?

---

[1] Спасибо (*фр.*).

— Юбки? Черные шьют, красные, зеленые...

— Нет, нет... А фасон?

— Такой, знаете... обтянутый.

— Обтянутый?! Ага! Я всегда говорила, что к этому вернутся.

Она натянула на своих бедрах одеяло и повернулась передо мной.

— Так?

— Сударыня! — робко напомнил я.— Вы мне обещали о тамошнем кое-что порассказать...

— Да, да... Шляпки, конечно, по-прежнему большие?

— Большие. Сударыня, осмелюсь...

— Боже мой! Что вы от меня хотите?

— Вы обещали...

— Ага, простите! Что же вам рассказать?

— Все, подробно... Как там, вообще...

— Ах, вы и вообразить не можете! Надо вам сказать, что умерло нас трое: я, потом одна толстая лавочница и жена адвоката. На мне было белое платье с розовой отделкой, волосы зачесаны назад и на ногах...

— Сударыня!

— Ну? Не перебивайте! А жена адвоката... Можете представить: она была в черном шерстяном и в туфлях без каблуков... Ха-ха! Без каблуков! Ха-ха-ха!

Она так расхохоталась, что закашлялась. Потом встала с кресла и, прохаживаясь перед зеркалом, продолжала:

— Ну вот, умираем мы... В тот же день с нами похоронили одного молодого чиновника... Длинный такой был, красивый. С усиками. Мне рассказывали, что на похоронах его была молодая женщина, плакавшая над гробом, и старик, который...

— Сударыня!!

— И старик, который все качал головой, глядя на него... Понимаете, седой весь... качает и качает головой! А молодая дама, можете представить...

— Сударыня!

— Ну, что там еще?.. А потом говорили над его гробом речи. Какой-то толстый сказал: «обнажим, говорит, наши головы перед прахом этого молодого человека»... Ужасно было трогательно.

— Сударыня!.. Я вас просил о загробной жизни, а вы...

— Ах, о загробной жизни? Чего же вы раньше не сказали... Загробная жизнь наша состоит в том, что...

Она остановилась перед зеркалом и повернулась к нему спиной.

— А сзади меня хорошо облегает?

— Хорошо! Так вы говорите, что загробная жизнь...

— Да!.. Она состоит в том, чтобы... Ах, досада! Никак я не могу спины увидеть...

Она повернула голову так, что затрещали позвонки.

— Загробная жизнь наша заключается в том, что мы...

Она свернула череп чуть ли не совсем на затылок...

Неожиданно проволока, скреплявшая позвонки, лопнула, и голова с двумя позвонками глухо упала на ковер...

Моя собеседница зашаталась и рухнула, рассыпавшись грудой белых костей.

— Проклятая, болтливая баба! — злобно вскричал я, вытряхивая ее из одеяла.

Потом долго не мог успокоиться, шагая из угла в угол, и только под утро заснул тяжелым сном, томимый неразрешенной загадкой, которая почти давалась в руки:

— Что же, наконец, делается на том свете?

ДЕНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Дома

Утром, когда жена еще спит, я выхожу в столовую и пью с жениной теткой чай. Тетка — глупая, толстая женщина — держит чашку, отставив далеко мизинец правой руки, что кажется ей крайне изящным и светски изнеженным жестом.

— Как вы нынче спали? — спрашивает тетка, желая отвлечь мое внимание от десятого сдобного сухаря, который она втаптывает ложкой в противный жидкий чай.

— Прекрасно. Вы всю ночь мне грезились.

— Ах ты, Господи! Я серьезно вас спрашиваю, а вы все со своими неуместными шутками.

Я задумчиво смотрю в ее круглое обвислое лицо.

— Хорошо. Будем говорить серьезно... Вас действительно интересует, как я спал эту ночь? Для чего это вам? Если я скажу, что спалось неважно,— вас это опечалит и угнетет на весь день? А если я хорошо проспал — ликованию и душевной радости вашей не будет пределов?.. Сегодняшний день покажется вам праздником, и все предметы будут окрашены отблеском веселого солнца и удовлетворенного сердца?

Она обиженно отталкивает от себя чашку.

— Я вас не понимаю...

— Вот это сказано хорошо, искренне. Конечно, вы меня не понимаете... Ей-Богу, лично против вас я ничего не имею... простая вы, обыкновенная тетка... Но когда вам нечего говорить — сидите молча. Это так просто. Ведь вы спросили меня о прошедшей ночи без всякой надобности, даже без пустого любопытства... И если бы я ответил вам: «Благодарю вас, хорошо»,— вы стали бы мучительно выискивать предлог для дальнейшей фразы. Вы спросили бы: «А Женя еще спит?» — хотя вы прекрасно знаете, что она спит, ибо она спит так каждый день и выходит к чаю в двенадцать часов, что вам, конечно, тоже известно...

Мы сидим долго-долго и оба молчим.

Но ей трудно молчать. Хотя она обижена, но я вижу, как под ее толстым красным лбом ворочается тяжелая, беспомощная, неуклюжая мысль: что бы сказать еще?

— Дни теперь стали прибавляться,— говорит наконец она, смотря в окно.

— Что вы говорите?! Вот так штука. Скажите, вы намерены опубликовать это редкое наблюдение, еще не известное людям науки, или вы просто хотели заботливо предупредить меня об этом, чтобы я в дальнейшем знал, как поступать?

Она вскакивает на ноги и шумно отодвигает стул.

— Вы тяжелый грубиян и больше ничего.

— Ну как же так — и больше ничего... У меня есть еще другие достоинства и недостатки... Да я и не грубиян вовсе. Зачем вы сочли необходимым сообщить мне, что дни прибавляются? Все, вплоть до маленьких детей, хорошо знают об этом. Оно и по часам видно, и по календарю, и по лампам, которые зажигаются позднее.

Тетка плачет, тряся жирным плечом.

Я одеваюсь и выхожу из дому.

На улице

Навстречу мне озабоченно и быстро шагает чиновник Хрякин, торопящийся на службу.

Увидев меня, он расплывается в изумленной улыбке (мы встречаемся с ним каждый день), быстро сует мне руку, бросает на ходу:

— Как поживаете, что поделываете?

И делает движение устремиться дальше.

Но я задерживаю его руку в своей, делаю серьезное лицо и говорю:

— Как поживаю? Да вот я вам сейчас расскажу... Хотя особенного в моей жизни за это время ничего не случилось, но есть все же некоторые факты, которые вас должны заинтересовать... Позавчера я простудился, думал, что-нибудь серьезное — оказывается, пустяки... Поставил термометр, а он...

Чиновник Хрякин тихонько дергает свою руку, думая освободиться, но я сжимаю ее и продолжаю монотонно, с расстановкой, смакуя каждое слово:

— Да... Так о чем я бишь говорил... Беру зеркало, смотрю в горло — красноты нет... Думаю, пустяки — можно пойти гулять. Выхожу... Выхожу это я, вижу, почтальон повестку несет. Что за шум, думаю... От кого бы это? И можете вообразить...

— Извините,— страдальчески говорит Хрякин, — мне нужно спешить...

— Нет, ведь вы же заинтересовались, что я поделываю. А поделываю я вот что... Да. На чем я остановился? Ах, да... Что поделываю? Еду я вчера к Кокуркну, справиться насчет любительского спектакля — встречаю Марью Потаповну. «Приезжайте,— говорит,— завтра к нам»...

Хрякин делает нечеловеческое усилие, вырывает из моей руки свою, долго трясет слипшимися пальцами и бежит куда-то вдаль, толкая прохожих...

Я рассеянно иду по тротуару и через минуту натыкаюсь на другого знакомого — Игнашкина.

Игнашкин никуда не спешит.

— Здравствуйте. Что новенького?

— А как же,— говорю, вздыхая.— Везувий вчера провалился. Читали?

— Да? Вот так штука. А я вчера в клубе был, семь рублей выиграл. Курите?

— Нет, не курю.

— Счастливый человек. Деньги все собираете?

— Нет, так.

— По этому поводу существует...

— Хорошо! Знаю. Один другому говорит: «Если бы вы не курили, а откладывали эти деньги, был бы у вас свой домик». А тот его спрашивает: «А вы курите?» — «Нет».— «Значит, есть домик?» — «Нет».— «Ха-ха!» Да?

— Да, я именно этот анекдот и хотел рассказать. Откуда вы догадались?..

Я его перебиваю:

— Как поживаете?

— Ничего себе. Вы как?

— Спасибо. До свидания. Заходите.

— Зайду. До свиданья. Спасибо.

Я смотрю с отвращением на его спокойное, дремлющее лицо и говорю:

— А вы счастливый человек, чтоб вас черти побрали!

— Почему — черти побрали?

— Такой анекдот есть. До свиданья. Заходите.

— Спасибо, зайду. Кстати, знаете новый армянский анекдот?

— Знаю, знаю, очень смешно. До свиданья, до свиданья.

Перед лицом смерти

В этот день я был на поминальном обеде.

Стол бы уставлен бутылками, тарелочками с колбасой, разложенной звездочками, и икрой, размазанной по тарелке так, чтобы ее казалось больше, чем на самом деле.

Ко мне подошла вдова, прижимая ко рту платок.

— Слышали? Какое у меня несчастие-то...

Конечно, я слышал... Иначе бы я здесь не был и не молился бы, когда отпевали покойника.

— Да, да...

Я хочу спросить, долго ли мучился покойник, и указать вдове на то полное риска и опасности обстоятельство, что все мы под Богом ходим, но вместо этого говорю:

— Зачем вы держите платок у рта? Ведь слезы текут не оттуда, а из глаз?

Она внимательно смотрит на меня и вдруг спохватывается:

— Водочки? Колбаски? Помяните дорогого покойника.

И сотрясается от рыданий...

Дама в лиловом тоже плачет и говорит ей:

— Не надо так! Пожалейте себя... Успокойтесь.

— Нет!!! Не успо-о-о-коюсь!! Что ты сделал со мной, Иван Семеныч?!

— А что он с вами сделал? — с любопытством осведомляюсь я.

— Умер!

— Да,— вздыхает сивый старик в грязном сюртуке.

— Юдоль. Жил, жил человек да и помер.

— А вы чего бы хотели? — сумрачно спрашиваю я.

— То есть? — недоумевает сивый старик.

— Да так... Вот вы говорите — жил, жил да и помер! Не хотели ли вы, чтобы он жил, жил да и превратился в евнуха при султанском дворе... или в корову из молочной фермы?

Старик неожиданно начинает смеяться полузадушенным дробненьким смешком.

Я догадываюсь: очевидно, его пригласили из милости, очевидно, он считает меня одним из распорядителей похорон и, очевидно, боится, чтобы я его не прогнал.

Я одобряюще жму его мокрую руку. Толстый господин утирает слезы (сейчас он отправил в рот кусок ветчины с горчицей) и спрашивает:

— А сколько дорогому покойнику было лет?

— Шестьдесят.

— Боже! — качает головой толстяк.— Жить бы ему еще да жить.

Эта классическая фраза рождает еще три классические фразы:

— Бог дал — Бог и взял! — профессиональным тоном заявляет лохматый священник.

— Все под Богом ходим,— говорит лиловая женщина.

— Как это говорится: все там будем,— шумно вздыхая, соглашаются два гостя сразу.

— Именно — «как это говорится»,— соглашаюсь я.

— А я, в сущности, завидую Ивану Семенычу!

— Да,— вздыхает толстяк.— Он уже там!

— Ну, там ли он — это еще вопрос... Но он не слышит всего того, что приходится слышать нам.

Толстяк неожиданно наклоняется к моему уху:

— Он и при жизни мало слышал... Дуралей был преестественный. Не замечал даже, что жена его со всеми приказчиками, тово... Слышали?

Так мы, глупые, пошлые люди, хоронили нашего товарища — глупого, пошлого человека.

Веселье

В этот день я, кроме всего, и веселился: попал на вечеринку к Кармалеевым.

Семь человек окружали бледную, истощенную несбыточными мечтами барышню и настойчиво наступали на нее.

— Да спойте!

— Право же, не могу...

— Да спойте!

— Уверяю вас, я не в голосе сегодня!

— Да спойте!

— Я не люблю, господа, заставлять себя просить, но...

— Да спойте!

— Говорю же — я не в голосе...

— Да ничего! Да спойте!

— Что уж с вами делать,— засмеялась барышня.— Придется спеть.

Сколько в жизни ненужного: сначала можно было подумать, что просившие очень хотели барышниного пения, а она не хотела петь... На самом же деле было наоборот: никто не добивался ее пения, а она безумно, истерически хотела спеть своим скверным голосом плохой романс. Этим и кончилось.

Когда она пела, все шептались и пересмеивались, но на последней ноте притихли и сделали вид, что поражены ее талантом настолько, что забыли даже зааплодировать.

«Сейчас,— подумал я,— все опомнятся и будут аплодировать, приговаривая: «Прелестно! Ах, как вы, душечка, поете...»

Я воспользовался минутой предварительного оцепенения, побарабанил пальцами по столу и задушевным голосом сказал:

— Да-а... Неважно, неважно. Слабовато. Вы действительно, вероятно, не в голосе.

Все ахнули. Я встал, пошел в другую комнату и наткнулся там на другую барышню. Лицо у нее было красивое, умное, и это был единственный человек, с которым я отдохнул.

— Давайте поболтаем, — предложил я, садясь. — Вы умная и на многое не обидитесь. Сколько здесь вас, барышень?

Она посмотрела на меня смеющимся взглядом:

— Шесть штук.

— И все хотят замуж?

— Безумно.

— И все в разговоре заявляют, что никогда, никогда не выйдут замуж?

— А то как же... Все.

— И обирать будут мужей и изменять им — все?

— Если есть темперамент — изменят, нет его — только обдерут мужа.

— И вы тоже такая?

— И я.

В комнате никого, кроме нас, не было. Я обнял милую барышню, крепко и благодарно поцеловал ее, и ушел от Кармалеевых немного успокоенный.

Перед сном

Дома жена встретила меня слезами:

— Зачем ты обидел тетку утром?

— А зачем она разговаривает?!

— Нельзя же все время молчать...

— Можно. Если сказать нечего.

— Она старая. Старость нужно уважать.

— У нас есть старый ковер. Ты велишь прислуге каждый день выбивать палкой из него пыль. Позволь мне это сделать с теткой. Оба старые, оба глупы, оба пыльные.

Жена плачет, и день мой заканчивается последней, самой классической фразой:

— Все вы, мужчины, одинаковы.

Ложусь спать.

— Бог! Хотя ты пожалей человека и пошли ему хороших-хороших, светлых-светлых снов!..

ТАЙНА

I

Он уверял меня, что с детства у него были поэтические наклонности.

— Понимаешь — я люблю все красивое!

— Неужели? С чего же это ты так? — спросил я, улыбаясь.

— Не знаю. У меня, вероятно, такая душа: тянуться ко всему красивому...

— В таком случае, я подарю тебе книжку моих стихов!!

Он не испугался, а сказал просто:

— Спасибо.

Я спросил как можно более задушевно:

— Ты любишь ручеек в лесу? Когда он журчит? Или овечку, пасущуюся на травке? Или розовое облачко высоко-высоко... Так, саженей в 60 высоты?

Глядя задумчивыми, широко раскрытыми глазами куда-то вдаль, он прошептал:

— Люблю до боли в сердце.

— Вот видишь, какой ты молодец. А еще что ты любишь?

— Я люблю закат на реке, когда издали доносится тихое пение... Цветы, окропленные первой чистой слезой холодной росы... Люблю красивых, поэтичных женщин и люблю тайну, которая всегда красива.

— Любишь тайну? Почему же ты мне не сказал этого раньше? Я бы сообщил тебе парочку-другую тайн... Знаешь ли ты, например, что между женой нашего швейцара и приказчиком молочной лавки что-то есть? Я сам вчера слышал, как он делал ей заманчивые предложения...

Он болезненно поморщился.

— Друг! Ты меня не понял. Это слишком вульгарная, грубая тайна. Я люблю тайну тонкую, нежную, неуловимую. Ты знаешь, что я сделал сегодня?

— Ты сделал что-нибудь красивое, поэтичное, — уверенно сказал я.

— Вот именно. Сейчас мы едем к Лидии Платоновне. И знаешь, что я сделал?

— Что-нибудь красивое, поэтичное?

— Да! Я купил букет роскошных белых роз и отослал его Лидии Платоновне инкогнито, без записки и карточки.

Это маленькая грациозная тайна. Я люблю все грациозное. Цветы, окропленные первой чистой слезой холодной росы... И неизвестно, от кого... это тайна.

— Так вот почему ты продал свой турецкий диван и синие брюки!

— Друг,— страдальчески сказал он.— Не будем говорить об этом. Цветы... Из нездешнего мира... Откуда они? Из чистого горного воздуха? Кто их прислал? Бог? Дьявол?

Его глаза, устремленные к небу, сияли как звезды.

— Да ведь ты не вытерпишь, проболтаешься? — едко сказал я.

— Друг! Клянусь, что я буду равнодушен и молчалив... Ты понимаешь — она никогда не узнает, от кого эти цветы... Это маленькое и ужасное слово — никогда. Nevermore[1].

Когда мы сходили с извозчика, я подумал, что если бы этот человек писал стихи, они могли бы быть не более глупы, чем мои.

II

Мы вошли в гостиную, и хозяйка дома встретила нас такой бурной радостью и водопадом благодарностей, что я сначала даже отступил за Васю Мимозова.

— Василий Валентиныч! — воскликнула прелестная хозяйка.— Признавайтесь... Это вы прислали эту прелесть?

Вася Мимозов изумленно отступил и сказал, широко открыв глаза:

— Прелесть? Какую? Я вас не понимаю.

— Полноте, полноте! Кто же другой мог придумать эту очаровательную вещь.

— О чем вы говорите?

— Не притворяйтесь. Я говорю об этом роскошном букете!

Взгляд его обратился по направлению руки хозяйки, и он закричал так, как будто первый раз в жизни видел букет цветов:

— Какая роскошь! Кто это вам преподнес?

Хозяйка удивилась.

— Неужели это не вы?

Без всякого колебания Вася Мимозов повернул к ней свое грустное, меланхолическое лицо и твердо сказал:

[1] Никогда (*англ.*).

— Конечно, не я. Даю вам честное слово.

Тут только она заметила меня и радушно приветствовала:

— Здравствуйте! Это уж не вы ли сделали мне такой царский подарок?

Я отвернулся и, с деланным смущением, возразил:

— Что вы, что вы!

Она подозрительно взглянула на меня.

— А почему же ваши глазки не смотрят прямо? Признавайтесь, шалун!

Я глупо захохотал.

— Да почему же вы думаете, что именно я?

— Вы сразу смутились, когда я спросила.

Вася Мимозов стоял за спиной хозяйки и делал мне умоляющие знаки.

Я тихонько хихикал, смущенно крутя пуговицу на жилете:

— Ах, оставьте.

— Ну конечно же вы! Зачем вы, право, так тратитесь?!

Избегая взгляда Мимозова, я махнул рукой и беззаботно ответил:

— Стоит ли об этом говорить!

Она схватила меня за руку.

— Значит, вы?

Вася Мимозов с искаженным страхом лицом приблизился и хрипло воскликнул:

— Это не он!

Хозяйка недоумевающе посмотрела на нас.

— Так, значит, это вы?

Лицо моего приятеля сделалось ареной борьбы самых разнообразных страстей: от низких до красивых и возвышенных.

Возвышенные страсти победили.

— Нет, не я,— сказал он, отступая.

— Больше никто не мог мне прислать. Если не вы — значит, он. Зачем вы тратите такую уйму денег?

Я поболтал рукой и застенчиво сказал:

— Оставьте! Стоит ли говорить о такой прозе. Деньги, деньги... Что такое, в сущности, деньги? Они хороши постольку, поскольку на них можно купить цветов, окропленных первой чистой слезой холодной росы. Неправда ли, Вася?

— Как вы красиво говорите,— прошептала хозяйка, смотря на меня затуманенными глазами.— Этих цветов я никогда не забуду. Спасибо, спасибо вам!

— Пустяки! — сказал я.— Вы прелестнее всяких цветов.

— Merci. Все-таки рублей двадцать заплатили?

— Шестнадцать,— сказал я наобум.

Из дальнего угла гостиной, где сидел мрачный Мимозов, донесся тихий стон:

— Восемнадцать с полтиной!

— Что? — обернулась к нему хозяйка.

— Он просит разрешения закурить,— сказал я.— Кури, Вася, Лидия Платоновна переносит дым.

Мысли хозяйки все время обращались к букету.

— Я долго добивалась от принесшего его: от кого этот букет? Но он молчал.

— Мальчишка, очевидно, дрессированный,— одобрительно сказал я.

— Мальчишка! Но он старик!

— Неужели? Лицо у него было такое моложавое.

— Он весь в морщинах!

— Несчастный! Жизнь его, очевидно, не красна. Ненормальное положение приказчиков, десятичасовой труд... Об этом еще писали. Впрочем, сегодняшний заработок поправит его делишки.

Мимозов вскочил и приблизился к нам. Я думал, что он ударит меня, но он сурово сказал:

— Едем! Нам пора.

При прощании хозяйка удержала мою руку в своей и прошептала:

— Ведь вы навестите меня? Я буду так рада! Merci за букет. Приезжайте одни.

Мимозов это слышал.

III

Возвращаясь домой, мы долго молчали. Потом я спросил задушевным тоном:

— А любишь ты детскую елку, когда колокола звонят радостным благовестом и румяные детские личики резвятся около дерева тихой радости и умиления? Вероятно, тебе дорога летняя лужайка, освещенная золотым солнцем, которое ласково греет травку и птичек... Или первый поцелуй теплых губок любимой женщи...

Падая с пролетки и уже лежа на мостовой, я успел ему крикнуть:

— Да здравствует тайна!

ВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР

I

Ее выцветшее от сырости и дождей пальто и шляпа с перьями, сбившимися от времени в странный удивительный комок, не вызывали у прохожих Невского проспекта того восхищения, на которое рассчитывала обладательница шляпы и пальто... Мало кто обращал внимание на эту шаблонную девицу, старообразную от попоек и любви, несмотря на свои 25 лет, уныло-надоедливую и смешную, с ее заученными жалкими методами обольщения.

Если прохожий имел вид человека, не торопящегося по делу, она приближалась к нему и шептала, шагая рядом и глядя на крышу соседнего дома:

— Мужчина!.. Зайдем за угол. Пойдем в ресторанчик — очень недорого: маленький графин водки и тарелка ветчины. Право, а?

И все время она смотрела в сторону, делая вид, что идет сама по себе, и если бы возмущенный прохожий позвал городового, она заявила бы нагло и бесстыдно, что она не трогала этого прохожего, а наоборот — он предлагал ей разные гадости, которые даже слушать противно.

Ходила она так каждый день.

— Мужчина, поедем в ресторанчик. Неужели вам жалко: графинчик водки и тарелка ветчины. Право, а?

Иногда предмет ее внимания, какой-нибудь веселый прохожий, приостанавливался и, с видом шутника, баловня дам, спрашивал:

— А может, ты хочешь графинчик ветчины и тарелку водки?

И она раскрывала рот и, схватившись за бока, хохотала вместе с веселым прохожим, крича:

— О-о-ой, чудак! Уморил!.. Ну, и скажет же...

В общем, ей не так было смешно, как она прикидывалась: может быть, прохожий, польщенный ее одобрением, возьмет ее с собой и накормит ветчиной с водкой, что, — принимая во внимание сырую погоду, — было бы совсем не плохо.

II

Сегодня прохожие были какие-то угрюмые, необщительные: несколько человек в ответ на ее деланно-добродушное предложение угоститься совместно ветчиной и водкой — послали ее «ко всем чертям», а один, мрачный юморист, указал на полную возможность похлебать дождевой воды, набравшейся в тротуарном углублении, что, по его мнению, давало полную возможность развести в животе лягушек и питаться ими вместо ветчины.

Юмориста эта шаблонная девица ругала долго и неустанно... Он уже давно ушел, а она все стояла, придерживая шляпу и изобретая все новые и новые слова, запас которых, к ее чести, был у нее велик и неисчерпаем.

В это время ей навстречу шли два человека. Один приостановил другого, указал на девицу и шепнул:

— Давай, Вика, ее пригласим!

Другой засмеялся, кивнул головой и пошел вперед.

— Знаешь, Петерс, она, кажется, очаровательна.

Оба, приблизившись к девице, осмотрели ее с ног до головы и вежливо приподняли свои цилиндры.

— Сударыня! — сказал Петерс.— Приношу вам от имени себя и своего товарища тысячу извинений за немного бесцеремонный способ знакомства. Мы, знаете, народ простой и в обращении с дамами из общества не совсем опытны. Оправданием нам может служить ваш благосклонный взгляд, которым вы нас встретили, и желание провести вечер весело, но скромно и интеллигентно!

Девица захохотала, взявшись за бока.

— Ой, уморили! Да и комики же вы!..

Господин, по имени Петерс, всплеснул руками.

— Это очаровательно! Ты замечаешь, Вика, как наша новая знакомая весела?

Вика кивнул головой.

— Настоящая воспитанность именно и заключается в благородной простоте и безыскусственности. Вы извините нас, сударыня, если мы сделаем вам одно нескромное предложение...

— Что такое? — спросила девица, замирая от страха, что ее знакомые повернутся и уйдут.

— Нам, право, неловко... Вы не примите нашего предложения в дурную сторону...

— Мы даем вам слово,— заявил Петерс,— что будем держать себя скромно, с тем уважением, которое внушает к себе каждая порядочная женщина.

Девица хотела хлопнуть себя по бедрам и вскричать: «ой, уморили!», но руки ее опустились, и она, молча, исподлобья взглянула на стоящих перед ней людей.

— Что вам нужно?

— Ради Бога,— суетливо воскликнул Вика,— не подумайте, что мы бы хотели употребить во зло ваше доверие, но... скажите: не согласились ли бы вы отужинать с нами, конечно, где-нибудь — в приличном месте?

— Ну, да, да, конечно, поужинаю,— согласилась повеселевшая девица.

— О, мы вам так благодарны!..

Петере нагнулся и, взяв загрубевшую большую руку девицы, тихо прикоснулся к ней губами.

— Эй, мотор! — крикнул куда-то в темноту Вика.

Девица, сбитая с толку странным поведением друзей, думала, что они сейчас захохочут и убегут... Но, вместо этого, к ним, пыхтя, приблизился автомобиль. Вика открыл дверцу, бережно взял девицу под руку и посадил ее на мягкую пружинную подушку.

— Матушки ж вы мои,— подумала пораженная, потрясенная девица.— Что же это такое?

Ей пришло в голову, что самое лучшее — в благодарность за автомобиль — обнять Вику за шею, а сидевшему напротив Петерсу положить на колени ногу: некоторым ее знакомым это доставляло удовольствие... Но Вика деликатно отодвинулся, давая ей место, и сказал:

— А ведь мы еще не знакомы! Моя фамилия Гусев, Виктор Петрович, инженер, а это мой приятель — Петерс, Эдуард Павлович — писатель. Мы хотя и не осмеливаемся настаивать на сообщении нам вашей фамилии, но имя...

Девица помолчала.

— Меня зовут Катериной. Катя.

— О, помилуйте! — ахнул Петерс.— Разве мы осмелимся называть вас так фамильярно... Екатерина... как по отчеству?..

— Степановна!

— Merci. Вика... Куда же мы повезем Екатерину Степановну?.. Я думаю, в «Москву» — неудобно?

— Да,— сказал Вика.— Туда с приличной дамой нельзя показаться... Форменный кабак. Рискуешь наткнуться на кокотку, на пьяного... Самое лучшее — к Контану!

— Прекрасно! Вы, Екатерина Степановна, не беспокойтесь: это ресторан очень приличный и туда смело можно повести порядочную даму.

Девица внимательно посмотрела в лицо друзьям: серьезные невозмутимые лица, с той немного холодной вежливостью, которая бывает при первом знакомстве...

И вдруг в голове мелькнула ужасная, потрясающая мысль:

— Ее серьезно приняли за даму из общества!

III

У Контана заняли отдельный кабинет. Порыжевшее пальто и слипшиеся перья шляпы были при ярком свете электричества убийственны, но друзья, не замечая этого, разоблачили девицу и, усадив, сказали:

— Позвольте вам предложить закуску, Екатерина Степановна: икры, омаров, фуагра... Что вы любите? Простите за нескромный вопрос: вы пьете вино?

— Пью,— тихо сказала девица, упорно смотря в цветочки на обоях.

— Прекрасно! Петерс, ты распорядись!..

Весь стол был уставлен закусками. Девице налили шампанского, а Петерс и Вика пили холодную прозрачную водку. Девице, вместо шампанского, хотелось водки, но она ни за что не сказала бы этого, предпочитая молча прихлебывать шампанское. Заедала ветчиной и хлебом.

На белоснежной скатерти ярко выделялся протертый рукав кофточки и грудь, покрытая белым пухом от боа. Поэтому девица искусственно-равнодушно сказала:

— А за мной один полковник ухаживает... Влюблен — невозможно. Толстый такой, богатый. Да он мне не нравится.

Друзья изумились.

— Полковник? Неужели? Настоящий полковник? А ваши родители как к этому относятся?

— Никак. Они живут в Пскове.

— Вы, вероятно,— сказал участливо Петерс,— приехали в Петербург развлечься? Я думаю, молодой, неопытной девушке в этом столичном омуте — страшновато.

— Да, мужчины такие нахалы,— сказала девица и скромно положила ногу на ногу.

— Мы вам сочувствуем,— тихо сказал Вика, взял руку девицы и деликатно поцеловал ее.

— Послушай,— пожал плечами Петерс,— может быть, Екатерине Степановне неприятно, что ты целуешь ей руку, а она стесняется сказать это... Ведь мы же обещали вести себя прилично.

Девица густо покраснела и усмехнулась:

— Ничего, что ж... Пусть. Когда я жила у папаши, у меня все завсегда целовали руки.

— Да, конечно,— серьезно кивнул головой Петерс. — В интеллигентных светских домах это принято.

— Кушайте, Екатерина Степановна, артишоки!

— Вы какая-то скучная,— участливо сказал Вика.— Вероятно, у вас мало развлечений? Знаешь, Петерс, хорошо бы Екатерину Степановну познакомить с моей сестрой. Она тоже барышня, и им вдвоем было бы веселее выезжать в театры и концерты...

Девица с непонятным беспокойством в глазах встала и заявила:

— Мне пора. Спасибо за компанию.

— Мы вас довезем до вашей квартиры в автомобиле!

— Ой, нет, нет, спасибо... Ради Бога, не надо, я сама... Ой, нет, нет — не надо.

IV

Когда девица вышла из кабинета, друзья всплеснули руками и, захлебываясь от душившего их хохота, повалились на ковер...

...Девица шагала по опустевшему Невскому, спрятав голову в боа и глубоко задумавшись.

Сзади подошел какой-то запоздалый прохожий, дернул ее за руку и ласково пролепетал:

— Мм... мамочка! Идем со мной.

Девица злобно обернулась.

— Ты, брат, разбирай к кому пристаешь! нельзя порядочной даме по улице пройти... Сволочь паршивая!!

ДРУЖБА

Посвящается Марусе Р.

Уезжая, Кошкин сказал жене:

— Я, Мурочка, вернусь завтра. Так как ты сегодня собралась в театр, то сопровождать тебя будет вместо меня мой друг Бултырин. Он, правда, недалек и человек по характеру тяжелый, но привязан ко мне и к тебе будет внимателен. Когда вернетесь домой, ты можешь положить его в моем кабинете, чтобы тебе не было страшно.

— Да мне и так не будет страшно,— возразила жена.

— Ну, все-таки! Мужчина в доме.

А когда приехал Бултырин, Кошкин отвел его в угол и сказал:

— Друг Бултырин! Оставляю жену на тебя. Ты уж, пожалуйста, присмотри за ней. Сказать тебе откровенно, мне не больно нравятся разные молодые негодяи, которые, как только отвернешься, сейчас же вырастают подле нее. С тобой же я могу быть уверен, что они не рискнут нашептывать ей разные идиотские слова.

— Кошкин! — сказал сурово, с непреклонным видом, Бултырин.— Положись на меня. Как ты знаешь, моя семейная жизнь сложилась несчастливо: жена моя таки удрала с каким-то презренным молокососом! Поэтому я уже научен горьким опытом и ни на какую удочку не поддамся.

Он бросил мрачный взгляд на сидевшую у рояля Мурочку и молча многообещающе пожал руку Кошкина.

Кошкин уехал.

Одевшись, Мурочка стояла у трюмо, прикалывала шляпу и спрашивала следившего за ней беспокойным взглядом Бултырина:

— О чем вы шептались с Жоржем?

— Так, вообще. Он поручил мне быть все время около вас.

— Зачем? — удивилась Мурочка.

Бултырин рассеянно засунул в рот нож для разрезания книг и, призадумавшись, ответил:

— Я полагаю, он боится, нет ли у вас любовника?

— Послушайте! — вспыхнула Мурочка. — Если вы не можете быть элементарно вежливым, я вас сейчас же прогоню от себя и в театр поеду одна.

— Да! — подумал Бултырин. — Хитра ты больно... Меня прогонишь, а сама к любовнику побежишь. Знаем мы вас.

А вслух сказал:

— Это же он говорил, а не я. Я не знаю, может быть, у вас и любовника-то никакого нет.

Этими словами он хотел польстить Мурочкиной добродетели, но Мурочка надулась и на извозчика села злая, молчаливая.

Бултырин был совершеннейший медведь: в экипаж вскочил первый, занявши три четверти места, а когда по дороге им встретился Мурочкин знакомый, приветливо с нею раскланявшись, исполнительный Бултырин потихоньку обернулся ему вслед и погрозил кулаком.

Изумленный господин увидел это и долго стоял на месте, недоумевающе следя за странной парой.

Когда они вошли в вестибюль театра, Бултырин снял с Мурочки сак, огляделся вокруг и мрачно сказал, ухвативши ее за руку:

— Ну идем, что ли!

— Постойте... куда вы меня тащите? Оставьте мою руку. Кто же хватает за кисть руки?!

— А как надо?

— Возьмите вот так... под руку... И, пожалуйста, оставьте свои нелепые выходки. А то я сейчас же уйду от вас.

Бултырин отчаянным жестом уцепился за Мурочкину руку и подумал:

— Врешь! Не сбежишь, подлая. А ругаться ты можешь, сколько тебе угодно.

Когда они сели на места, Мурочка взяла бинокль и стала рассматривать сидящих в ложах.

Хитрый Бултырин попросил у нее на минутку бинокль и, сделав вид, что рассматривает занавес, потихоньку отвинтил какой-то винтик в передней части бинокля, после чего хладнокровно передал его Мурочке.

— Посмотри-ка теперь! — сурово усмехнулся он про себя.

Мурочка долго вертела бинокль, сдвигала его, раздвигала и потом, огорченная, сказала:

— Не понимаю! Только сейчас было хорошо, а теперь ни туда ни сюда.

— Разве теперь мастера пошли? Жулики! — отвечал Бултырин.— Им бы только деньги брать. Возьмут, да вместо бинокля кофейную мельницу подсунут! Ей-Богу!

В антракте Бултырину захотелось покурить.

— Оставить ее тут рискованно,— размышлял Бултырин, с ненавистью поглядывая на склоненную Мурочкину голову.— В курилку за собой тащить неудобно... Хорошо бы запереть ее в какую-нибудь пустую ложу, а самому пойти выкурить папиросу... Да не пойдет. Навязалась ты на мою шею! Разве усадить ее в фойе на виду, а самому в уголку покурить, чтоб никто не видел?

Он встал.

— Пойдем!

— Куда? Я здесь посижу.

— Нельзя, нельзя! Надо идти.

— Да отстаньте вы от меня! Идите себе, куда хотите.

— Нет-с, я без вас не пойду...

— Пойдете! — злорадно сказала Мурочка.— Вот возьму и не сдвинусь с места!

Бултырин задумался.

— Сдвинетесь! А то скандал сделаю! Думаете, не сделаю? Ей-Богу! Возьму, да закричу, что поймал вашу руку в то время, когда вы за моим бумажником в карман полезли, или скажу, что вы моя беглая жена! Ага! Пока разберут,— вы скандалу не оберетесь.

Мурочка с исковерканным от злости лицом встала.

— Какой же вы... негодяй! А этому идиоту Жоржу я завтра глаза выцарапаю. Пойдемте!

— Ты там себе ругайся, милая, сколько хочешь...— подумал торжествующий Бултырин.— Я ведь знаю, как обращаться с женщинами.

Но моментально веселое выражение сбежало с лица его. К ним приближался молодой человек в смокинге и, весело махая программой, приветливо улыбался Мурочке.

— А! Марья Констант...

— Виноват, молодой человек! — заслонил Мурочку Бултырин.— Вы бы стыдились в таком виде подходить к замужней даме. Человек еле на ногах стоит, а позволяет себе...

— Слушайте! Вы с ума сошли?!

— Проходи, проходи! Много вас тут... Смотрите на него, лыка не вяжет.

— Прежде всего — вы нахал! Я вас не знаю и хотел только поздороваться с госпожой Кошкиной...

Недоумевающая публика стала останавливаться около них. Заметив это, Мурочка сделала молодому человеку умоляющий жест и прошептала:

— Ради Бога! До завтра... Заезжайте к мужу. Он объяснит; не подымайте сейчас истории.

Лицо Мурочки было красно и на глазах блестели слезы. Пораженный молодой человек, пожав плечами, поклонился ей и отступил, а Мурочка послала по направлению публики чарующую улыбку, взяла Бултырина под руку и ласково сказала:

— Проводите меня до уборной.

— Зачем?

— Какое тебе дело, подлец,— глядя на публику с ласковой улыбкой, прошептала Мурочка.— С каким бы удовольствием выщипала я по волоску твою бороду... Толстое животное!

— Ладно, ругайтесь! Пожалуй, пойдем в уборную... Только я видел взгляды, которыми вы обменялись с молодым человеком. Понимаем-с! В уборную я вас одну не пущу.

— Вы форменный идиот,— простонала тихонько Мурочка,— ведь уборная женская!

— Да... там, может, другой ход есть...

— Да сак-то мой и шляпа внизу, гнусный вы кретин?!

— Удерет она без сака или нет? — подумал Бултырин. — Пожалуй, не удерет. — Ну идите! Я все равно у дверей сторожить буду.

Когда Мурочка вышла из уборной, она наткнулась на Бултырина, который подозрительно заглядывал в двери и о чем-то шептался с горничной.

— Едем домой! — решительно сказала Мурочка.

— Ага! Не выгорело с любовником, — злорадно усмехнулся про себя Бултырин. — Пожалуй, едем!

Он уцепился за Мурочкину руку, свел Мурочку вниз, одел и, показав язык какому-то господину, смотревшему, не сводя глаз, на красивую Мурочку, — сел с нею на извозчика.

— Жаль, что пьесы не досмотрели, — любезно обратился он к ней, когда они поехали, — забавная, кажется, пьеска...

Мурочка с ненавистью взглянула на его простодушное лицо и сказала:

— Подлец, подлец! Дурак проклятый! Тупица!

— Чего вы ругаетесь? — удивился Бултырин.

— Вот же тебе, кретин: когда лягу спать, нарочно отворю окно в спальне и впущу любовника... ха-ха-ха!

— Нет, вы этого не сделаете, — хладнокровно сказал Бултырин.

— Почему это, позвольте спросить?

— А я возьму кресло, сяду в спальне и буду сторожить...

— Вы с ума сошли! Вы так глупы, что даже не понимаете шуток!

— Ладно, ладно. Так и сделаю. А что?! Проговорились, да теперь на попятный? Ей-Богу, сяду в спальне. Даром я, что ли, дал слово Жоржу?!

— Посмейте! Я позову дворников, они вас в участок отправят.

— А я скандал сделаю! Скажу, что я ваш любовник и вы меня приревновали к вашей горничной.

— Подлец!

— Пусть.

Свеча догорала, слабо освещая спальню... На кровати спала в верхней юбке и чулках Мурочка, покрытая просты-

ней. Очевидно, она много плакала, так как тихонько во сне всхлипывала, и глаза ее были красны.

В углу, в мягком большом кресле сидел полусонный Бултырин и, грызя машинально вынутый из кармана винтик от бинокля, рассеянно поглядывал на спящую.



ПРИЛОЖЕНИЯ





ВСЕОБЩЕЕ НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ

Восемьдесят процентов населения России принадлежат к *крестьянству* и только двадцать процентов приходится на все остальные сословия. Как численно преобладающий элемент, крестьянство, самим фактом своего существования, должно иметь огромное влияние на весь наш быт, на весь наш строй нашей общественной и государственной жизни и, следовательно, *составляет наш главный национальный интерес.* Вопрос о положении крестьян должен, очевидно, занимать *первое место* в ряду других вопросов нашей внутренней политики, так как положение крестьянства определяет состояние *всего государства.* Беден крестьянин, значит, бедна и Россия, богат он — богата и Россия.

Каково же положение русского крестьянина? На этот вопрос все исследователи крестьянской жизни единогласно отвечают, что положение крестьян, с очевидной последовательностью, *ухудшается,* да и не могли они говорить иначе, так как ухудшение это является слишком очевидным фактом. Следовательно, крестьянский вопрос всегда сводится лишь к *улучшению положения крестьян.* Но меры, которые принимались в этом отношении как правительством, так и обществом, были направлены исключительно *на улучшение материального положения* крестьянства, вопрос же об *умственном и нравственном* развитии крестьянских масс, об образовании народа, как-то всегда отступал на второй план, несмотря на то, что первое зависит от последнего.

Между тем, «как бы ни были, — говорит один из знатоков крестьянского вопроса, — сами по себе полезны и благотвор-

ны меры, предлагаемые для устройства и поднятия у них крестьянского быта, они, смело можно сказать, не приведут ни к чему, пока наши крестьяне будут оставаться на той степени умственного, нравственного и гражданского развития и культуры, на какой теперь находятся... Теперешняя *тьма* и *невежество* среди наших крестьян составляют *самую существенную помеху* не только для улучшения их быта, но и, вообще, для всего нашего развития. О чем бы мы ни заговорили, — о самоуправлении, гражданских и политических правах, о сельском ли хозяйстве, или о водворении у нас так назыв<аемых> основ нравственности — везде и во всем мы встречаемся с невежеством крестьян, их неразвитостью. *Народное образование, — вот к чему теперь сводится все.* Без образования народных масс мы не можем ступить шагу, и всякие улучшения будут мнимыми, кажущимися, а не действительными»[1]. Вспомним хотя бы *урок,* преподанный нам *последней войной,* так неудачно окончившейся для России. В чем бы ни искали причин наших неудач, все они сводятся к одному: с одной стороны — культурный, умственно развитой, японский солдат, хорошо сознающий интересы своего отечества, с другой — малограмотный дикарь, не понимающий ни смысла, ни цели войны, но слепо идущий умирать. *Победила,* конечно, *культура, сознание,* победил опять *«учитель».* Как в 1870 г., в Германии.

Что же сделано у нас в области удовлетворения умственных запросов народа? К сожалению, крайне мало, почти ничего. Не говоря уже о минимуме начального образования, сама грамотность распространена у нас до необычайности мало. О распространении грамотности может дать понятие нижеследующая таблица, показывающая процент неграмотных рекрутов в разных странах. Из этой таблицы читатель увидит, *как далеко отстала Россия* в деле народного образования от западноевропейских стран.

Неграмотность рекрутов.
(Сведения относятся к 90-м годам прошлого столетия.)

Нидерланды	7,3%
Бельгия	16
Франция	9,4

[1] **Кавелин К.Д.** Крестьянский вопрос. — СПб., 1882. — С. 142.

Германия	0,6
Пруссия	0,8
Саксония	0
Бавария	0
Герцогство Баденское	0
Швейцария	0,8
Швеция	0,2
Австрия	30,8
Венгрия	36
Италия	42
Россия	74,22!

Итак, 74,22% неграмотных рекрутов! Нельзя не забывать, что эти 74,22% относятся к цвету мужского населения, *в которое входят и городские жители*. Если же взять только деревни и притом с женским населением, то процент неграмотных значительно повысится. По имеющимся статистическим сведениям относительно 110 уездов Европейской России, грамотность сельского населения выражается в следующих процентах:

Мужчин –16,2% } обоего пола 9,4%
Женщин – 2,6% }
т. е. 90,6% неграмотных.

Правда, окраины наши, а также те элементы, которые слывут у нас под именем «инородцев», обладают в своей среде более значительным распространением как образованности, так и грамотности. Так, например, *в Финляндии* процент безусловно грамотных, т. е. умеющих читать и писать, достигает 75% всего населения, *включая и женщин*. Прибалтийские губернии, населенные преимущественно немцами, дают всего около 5% неграмотных рекрутов, и то эти 5% падают на долю имеющегося в крае русского населения. *Трудно встретить в России неграмотного еврея*, или на *Кавказе – грузина*. Если же смотреть на распространение образования не с точки зрения узконациональной, то почти все *«инородцы» являются безусловно грамотными* на своем родном языке. Отсутствие знания русской грамоты среди них является часто последствием условий, которые затрудняют доступ инородцам в русские школы. Но, если даже мы

примем во внимание и грамотность инородных элементов, подвластных России, то все же это, безусловно, лишь в самой незначительной степени подымет общий уровень грамотности всего населения всей России. *Наибольший процент грамотных* рекрутов дали *губернии прибалтийские* (около 5% неграмотных), столичные (43% неграмотных), промышленные великорусские (57% неграмотных), в остальных губерниях процент неграмотных превышает 75% и доходит до 87% в южных губерниях с малороссийским населением и в Сибири от 92% и выше. Есть области в России, в которых грамотность населения исчисляется десятыми долями процента, причем процент этот приходится исключительно на долю интеллигентных классов, или, иными словами, *где безграмотность* населения *полная.*

Но это только статистические цифры. Обратимся к жизни...

Благодаря неурожайности прошлого года великорусские губернии теперь голодают! И правительством, и обществом организуется помощь населению, пострадавшему от неурожая. Такого рода неурожаи, или недороды, вызывающие бедственные страдания народа, повторяются в России *периодически и будут повторяться,* пока система землепользования и сельскохозяйственная культура средней полосы России не изменится. Истощенная почва не выносит более системы хищнического первобытного хозяйства, а для изменения этой системы необходимо то, чего нет у населения. *Необходимы знания, развитие* и, *прежде всего, грамотность.* Укажем только на один факт, достаточно ясно показывающий, чем могла бы быть для крестьянина земля и что она могла бы дать ему при условии культурности его. В Херсонскую уездную управу доставлены сведения об урожае в 1906 году в д. Женевке, поля которой засеяны крестьянами первобытным способом. Для сравнения даны сведения относительно работ на смежном с этой землей опытном поле земской школы, засеянном по правилам агрономии. Разница в результатах неслыханная, поразительная... Каждая десятина крестьянской земли дала *15 п<удов>* яровой пшеницы, *50 п<удов>* жита и *40 п<удов>* ячменя; десятина же опытного поля дала: пшеницы *140 п<удов>,* жита *100 п<удов>* и ячменя *135 п<удов>.*

Пояснять, кажется, нечего!

Да и не одно только сельское хозяйство... И наша промышленность сильно страдает от отсутствия развитых, получивших

хотя бы элементарное начальное образование рабочих. Малое развитие грамотности является весьма серьезным тормозом в умственной, религиозной и экономической жизни народа, а также мешает его участию в международной жизни всего человечества. *Дело народного образования* должно быть поставлено *во главе обновления нашей родины.* И правительство, и наша молодая Государственная Дума, и общество должны и могут идти здесь рука об руку — необходима работа и законодательная, и общественная.

* * *

Законодательная работа в деле умственного развития народных масс должна прежде всего выразиться в издании закона о *всеобщем, бесплатном обязательном обучении.* Все дети обоего пола в возрасте от 7 до 14 лет обязаны посещать школы, преподавание в которых должно быть бесплатное.

Необходимо учреждение особого института инспекторов, которые следили бы за исполнением закона об обязательности обучения и, кроме того, должна быть установлена ответственность родителей за неисполнение этого закона. Сама начальная школа должна давать населению не *только* одну грамотность, но в программу ее должны войти, кроме предметов начального образования, понятия о гражданских *правах* и *обязанностях,* ознакомление учеников с гигиеной, физическое развитие учащихся, а в сельских школах преподавание, хотя бы и элементарное, культурных способов землепользования. Организацию такого рода школ, помимо правительства, могли бы взять на себя земские учреждения, которые и так уже выполнили громадную работу по постановке в России начального образования. Кроме того, следовало бы установить известные пособия частным предпринимателям, пожелавшим внести свет в темную народную массу.

Но все это хорошо, скажет читатель. Мы согласны, что без образования народа мы не уйдем далеко по пути истинного прогресса, мы согласны и с тем, что только постановка дела на основах *бесплатности и обязательности* начального образования может принести пользу, но позвольте, откуда же вы возьмете средства для устройства школ, для их содержания? Всеобщее обучение является пока только красивой мечтой, но неосуществимо в жизни. Оно потре-

бует колоссальных затрат, громадных средств, которыми ни правительство, ни земские учреждения не располагают. Откуда же взять деньги?

На это мы ответим: средства найдутся, их даст общество, даст *народ!*

Прежде всего, мы полагаем, что наше народное представительство в лице Государственной Думы, путем известных реформ в государственном бюджете, могло бы значительно увеличить кредиты, отпускаемые на дело народного образования. Тем более, что и правительство начало идти навстречу настоятельной потребности народа в образовании, и в бюджетной росписи на 1907 год, внесенной ныне на обсуждение Государственной Думы, помимо значительного увеличения против прежних лет кредита на народное образование, ассигновало еще и особый кредит, правда, незначительный, для (как выражается роспись) «приступа к введению у нас всеобщего обучения». Затем законодательным путем можно было бы установить известный школьный налог. Само собою разумеется, что такого рода налог должен быть установлен таким образом, чтобы он ложился исключительно на более обеспеченные классы, а не на крестьянство, и так значительно обремененное существующей податной системой.

Наконец, как ни обременена Россия долгами, для дела народного образования, которое обещает в будущем поднять благосостояние крестьянства, а следовательно, и богатство нации, и могущество и культурность страны, можно достать средства и путем иностранного займа. Но мы полагаем, что можно обойтись и без него.

* * *

На помощь действительно необходимому святому делу народного образования должно прийти общество, прийти каждый из нас, и мы глубоко убеждены, что народ сам может дать средства для исполнения этого долга чести.

Вспомним недавнее тяжелое время войны. Как отзывалось общество, трудовой народ на тяжелый период в жизни отечества? Народ давал свои трудовые гроши на нужды войны, на Красный Крест, на усиление флота, на обеспечение вдов и сирот павших воинов. Столбцы газет пестрели отчетами о пожертвованиях, доходивших до огромной в общем суммы, исчислявшейся десятками миллионов. Масса служащих

в общественных, правительственных и частных учреждениях устанавливала у себя вычеты известного процента из содержания, тоже делали и рабочие всевозможных фабрик и заводов. И сельские общества не оставались глухи. Из общей суммы полученных на военные нужды пожертвований значительная доля была внесена сельскими обществами и волостями. А ведь к войне не все элементы нашего общества относились одинаково. Между тем, неужели же для дела просвещения народа, дела, вокруг которого должны сойтись *все патриоты без исключения,* независимо от своих партийных, общественных и классовых взглядов, для дела, от которого, смело можно сказать, зависит будущее нашей родины, у того же общества, у того же трудового народа не найдется средств? Мы вполне уверены, что если бы энергичные люди организовали, например, *Лигу Всеобщего Образования* и если бы эта Лига обратилась к народу за средствами, она, в течение короткого времени, могла бы путем тех же пожертвований, которые стекались в свое время в государственное казначейство на нужды войны, в далеком, неведомом большинству краю собрать огромные средства, которые пошли бы в особый *национальный фонд на нужды всеобщего начального образования.* Как ни беден наш рабочий, наш крестьянин, но и он с неподдельной радостью и готовностью даст свою трудовую копейку на дело, *от которого зависит лучшее будущее для его детей.* О так называемой интеллигенции и говорить нечего. Классы, живущие интеллигентным трудом и сравнительно обеспеченные, если бы они предоставили хотя бы незначительную долю, скажем, один или даже полпроцента своего заработка, могли бы дать знания сотням тысяч детей. Наконец, и из состоятельного класса немало найдется таких, которые уделят часть своих больших доходов в пользу просвещения народа. История сохранила нам немало примеров, когда лица из привилегированных сословий и могущественных классов отдавали себя на служение народу и человечеству. *Такие благородные люди найдутся и у нас.* Имя их будет золотыми буквами написано в истории русского народа.

То, что мы предлагаем, будет только *неизбежным и логическим продолжением святого дела освобождения крестьян от крепостной зависимости,* потому что они до сих пор пребывают в тисках беспросветной темноты и невежества, задыхаясь в них и не находя себе выхода...

И только если мы, *если все мыслящие граждане укажут им этот выход,* выведут на широкую светлую дорогу мирного прогресса и культуры, — *тогда только* народ наш можно будет назвать свободными сыновьями своей родины!..

Классическая страна свободы — Швейцария толкует в своих школах это святое слово — «свобода» — в том смысле, что она дает человеку несокрушимую силу осуществить все прекрасные хорошие стремления, которые другим людям, невежественным пасынкам своей родины, долго еще не удастся достичь...

Само собою разумеется, что организация такого рода национального фонда образования, приток пожертвований в этот фонд, равно и все действия Лиги Всеобщего Образования, должны находиться под полным контролем общества. Контроль этот, конечно, осуществим только при условии полной гласности всех действий Лиги, всех оборотов фонда образования и опубликования всего хода дела организации народных школ. Все суммы должны стекаться в Госуд. Банк в С.-Петербург, непосредственно[1].

Россия переживает тяжелый кризис. Анархия, произвол, борьба и раздор царят в ней. Но мы смело глядим в будущее и верим, что мысли, высказанные нами здесь, не пройдут бесследно. Раздадутся и еще голоса в пользу единственно неотложного дела просвещения наших темных, невежественных граждан.

Протянем же дружескую братскую руку помощи тому, близкому нам по крови, серому слепому народу, который целые столетия беспомощно бьется в цепких безжалостных сетях собственной косности, нищеты и невежества.

Это *не* будет благотворительностью. *Это — долг! Наш долг...*

Уплатим же этот долг, рассчитаемся с процентами за то, что народ-пахарь долго, очень долго кормил нас усталыми мозолистыми руками.

И когда он увидит, что его братья о нем позаботились, когда будет ощущать осязательно плоды этой заботы — падет тогда сама собою ненависть к сытым и богатым, ибо все будут сыты, у всех будет достаток.

---

[1] Или через его конторы и сберегательные кассы, разбросанные в самых глухих уголках Империи.

Народ ждет с тоской и надеждой. Глаза его с верой устремлены на нас.

Не обманем его.

В нашей власти ускорить то время, когда Россия покроется сетью школ и когда наш русский пахарь, основа всей нашей государственности и общественности, выражаясь словами поэта, друга народа:

...Белинского и Гоголя
С базара понесет.

А. Аверченко.

P.S. Есть люди, которые на помощь благому делу могут прийти и без затрат денег. Настоящий номер высылается, напр<имер>, всем, без исключения, периодическим изданиям России, и если бы все они перепечатали эту статью или часть ее и открыли подписку на прием у себя добровольных пожертвований, то в один месяц нашлись бы десятки миллионов рублей.

Граждане! Неужели не найдутся среди вас люди, сочувствующие такому бесспорно хорошему делу?

Неужели все они настолько увлечены партийной борьбой, чтобы не обратить внимания на самые жгучие жизненные интересы 100-миллионного народа? Своего народа!..



МЫ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ

МАТЕРИАЛЫ [К БИОГРАФИИ] (1913)

Как будто кроваво-красная ракета взвилась в 1905 году... Взвилась, лопнула и рассыпалась сотнями кроваво-красных сатирических журналов, таких неожиданных, пугавших своей необычностью и жуткой смелостью.

Все ходили, задрав восхищенно головы и подмигивая друг другу на эту яркую ракету.

— Вот она где, свобода-то!..

А когда наступило туманное скверное утро, на том месте, где взвилась ракета, нашли только полуобгорелую бумажную трубку, привязанную к палке — яркому символу всякого русского шага — вперед ли, назад ли...

Последние искорки ракеты гасли постепенно еще в 1906 году, а 1907 год был уже годом полной тьмы, мрака и уныния.

С горизонта, представляемого кожаной сумкой газетчика, исчезли такие пышные бодрящие названия, как: «Пулемет», «Заря», «Жупел», «Зритель», «Зарево», — и по-прежнему заняли почетное место загнанные до того в угол тихие, мирные «Биржевые ведомости» и «Слово».

В этот период все успевшие уже привыкнуть к смеху, иронии и язвительной дерзости «красных» по цвету и содержанию сатирических журналов снова остались при четырех прежних стариках, которым всем в сложности было лет полтораста: при «Стрекозе», «Будильнике», «Шуте» и «Осколках».

Когда я приехал в Петербург (это было в начале 1908 года), в окна редакций уже заглядывали зловещие лица «тещи»,

«купца, подвыпившего на маскараде», «дачника, угнетенного дачей» и тому подобных персонажей русских юмористических листков, десятки лет питавшихся этой полусгнившей дрянью.

Пир кончился...

Опьяневших от свободных речей гостей развезли по участкам, по разным «пересыльным», «одиночкам»; и остались сидеть за залитым вином и заваленным объедками столом только безропотные: «дачный муж», «злая теща» и «купец, подвыпивший на маскараде».

То, что называется — бедные родственники.

Таким образом, я приехал в столицу в наиболее неудачный момент — не только к шапочному разбору, но даже к концу этого шапочного разбора,— когда уже почти все получили по шапке.

Здесь попрошу разрешения сказать несколько слов о себе лично, так как эти слова все же имеют некоторое отношение к тому, о чем пишу.

Я приехал из Харькова в Петербург.

Несколько дней подряд бродил я по Петербургу, присматриваясь к вывескам редакций,— дальше этого мои дерзания не шли.

От чего зависит иногда судьба человеческая: редакции «Шута» и «Осколков» помещались на далеких незнакомых улицах, где-то в глубине большого незнакомого города, а «Стрекоза» и «Серый Волк» — в центре («Стрекоза» — на Невском, угол улицы Гоголя, «Серый Волк» — на Мойке).

Будь «Шут» и «Осколки» тут же, в центре,— может быть, я бы преклонил свою скромную голову в одном из этих журналов...

Но выбирать мне приходилось между двумя «близкими» редакциями — «Стрекозой» и «Серым Волком».

— Пойду я сначала в «Стрекозу»,— решил я.— По алфавиту.

Вот что делает с человеком обыкновенный скромный алфавит: я остался в «Стрекозе».

Помню, провели меня в кабинет издателя М.Г. Корнфельда (редактор — маститый И.Ф. Василевский-Буква — в Петербурге не жил)...

Меня встретил совсем молодой бритый господин с ласковыми глазами и очень хорошими манерами.

Сидел он за большим письменным столом перед деревянной доской, сплошь исчерченной благородными профилями неизвестных лиц, теми самыми профилями, которые так любит чертить рука задумавшегося человека.

На доске лежала бумажечка — такая маленькая, что я боялся, как бы мое шумное дыхание — дыхание человека, только что взбежавшего на лестницу, — не унесло ее.

«Работает, — завистливо подумал я. — Живут же люди!»

И я впился жадными глазами глубокого провинциала в приятное бритое лицо издателя.

«Вот он какой, — нежно подумал я, — молоденький совсем. Ишь ты!»

Мы разговорились.

— Материал принесли?

— Да, кое-что. Мелочи и рассказ.

— Вы работаете где-нибудь?

— Не... нет. Я недавно из Харькова.

— А там писали?

— Да, — с некоторой гордостью мотнул я головой. — Даже издавал сатирический журнал.

И хорошо он шел?

— Не особенно. Три тысячи печатал.

— Ого! — искренне изумился издатель.

— Что «ого!»? — простодушно переспросил я. — Много, что ли?

— Конечно. У нас журнал старый, известный, издается в Петербурге, и то идет он не больше, чем вдвое против вашего.

Изумился в свою очередь и я.

— Да что вы! А я думал — тысяч сто.

— Где там?

В дальнейшей беседе я нашел и объяснение этого странного факта: «Стрекоза» издавалась тридцать лет, и все эти тридцать лет главными потребителями ее были — офицерские библиотеки, рестораны, парикмахерские и пивные; поэтому о журнале и сложилось у среднего интеллигентного читателя такое убеждение, что «Стрекозу» читать можно лишь между супом и котлетами, в ожидании медлительного официанта, вступившего с поваром в перебранку, или повертеть ее в руках, пока парикмахер намыливает вашему более счастливому соседу щеку.

Поэтому бурный девятьсот пятый год и перекатился волной через этот сонный журнал, не вознеся его на свой гребень.

Даже в момент первого моего появления в «Стрекозе», когда она уже была серьезно реформирована, когда ее печатали в несколько красок, когда уже большинство будущих сатириконцев работало в ней,— она все же не вызывала ничьего внимания, ни один новый читатель не заинтересовался ею... Так было сильно тридцатилетнее равнодушие к этому «ресторанному и парикмахерскому журналу».

— Знаете что,— сказал я М. Г. Корнфельду со смелостью, на которую способна только молодость.— Надо вам переменить название журнала. Ведь вы теперь не имеете ничего общего с прежней «Стрекозой». По крайней мере в отношении рисунков. А слово «Стрекоза» все портит.

— Я сам уже думал об этом,— грустно сказал издатель.— Да жалко, знаете, менять... Свыше тридцати лет была «Стрекоза», а теперь вдруг не «Стрекоза»... Впрочем, мы об этом можем потолковать на заседании. Приходите сегодня в 8 часов вечера.

Только потом, много времени спустя, оценил я, какая великая честь была мне оказана: еженедельные редакционные заседания происходили в очень интимном кружке самых близких сотрудников и никто из посторонних не допускался под страхом смертной казни. И только через несколько месяцев издатель признался, какую он вынес из-за меня бурю на другой день после заседания.

— Вы не имели права приглашать на заседание всяких провинциальных проходимцев! — ревел, как буря, порывистый Радаков.— Южные поезда привозят каждый день сотни пудов провинциального мяса,— что же, всех их тащить сюда, да!

— Да уж,— качал головой сдержанный Ре-ми.— Нехорошо, нехорошо. Этак и я кого-нибудь с улицы приглашу на заседание — приятно вам будет?

Однако, когда я на втором заседании предложил парочку тем для рисунков, ко мне прислушались, темы обсудили, приняли — и огорченный Корнфельд снова поднял голову.

Через неделю я уже был приглашен в качестве секретаря редакции и торжественно вступил в исполнение своих обязанностей.

Сотрудниками тогда уже были почти все нынешние ближайшие сатириконцы — Ре-ми, Радаков, Юнгер, Яковлев,

Красный (К. Антипов) и Мисс,— таким образом, я был среди них самым «молодым».

Атмосфера царила самая товарищеская, несмотря на то что любое мнение и взгляд высказывались в самой резкой, определенной форме. Взаимное уважение страховало от обид, а общее увлечение любимой работой сглаживало все шероховатости.

Чуть ли не на втором же заседании с моим участием снова поднялся сотрудниками вопрос об изменении заголовка «Стрекозы» на какой-нибудь другой... Самым затруднительным было — провести эту реформу так деликатно, чтобы не испугать консервативных подписчиков, привыкших уже за десятки лет к старому заглавию, как привыкают к старому, во всех местах протертому халату, но который мил именно этой своею знакомостью, мил своими складками, раз навсегда принявшими форму тела носителя халата.

Эта операция переименования нам удалась блестяще. Подписчики «Стрекозы» и опомниться не успели, как превратились в подписчиков «Сатирикона».

Первый номер «Сатирикона» вышел 1 апреля 1908 года, и о «новом» журнале сразу заговорили.

Для посторонней публики и критики появление «Сатирикона» вместо «Стрекозы» было большим, значительным событием, мы же этого почти не заметили, потому что журнал остался прежним... Только редактором, вместо И. Ф. Василевского, подписывал первые 9 номеров А. Радаков, а с 10-го номера принял эту рискованную, по русским обычаям, обязанность на себя я.

И удивительная вещь: о «Стрекозе» никто никогда в газетах и словом не обмолвился, а стоило появиться другому заголовку, как критика зашумела. Могу отметить отрадный для нас факт: «Сатирикон» был сразу принят хорошо.

Не прошло и года, как название журнала прочно вошло в жизнь и выражения: «темы для «Сатирикона», «сюжет, достойный «Сатирикона», «вот материал для сатириконцев» — запестрели на газетных столбцах в серьезных политических статьях.

Пять лет...

Это около трехсот номеров. И над каждым номером напряженная работа, масса усилий, затрачиваемых на обход

цензурных волчьих ям. Громадная, титаническая работа, о которой читатель и не подозревает.

И, как всегда бывает: просматривая теперь эту вереницу номеров, помнишь хорошо, как создавался каждый номер, помнишь все тягости его рождения и тернии, с его выпуском связанные... — но вместе с тем совершенно не помнишь и не постигаешь, **как созданы все эти триста номеров** в их общей массе.

Неужели все это сделано нами, пятью-шестью людьми, единственным оружием которых были карандаш, перо и улыбка... Не верится.

И в то же время мы устраивали «сатириконские балы», ухитряясь в неделю записывать декоративные полотна во всю величину Дворянского собрания, устраивали вечера, юмористические лекции, выставки карикатур, совершали «образовательные» экспедиции за границу и выпускали книги...

Поверит ли кто-нибудь, что нами за эти пять лет, совместно с М. Г. Корнфельдом, было выпущено на рынок свыше **двух миллионов книг**.

Не верится? Увы... Цифра эта точна.

Это уже сделано. Это позади.

А если бы пять лет тому назад пришел какой-нибудь провидец и сказал бы: «Господа! Вы должны за пять лет сделать следующее:

1) Составить 300 номеров журнала.

2) Выпустить 2 миллиона книг.

3) Писать пьесы, декорации к ним, устраивать выставки, балы, над которыми возни 2–3 месяца, колесить по Европе, негодовать, возмущаться, бороться с цензурой и сверх всего этого — обязательно сохранять хорошее, ровное расположение духа, без которого «веселая» работа немыслима».

Если бы все это сказал нам пять лет тому назад провидец, каждый из нас выслушал бы его, молча повернулся спиной, выбрал бы по крепкой, прочной веревке — и сразу освободился бы и от книг, и от журнала, и от всего другого.

Теперь все это позади. Хорошо!

Нам были бы неприятны упреки в том, что мы празднуем такой скороспелый юбилей. Действительно, пятилетних юбилеев не празднуют.

Но, я думаю, предыдущие строки дают нам некоторое основание надеяться, что наше право на юбилей будет признано.

Кто знает, будет ли у нас десятилетний юбилей?..

Не надо забывать, что мы не купаемся в теплой, ласкающей тело водице, а варимся в крутом кипятке.

«История» сатириконцев была бы не полна, если бы я не коснулся разрыва всего коллектива сотрудников с издателем М. Г. Корнфельдом.

Но считаю, что не место здесь снова касаться этого инцидента, получившего уже довольно детальное освещение в первых номерах нашего журнала «Нов. Сатирикон».

Коснусь только фактической стороны: разрыв произошел в мае текущего года. Все сотрудники in corpore вышли из состава двух редакций: «Сатирикона» и «Галчонка». В июне нами основан «Новый Сатирикон», который в течение трех месяцев достиг того же тиража, который имел при нас прежний «Сатирикон».

Читатель в этом случае высказался... Спасибо читателю.

* * *

В моей статье, несмотря на ее пространность, есть все же огромный пробел: я почти ничего не сказал о цензурных условиях, в атмосфере которых «Сатирикон» прожил пять лет.

Но... об этом сейчас неудобно распространяться. Это дело истории, для которой мы тщательно собираем материалы.

Материалы — неслыханные.

Больше я ничего не скажу.

Перечислю только то, чего нам категорически запрещено касаться.

1) Военных (даже бытовые рисунки).
2) Голодающих крестьян.
3) Монахов (даже самых скверных).
4) Министров (даже самых бездарных).

А в последнем номере не пропущена даже карикатура, осмеивающая «Новое время».

Читатель! Обнажи благоговейно голову перед этим фактом.



КОММЕНТАРИИ



весёлые устрицы



Огромное творческое наследие Аркадия Аверченко пока еще не собрано и в полной мере не исследовано. Первый рассказ «Уменье жить» был напечатан в харьковском журнале «Одуванчик» в 1902 г. Ряд произведений вышел из печати уже посмертно, в 1925 г., в том числе роман «Шутка Мецената». При жизни писателя было выпущено несколько десятков сборников рассказов и пьес, причем многие из них выдержали более десяти изданий. Первое собрание избранных сочинений в 12 томах вышло в 1925 г. на чешском языке в Праге, где жил Аверченко последние годы. Первое Собрание сочинений на русском языке в 6 томах было выпущено в Москве издательствами ТЕРРА-Книжный клуб и Республика в 1999–2000 гг. (Вступ. ст., составление, подготовка текста, комментарии Ст. Никоненко); второе издание вышло в издательстве «Терра» в 2007 г.

В советское время до 1930 г. в России вышло около трех десятков книг писателя. Затем был перерыв до 1964 г., когда были выпущены сборники «Оккультные науки» (Сост. и послесл. Ст. Никоненко — под псевд.Т. Трифонова и Ст. Степанов) и «Юмористические рассказы» (Вст. ст., сост. и прим.О. Михайлова). После чего вновь наступил двадцатилетний перерыв, после которого различными издательствами страны за последние годы было издано более трех десятков сборников, в том числе двухтомник в серии «Литература Русского Зарубежья от А до Я» (М., 2000; Сост. и авт. вступ. ст.Д. Николаева), в котором в наиболее полном виде представлены книги Аверченко зарубежного периода.

Среди работ, посвященных творчеству Аркадия Тимофеевича Аверченко, прежде всего следует назвать монографию Д.А. Левицкого (США) «Жизнь и творческий путь Аркадия

Аверченко», вышедшую в России в 1999 г. (М., Русский путь), и книгу Виктории Миленко «Аркадий Аверченко» (М., 2010, «Молодая гвардия», серия ЖЗЛ), на сегодняшний день в наиболее полном виде воспроизводящую жизненный и творческий путь писателя, а также содержащую краткую библиографию работ, посвященных ему, а также статьи О.Н. Михайлова, Л.А. Спиридоновой, О.В. Сергеева, Д.Д. Николаева, Н.В. Богословского.

Настоящее издание представляет собой первое наиболее полное собрание сочинений писателя. В него включены целиком все сборники рассказов и пьес, а также рассказы, миниатюры, рецензии, стихотворения, публиковавшиеся лишь на страницах периодических изданий.

Сборники расположены в основном в хронологическом порядке.

К сожалению, до сих пор не существует сколько-нибудь основательной библиографии писателя, поэтому в комментариях не всегда указана дата и источник первой публикации того или иного произведения.

Абсолютное большинство рассказов, прежде чем они были опубликованы автором в сборниках, ранее появлялись на страницах различных газет и журналов, с тех пор, как Аверченко возглавил «Сатирикон» и «Новый Сатирикон» — главным образом в этих журналах, а также — «Штык», «Меч», «Южный край», «Свободные мысли», «Журнал для всех», «Стрекоза», «Синий журнал», «Галчонок», «Аргус», «Юг», «Юг России», «Вечерняя пресса» (Константинополь), «Руль» (Берлин), «Сегодня» (Рига), «Эхо» (Ковно) и др.

Тексты печатаются в соответствии с современной орфографией и пунктуацией, особенности авторского написания сохранены лишь в необходимых случаях.

ВЕСЁЛЫЕ УСТРИЦЫ
(1910)

Первые книги, в которых Аверченко был соавтором или автором некоторых рассказов, вышли в 1908 и 1909 годах: Современный Всепетербург. Иллюстрированный альбом под ред. А.Т. Аверченко. С. — Петербург, 1908, и Стружки. Альманах сатиры и юмора журнала «Сатирикон». С. — Петербург, 1909.

В 1910 г. писателем было выпущено уже несколько книг: «Веселые устрицы»; Рассказы (юмористические). Кн. 1 и 2; первый выпуск «Дешевой юмористической библиотеки «Сатирикона» — «Дети и др. рассказы»; «Всеобщая история, обработанная «Сатириконом», где Аверченко является автором раздела «Новая история».

«Веселые устрицы» — самая известная и наиболее издаваемая книга писателя и состоит из рассказов, которые ранее в периодике не появлялись. За семь дореволюционных лет книга выдержала 24 издания.

Печатается по 24-му изданию (1916).

Огромный диапазон тем и комических и сатирических приемов, представленных в первом же сборнике писателя, вызвал разноречивые отклики. Некоторые рецензенты не увидели никакой новизны в его творчестве, другие увидели лишь одно качество — умение и желание посмеяться и насмешить, третьи узрели в его рассказах злую сатиру и неприятие мещанского быта. Вот что писал, например, юморист Вл. Азов: «Ему так весело на белом свете. Ему и устрицы кажутся веселыми. Он искренне думает, что устрица любит, чтобы в ресторане было светло и нарядно, чтобы блюдо, на котором ее подают, было серебряным, а снег чистым. У автора этих рассказов юмористический темперамент. Серьезное не интересует его, грустное не омрачает его, но веселое и смешное, молодое и жизнерадостное притягивает его, как магнит». (*Азов В.*А. Аверченко. «Веселые устрицы». — Речь, 27 сентября 1910 г.). Корней Чуковский в статье «Устрицы и океан», сближая Аверченко с его персонажами (как впоследствии нередко поступали в отношении Мих. Зощенко), тем не менее вынужден признать: «Быть может, это только пишется «Аркадий Аверченко», а читать надлежит «Фридрих Ницше»? В самом деле, вы только

подумайте, какая гордая ненависть к среднему, стертому, серому человеку, к толпе, к обывателю...» (Речь, 20 марта 1911 г., № 77).

Автобиография. — Автобиография, которой открывался сборник «Веселые устрицы» наряду с достоверными сведениями о жизни писателя содержит и вымышленные факты, предназначенные для усиления комического эффекта. Произведение стилизовано под Марка Твена и О. Генри.

В рецензии на первые книги Аверченко критик Вяч. Полонский отмечал, что писателю «суждено стать русским Твеном, если... климат этому не помешает. Юмор г. Аверченко имеет много общего с юмором веселого американца: он так же беззлобен и заразителен» (*Полонский В.* Смех и горечь. Всеобщий ежемесячник. 1910. № 7. С. 98).

С. 35. *... в отсиживании в кордегардии...* — Кордегардия — караульня, помещение для солдат, находящихся в карауле.

С. 37. *... президента Фальера... — Фальер* Клеман Арман (1841–1931) — французский политический деятель, президент Франции в 1906–1913 гг.

История болезни Иванова. — С. 40. *Мирнообновленцы* — члены умеренно-либеральной партии, объединившей бывших левых октябристов и правых кадетов, а затем слившиеся с партией демократических реформ; мирнообновленцы стояли за законодательное урегулирование рабочего вопроса и организацию переселения малоземельных крестьян.

Октябристы (Союз 17 октября) — партия крупных помещиков и торгово-промышленной буржуазии в России в 1905–1907 гг. 17 октября 1905 г., в момент наивысшего подъема Октябрьской всероссийской политической стачки, Николаем II был подписан манифест «Об усовершенствовании государственного порядка», провозгласивший гражданские свободы и законодательную думу, — такая акция явилась вынужденной уступкой самодержавия восставшему народу.

...Да это кадетская программа... — Кадеты — конституционно-демократическая партия, партия народной свободы — основная партия либерально-монархической буржуазии в России 1905–1917 гг.; ее программа: конституционная и парламентарная монархия, буржуазные свободы, сохранение помещичьего землевладения, законодательное решение рабочего вопроса.

С. 41. *Об исключении Колюбакина...* — *Колюбакин А.М.* (1868–1915) — член III Государственной Думы, кадет; в 1909 г. был приговорен к тюремному заключению за речь о незаконности роспуска I Государственной Думы.

Отречемся от старого ми-и-и... — начальная строка «Рабочей Марсельезы», широко распространенной в России революционной песни рабочих (мелодия французской «Марсельезы», русский текст П.Л. Лаврова, опубликованный в газете «Вперед» 1 июля 1875 г.).

...читал эрфуртскую программу. — Эрфуртская программа — принятая на партийном съезде в Эрфурте в октябре 1891 г. марксистская программа Социал-демократической партии Германии. Решающее влияние на теоретическое содержание программы оказал Ф. Энгельс.

Кто ее продал... — С. 41. ... *«Русское знамя» разоблачило кадетскую газету «Речь»...* — «Русское Знамя» — черносотенная газета, орган «Союза Русского народа», издавалась в Петербурге в 1905–1917 гг. «Речь» («Наш Век») — центральный орган партии кадетов, газета издавалась в Петербурге в 1906–1918 гг.

С. 42. *Один как будто из чухонцев...* — Чухонцы — дореволюционное название финнов и эстонцев, населявших окрестности Петербурга.

С. 43. ... *вам за пять рублей отдам другую Россию, только поплоше. В кавычках.* — Аверченко имеет в виду издававшуюся в Петербурге в 1905–1914 гг. реакционную ежедневную газету «Россия»; с 1906 г. газета стала официальным органом министерства внутренних дел.

Русская история. — С. 45.... *флакон с гуммиарабиком.* — Гуммиарабик — прозрачная жидкая масса, выделяемая различными видами акаций; ранее гуммиарабик употреблялся как клей.

С. 48. ... *по соглашению с эмеритурным отделом...* — Эмеритура — капитал, составляемый из взносов служащих, из которого производятся доплаты к пенсиям ушедшим в отставку, либо их вдовам и сиротам.

Почести. — С. 52. *В № 11981 «Нового времени» Меньшиков написал тысячный фельетон.* — Меньшиков Михаил Осипович (1859–1918) — постоянный сотрудник газеты «Новое время», известный журналист правого направления. Весьма беспринципный и объективно злой, он на словах

призывал любить ближнего, быть кротким; вместе с тем он называл пролетариев отбросами общества, усердно агитировал в пользу погромов и карательных экспедиций. В 1918 г. был расстрелян большевиками как враг трудящихся. Сегодня творчество Меньшикова подвергается переоценке историками и литературоведами. Издана его интересная переписка с А.П. Чеховым, некоторые статьи. И открывается, что критик был значительно глубже и проницательней, чем полагали ранее.

С. 53. *Швейцар суворинского дома...* — Суворин Алексей Сергеевич (1834–1912) — один из крупнейших русских издателей, драматург, журналист; в 1876 г. приобрел газету «Новое время», редактором которой оставался до конца жизни. Политическая направленность газеты менялась в зависимости от ситуации в стране, постепенно с либеральной позиции она перешла на охранительную, защищая и поддерживая устои самодержавия. Среди ее сотрудников было много видных публицистов и писателей. Суворин еженедельно устраивал приемы у себя дома, куда часто приглашались молодые авторы. Будучи прекрасным организатором, он умел находить хороших писателей и публицистов и привлекать их к сотрудничеству.

С. 54. *Меньшиков подошел к столу Розанова.* — Розанов Василий Васильевич (1856–1919) — русский прозаик, философ, публицист. Опубликовал только за последние 20 лет жизни свыше 25 книг по вопросам культуры, религии, философии, истории, семьи и любви, литературы и искусства, которые вызвали горячую полемику, не прекращающуюся до сих пор. С 1899 г. Розанов стал постоянным сотрудником газеты «Новое время».

С. 55. *... побрел к кабинету А. Столыпина.*

— Здравствуйте, Александр Аркадьич! — Столыпин Александр Аркадьевич — младший брат Петра Аркадьевича Столыпина (1862–1911), председателя Совета министров России в 1906–1911 гг.; журналист, сотрудник газеты «Новое время»; в эмиграции, в Париже, выпустил в 1927 г. книгу о своем брате: «П.А. Столыпин. 1862–1911».

Робинзоны. — С. 57. *Предварилку строю.* — Предварилка — место предварительного заключения, куда обычно помещали арестованных во время следствия по их делу или же перед высылкой к месту ссылки.

С. 58. *...Вы еще не имеете права охотиться... Еще Петрова дня не было...* — Петров день — 23 июня (по ст. стилю) — день памяти апостолов Петра и Павла; в дореволюционной России охотничий сезон открывался в этот день.

Визит. — С. 61. *Какой же это Рембрандт? Это Судковский.* — Судковский Руфим Гаврилович (1850–1885) — русский живописец-маринист, академик живописи (1882), написал свыше 100 картин; его произведения есть в Третьяковской галерее, в Русском музее и др. музеях.

...mens sana in Квисисана... — искаженное латинское выражение «Mens sana in corpore sano» — «Здоровый дух в здоровом теле»; Квисисана — название ресторана в Петербурге.

С. 62. *Можете даже Остен-Сакена спросить...* — Н.Д. Остен-Сакен — русский посол в Германии в 1900-е гг.

Мученик науки. — С. 67. *... премия к «Ниве»... Заплатил семь рублей в год — и Салтыкова тебе какого-нибудь дадут двенадцать книжек, и украшение для гостиной.* — «Нива» — еженедельный «иллюстрированный журнал для семейного чтения»; издавался в Петербурге с 1870 по 1918 г. издательской фирмой А.Ф. Маркса. В качестве бесплатных приложений для постоянных подписчиков ежегодно выпускались собрания сочинений русских классиков: Тургенева, Достоевского, Толстого, Салтыкова-Щедрина и др. Журнал содержал также репродукции картин известных художников. Благодаря всему этому журнал пользовался огромной популярностью и его тираж порой превышал 200 тысяч экземпляров.

С. 69. *Спермин.* — Смысл названия рассказа был хорошо ясен читателям — современникам писателя. Во многих русских журналах и газетах начала XX в. (в том числе и в «Сатириконе») рекламировалось универсальное лекарство «Спермин» доктора Пеля. Оно рекомендовалось при истерии, невралгии, сердечных болезнях, ожирении, чахотке, малокровии, старческом одряхлении, сифилисе, атеросклерозе, алкоголизме и т.д.

С. 70. *Доне муа того кельк-шозу...* — Дай мне того — не знаю чего (смесь «французского с нижегородским»).

Труха. — С. 88. *Самая старинная вещь. Антик-с.* — Антик (лат.) — старина, древность.

С. 90. *... визитера, перепутавшего знакомые дома.* — Намек на рассказ Аверченко «Визитер».

«Аполлон». — С. 90. *«Аполлон»* — художественно-литературный журнал; издавался в 1909–1917 гг.; последний номер вышел с опозданием уже в 1918 г. Редактором-издателем был художник, поэт и критик С.К. Маковский (1878–1962). Журнал поддерживал в живописи модернизм и другие близкие ему по духу течения, в поэзии — акмеизм и символизм.

С. 91. *...статья... Иннокентия Анненского... «О современном лиризме»*. — Анненский Иннокентий Федорович (1856–1909) — поэт, критик, переводчик античной литературы, педагог; был близок к символизму; автор двух сборников лирических стихотворений и двух сборников критических статей «Книги отражения». «О современном лиризме» — статья, помещенная в первом номере «Аполлона», вышедшем в октябре 1909 г., посвящена поэзии русских символистов. Аверченко не вполне точно приводит цитаты из этой статьи. Ирония Аверченко объясняется его неприятием всех модернистских течений как в поэзии, так и в живописи.

«Жасминовые тирсы наших первых мэнад примахались быстро...» — Тирс — древнегреческое название прямого жезла, обвитого плющом или виноградом, принадлежность Вакха (Диониса) и его спутников; символ буйной поэзии; мэнада — вакханка.

С. 92. *Неприятное чувство сгладила... статья... «В ожидании гимна «Аполлону»*. — Автором данной статьи, опубликованной в том же журнале, был Александр Николаевич Бенуа (1870–1960), художник, критик, историк театра, один из идеологов художественного объединения «Мир искусства» (1898–1924). Цитаты из этой статьи придуманы Аверченко.

Автор статьи о театре... — Статья «О театре» из этого же номера журнала написана Всеволодом Эмильевичем Мейерхольдом (1874–1942), актером, режиссером, критиком, реформатором театра.

С. 93. *... поэта Бунина в академики выбрали...* — Писатель и поэт, будущий нобелевский лауреат Иван Алексеевич Бунин (1870–1953) был избран почетным академиком по разряду изящной словесности в 1909 году.

Американцы. — С. 97. *«Свен Гедин, путешественник по Тибету»... «Убийца президента Карно»...* — Аверченко перечисляет несколько типичных портретных снимков, публиковавшихся на страницах массовых журналов конца XIX — начала XX в. Свен Андерс Гедин (1865–1952) — шведский путешествен-

ник, исследователь Тибета и Центральной Азии; в 1923 г. совершил кругосветное путешествие.

Карно Сади (1837–1894) — французский политический деятель, был избран президентом в 1887 г.; президентство Карно было отмечено острым политическим кризисом, усилением репрессий против рабочего движения; Карно был убит в Лионе анархистом Казерио.

С. 102. *Проклятие.* — В рассказе иронически обыгрывается ажиотаж вокруг Леонида Андреева, чьи произведения пользовались огромной популярностью в России в начале XX в.

С. 103. *...Что вы скажете о мессинском землетрясении?* — Мессинское землетрясение произошло в 1908 г. на северо-востоке острова Сицилия в городе Мессина; одно из крупнейших в истории, оно унесло жизни более 50 тысяч человек, разрушило большинство зданий в городе.

О Метерлинке? Что скажете? — Метерлинк Морис (1862–1949) — бельгийский писатель-символист; его произведения пользовались успехом в России в начале XX в., а его пьеса-сказка «Синяя птица» (пост. 1908) не сходит со сцены до сих пор.

С. 105. *Можно и в Художественный... Там идет моя «Анатема». — «Анатема»* («Анатэма») (1909) — одна из самых известных пьес Леонида Андреева; далее приводятся названия пьес писателя, поставленных примерно в одно и то же время в разных театрах: «Дни нашей жизни» (1908), «Анфиса» (1909), «Жизнь человека» (1907), «Черные маски» (1908).

Вези куда-нибудь в другое место. К Коршу, что ли. — Корш Федор Адамович (1852–1923) — юрист, театральный предприниматель, основатель собственного театра.

С. 106. *Леонид Андреев и Оскар Норвежский за чаем!* — Оскар Норвежский (наст. имя Оскар Моисеевич Картожинский) — популярный в начале 20 века литературный критик, автор книги «Литературные силуэты. Этюды, наброски и впечатления». СПб., 1908.

Пернатое. — С. 108. *...царица Клеопатра распустила в уксусе жемчужину...* — Клеопатра (69–30 до н.э.) — последняя царица Египта из династии Птолемеев.

Согласно одной из легенд римский полководец Марк Антоний изумился богатству царицы, в ответ на это Клеопатра сняла кольцо с жемчужиной и, растворив её в вине,

выпила, чтобы доказать, что не придает никакого значения земным богатствам.

Самоубийством она покончила вместе с Антонием после проигрыша битвы римским войскам во главе с Октавианом Августом. Согласно одной из легенд она умерла от укуса змеи, позволив ей ужалить себя (по египетским представлениям такая смерть сулила бессмертие).

С. 110. *...по имени Гуттенберг...* – Гуттенберг (Гутенберг) Иоганн (ок. 1400–1468) – немецкий изобретатель, создатель европейского способа книгопечатания подвижными металлическими литерами. Первые книги, напечатанные Гутенбергом, вышли в свет в 1445 г. Изобретение книгопечатания сыграло огромную роль в распространении культуры, науки, литературы. Вслед за Гутенбергом книгопечатание появилось и в других странах.

С. 111. *...катушки Румкорфа...* – Катушка Румкорфа – прибор для преобразования прерывистого тока низкого напряжения в прерывистый ток высокого напряжения. Впервые была сконструирована немецким механиком Г. Румкорфом в 1852 г.

Еще воспоминания о Чехове. – С. 113. *Сей труд автор... посвящает Н. Ежову... как автору остроумного труда о Чехове, напечатанного в «Историческом Вестнике».* – Ежов Николай Михайлович (1862–1942) – журналист и беллетрист, сотрудник различных юмористических журналов; был знаком с Чеховым и неоднократно с ним встречался. Однако его статья, опубликованная в 1909 г. в «Историческом вестнике», содержала массу выдумок и домыслов: он говорил о Чехове как о нерадивом студенте, утверждал, что Чехов в своих письмах «прихорашивался» и т.п.

С. 114. *Может, в «Русское Богатство» пристроишь...* – «Русское Богатство» – литературный, научный и политический журнал, издавался с 1876 по 1918 г., основан в Москве, но в том же году издание перенесено в Петербург. Журнал народнического направления, он постепенно привлек к участию писателей-реалистов; журнал возглавляли во второй половине XIX – начале XX в.Н. Михайловский и В. Короленко, а сотрудничали здесь Мамин-Сибиряк, Станюкович, Бунин, Л. Андреев, Горький, Куприн, В. Вересаев, Пант. Романов и др.

В 1918 г. журнал был закрыт как издание, выступившее против диктатуры пролетариата.

Крайние течения.. — С. 117. *Сотрудник московского журнала «Весы», декадент Эллис, уличен в похищении листов и порче книг в публичной библиотеке.* — «Весы» (1904–1909) — научно-литературный и критико-библиографический ежемесячник, орган русских символистов; редактор-издатель С.А. Поляков, владелец издательства «Скорпион». Руководил журналом В.Я. Брюсов; сотрудничали в нем К.Д. Бальмонт, А. Белый, А. Блок, М. Волошин, М. Кузмин и многие другие поэты, прозаики, публицисты из лагеря символистов и близких к нему кругов.

Эллис (наст. фамилия — Кобылинский) Лев Львович (1879–1947) — поэт и литературовед, один из ведущих деятелей русского литературного символизма; активно сотрудничал в журнале «Весы», выпустил книгу «Русские символисты» (1910). После 1913 г. покинул Россию и поселился в Швейцарии.

Неизлечимые. — С. 120. *...и все заверте...* — Эти слова В.В. Маяковский неоднократно использовал в письмах к Лиле Брик.

Четверг. — С. 134. *Были на лекции о Ведекинде?* — Ведекинд Франк (1864–1918) — немецкий писатель-драматург и артист, предшественник экспрессионистов; в начале XX в. его драмы с успехом шли на русской сцене.

...набрасываются на какую-то босоножку. — В начале XX в. на эстрадах России проходили выступления танцовщиц, отказавшихся от балетных костюмов и обуви; одной из основоположниц новой школы танца была Айседора Дункан (1878–1927); ее многочисленных последовательниц иронически называли «босоножками».

Читали статью о Вейнингере? — Вейнингер Отто (1880–1903) — австрийский философ и психиатр; автор книги «Пол и характер»; покончил с собой в день выхода книги в свет.

С. 132. *...читал о Пшебышевском.* — Пшибышевский Станислав (1868–1927) — польский писатель. Его декадентские романы «Заупокойная месса» (1893), «Дети сатаны» (1897), «Homo sapiens» (1895 –1898) и другие пользовались популярностью в России нач. XX в.

С. 137. *...путает его с редерером...* — Редерер — одна из лучших немецких марок шампанского.

Лекарство. — С. 161. *Дернье крик делямод* — последний крик моды (смесь «французского с нижегородским»).

Визитер. — С. 173. ... *служит чиновником в пробирной палатке...* — Пробирная палатка — мифическое учреждение, директором которого в 1841–1860 гг. был мифический Козьма Петрович Прутков, созданный фантазией братьев Жемчужниковых и А.К. Толстого.

ИЗ АЛЬМАНАХА САТИРЫ И ЮМОРА ЖУРНАЛА «САТИРИКОН» «СТРУЖКИ» (1909)

«Стружки» — один из первых альманахов, которые стал выпускать журнал «Сатирикон». Здесь помещены юморески, рассказы, рисунки сотрудников журнала, многие материалы идут без подписи или под псевдонимами.

Публикуемые рассказы идут за подписью Арк. Аверченко.

Тексты печатаются по этому изданию.

Отчет перед избирателями. — С. 185. *После роспуска второй Государственной Думы...* — 3 июня 1907 года был выпущен указ царя о роспуске II Государственной Думы. Инициатором указа был П.А. Столыпин. По сути, произошел государственный переворот, поскольку нарушался Манифест 17 октября 1905 г. и Основные государственные законы, утвержденные 23 апреля 1906 г., согласно которым принятие любого закона невозможно без участия Думы. В соответствии с новым положением вдвое сократилось представительство рабочих и крестьян и соответственно увеличилось представительство имущих классов.

С. 186. *Памороки ему забили!* — Старое областное выражение; означает примерно: «задурили голову», «напустили туману».

НОВАЯ ИСТОРИЯ (ИЗ «ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ, ОБРАБОТАННОЙ «САТИРИКОНОМ») (1910)

Книга была написана сотрудниками журнала «Сатирикон» и выпущена в качестве бесплатного приложения к журналу для годовых подписчиков на 1910 г.

Авторами разделов книги были:

Надежда Александровна Тэффи (1872–1952) — Древняя история.

Осип Дымов (Осип Исидорович Перельман, 1878–1959) — Средняя история.

Аркадий Аверченко — Новая история.

О.Л. Д'Ор (Оршер, 1878–1942) — Русская история (раздел появился, начиная с издания 1911 г.).

В пародийно-шуточной форме авторы «обработали» школьные учебники по истории и при этом представили историю как цепь ошибок и недоразумений, как всемирную комедию, и вместе с тем они стремились не искажать исторических событий.

Реклама, публиковавшаяся во время подписной кампаниии на страницах «Сатирикона» в 1909 г., гласила:

«Все годовые подписчики получат в виде бесплатного приложения роскошно иллюстрированное издание: «Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» под углом его зрения под редакцией А.Т. Аверченко.

Хотя наша «Всеобщая история» и не будет рекомендована ученым Комитетом, состоящим при М-ве народного просвещения, как руководство для учебных заведений, но эта книга даст подписчикам единственный случай взглянуть на историческое прошлое народов в совершенно новом и оригинальном освещении...»

Книга вышла несколькими изданиями — в 1910, 1911, 1912 и 1916 гг.

Последнее издание, использованное как основа для публикуемого текста, носило несколько измененное заглавие: «Всеобщая история, обработанная сатириконцами», что, видимо, объясняется тем обстоятельством, что к тому времени вместо журнала «Сатирикон» уже в течение трех лет выходил «Новый Сатирикон».

С. 190. *...Как из мешка посыпались разные реформаторы, протестанты, Эразмы Роттердамские и Мартины Лютеры.* — Эразм Роттердамский (1469–1536) — гуманист, писатель, представитель так называемого «северного» Возрождения. Пытался соединить возрожденческую античность и раннее христианство. Облекая в религиозную форму, он проповедовал светские ценности; веротерпимость, свободу личности, уважение к человеку, разуму и знаниям. Учению Лютера

о предопределении он противопоставлял идею свободы воли человека. Мартин Лютер (1483–1546) — один из вождей Реформации в Германии, выступивший с осуждением злоупотреблений католической церкви. Лютер стал основателем одного из первых протестанских направлений в христианстве — лютеранства. Только личная вера в Бога и Библию являются основой спасения человека, по Лютеру. Отрицал монашество и избранное священство. Утверждал, что жизнь любого человека предопределена волей Бога.

Бертольд Шварц (начало XIV в.) — немецкий монах, согласно легенде, он изобрел порох. Однако, по другим источникам, еще ранее порох был известен в Китае и у арабов.

С. 190. *...писали... на... кирпичах...* — Имеются в виду глиняные таблички, на которых писали древние народы Ближнего Востока, в частности шумеры.

С. 191–192. *...Гуттенберг... вошел в компанию с каким-то золотых дел мастером Фаустом.* — Изобретатель книгопечатания Иоганн Гутенберг (ок. 1400–1468) в 1450 г. вступил в соглашение с состоятельным бюргером из Майнца Иоганном Фаустом (правильнее Фустом) (1400–1466) и на его средства оборудовал типографию: однако спустя пять лет Фуст по суду отобрал за долги типографию у Гутенберга.

С. 192. *Флавио* Джойо (Джойа) (конец XIII — начало XIV в.) — итальянский мореплаватель, ему долгое время приписывали изобретение магнитной стрелки. Однако позднее стало известно, что описание магнитной стрелки было дано в Китае еще в 1240 г. В Европе также было описано использование магнитной стрелки в мореплавании еще в конце XII в.

С. 194. ... *раздавил... куриное яйцо.* — Здесь Аверченко не совсем точен. Согласно одной из легенд, в ответ на ироническое замечание одного из собеседников, что Америку было открыть совсем не трудно, Колумб предложил тому поставить на стол яйцо. После безуспешных попыток собеседника Колумб взял яйцо и, ударив одним концом о стол, поставил его, при этом заметив: «Да, это не представляет большой трудности».

С. 197. *Лас Касас* Бартоломе (1474–1566) — испанский доминиканец, миссионер, сопровождал Колумба в первом

путешествии в Америку и с 1502 по 1551 г. провел в Америке. Предложил на тяжелых работах на сахарных плантациях использовать труд африканских негров. В действительности работорговля началась еще раньше.

С. 199. *...французский рыцарь — Баярд* — Баярд Пьер де Террайль (1477–1524) — французский военачальник, находился на службе у Карла VIII, затем при Людовике XII и Франциске I. Был прозван Рыцарем без страха и упрека, его имя стало нарицательным для обозначения храбрости и великодушия.

С. 200. *...одного Людовика тоже называли Красивым...* — Здесь ошибка автора. Людовика Красивого в истории не существовало.

С. 201. *...какой-то Цвингли... доказал, что Лютер — постепеновец... обвинил... в октябризме...* — Цвингли Ульрих (1484–1531) — идеолог швейцарского бюргерства, один из наиболее радикальных вождей Реформации в Швейцарии. Цвинглианство наиболее значительно реформировало католическую церковь: из храмов были удалены иконы, статуи, кресты, мощи, алтари, органы, колокола; богослужение сводилось к проповеди и пению псалмов. Аверченко сравнивает действия Лютера с деятельностью различных партий в России после 1905 г., призывавших к постепенным переменам в направлении социального прогресса и демократии. Одной из наиболее характерных в этом отношении партий был «Союз 17 октября», полагавший, что царский манифест полностью отвечает интересам нации. В Государственной думе октябристы блокировались с кадетами и монархистами.

Кальвин Жан (1509–1564) — один из деятелей Реформации, основатель кальвинизма; центром его деятельности стала Женева, где он претворял в жизнь свои идеи богопочитания и осуществления заповедей Божьих в действиях церкви и людей. Согласно Кальвину, судьбы людей предопределены Богом.

По имени Кальвина... стали называться гугенотами... — Гугенотами назывались последователи кальвинизма во Франции, это название происходит от немецкого слова Eidgenossen (объединенные клятвенным союзом).

С. 202. *«...ввалившиеся горящие глаза...»* — цитата из учебника Д.И. Иловайского.

Эк (Экк) Иоганн-Мейер (1486–1543) – доктор богословия, привез в 1520 г. из Рима папскую буллу против Лютера, участвовал во многих диспутах.

...(Шлезенг, II ч., стр. 143) – Здесь и далее Аверченко для усиления комического наукообразия ссылается на несуществующих авторов.

С. 203. *...земли секуляризировали.* – Секуляризация (от позднелатинского saecularis — мирской, светский) – процесс освобождения различных сфер общества, как материальной, так и духовной, от влияния церкви. В области экономической это означало передачу церковного имущества (главным образом земель) в собственность государства, правительства, частных светских лиц.

Анабаптисты (от греч. anabaptizo — вновь погружаю, т.е. крещу вторично) – приверженцы движения, возникшего в ходе Реформации в Германии и Швейцарии; анабаптисты считали, что вторичное крещение в сознательном, зрелом возрасте обеспечит создание свободной церкви, не зависимой от государства; многоженство признавали не все анабаптисты, а лишь наиболее радикальная их часть (например, Иоанн Лейденский).

...какой-то священник Меннон... основал секту меннонитов. – В действительности основателем секты меннонитов был голландский католический священник Менно Симонс (ум. в 1561), который выступил с проповедью примирения с действительностью и, разделяя взгляды анабаптистов на крещение, считал, что необходимо отказаться от всякого насилия для достижения целей секты и, следовательно, от насильственного построения царства Божия на земле.

С. 208. *...умирали... от угрызений совести (Карл IX, Людовик XIII и др.).* – Все эти монархи умерли от различных болезней.

С. 209. *...не хватало еще седьмой, чтобы борода его посинела.* – Намек на героя сказки Ш. Перро «Синяя Борода», имевшего семь жен, шесть из которых он умертвил. Генрих VIII казнил лишь вторую и пятую из своих жен.

...англичане поднесли... титул «Оливера»... – После казни в 1649 г. короля Карла I в Англии была провозглашена республика и в 1653 г. установлена военная диктатура Оливера Кромвеля, которому был присвоен титул лорда-протектора.

С. 210. *...закон под названием habeas corpus.* — В 1679 г. английский парламент принял Habeas Corpus Act — Закон о свободе личности. Согласно этому закону, без решения суда никого нельзя было арестовать или задержать. Любой гражданин в случае ареста имел право потребовать, чтобы в течение суток ему было предъявлено обвинение, а при отсутствии такового должен был быть освобожден.

Сапоги выше Шекспира! — Приписываемая Ф.М. Достоевскому ироническая формулировка позиция некоторых публицистов из демократического лагеря (например, Д. Писарева), отдававших приоритет материальному перед духовным.

С. 165. *... три великих человека: Ибсен, Бьёрнстьерне Бьёрнсон и Гамсун...* — Аверченко называет имена всемирно знаменитых норвежских писателей: Ибсен Генрик (1828–1906), чьи пьесы были поставлены во многих театрах России; Бьёрнсон Бьёрнстьерне (1832–1910) — прозаик, драматург и общественный деятель; Нобелевская премия (1903); Гамсун Кнут (1859–1952) — прозаик, драматург, поэт; Нобелевская премия (1920).

С. 211. *...только один Ваза.* — Имеется в виду Густав I Ваза, шведский дворянин, поднявший восстание против датского господства и избранный в 1523 г. королем Швеции; Ваза стал основателем королевской династии, правившей в Швеции в 1523–1654 гг.

...собственная вера... антитринитарии. — Антитринитарии — сторонники христианских сект, отрицавших троичность Бога и признававших Божественную природу лишь Бога-Отца; Иисус Христос считался ими человеком, хотя и совершенным. Учение антитринитариев возникло во 2–3 вв., когда христианская догматика только формировалась.

Liberum veto — право единоличного вето; практиковалось в польском сейме, упразднено в 1879 г.

С. 214. *Нет более Пиренеев!* — После восшествия на испанский престол в 1700 г. внука Людовика XIV — Филиппа V Людовик считал, что границы между Францией и Испанией (проходившей по Пиренеям) как бы не существует, поскольку внук находился под огромным его влиянием. После смерти Людовика влияние это стало ослабевать.

С. 215. — *Apres nous le deluge!* — После нас хоть потоп! (фр.). — Не точное цитирование слов Людовика XV, который в действительности сказал: «Apres moi le deluge!» (После меня хоть потоп!).

С. 222. *...свой зейдель пива...* — Зейдель (нем.) — пивная кружка.

С. 225. *...торговал бы на Корсике прованским маслом...* — Пасынок Наполеона, сын французского генерала виконта А. де Богарне, первого мужа Жозефины, супруги Наполеона, никакого отношения к Корсике не имел и, разумеется, ничем бы там не торговал.

С. 227. *...Бернадот так и кончил свою опальную жизнь в тиши...* — В действительности Жан Батист Бернадот, приняв имя Карла Иоанна (Юхана), стал с 1810 г. фактическим правителем Швеции, а в 1818 г. взошел на престол под именем Карла XIV Иоанна (Юхана), присоединил Норвегию; потомки его до сих пор царствуют в Швеции.

ДЕШЁВАЯ ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА «САТИРИКОНА»

Выпуск 1 (1910)

С 1910 года издательство «Сатирикона» начало выпуск «Дешевой юмористической библиотеки», книжек небольшого формата и объема. Авторами книжек были как сотрудники журнала, так и известные писатели, а также начинающие писатели.. Разумеется, больше всего было выпущено книжек Аверченко.

Некоторые рассказы, входившие в выпуски, ранее печатались в журнале, многие печатались впервые именно в «Дешевой библиотеке», наиболее удачные произведения Аверченко включал в свои большие сборники.

Выпуск 1 печатается по первому изданию.

Выпуск 3 (1911)

Печатается по первому изданию.

РАССКАЗЫ (ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ)

Книга первая (1910)

Издание юмористических рассказов вышло в Санкт-Петербурге в трех книгах в 1910–1911 годах. В него вошли рассказы, ранее печатавшиеся в журнале «Сатирикон».

Первая и вторая книги вышли в 1910 г., а третья — в 1911 г. Книга вторая имеет подзаголовок «Зайчики на стене». Рассказы из первой и второй книг в виде сборников издавались впервые, третья книга фактически по своему составу повторяла сборник «Юмористические рассказы», выпущенный ранее — в 1910 г.

В настоящем издании книга первая печатается по одиннадцатому изданию, выпущенному в Петрограде в 1916 г.

Поэт. — Впервые — Сатирикон, 1909. № 9.

Здание на песке. — Впервые — Сатирикон, 1909. № 23.

Лентяй. — Впервые — Сатирикон, 1909. № 17.

Славный ребенок. — Впервые — Сатирикон, 1909. № 28.

Специалист. — Впервые — Сатирикон, 1909. № 14.

С. 317. *Парикмахеры, как авгуры...* — Авгуры — в Древнем Риме коллегия жрецов, ведавшая ауспициями (гаданием по полету и крику птиц).

Праведник. — Впервые — Журнал для всех. 1904; Апрель. № 4; вариант — Сатирикон. 1909. № 19.

Два мира. — Впервые — Сатирикон, 1910. № 30.

Еврейский анекдот. — Впервые — Сатирикон, 1909. № 35.

Преступники. — Впервые — Сатирикон, 1909. № 37.

Нервы. — Впервые — Сатирикон, 1909. № 39.

С. 358. ... *запев матчиш...* — Матчиш (исп.) — танец в быстром темпе и музыкальное произведение в ритме этого танца; был популярен в России в начале XX в.

Ниночка. — Впервые — Сатирикон, 1909. № 42. С. 358. ... *пригласил в кабинет ремингтонистку... — Ремингтонистки* — так очень часто в начале XX в. называли машинистку по названию фирмы, выпускающей пишущие машинки «Ремингтон».

С. 360. *...что такое алиби...* — Алиби (ит. alibi — в другом месте) — нахождение обвиняемого в другом месте как доказательство его невиновности. Пользуясь наивностью Ниночки, юристы несут всякую околесицу в оправдание своих действий.

...в отсутствии кассационных поводов... — Кассация (лат. отмена) — пересмотр, отмена судебных решений судами высшей инстанции на основании ошибок и обнаруженных нарушений в ведении дела.

С. 361. *...должен бросить... ретроспективный взгляд.* — Ретроспективный (лат.) — обращенный к прошлому, посвященный рассмотрению прошлого.

Большое сердце (Рождественский рассказ) — Впервые — Сатирикон, 1909. № 52.

Еропегов. — Впервые — Сатирикон, 1909. № 43.

Апостол. — Впервые — Сатирикон, 1910. № 4.

Широкая масленица. — Впервые — Сатирикон, 1909. № 6.

Рыцарь индустрии. — Впервые — Сатирикон, 1909. № 33.

День госпожи Спандиковой. — Впервые — Сатирикон, 1909. № 18.

Страшный человек. — Впервые — Сатирикон, 1909. № 45–46 (вторая часть рассказа, начиная с главки V, напечатана под заглавием «Конец Химикова»).

Загадка природы. — Впервые — Сатирикон, 1909. № 21.

День человеческий. — Впервые — Сатирикон, 1910. № 6.

Тайна. — Впервые — Сатирикон, 1909. № 5.

Веселый вечер. — Впервые — Сатирикон, 1910. № 3.

Дружба. — Впервые — Сатирикон, 1909. № 26.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ВСЕОБЩЕЕ НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ

Выпущено в качестве отдельного оттиска из журнала «Торгово-промышленная Россия» в 1906 г. в Харькове.

На титульном листе обозначено: «Номер с настоящей статьей высылается бесплатно всем министерствам в количестве по 50-ти экземпляров и по 1-му экземпляру всем членам Государственной Думы».

В качестве автора указан А. Аверченко.

До сих пор, кроме составителя данной книги, никто не рассматривал эту статью как публикацию Аркадия Аверченко (на принадлежность ее перу Аркадия Аверченко я впервые указал в предисловии к сборнику: *Аверченко А.* Шутка Мецената.М.: Олма-Пресс, 2001. С. 8).

Каковы основания, чтобы считать эту статью творчеством Аверченко? Прежде всего ее содержание. Характеристика крестьян как серой безграмотной массы дается в рассказе Аверченко «Русская история» (сборник «Веселые устрицы», 1910); в рассказе «Полевые работы» (сб. «Позолоченные

пилюли», 1916) показано, как крестьяне срезают телеграфные провода зимой, поскольку другой работы у них нет. Подобные ситуации можно найти и в других рассказах, фельетонах, заметках в журналах «Сатирикон» и «Новый Сатирикон». Истоки этой серости, темноты крестьянской массы (и не только крестьянской массы, но и вообще обитателей провинциальной России — рассказы «Бельмесов», «Скептик», «Кривые Углы», «Одиннадцать слонов» и др.) Аверченко видел в необразованности, в оторванности от цивилизации. Именно просвещение масс писатель считал двигателем прогресса не только в экономическом отношении, но и в нравственном, духовном.

Аверченко сам получил в силу материальных и иных семейных обстоятельств лишь начальное образование. Но благодаря упорному труду самообразования он добился очень многого и во всяком случае среди писателей своего времени был одним из самых думающих, знающих и эрудированных.

Поэтому не вызывают удивления ссылки в статье на статистические сведения и конкретные исследования. Что касается стилистики статьи, то она, разумеется, отличается от стилистики рассказов и фельетонов, но очень близка к редакторским передовицам и заметкам о явлениях текущей жизни, опубликованным в журналах «Сатирикон» и «Новый Сатирикон», редактором которых Аркадий Аверченко был на протяжении 10 лет.

Впервые печатаемая через сто лет после первой публикации статья позволяет лучше представить облик этого многогранного писателя-патриота, который на протяжении десятилетий оценивался просто как юморист. Да, юморист, — но это лишь одна ипостась. Он и в юмористических рассказах выступал и как политик, и как экономист, и как психолог, и как борец за лучшее в человеке. Вера в человека в нем всегда побеждала.

Немаловажный факт: статья несомненно сыграла свою роль в реформе образования в России. В 1911 г. Государственная Дума совместно с Всероссийским общеземским съездом приняли решение ввести с 1912 г. всеобщее начальное образование.

С. 434. *...урок, преподанный нам последней войной...* — Имеется в виду русско-японская война 1904–1905 гг. за господство на Дальнем Востоке. Поражение России в этой

войне привело к потере южной части острова Сахалин, прав на аренду Квантунского полуострова с Порт-Артуром, а также ко многим другим утратам.

С. 374 ... *выражаясь словами поэта...* — Имеется в виду Н.А. Некрасов, строки из поэмы которого «Кому на Руси жить хорошо» далее приводятся автором.

МЫ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ. МАТЕРИАЛЫ (К БИОГРАФИИ) (1913)

Впервые — Сатирикон, 1913. № 28.

С. 441. *...Пойду я сначала в «Стрекозу»... По алфавиту...* — «Стрекоза» и «Серый Волк» начинаются с буквы «с», вторая же буква в названии «Стрекоза» («т») опережала букву «е» в названии «Серый Волк», поскольку, по старой орфографии «серый» писался через «ять» — «сѣрый», одну из последних букв русского алфавита.

...провели меня в кабинет издателя М.Г. Корнфельда... редактор... И.Ф. Василевский-Буква — в Петербурге не жил. — Михаил Германович Корнфельд, сын основателя журнала «Стрекоза» Германа Корнфельда, стал издателем журнала с 1904 г., журналист Ипполит Федорович Василевский (псевд. — Буква, 1849–1918) редактировал «Стрекозу» в 1875–1905 гг. О его фельетонах с одобрением отзывался А.П. Чехов.

С. 448. *...in corpore.* — В полном составе (лат.)



Содержание

Дешёвая юмористическая библиотека «Сатирикона»

Выпуск 1 (1910)

Выпуск 3 (1911)

Рассказы (юмористические) Книга первая (1910–1911)



**Издательство «Дмитрий Сечин»
начинает выпуск
13 томного собрания сочинений
Аркадия Тимофеевича Аверченко**

**В 2012–2013 годах
планируются к изданию следующие тома**

Том 1. Весёлые устрицы. Рассказы 1908–1910 гг.

Том 2. Зайчики на стене. Рассказы 1910–1911 гг.

Том 3. Круги по воде. Рассказы 1911–1912 гг.

Том 4. Чёрным по белому. Рассказы 1912–1913 гг.

Том.5. Сорные травы. Рассказы 1914–1915 гг.

Том 6. Чёртова дюжина. Пьесы и монологи. 1911–1913 гг.

Том 7. Чудаки на подмостках. Пьесы и инсценировки 1914–1918 гг.

Том 8. О маленьких — для больших. Рассказы 1915–1916 гг.

Том.9. Позолоченные пилюли. Рассказы, не вошедшие в сборники 1909–1917 гг.

Том 10. Почтовый ящик «Сатирикона» и «Нового Сатирикона».

Том 11. Салат из булавок. Рассказы из газет и журналов 1917–1920 гг.

Том 12. Смешное в страшном. Рассказы 1920–1923 гг.

Том 13. Рассказы циника. Рассказы 1924–1925 гг. Шутка мецената. Роман.



Издательство «Дмитрий Сечин»
в 2012 году
выпустило следующие тома из собрания сочинений Аркадия Тимофеевича Аверченко:

Том 1. Весёлые устрицы. Рассказы 1908–1910 гг.

Том 2. Зайчики на стене. Рассказы 1910–1911 гг.

Подготовлены к печати:

Том 3. Круги по воде. Рассказы 1911–1912 гг.

Том 4. Чёрным по белому. Рассказы 1912–1913 гг.

Издание осуществляет
ООО «Издательство «Дмитрий Сечин»
По вопросу реализации обращаться по адресу:
123298, Москва, а/я 33
или по тел. 8(985)995-79-70
E-mail: sechinbook@mail.ru



АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО
Собрание сочинений

Том 1

ВЕСЁЛЫЕ УСТРИЦЫ

Редактор Е.Б. Егорова
Художественный редактор И.А. Шиляев
Технический редактор Т.В. Иванникова

Подписано в печать 01.04.2012.
Гарнитура «Таймс». Формат 84×108 1/32
Печать офсетная. Усл. печ. л. 25,2.
Тираж 1000 экз. Заказ № 2365.

ООО «Издательство «Дмитрий Сечин»
Ул. Ирины Левченко, 2. Москва, 123298, а/я 33.
Тел. 8(985)995-79-70
E-mail: secninbook@mail.ru

Отпечатано в ОАО «Первая Образцовая типография»,
филиал «Дом печати — ВЯТКА» в полном соответствии
с качеством предоставленных материалов
610033, г. Киров, ул. Московская, 122
Факс: (8332) 53-53-80, 62-10-36
http://www.gipp.kirov.ru; e-mail: order@gipp.kirov.ru

ISBN 978-5-904962-13-5




издательство
Дмитрий
Сечин